

Дооронбек Садырбаев



ДААНЫШМАН





Дооронбек Садырбаев

ДААНЫШМАН

II том

**Орус тилиндеги көркөм
кара сөз чыгармалары**

Бишкек – 2017

УДК 821.51
ББК 84 Ки 7-4
С 14

Жооптуу редактор: Проф. Др. Кадыралы Конкобаев
Редактор: Асылкан Шайназарова

Садырбаев Д.

С14 Даанышман. Чыгармалар жыйнагы: 5 томдук. II том
Орус тилиндеги көркөм кара сөз чыгармалары / Түз.
жана жооптуу ред. К. Конкобаев – Б., “Д. Садырбаев”
фондусу. – 2017. – 512 б.

ISBN 978-9967-9044-8-4

Бул китепте Кыргыз Республикасынын баатыры,
Кыргыз Эл артисти, Кыргыз Республикасынын
Жогорку Кеңешинин 3 жолку чакырылышынын
депутаты, белгилүү кинорежиссёр, актер, акын,
жазуучу, публицист, журналист, сценарист, ырчы,
көп кырдуу талант, адилет, боорукер, ак ниет инсан
Дооронбек Садырбаевдин ар кыл тематикада
жазылган чыгармалары камтылды.

С 4702300100-17
ISBN 978-9967-9044-8-4

УДК 821.51
ББК 84 Ки 8-4
© Садырбаев Д., 2017



СВЕТЛАЯ БОЛЬ МОЯ

Роман

ОТ АВТОРА ¹

Мир небезгрешен, ибо несовершенен. Эта аксиома вынуждает меня сказать несколько слов моему читателю.

Основное место в книге занимают первые части романа об Алыкуле Осмонове.

Конечно же, мое отношение к поэту не может не быть в чем-то субъективным, это заметно даже по тому, что некоторые имена изменены, однако это сделано не из опасения чьих-либо упреков в нерешительности, а только из искреннего желания не унижить памятью ныне живущих детей и внуков. Я понимаю, что истина превыше всего, но жизнь каждому дается один раз, а мы, думаю, не скоро еще избавимся от вьезшейся в кровь привычки наклеивать ярлыки...

Не вдаваясь в литературоведческие обобщения, выскажу мнение, что в кыргызской литературе существует временной вакуум, отделивший день сегодняшний от дня вчерашнего. И то обстоятельство, что даже Ч. Айтматов начал свой реально высокий полет во Франции, думаю, подтверждает этот вывод. А что ждет нынешних двадцатилетних? А ведь этот вакуум создан настолько искусственно, что с годами может показаться естественным.

¹ Предисловие автора было написано в советские 70-е годы нашей истории. Издательство не меняло стиль и аромат авторского восприятия тех ушедших в прошлое лет. — Прим. ред.

Оценивая прошлое, мне хотелось разглядеть завтрашний день моей республики. Удалось ли – скажешь, ты, читатель. В любом случае, белые пятна истории – пища для слухов, но не для размышлений. А задуматься, уверен, есть о чем. Иначе не стал бы включать в книгу статью «Почему я написал об Алькуле?» Эта статья заказана была для сборника об Осмонове, но я не уверен, что она выйдет в том виде, в каком написана, а без нее, мне кажется, я не объясню все читателю.

Повесть и рассказы тоже включены не случайно, они, думаю, дополняют роман, дают новый угол обзора.

Вот и все, что я хотел сказать тебе, читатель, прежде чем ты откроешь первую страницу.

ПОЧЕМУ Я НАПИСАЛ КНИГУ ОБ АЛЫКУЛЕ?

– Потому, что не знал, что нельзя писать о нем. Больше не буду...

Так ответил я тебе, молодой человек, когда ты задал мне вопрос, вынесенный в заголовок. Видимо, в голосе моем прозвучал оттенок непонятной обиды, потому что ты поспешно добавил:

– Мы готовим сборник воспоминаний и статей об Алыкуле. Я составитель и редактор книги...

Решимость твоя была тогда явно запрограммирована всей твоей редакторской службой.

– Хорошо, – согласился я, – но только на русском языке.

– Сборник выходит на киргизском и, насколько мне известно, роман тоже написан на киргизском.

– А я хочу объяснить по-русски.

– Зачем?

– Когда напишу, ты все поймешь.

– Что же...

Итак, почему я написал книгу об Алыкуле Осмонове, прекрасном киргизском поэте, чье открытие миру, еще впереди?

Если честно, я просто не знал, что ждет меня, и когда буду писать, и тем более – когда напишу. С другой стороны, скажи я традиционное, что мне приснился Алыкул и в этом сне попросил написать книгу о нем, ты первым не поверишь мне, редактор, хотя у нас, киргизов, подобный сон всегда есть более чем уважительная причина для любого поступка.

Когда впервые мы встретились, ты не назвал своего имени, редактор, и в этом нет твоей вины, как и моей, ибо не могу я

оставаться беспристрастным, когда речь идет об Алыкуле; ведь это наша с тобой общая боль, истоки которой в наших легендах.

В тот день стояла прескверно-траурная погода. Моросил дождь. Казалось, не только мы, знавшие одного из талантливых поэтов Киргизии – Джолона Мамытова, скорбили, но и природа плакала по своему сыну, безвременно ушедшему из жизни.

Помнишь? Многолюдно было у южных ворот Союза писателей республики. Глядя на патриарха киргизской профессиональной литературы Тугельбая Сыдыкбекова, стоявшего на площади с обнаженной седой головой под холодным мартовским дождем, хотелось подать ему свой калпак и сказать: «Туке, пожалуйста, наденьте...» Но в руке он держал свою шляпу. Оглядевшись вокруг, я обнаружил, что на площади было слишком много людей, которым я хотел бы предложить хоть какую-нибудь защиту от непогоды. Слишком многие обнажили головы, несмотря на то, что у нас, киргизов, не полагается находиться без головного убора во время еды, в присутствии женщин и старших, а также посторонних... На площади стояли Суйменкул Чокморов, Толеген Касымбеков, Джамал Сейдакматова, Джунай Мавлянов, Ринат Кульматов, Кайыргуль Сартбаева, Медет Шеримкулов и многие другие, от самых простых партийных руководителей до высших представителей науки, культуры, искусства и рабочего класса, а уж при них-то несоблюдение даже самых неприятельно-элементарных обычаев могло показаться верхом неприличия...

Нет, не существует в обряде народов Средней Азии снимать головной убор, провожая человека в последний путь, но в тот день... Потеря для киргизской литературы была настолько ощутимой и вместе с тем неожиданной, что люди, не сговариваясь, выражали свою скорбь таким вот европейским способом.

Воля читателей - принимать этот факт за общее национальное признание Джолона Мамытова, или за стремление тех, кто пришел, быть ближе к другой культуре.

К сожалению, профессия у меня такая, что не могу отдаваться целиком, всеми клетками своего существа – счастьем ли, скорби, даже любви. Хоть одна клеточка, но обязательно наблюдает за происходящим в мире как бы со стороны.

И эта, самая махонькая, привередливая клеточка неожиданно обнаруживает, что кроме тех, кто действительно по-человечески переживает потерю для нации, есть и такие, которые кучковались под зонтами, безумолчно болтая о чем-то постороннем, иногда не удерживаясь от откровенного хохота. Я готов был подойти и двинуть одному типу, который своим откровенным цинизмом явно стремился привлечь к себе внимание людей, но вдруг узнал в нем одного из актеров кино. Имени называть не хочу, ведь нельзя же убивать человечность в его детях и внуках.

Так вот, актер этот назойливо оберегал своим зонтом тогдашнюю заведующую отделом культуры ЦК партии. К чести этой умной женщины она очень быстро избавила себя от него. Не долго думая, актер отыскал другой объект для своей «благотворительной» деятельности – Чокморова и Океева, стоявших рядом. Должен сказать, Океев и здесь оказался неповторимым Толомушем. Брезгливо посмотрев на актера, он отставил его на полшага в сторону от себя и строго наказал: «Так держи!»

Толомуш и Суйменкул стояли, молча переживая, а позади на вытянутой руке актера торчал зонт. И смешно и жалко было смотреть на это человеческое лицо, по которому стекал дождь, придавая именно ему вид рыдающего человека.

Это был еще один из многочисленных уроков моего учителя, который показал, как надо расправляться с подхалимажем, находя ту едва уловимую грань, за которой шутка превращается в жестокость поступка.

Тогда-то и подошел ты, молодой человек, и, представившись редактором издательства «Кыргызстан», внезапно спросил:

– Байке, почему вы написали книгу об Алыкуле?

Признаться, я растерялся. Первым желанием было послать тебя куда-нибудь. А потом, сдерживая эмоции, я ответил:

– Потому что не знал, что нельзя писать о нем.

Так это и было, не правда ли, дорогой редактор? Если ты помнишь это, я продолжу дальше...

– Мы готовим сборник воспоминаний и статей об Алыкуле, – ты очень искренне сглаживал свою неловкость и сразу же

пояснил: - Гонорар будет перечислен в фонд Алыкула, о создании которого вы, байке, давно печетесь. Желательно что-то захватывающее, понимаете, остросюжетное из вашей работы над книгой...

Конечно же, после этих слов я не мог отказать тебе, ни, тем более, послать куда-то, и, несмотря на обстановку и настроение, я обещал попробовать...

Я начал писать. И во избежание всяких пересудов, столь характерных для любого времени, я в первую очередь скажу:

– Нет. К своему великому сожалению, я не видел Алыкула во сне и не просил он меня ни о чем. А чтобы хоть немного удовлетворить любопытство многих знакомых и незнакомых мне людей, мол, почему все-таки именно я, кинорежиссер Дооронбек Садырбаев, написал книгу о поэте, а не кто-нибудь из когорты маститых писателей, приведу несколько аргументов.

Во-первых, беседуя со многими современниками Алыкула и окунаясь в архивные материалы о нем, я нигде не обнаружил не только официального запрета, но даже тактичного намека на то, что мне или кому-то другому запрещается писать о поэте. Что же касается моей личной литературной деятельности, то здесь, правда, никто не давал мне права заниматься ею, равно как никто и не отнимал ее... В общем, что с моим первым доводом, почему я написал книгу об Алыкуле, думаю, как говорят французы, все в «окееве...» В «окееве»... мне доводилось писать повесть и снимать документальный фильм о кинорежиссере Толомуше Окееве, а также о других моих современниках: чабане Мамбете Тынаеве, певце Булате Минжилкиеве, актере Муратбеке Рыскулове, и еще о многих других крупных личностях моего времени, поэтому не сомневаюсь, что каждый из них привнес неповторимый штрих в расцветший облик нашей республики, составив гордость моего народа. И ни один из них пока не выражал ни устного, ни письменного несогласия с моими версиями их биографий.

Как видишь, мой дорогой редактор, в этом плане у меня все как в лучших домах Филадельфии, поэтому не взыщи, если вздумаю написать еще о ком-нибудь...

Во-вторых, не моя вина, что еще мальчишкой в далеком аиле Апыртан, когда только начал осмыслено читать и понимать стихотворные строки, первыми попались на мои грамотные глаза именно книги Алыкула, и я открыл в нем своего старшего брата, своего учителя, и почувствовал щедрость его души. И не виноват я в том, что спустя многие годы и профессия моя оказалась тесно связанной с литературой, а, значит, и с самим Алыкулом. Интуитивно ли, сознательно ли, но в каждой своей работе я вновь и вновь соприкасаюсь с поэзией, философией и жизненными коллизиями Алыкула, которые являются ко мне не просто источником новых слов и понятий, а выручают и как режиссера, поднимая мою выразительность на новые высоты, и как человека, помогая проклюнуться росткам оптимизма в самых трудных моментах моей жизни.

Я преклоняюсь перед ним, люблю и чувствую аромат каждого слова Алыкула. Школьную десятилетку я прошел на киргизском языке, со временем, в силу жизненной необходимости, научился не только сносно разговаривать, но и немного читать и писать по-русски, и тем самым заимел возможность сравнения оригинала с переводом. Вот когда, к великому своему ужасу я обнаружил, что Алыкул на русском языке звучит настолько неузнаваемо, что представляется едва ли не заурядным графоманом...

На страницах периодической печати, во время творческих встреч и товарищеских бесед я возмущаюсь отсутствием качественного художественного перевода стихов Алыкула, в ответ все кивают, все соглашаются, но никто всерьез не берется поправить то, что было сделано кем-то когда-то. Может, авторитет переводчиков С. Обрадовича, С. Липкина, К. Кулиева, М. Синельникова и других настолько высок, что даже не допускается мысль о более поэтическом Алыкуле...

Я далек от мысли подвергать сомнению компетентность и профессиональное мастерство действительно талантливых поэтов-переводчиков, которые много сделали и для творчества Алыкула, и для киргизской литературы в целом. Но и они при всем уважении к Алыкулу переводили по чьему-то подстрочнику, не всегда улавливая даже смысл слов, не говоря

уже о чувстве, многокрасочности, свойственным любому истинно поэтическому произведению.

И, уверен, уместно мне будет отметить здесь общественную активность Чингиза байке в последние годы, когда он не вдруг и не случайно забил тревогу за судьбу двуязычного творца. В самом деле, получается, что даже очень грамотные киргизскоязычные (имеются ввиду, т.е., кто получил школьное образование на родном языке) писатели, поэты или просто представители современной интеллигенции не могут донести до некиргизского читателя всю прелесть алыкуловского языка, а другая часть – русскоязычные киргизы – тоже не могут, будь они даже архиобразованными, из-за того, что просто не чувствуют и не понимают Алыкула.

А ведь киргизская литература держится не на одном Алыкуле и не на одном Ч. Айтматове. В ней немало самобытных поэтов и прозаиков, литературоведов, которые из-за отсутствия в республике подлинно двуязычных творцов выпадают из поля зрения всесоюзного читателя.

Вот тогда, я и приналег на русскую грамоту и для начала на примере любимого мной поэта попытался в силу своих возможностей создать переводные эквиваленты алыкуловских стихов. Около десятка его стихотворений в романе даны в моем переводе.

Я далек от мысли, что мои переводы лучше других. Я все-таки не поэт, да и русским языком владею намного хуже, чем киргизским, хотя зарифмовать несколько стихотворных строк, подобно любому киргизу, могу без труда, причем, на обоих языках. Несомненно, в народе есть люди грамотнее меня, поэтичнее меня, поэтому втайне надеюсь, что кто-нибудь, прочитав мои переводы, возмутится чуть сильнее, чем я возмущался когда-то, переводами других и переведет Алыкула так, что заживут его стихи новой жизнью, заставят открыть поэта европейцу, африканцу и многоликому азиату.

Вот одна из моих попыток.

Алыкул:

Шота аба, чын достуктун эң кымбаты,

Эр үчүн, керек жерде ак кызматы.

Жөнөй бер дагы сонун жерге алпарат,

Алдагы мен берген ат – кыргыз аты.

М. Синельников:

Слушай, Шота аба, дружбы истинный знак.

Этот киргизский конь, подаренный мной аргамак.

Смело садись на него, поезжай.

В добрый путь.

Витязю без коня нельзя обойтись никак.

Д. Садырбаев:

Шота аба, хочу тебе я коня подарить.

Символом дружбы он будет служить.

Смелее седлай! Конь мой киргизский

Новые дали поможет тебе открыть.

Понятно, не мне судить насколько удалось осуществить задуманное, могу лишь сказать, что Алыкул останется целиной для всемирного читателя до тех пор, пока не появится киргиз, одинаково владеющий и киргизским, и русским языками, к тому же не лишенный достаточного поэтического дара, как когда-то сам Алыкул, когда на основе русского перевода открыл киргизам поэзию великого грузина Шота Руставели (а будь у него возможность овладеть грузинским?!) При этом и его собственный, алыкуловский Тулпар поэзии оказался настолько мощнокрылым, что киргизы не жалели своего коня за одну только возможность прикоснуться к его полету, посмотреть на его парение. Во всяком случае, не знаю, за чью еще книгу люди дадут сейчас своего коня, как отдавали в 50-е годы за «Витязя в тигровой шкуре»...

Впрочем, не это главное. Удерживает меня от нахлынувшего оптимизма вот что. Недавно в газете «Вечерний Фрунзе» прочитал о том, что в одном из городских детских садов обучение будущего решили организовать на киргизском языке. Исключительное большинство родителей некиргизской национальности сказали друг другу, что это хорошо, что русского языка их детям вполне достаточно дома, в школах, на радио и телевидении, на базаре, в музеях и банях. Но кто-то из архиусердных радетелей «законности» распорядился всех русских детей изъять из этого садика, распределить по другим, и теперь я знаю что говорят эти родители, возя свои чада в

автобусах и на такси из конца в конец нашего города. В другом садике поступили чуть «умнее». Там детей стали принимать через разные двери. Одна – для киргизов, другая – для русских. Да стоит ли после этого содержать сонм ученых, размышляющих о проблемах интернационализма? Зачем, друзья мои? Любая уборщица умнее министра, если тот не видит подобного.

И разве все это не имеет отношения к моему стремлению открыть Алыкула? Администрирование всегда было чуждо поэзии, а взаимосближению и взаимопроникновению святая святых – языков народных – оно чуждо десятикратно.

Словом, вплотную приблизившись к творчеству и биографическим данным поэта, у меня появилось желание сделать многосерийный телевизионный художественный фильм, чего, кстати, не боятся делать мои коллеги в братских республиках. Занялся поисками документов и других выразительных средств, участились мои встречи и беседы с его современниками. И когда, написав сценарную заявку по всем правилам, приехал в Москву, в главное управление местного телевидения и радиовещания (тематические планы наших студий лучше знает, конечно же, Москва), я ощутил полное равнодушие тех, кто составляет путеводители наших культурных ценностей.

Ни один из них никогда не слышал даже имени Алыкула!

Я понимаю, что два миллиона – это не очень много. Но когда два миллиона киргизов любят своего поэта, считаю, что в такой интернациональной стране, как Советский Союз, об Алыкуле обязан знать каждый грамотный от прикаспийских впадин до пика Победы. И, осознав это, я поклялся, что любимыми доступными мне средствами доведу жизнь и стихи Алыкула до всесоюзного читателя, а через русский язык до мирового. Я хочу, чтобы все знали, что в моем двухмиллионном маленьком народе есть не только Манас и Айтматов, но и многие другие творцы, труженики, ученые и защитники Родины, что они стоят в одном ряду с Н. Островским, А. Матросовым, Н. Вавиловым... Уверен, это нужно не только мне.

Знаю, сегодня мое желание уже не воспримется как узвленное самолюбие пристрастного сына одного из малых народов.

Это просто здорово, что мы живем в одной большой семье, и я с гордостью называю своими братьями грузина, русского, азербайджанца, украинца, казаха, аварца, белоруса, латыша и других как конкретных людей, так и литературных героев. Сам воспитан на их примерах. И я не сомневаюсь, что в моей большой семье не знают о своем брате Алькуле Осмонове не потому, что не желают знать, а потому, что мы, киргизы, слишком редко оглядываемся в прошлое, отправляясь на поиски будущего. То ли спешка мешает, то ли еще что-то, но не хочется сваливать все на свой национальный характер...

В принципе, конечно, когда тебе 50 лет, можно если не принять, то понять и позицию москвичей: на них столько забот свалено, что не всегда уследишь за Степанокертом или Чернобылем, как не всегда за генеральской стратегией уследит адъютантский тактик.

Отложив на неопределенное время свои «киношные» дела, в течение 18 месяцев я работал, исключая из своей жизни выходные и праздничные дни, оставляя самый необходимый минимум времени для сна и отдыха. Когда я закончил роман объемом 27 печатных листов и отпечатал его начисто шесть раз, то первым моим желанием было наконец-то выспаться.

Не случайно я повел разговор о сне в начале статьи, такой сон приснился мне в ту ночь, когда я, перечитав 675-ю машинописную страницу романа, не имея ни сил, ни желания дойти до спальни, тут же свалился на диване. Правда, хоть и цветной был сон, но содержание оказалось несколько иным...

...Будто я принимал – естественно, не без скромности – самые горячие поздравления и восторженные отзывы на свою книгу... Я великодушно кивал и снисходительно улыбался тем, кто пытался высказать критические замечания.

Не рассыпался в благодарностях перед студией «Киргизтелефильм», присудившей мне премию своего профсоюзного комитета.

А на приеме у самого высокопоставленного лица произнес такую зажигательную речь, что это лицо не выдержало и подарило мне свою шариковую авторучку. Я сказал: «спасибо».

С представителями издательств, которые выстроились в очередь не меньшую, чем в заклеенных прессой женщинами магазинах, прося права издания, я состыковался так плотно, что соглашался на любой тираж и на любую сумму гонорара, лишь бы его хватило переводчику, чтобы потом издать книгу на русском языке.

Всем друзьям-актерам был дан от ворот поворот с разъяснением, что Алыкул национальное достояние, что не годится утверждать на его роль актера по дружеским отношениям, что сыграет Алыкула только тот актер, который победит в честной борьбе на гласных кинопробах...

Двум, единственным, литературным журналам республики позволил опубликовать некоторые главы, чтобы перечислить причитающийся гонорар в фонд Алыкула, достаточный если не на организацию алыкуловского музея, то хотя бы на приведение в порядок убогой могилки Поэта...

Затем начались... Стоп! А что улыбаешься? Не веришь, дорогой редактор? Твое дело, можешь верить, можешь не верить. Ибо сам не верю, видел ли я подобный сон или нет. А вот в достоверности того, что расскажу я дальше, можешь не сомневаться.

Те периодические журналы и газеты, которым я и в самом деле предложил опубликовать главы из романа, остались абсолютно безразличными и к моему творению, и к судьбе алыкуловского наследия, и, тем более, ко мне, не удосуживая хотя бы вежливым отказом, не говоря уже о предоставлении какой-то профессиональной рецензии, которая в силу моей самоуверенности хотя и не нужна была, но смогла бы дать более или менее реальную оценку моей увлеченности работой над романом.

А один из главных редакторов киргизского радио почему-то потребовал справку хотя бы от трех современников Алыкула о том, что происходящие события в радиопьесе «Киргизский вальс, вальс любви», написанной по мотивам некоторых глав моего романа, соответствуют действительности.

И надо было видеть лицо главного редактора, который не в силах был скрыть свою полную обреченность и расстерянность, когда я не только достал не три, а четыре таких справки, но и привел одного живого современника Алыкула с собой, и тот после прослушивания радиопьесы сказал:

– Все правильно. Все соответствует истине, правда, кроме одной фразы, брошенной Жусупом Турусбековым о Тулпаре. Как записано в моих мемуарах, эта мысль была высказана мной.

Пьеса прозвучала в эфире два раза. Мысли о Тулпаре прозвучали все же из уст Жусупа Турусбекова.

А другой уважаемый мною кинорежиссер из старшего поколения еще в 1983 году, когда роман находился в процессе печатания на машинке, вдруг счел своим партийным долгом поставить в известность самое высокое руководство республики, что литературный сценарий многосерийного телевизионного художественного фильма об Алыкуле Осмонове мной написан на очень низком уровне, что нельзя меня пускать на такую ответственную работу.

Этому самозванному ревностному стражу алыкуловского мира я не стал доставать никаких справок или приводить живых свидетелей, ибо я-то знаю, что не только в 1983 году, даже сейчас, в апреле 1988 года, когда пишу эти строки, литературный сценарий еще не написан. Киновариант пока существует в задумке. Короче, позволил ему попробовать поймать черную кошку в темной комнате, тем более, что я ее пока не запустил туда...

Прочитавшему мой роман будет ясно, что Алыкулу не всегда безболезненно удавалось пройти редакторские пороги на пути к людям. Мало-мальски соображающие легко догадываются, что нынешнее время далеко ушло от минувшего, что тот чиновник и в подметки не годится чиновнику сегодняшнему, выросшему и количественно, и качественно.

То есть, когда я понял, что сегодня даже сам Алыкул не взялся бы за решение той задачи, в которую загнал я себя, то и намерился перевести роман на русский язык. К тому времени все равно был безработным (бывает у нас, режиссеров кино, когда годами сидим на простое без работы и зарплаты, сами удивляясь долготерпению наших жен и детей). Да и делать

теперь мне уже было нечего. В худшем случае, думал, поступлю так же, как и с киргизскими редакциями. А киргизским редакциям я просто перестал звонить, ходить к ним, интересоваться, а сотрудников не замечал на улицах.

Закончив перевод первых трех частей в объеме 16 печатных листов, предложил редакции журнала «Литературный Киргизстан», которая, как ни странно, без лишних проволочек опубликовала отрывок, правда, со значительными сокращениями, где ударные эпизоды изменились до неузнаваемости.

И вот больше года жду какой-нибудь реакции на радиопьесу и публикацию. Увы... Неужели так укоренилась привычка писать на самих себя характеристики?

Но все-таки журнальный вариант дал мне возможность на что-то надеяться, потому я принес рукопись на русском языке главному редактору издательства «Мектеп» с просьбой о включении в тематический план.

Главный редактор не отличался от своего собрата из киргизского радио. И он потребовал рекомендацию от русской секции Союза писателей республики. Правда, поступил гораздо изощреннее. Когда я и здесь все-таки умудрился принести требуемое, сказал:

— Поскольку Алыкул Осмонов, как поэт, является национальным достоянием, роман о нем вначале должен быть издан на киргизском языке. Вот тогда и посмотрим. Если не получит отрицательные отзывы, будем думать о допуске перевода на русский к рассмотрению на уровне редактора издательства...

И вот... Ты просил меня, мой друг, написать об острых и захватывающих моментах моей работы над книгой... Вскоре тебе надоест, если я буду продолжать рассказывать о тех инстанциях и ты потеряешь ко мне интерес, который появился у тебя исключительно в силу твоей молодости. Ну, а что я не знал? Не знал, можно ли, нельзя писать о поэте, то я не собирался блистать перед тобой своим остроумием; а говорил одну только правду. И вот еще о чем подумал. Хотя уверен, будет проще прочесть тебе небольшой отрывок из романа. Вот он...

«... Эй, человек, суетой повседневной опутанный! Что заставляет тебя, вступающего в пору нравственной зрелости, отрывать от неведомо сколько отпущенных тебе природой мгновений для заботы о себе самом и ближних своих ради того, чтобы вглядываться в прошлое свое? Что заставляет тебя, человек сегодняшней, думать о хлебе насущном предпочесть думы о прошлом своем? Желание увидеть корни свои? Стремление возвысить себя в глазах собственных? Определить себя и старше и мудрее?

Не увидеть будущего, не зная прошлого, и так же без прошлого не оценить настоящего. Так, строя дом, не знаешь, какой будет крыша, если фундамент неведом тебе.

Да, очень больно порой увидеть свой собственный след, находить там и славу свою и позор, честь и бесчестье, доблесть и унижение. Но все это ты, человек, отцом и матерью рожденный для дня сегодняшнего и родящий детей по образу и подобию своему для дня завтрашнего. И завтра дети твои, лишь придет к ним пора зрелости духа, начнут вглядываться в тебя, человек сегодняшней, определяя день свой грядущий.

Так было, так есть, так будет неизменно, как неизменно солнце, совершающее круги свои во вселенной, как неизменно реки начинают путь свой наверху и сливаются внизу в единое море, как неизменны утро и вечер, полдень и полночь.

Да, очень больно разглядывать свое падение, но эта боль очищает, ибо видишь ты, человек, что после падения, каким бы оно ни было долгим, начинается взлет. Если, конечно, в падении том ты сохранил в себе человека.

В народе всегда человек сохранится.

И в самом беспросветном мракобесе средневековья зреет эпоха Возрождения.

И униженный, физически почти уничтоженный, народ мой киргизский, ты возродился, ибо сберег язык свой в «Манасе», а душу в комузе.

Память держит человека на земле. Память хранит человека народом.

Будет подниматься и опускаться солнце, будут новые полдень и полночь, и неизменным будет в киргизском народе 5 декабря 1936 года. Ибо 5 декабря 1936 года - это гарантия:

КИРГИЗСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАНИЦ
КИРГИЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕРБА
КИРГИЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГИМНА
КИРГИЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА и самое
главное - имени своего -

КИРГИЗСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА.

Нет, не может муж похвастаться, что жена всегда и во всем ему верной была, как не может похвастаться народ, что среди братьев его уroda не было. Но также не может похвастать тиран, что не даст он народу сохранить в себе человека, ибо там, где нет человека, тирана там нет и народа там нет.

Я, человек, из племени киргизов, я пришел в пору своей нравственной зрелости, и, глядя назад, говорю: эпохой Возрождения моего народа стали годы предвоенные. Тому подтверждение день сегодняшней наш, когда всем открыто доступны школы и книги, театр и художника кисть.

Тому подтверждение эти вот имена: Г. Айтиев, К. Акиев, И. Ахунбаев, М. Баетов, К. Баялинов, Ж. Бокомбаев, О. Болебалаев, А. Боталиев, К. Жантошев, С. Кийизбаева, А. Куттубаев, М. Рыскулов, А. Малдыбаев, К. Маликов, А. Огонбаев, К. Орозов, А. Осмонов, Т. Сыдыкбеков, Ш. Термечиков, М. Токобаев, А. Токомбаев, Ы. Туманов, Ж. Турусбеков, Т. Уметалиев, А. Усенбаев, М. Элебаев и многие другие, ибо они – золотой фонд народа, культура моей республики – ребенок эпохи Возрождения, давший возможность впитать живительный сок «Манаса», первых просветителей опыт понять, чтобы начать строить здание профессиональной культуры.

И здесь – Алыкул, в этом списке - по праву, определенному народом, ибо одним из первых киргизов сумел воспринять три музы: слово, мелодию, живопись...

Он – Тулпар в поэтическом кладе киргизов и, мне кажется, первым стал возводить мост культуры между киргизским народом и русским его собратом, а через русский язык – к мировому богатству культуры.

Алыкул – Человек народа.

Полунищему, полуголодному, не раз глядевшему смерти в лицо, Великий Октябрь явился уверенностью завтрашнего дня. И для него самого. И для народа.

Алыкул – Человек народа.

Он изведаль мгновенья счастья, и отчаяние он испытал. Когда ему было плохо, он находил утешение у Пушкина или у Гете, Шота Руставели, Шекспира. Когда ему было плохо, он открывал народу огромные дали планеты.

А что касается самого процесса работы, то и здесь у меня не было ничего сверхэффектного. Потому что в основном сидел с архивными документами, раскладывая недолгую жизнь Алыкула по месяцам и неделям. Или разговаривал с его современниками, которые с ним провели эти самые дни и недели. А старики, понятно, редко впадают в суетливость.

В общем, раздумчивая тишина сопровождала мою работу. И тишина эта не могла обойтись без вопросов. Например, почему одни, воздавая должное величию Алыкула, всегда находили какой-нибудь штрих, подчеркивающий собственные усилия для этого возвеличия? Другие (а их было явно меньшинство) пожимали в удивлении плечами, чего, мол, ты нашел в нем? Третьи говорили откровенно, что я занялся не своим делом и должен оставить им часть собственного материала, чтобы и они могли внести свою лепту в создание образа Поэта...

Все так. Именно поэтому я и начал писать об Алыкуле. Его жизнь, его творчество настолько неоднозначны, что невозможно измерить линейкой, нужен вариометр. Ибо в этой неоднозначности мне открылось удивительное единение судеб моей республики и самого Алыкула Осмонова, из-за чего остался он в моей душе светлой и очищающей болью...

...Как-то в 1937 году Алыкула вызвал следователь НКВД, выступавший в Союзе писателей, и начались бесконечные допросы.

Алыкул хорошо знал, чем может обернуться для него любое неосторожное слово. Методика допросов была доведена до совершенства, до автоматизма: вопросы лишь видоизменялись, а ответы подгонялись под нужную, давно выструганную колодку, чему в немалой степени способствовало и то, что одни

с огромным трудом соединяли в себе киргизские слова и незнакомые русские понятия, а другие беспрекословно выполняли указания...

Поэтому Алыкул не только не называл имен, но и замкнулся в себе, избегал встреч с друзьями и знакомыми.

В конце концов, допросы Алыкула прекратились. Жить в городе, когда, казалось, каждый шаг наблюдаем, каждое слово запоминаемо, было невыносимо.

И он покидает столицу. Путешествует вокруг Иссык-Куля с комузистами и ырчи, общается с животноводами Ала-Тоо, крестьянами юга республики, впитывая в себя живительные соки устного народного творчества. Это общение сначала приводит его к разочарованию в собственном творчестве, и тогда он уничтожает любую из попавшихся на глаза собственных книг. Но затем тесное соприкосновение с многовековой восточной мудростью, столь щедрой на легенды, раскрывает в нем талант мыслителя, и тогда он берется за перевод произведений Шекспира, Пушкина, Низами. Причем выбирает у них произведения, в которых идет речь о добре и зле, коварстве и любви, бережном отношении к человеку, его таланту – несомненно сказывались пережитые потрясения. Уровень же переводов такой, что и современные критики подчас удивляются глубине проникновения в философский и поэтический мир выдающихся мыслителей прошлого. А ведь Алыкул в то время не перешагнул еще порог и двацатипятилетия...

Тогда же он создает первый вариант поэмы «Толубайсынчы» по мотивам в далеком детстве услышанной от Оогонбая-аба легенды о знаменитом знатоке скакунов Толубае. Алыкул прекрасно понимал то, что он не обладает такими бойцовскими качествами, как Джоомарт Бокомбаев, не имеет такого авторитета как Аалы Токомбаев, и не так любим народом, как Жусуп Турусбеков, но уже понимал, что время – лучший судья происходящих событий, что только время определяет каждому его место на земле.

Описывая скакунов, он наделил их теми качествами, которыми отличались окружающие его люди, себя представляя

в роли забитой серой клячи, мечтающей стать непревзойденным Тулпаром.

Нет, то не было гипертрофированным самомнением вдруг оказавшегося в опале поэта. Да и откуда было взяться самомнению на высокогорных сыртах или возле голубой глади безбрезжного Иссык-Куля, когда остаешься один или находишься в окружении простых тружеников, которым пока еще неведомы такие понятия, как национализм, шовинизм, карьеризм и порожденное ими киргизское понятие жыргализм, предлагавший ограничиться полным равнодушием к происходящему, хмельным ничегонеделанием.

Скорее то была трезвая самооценка поэта, не оглушенного незаслуженной обидой и преследованием, а ясно видевшего и понимавшего реалии сложного времени, когда несмотря ни на что выпрямляя, мужал киргизский народ, закладывая фундамент профессиональных начал во всех житейских и духовных сферах своего бытия, отдавая себе отчет в том, что явилось движущей силой самосознания. Ибо не пройдет и сорока лет, и благодарные потомки назовут Алыкула Осмонова первым лауреатом премии ленинского комсомола республики, как и легендарного Николая Островского, давно признав в нем непревзойденного тулпара киргизской поэзии.

Я понимаю, что у каждого поколения свои идеи, свое философское их осмысление, тем более, что вопросов у жизни куда больше, чем ответов. И есть один ответ – общий, вненациональный, что ли...

Фотографии на кладбищенских крестах у немцев смотрят на восток, у русских – на запад. Мне довелось видеть две могилы, где посмертные портреты как бы вглядывались друг в друга.

Трагедия Великой Отечественной войны живет в миллионах и миллионах членах моей семьи, и я больше всего не хочу, чтобы только там, на кладбище, люди умиротворенно размышляли друг о друге... Нужно найти для этого время еще при жизни, чтобы эту жизнь сохранить и, обогатившую, передать нашим потомкам.

Да, редактор, киргизы очень любят легенды, мы с тобой знаем это. Эпоха Алыкула – тоже легенда, но создаваемая. Я в романе «Светлая боль моя» не преследовал цели отвести

каждому событию свое место, иногда намеренно отступал от времени, иногда опережал его. Ибо цель свою видел в том, чтобы не просто брат узнал брата, а чтобы брат подумал о брате, о гордыне и тщеславии при этом не задумываясь...

Вот почему я написал об Алыкуле Осмонове. И все, что написал здесь, в этой статье – правда. За исключением утверждения, что больше не буду. Обязательно буду, редактор!

И последнее. Хотелось бы просить редакцию изыскать возможность включить мои соображения в книгу об Алыкуле на том языке, на котором я написал, то есть на русском. Если очень необходимо, можно напечатать вслед за оригиналом и перевод. Думаю, с переводом собственной статьи на киргизский справлюсь, а гонорар все равно идет в фонд Алыкула, так что моих денег никто из друзей считать не станет... В нашей республике накоплен весьма прогрессивный опыт печатания в одной и той же газете или книге произведения, как на русском, так и на киргизском языках, к тому же я еще не знаю, на каком языке роман выйдет раньше, в какой одежде предстанет впервые.

И еще очень хочется надеяться на то, что данная моя работа не явится ложкой дегтя для остального меда в огромной бочке, которую предлагается подать в честь Алыкула.

А потому прошу мне позволить закончить эти заметки посвященным Алыкулу Осмонову собственным стихотворением, написанным на языке бессмертных творений моего любимого Поэта.

Тагдыры төрөлгөндөн азуу жанып,
Тар кыя сапар чектеп катуу багыт.
Тенирден тилеп алган энесине,
Тез эле о дүйнөнүн мөөрүн тагып.
Атасын андан кийин атказыптыр,
Алыска, акыреттик жолго салып.
Ааламдын агын-көгүн биле электе,
Азапты жаадырыптыр долуланым...

Атаке, апакелеп жаагын жанып,
Айылда жездесинин малын багып.
Далбасын тирүүлүктүн кылган экен,

Далай күн суусун алып, отун жагып.
Өңүнө из түшүрсө аптап күндөр,
Өпкөсүн ызгаары күч суук кагып.
Кендири кесилиптир бармактайдан,
Кээде ток, кобүн эсе ачка калып.
Оң келип Октябрьдын шамы жанып,
Опаасыз эски турмуш жаңыланып.
Бактысын ачкан дешет орус аял,
Байкушту бала кылып багып алып.
Молондоп тамга таанып өсөт көөнү,
Мойнуна кызыл жагоо тагып алып.
Чыйырсыз жолго чыгат тартынбастан,
Чырагын акындыктын жагып алып.

Махабат учкунуна күйүп-жанып,
Максатты Улуу-Тоодой үйүп салып.
Чынданып Журттун жүгүн көтөрүнүп,
Чыкканда бабалардын күүсүн кагып.
Капшыгы кайран эрдин эңшерилет,
Капилет кабыргадан оору чалып.
Аёосуз жигит мизин кайтарыптыр,
Антташкан жары чанып кетип калып.

Азезил шамшарынын мизин жанып,
Айласы кетип турса заман тарып.
Айрымдар курдаштыкка ниет булгап,
Акындын алды-артына капкан салып.
«Айраның капкара уюп калыптыр», - деп,
Акылга сыйбай турган айып тагып,
Жылдызын жаңы чыккан батырууга,
Жыйнашат ушак-айын өлүп-талып.

Чыйралып эр намысы, кайра жанып,
Чыдаптыр барлыгына белин таңып,
Мүрөктүн суусун сунуп уу бергенде,
Мүдөөсүн аткарыптыр... Миң алданып...
Опол тоо, элдин, жердин, замананын,
Оорусун Ата Журттун мойнуна алып.

Өзгөгө кыянаттык жасабаптыр.
Өмүрдө наамартчылык ишке барып.

Желаргы шөкүлөсүн чийдин жанып,
Желпонтсе кыска өмүрдөн кабар салып.
«Жакшы ырдан мончок таксам жергеме» деп,
Жаш акын тилек кылат кыялданып,
Кагазга түрмөк-түрмөк ыр төгүлөт,
Кадимки саймалуу тер ыранданып,
Азыр да ошол «бермет-шуруларды»
Адам жок «тагынбаган» кумарданып...

Кебелбей мезгил оту дайым жанып,
Кең аалам өркөчтөнөт, кээде тарып.
Асмандан өчүп-өчүп сансыз жылдыз,
Азаят өмүр дагы суудай агып,
Өтсө да жеке менчик чыйыр менен,
Өзүнө жарашыктуу дүбүрт салып.
Дүрбөлөң түшкөндөр бар; өчүрсөк деп
Дүрбүрттүн же жылдызың күйгөн жанып.
Жан кыйнап айлап-жылдап алышканым,
Жандыруу пенделиктин табышмагын.
Эч кимге залалы жок «кембагалга»,
Эмне үчүн кайып-каскак жабышканын?

Азыр да атын укса кай бирөөлөр,
Сиркеси суу көтөрбөй калышканын?
Жылдызы Алыкулдун чыгаар тушка,
Жылчыксыз парда тагып алышканын?
Мен дагы күйүп түтөп жанып келем,
Мээнетке өз башымды малып келем...
Чек койгон кең ааламга эни кууш,
Чече албай кыргызымдын табышмагын...

В случае принятия моих пожеланий, обязуюсь для киргизского варианта статьи дать перевод этого стихотворения на русском языке.

С уважением, кинорежиссер (Подпись) Д. САДЫРБАЕВ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Отчизна юная моя!
Позволь мне, сыну твоему,
Принять заботы и невзгоды,
Принять печаль и боль твою.
Позволь, как дочь свою,
Тебя согреть своей любовью,
Чтоб не озябла на ветру...¹

А Осмонов

Поздняя осень привычно раздела землю, готовя ее к долгому зимнему сну, и голые ветви деревьев, как изношенный до лохмотьев чапан, не могли сохранить последних крох тепла. Серые плотные тучи скрадывали пологие лучи солнца. Аил Каптал-Арык зябко ежился в ожидании близкого снега.

А чуть выше аила, вдоль густой стены безбрежных зарослей высохшего толстоствольного курая, суетливо метался зареванный мальчик лет пяти-шести. Он часто падал, то спотыкаясь о корягу, то путаясь в полах длинющего чапана, но вновь поднимался, настырно продолжая свое отчаянное кружение. Огромная шапка все время сползала на глаза и приходилось постоянно поправлять ее, одновременно размазывая грязными ладошками безудержные слезы.

Наконец, решившись, он ринулся вглубь зарослей, и высокие толстые стебли окружили его, нагоняя страх сухим шумом и треском. Здесь мальчик падал чаще и плакал громче, пока не наткнулся на старого серого козла – вожака стада. Тот удивленно выпучил выцветшие глаза, перестал жевать.

¹ Здесь и далее стихи А. Осмонова даны в переводе автора.

– Домой, домой, паршивец! – всхлипывая, произнес мальчик.

Козел только насмешливо фыркнул и снова занялся своей жвачкой. Мальчик запустил в него комок земли, убеждая и животное и главным образом себя, что вовсе не намерен шутить. Но тот, издав грозное «фу!» и приободрившись от собственной удали, опустил рога, изготовившись к решающей схватке. Тогда мальчик запустил в него свою шапку, которая вдруг неожиданно напаялилась на рога. Козел опешил, замотал головой, стремясь избавиться от помехи, но шапка только глубже сползала, закрывая теперь уже и глаза. Несколько раз подпрыгнув, но, так и не избавившись от внезапно наступившей тьмы, козел истошно завизжал и бросился в заросли, распугивая своим видом все стадо. А мальчик в страхе ринулся прочь, но споткнулся, упал, и, не делая попытки подняться, лежал ничком, закрыв голову маленькими руками, и сердце его билось не менее громко, чем топот ошалевшего козла. Мальчик даже не услышал, как на его крик прибежал Оогонбай – могучий мужчина лет под сорок, в скромной, изрядно заношенной одежде. Опустившись на колени, он подхватил мальчика на руки, прижал к себе.

– Байке, что с тобой? – встревожено, спросил он, чуть картавя. – Ну-ка, посмотри на меня... Это же я, Оогонбай... Ну что ты, ну ...

Мальчик продолжал судорожно всхлипывать.

– Ну, успокойся... Ну, хватит... Как ты здесь очутился?

– Стадо разбежалось... Они все потерялись... Как я их соберу?.. Жезде убьет меня теперь...

– Зачем же тебя убивать? Вот сейчас мы выгоним отсюда всех твоих козлят, соберем и отведем домой. И не бойся ты своего жезде, потому что пока есть я – никто тебя и пальцем не тронет. Ну, успокойся...

Когда Оогонбай и мальчик выводили стадо из зарослей курая, им с необычайным рвением помогал старый серый козел, вид которого моментально утерять недавнюю надменность и

строптивость. Он угодливо заглядывал в глаза Оогонбаю, словно просил прощения – вот, мол, какой я послушный и умный, как я быстро исправился.. А стоило какому-нибудь козленку хоть немного поддаться в сторону, как бедолага тут же получал хороший удар от жожака.

Оогонбай шел, в одной руке держа доверчивую ладошку мальчика, а другой – вожжи, за ним плелся ишак, тянувший небольшую двухколесную арбу, доверху нагруженную кураем. По тому, как легко ташил ишак арбу, можно было догадаться, что груз отнюдь не тяжел, хотя со стороны арба с кураем могла показаться огромным домом с высокой крышей.

– Ну, Алыкул, ну, успокойся, байке... Мы же отыскали твое стадо, и никто тебя не будет ругать. Давай-ка вытрем слезы... Вот так... А то люди засмеют нас, будут говорить, что два батыра не смогли справиться с одним дряхлым козлом...

Поверив угодливому козлу, они и не заметили, что в стаде не хватает одного маленького козленка.

Вскоре показался аил, где шла своим чередом жизнь: подростки загоняли скотину, женщины разжигали очаги и доили коров. Невысокого роста мужчина с нарочитой медлительностью свойственной только айльным жителям, вывел своего коня на водопой, привязал его к высокому старому тополию возле арыка, набрал воды в ведро и поставил перед конем, хотя куда проще было дать возможность своему коню самому напиться прозрачной арычной воды...

Жезде Алыкула, верзила Черик, стоял, слегка пошатываясь, возле своего дома. Стадо коз привычно обогнуло его и, прижимаясь, друг к другу, устремилось в загон. Даже по кротости животных было видно, каким грозным властелином являлся Черик для всего живого в этом доме...

Когда и Алыкул собрался прошмыгнуть вслед за козами, его остановил повелительный голос:

– Ты где пропал, паршивец?

– Он не виноват, байке... – подходя к Черику, заступился за мальчика Оогонбай. Конечно же, Оогонбай был старше Черика, как естественно и мальчика, но обращение «байке» он относил ко всем людям, независимо от их возраста и положения. – Ты

же знаешь, что козы – самые непоседливые животные, нам и вдвоем с трудом удалось выгнать их из зарослей курая...

Черик, не дослушав, схватил Оогонбая за грудки, притянул к себе вплотную.

– Эй, байке, осторожнее, пожалуйста, – попросил его Оогонбай, – ведь так можно ненароком и порвать мою единственную одежонку... Когда еще я приобрету себе другую?

Воспользовавшись тем, что взрослые выясняют между собой отношения, Алыкул прошмыгнул во двор.

– ... И вообще, отвернись, байке, я очень прошу тебя, потому что из твоего рта до того прет бузой что меня может запросто стошнить...

– Послушай, ты, болван, – задохнулся от ярости Черик, все еще не выпуская Оогонбая, – если ты еще когда-нибудь будешь вмешиваться в мои дела...

– Ну, что ты, нет, конечно, я никогда не буду вмешиваться в твои дела... – поспешил заверить его Оогонбай.

– Тогда я пересчитаю твои зубы! – все-таки закончил свою главную мысль Черик.

– Ай, байке, ну зачем утруждать себя и пересчитывать мои оставшиеся полтора зуба... – улыбнулся Оогонбай.

Черик кулаком приподнял подбородок Оогонбая, затем оттолкнул от себя, зло процедив:

Убирайся! И чтобы нога твоя больше не ступала возле моего дома!

– Хорошо, байке, хорошо, – согласился тот, – ну, а если я на ишаке проеду, можно?

– Пошел вон, идиот.

– Хорошо, байке, хорошо...

Оогонбай, одернув одежду, потянул ишака за уздечку и направился к своему дому. Однако, сделав несколько шагов, он вдруг подумал, что Черик, в сущности, оскорбил его и что необходимо ответить ему достойно. Он оглянулся, но увидев, что Черик занялся своими хозяйственными делами, вздохнул и продолжил путь. Тем не менее, через минуту ему все же пришлось вернуться к дому Черика, потому что оттуда вдруг раздался душераздирающий женский крик.

Во дворе, под навесом, Черик избивал свою жену Марию, старшую сестру Алыкула.

Мария лежала ничком, закрывая измазанными в тесте руками лицо. На крик сбежались соседи, но никто не решался вмешиваться в чисто семейные дела: может, не случайно Черик наказывает свою жену вне дома, может, и впрямь она изменила мужу, и тогда Черик прав, избивал ее принародно, как обычай велит.

И Оогонбай колебался. Но вот Черик, намотав на левую руку волосы жены, приподнял ее, и Мария закричала еще истошнее и пронзительнее, а в следующее мгновение умолкла, оглушенная могучим ударом огромного кулака. Голова женщины безжизненно поникла, изо рта потекла кровь. Черик брезгливо отшвырнул женщину, замахнулся ногой, чтобы нанести удар в живот, но в это время подбежавший Алыкул повис у него на ноге.

Словно котенка Черик схватил мальчика за шиворот и отшвырнул в сторону. Пролетев несколько метров, Алыкул воткнулся головой в потухший очаг, взметнув облако золы. Черик вновь замахнулся на жену, и вновь ему не удалось ее ударить, потому что теперь уже Оогонбай ухватил его сзади, при этом он сжал обе руки Черика, оттащил его в сторону, чтобы тот не мог ударить жену ни рукой, ни ногой. Черик задержался, пытаясь вырваться из объятий, но безуспешно.

– Отпусти, болван! – зло выдохнул Черик. – Отпусти, а то и тебе достанется!

– Прошу тебя, байке, успокойся, – прерывисто произнес Оогонбай, изо всех сил удерживая Черика. – Ты же вон, какой здоровый, ненароком еще убьешь ее... А она жена твоя... Успокойся, прошу тебя, байке...

– Отпусти!

– И не подумаю, пока не пообещаешь, не трогать ее...

– Ладно, не буду я ее трогать, – поняв, что ему не выбраться из железных объятий Оогонбая, наконец-то пообещал Черик.

– Честно?

– Да!

– Ну, вот и слава богу...

Но не успел Оогонбай разжать руки, лишь только ослабил хватку, как Черик, резко развернувшись, схватил его за грудки и процедил сквозь зубы:

– Я обещал тебе пересчитать все твои зубы, если ты будешь вмешиваться в мои дела?

– Не совсем так, но...

– Вот и получай!

Удар в лицо был настолько сильным, что Оогонбай, отлетев на несколько шагов, распластался под навесом. От новых ударов его спас кто-то из соседей, возмущенно произнесших:

– Да что же это творится? В нашем аиле, наверное, не осталось ни одного человека, не испытавшего на себе кулаки этого верзилы Черика! До каких же пор можно все это терпеть?

Черик оглянулся. И этого было достаточно, чтобы Оогонбай поднялся на ноги.

– Донуз! – бросил Оогонбай, сплевывая кровь с разбитых губ, одно из самых презрительных оскорблений, ибо свиньей обзывали тех, кого люто ненавидишь. – Наверное, ты уже совсем зарвался из-за того, что айльчане все еще терпят тебя...

И он сделал то, чего никто не ожидал от него. Ведь как всегда было? Противники сблизятся, осыпая друг друга всевозможными ругательствами и проклятиями, потом схватятся за грудки, и лишь после этого начинают собственно драку, когда принимаются лупить кулаками по чем попало. И, как правило, побеждает тот, у кого кулаки крепче. Или голова.

Вот и сейчас, Оогонбай, воспользовавшись короткой заминкой, медленно поднялся, не отрывая свирепого взгляда от Черика, и беспрестанно сплевывая кровь, произнес еще раз:

– Донуз!

Затем скинул чапан, отбросил в сторону, и его тут же подхватил кто-то из зевак. Потом аккуратно снял свою всегда бережно хранимую старую заплатанную шапку и передал ее еще кому-то. Больше он, вопреки всеобщему ожиданию, не произнес ни слова. Но, расстегнув несколько пуговиц на рубаше, и издав какой-то непонятный гортанный звук, от которого все присутствующие вздрогнули, нелепо подпрыгнул на месте и бросившись на Черика, с силой боднул его в лицо. Теперь уже тот распластался, на мгновение потеряв сознание.

Оогонбай не стал добивать лежащего противника. Он подождал, когда тот хоть немного придет в себя, встанет, очумело мотая головой. И только после этого нанес мощный удар в ухо, от которого Черик отлетел на несколько метров, и, ударившись об одну из стоек навеса, упал. В следующее мгновение навес накренился, протяжно закрипел. Полетели в разные стороны снопы клевера, аккуратно уложенные на самом верху, обдавая пылью и дерущихся, и зевак. Затем рухнул и сам навес, вырвав из толпы испуганный вскрик.

А когда улеглась пыль, тогда присутствующие увидели, что Черику и на этот раз повезло. Основная балка навеса, к его счастью, упала буквально в нескольких сантиметрах от головы, и плотно сложенный стог рухнул, чудом не задев Черика. Лишь только несколько сухих тополиных веток, служивших потолком навеса, пришлось на его долю, не причинив, впрочем, особого вреда.

И хотя здесь собралось почти все население айла, включая женщин и аксакалов, тем не менее, никто не спешил соблюсти вековые традиции - разнять дерущихся, не доводить ссору до окончательного разрыва. Наоборот, пожилая женщина, одной из первых прибывшая на шум скандала, начала громко подбадривать Оогонбая:

— Слава богу! Хоть один человек в айле нашелся, который не зря носит штаны и шапку! Хоть один набрался храбрости и достойно ответил этому хаму!

— Зачем ты натравливаешь их друг на друга? — строго произнес седобородый старец. — Ведь им жить и жить еще. Мы же один айл, и ты зря радуешься, соседка...

— Вот ты какой добренький! — выпалила женщина. — А я готова расцеловать ноги и руки этому молодцу, который показал себя настоящим джигитом! Ведь когда этот негодяй издевался надо мной, во всем айле не нашлось ни одного настоящего мужчины... Оогонбай, миленький, поддай ему еще хорошенько, чтоб он подох под своим навесом как грязная свинья!

Тем временем Черик с большим трудом выбрался из-под обломков навеса, встал, пошатываясь. К нему подошел кто-то из мужчин, произнес участливо:

Может быть хватит, а?

Черик отрицательно замотал головой, с трудом разлепляя разбухшие губы, пробормотал:

– Я ему покажу, как надо драться по-настоящему...

– Как знаешь... – развел руками мужчина, скорее обращаясь к айльчанам, нежели к самому Черику, словно объясняя им, мол, я попробовал развести ссорящихся, но мне не удалось, – Только учти, он все-таки посильнее тебя...

– А это мы сейчас увидим... – процедил сквозь зубы Черик.

Мужчина, пожав плечами, отошел. Черик, пошатываясь, направился к загону своих коз. Оогонбай внимательно следил за ним, не понимая пока, что тот задумал. Но когда Черик потянулся за серпом, Оогонбай в один прыжок оказался рядом, левой рукой повернул его голову, а правой нанес такой сокрушительный удар в подбородок, что Черик упал, словно подкошенный.

Прошло несколько секунд. Либо Черик потерял сознание, либо понял наконец-то, что ему и в самом деле не справиться с Оогонбаем, и если он вдруг сейчас поднимется, то на него вновь обрушатся эти страшные удары, и он остался лежать недвижимо.

– Вставай, байке, не заставляй меня бить лежачего... Хватит притворяться... – произнес Оогонбай, наступая на одну из ладоней раскинутых рук Черика. – Поверь, байке, я еще только начал настоящую драку...

Сзади к нему подошел тот самый старец, что недавно пытался утихомирить женщину, желавшую покрепче проучить Черика. Он взял Оогонбая за руки, потянул его в сторону, ласково, но вместе с тем и настойчиво приговаривая:

– Достаточно! Ты и так уже надолго проучил его... А лежачих не бьют, ты же сам это знаешь...

– Вот и пусть встает!

– Ну, ладно, ладно, успокойся...

Они подошли к людям. Тот, кто все это время держал чапан Оогонбая, теперь бережно накинул его на плечи сегодняшнего героя. Другой протянул шапку, а потом бережно поправил ее. Затем, перебивая друг друга, люди заговорили, обсуждая происшедшее.

– Ты молодец, Оогонбай, но теперь уже хватит...

– Ай да молодец!

– Хо, была бы у меня такая сила, как у Оогонбая, да я любому быку шею свернул бы!

– А он еще и не такому быку свернул шею!

– Ай, послушай, Оогонбай, расскажи нам, где научился так драться? Ведь никто и никогда не знал о таких способах. Может быть, ты это все сам придумал?

– Э-э, дорогие, кто угодно побывай в тех местах, где Оке побывал, еще и не такому научился бы. Он же не зря провел пять лет в Мерке! А там и дунгане, и китайцы, и вообще, кого только нет!

Женщины приводили в чувство Марию: кто аккуратно похлопывал по щекам, кто брызгал принесенной водою... Алыкул, обняв колени своей старшей сестры, бился в рыданиях.

– А красивая была драка!

– Еще бы!

– Все равно нехорошо получилось. Соседям драться - это не по обычаю... Не иначе, как нагрянет беда, по приметам, быть несогласию у всего айла.

– Э-э, не те времена теперь! Это раньше баям да манапам на пользу шло, когда айльчане между собой враждуют. А Советской власти это совсем не нужно, если что мыльйса из Кайыпды позовем, он и того и другого образумит...

– Из-за чего вообще все началось-то?

Пришедшая в себя Мария, с трудом переводя дыхание, прижимая к себе еще рыдающего Алыкула, чуть слышно прошептала в ответ:

– Вот из-за него... Пришел с козлятами... которых пас... да один затерялся... где-то, в загон не вернулся... Вот Черик и набросился...

– Ну и что же, что козленок не вернулся? – обвел взглядом окружающих седобородый старик. – В нашем айле, слава богу, ни волки, ни воры никогда не водились. Сегодня нет, так завтра бы объявился, куда ему деваться? А я-то подумал грешным делом, что ты Мария, обошла шариат по своей женской чести...

– Ох... – протяжно вздохнула Мария, – да посмею ли я со своей внешностью и такой судьбой нарушить законы шариата...

– И неожиданно горько-горько заплакала, прижимая к себе рыдающего Алыкула. – О-о, создатель, и зачем только родители уготовили мне такую участь на этом свете, и зачем только надо было увидеть мне солнце! Зачем родители оставили мне и этого несчастного ребенка, когда и без того каждый прожитый мною день – все одно, что выпитый яд... Что мне теперь с ним делать? Кто мне ответит? Вы, аксакал? Или может быть вы, мои добрые соседи? О, создатель, будь проклят тот день и тот час, когда я появилась на белом свете, когда первый раз вдохнула воздух этой проклятой жизни, когда первым своим криком известила о себе всему этому миру! О-о, создатель!..

Люди, окружившие Марию и Алыкула, стояли молча, не смея поднять на них глаза. А мимо робко, неуверенно прошагал малюсенький бурый козленок, приостановился, мельком взглянул на людей, и направился мимо упавшего навеса, мимо лежавшего Черика, даже не обходя его стороной, в загон, туда, где сгрудилось в испуганном молчании все стадо.

Стояла глубокая ночь. Темнота была такой густой и плотной, что ее не могли раздвинуть ни языки пламени из очага, ни крохотный примитивный светильник «шайтан чырак» (то есть «чертов светильник», – башмакообразный сосуд, отлитый из чугуна и наполненный каким-нибудь жиром, куда опускается скрученный из хлопка самодельный фитиль).

Возле очага, поджав под себя ноги, сидел Оогонбай. Сегодня ему повезло, в силки попало три кеклика. Теперь, нанизав их на палку, он осмаливал перья, готовя себе царский ужин.

Тихонько скрипнула дверь, скрипнула робко, будто сама опасалась чуть ли не физически ощущаемой тишины, которую изредка нарушало лишь потрескивание редких капель жира, падавших с кекликов.

– Эй, кто там? – спросил Оогонбай, не оборачиваясь и продолжая пристально следить за тем, как осмаливаются птицы.

Ответа не последовало.

Чуть качнувшись в сторону, пошевелив плечами, чтобы хоть немного размять затекшее тело, Оогонбай вновь углубился в свое неторопливое занятие. Но когда пламя в очаге всколыхнулось от струи холодного ветра, он все-таки обернулся, недовольно нахмутив брови. И увидел у порога едва различимую в темноте маленькую фигурку человечка с крохотным узелком в руке.

– Алыкул? – удивился Оогонбай. – Это ты, байке? Ну что же ты стоишь? Проходи, пожалуйста... - Приставив к стенке очага вертел с кекликами, он встал, шагнул навстречу мальчику. - Что с тобой? - спросил, забирая полосатый узелок. – Неужели из дома сбежал? Ну, проходи, проходи...

– Нет, сестра сама отпустила меня... – он поднял голову, посмотрел на Оогонбая и, испугавшись, что тот может не поверить ему, поспешно добавил. – Она меня попросила, скажи, мол, дяде Оогонбаю, чтобы отвез в детдом, где говорят и кормят, и одевают точно таких же сирот-детей, как и я... И еще она попросила сказать, что когда я вырасту и стану большим и сильным, я обязательно отвечу добром на добро... Только, пожалуйста, помогите мне добраться до этого самого детдома...

Оогонбай ничего не сказал, молча обнял мальчишку за хрупкие плечи, провел поближе к очагу. Пристроил узелок на подоконнике, снял с Алыкула чашан и бросил на одеяла, что были сложены аккуратно стопой на сундуке. Затем расстелил достархон, положил на него несколько кусочков лепешки. Усадив Алыкула, и сам присев рядышком, он, наконец, произнес:

– Тебе когда-нибудь доводилось есть жареных кекликов?

– Нет... – удивленно поднял глаза Алыкул.

– Тогда сейчас будешь есть! – довольно улыбнулся Оогонбай.

Он взял в руки палку с нанизанными тремя кекликами и, показывая Алыкулу поведат:

– Сегодня, когда я ездил за хворостом, то поставил петли. И представляешь, сразу четверо попались! Правда, четвертый улетел, когда я их освобождал, да я думаю, нам и трех вполне достаточно, а?... И сейчас мы такую вкусную еду приготовим, что только пальчики оближешь! Не веришь? Смотри и учись,

мой байке, когда-то мне довелось услышать, что их вот так вот надо готовить.

И к удивлению мальчика, а, возможно, и к своему собственному, потому что это ясно читалось на его лице, он натер каждого из кекликов каким-то жидким маслом из деревянной доски, посыпал солью. Затем толстым сучком пригасил пламя в очаге, подержал над красными угольками тушки птиц.

Несколько раз повторил он эту операцию, пока не удостоверился, что пища готова.

Жадно поглядывая на священнодействия Оогонбая, Алыкул сглатывал слюну, и по его взгляду легко было догадаться, что он согласен есть и не совсем дожаренное мясо...

Оогонбай положил одну тушку перед Алыкулом, другую перед собой, молитвенно сложил руки и полусерьезно произнес, обращаясь то ли к небу, то ли к сидящему рядом в нетерпеливом ожидании голодному мальчику:

– Будь благословенна сия пища!

Алыкул, схватив тушку, тут же уронил ее на достархон, принялся дуть на обожженные пальцы. Оогонбай осторожно подхватил птицу за торчавшую косточку, аккуратно разделал на несколько частей и разложил перед Алыкулом:

• – Прошу, почтеннейший мой байке... Теперь ты не обожжешься...

Они принялись за еду. Алыкул – торопясь, все равно обжигаясь, едва прожевывая, Оогонбай – степенно, аккуратно, не забывая при этом незаметно подкладывать мальчишке наиболее лакомые кусочки. Поэтому и трапезу они закончили почти одновременно, повеселевшими глазами посмотрели друг на друга. Неожиданно Алыкул спросил:

– Дядя Оогонбай, а где ваша жена?

Тот несколько мгновений помолчал, потом посмотрел на мальчика, будто удивляясь, с чего это такой вопрос в голову пришел, потом пожал плечами, коротко ответил:

– Ушла она от меня...

– Как? – не понял Алыкул.

– Да вот так... – развел руками Оогонбай. – Язык, говорит, у тебя – не позавидуешь, на людей стыдно глаза поднять, когда ты, это значит я, пытаешься что-то сказать. И дом у тебя, говорит, не как у людей, да и сам ты, говорит, не такой как все, больше чокнутый, чем нормальный. Не хочу, говорит, губить свою молодую жизнь, потому что с тобой никогда не станешь богатым... Вот так вот она мне сказала и ушла с каким-то приезжим. Только добавила на прощание, что теперь, мол, Советы кругом, и потому она женщина свободная, мол, попробуй теперь только тронь ее... Вот так, малыш... – вздохнул Оогонбай.

– А что, Советы для того, чтобы жены уходили?

– Не совсем, байке, но так она сказала...

– Да разве можно так поступать?

– Значит, можно, если ушла... Ну а другой женщины я брать уже не стал – что, если и она уйдет? Тогда мне айльчане прохода не дадут своими насмешками. Да и, честно говоря, одному не так уж и плохо...

Он говорил неправду, и это разглядел даже такой мальчишка, как Алыкул, тем более, что Оогонбай, грустно поглядев на затухающий огонь в очаге, со вздохом добавил:

– А она была очень красивой...

Мальчик подсел к нему поближе, прижался плечом, принялся успокаивать:

– Не расстраивайтесь, дядя Оогонбай, – произнес он, – когда я вырасту большим, то приведу вам женщину, которая никогда-никуда не уйдет. И она будет самой красивой во всех айлах, до которых можно доехать на лошади.

– Да? – удивленно поднял брови Оогонбай.

– Да, – кивнул Алыкул.

Оогонбай внимательно посмотрел на мальчику, словно обдумывая какую-то мысль, потом произнес задумчиво:

– Ну что же, вообще-то может быть... Ведь ты так похож на человека власти...

– А что это такое?

– А это то, что ты можешь стать очень и очень большим человеком... На некоторых людей достаточно мельком взглянуть, как сразу увидишь, что если он будет жить, то будет

воду из золотой чаши пить. Ты уже достаточно подрос, теперь ты уже будешь долго-долго жить, а когда подрастешь, то в худшем случае станешь сельсоветом, а в лучшем - мыльйса.

– Мыльйса? – мальчик недоверчиво посмотрел на Оогонбая.

– Да, я же вижу, что ты станешь большим человеком. И вот представь, что у тебя на голове будет красная шапка с этим... Ну, как его... Ну, с которым делают ыдырасты, – он приложил большую корявую ладонь ко лбу, изобразив козырек. – Так вот, на тебе будет такая красная шапка и длинный кожаный чалан, и ты на белом коне приедешь в наш аил Каптал-Арык. Люди будут встречать тебя с большими почестями, как встречают знатных гостей, отведут в специально поставленную юрту. Все будут очень рады твоему приезду, и только негодники вроде Черика и Орозбека спрячутся в страхе... Ведь они же не будут знать о цели твоего приезда. А ты молчишь. И они даже не смеют войти в твою юрту... И не только они, никто из айльчан не решается побеспокоить тебя. И тогда кто-то восклицает: «Эй, да как же мы не можем сообразить, что у нас есть Оогонбай! С такими людьми, людьми большой власти на равных может говорить только он один. Надо позвать Оогонбая!» «И действительно, – подхватывают другие, – как же мы сразу не сообразили, что надо пригласить сюда Оогонбая, чтобы он поговорил с человеком власти». Ха, но они ведь ошибутся, если подумают, что я пойду, ведь к тому времени я и сам буду очень важным. И только когда соберутся все аксакалы айла и хорошенько меня попросят, тогда я накину на плечи белый шерстяной халат с широким, наподобие шали, каракулевым воротником, надену на голову соболиную шапку...

– Откуда же вы это все возьмете? – удивленно перебил его Алыкул, ища взглядом и не находя в этой темной комнате ни одной из тех драгоценных вещей, которые так красочно описывал Оогонбай.

– Как это откуда? – вполне серьезно вопросом на вопрос ответил Оогонбай. – А ты для чего? Или ты думаешь, что мы будем в расчете, если ты приведешь ко мне в дом одну красивую женщину, которая никогда-никогда от меня не уйдет?

Разве ты не купишь мне белый шерстяной халат и соболиную шапку?

– Да хоть две!

– Ну вот видишь... И когда я буду владеть двумя соболиными шапками, разве я надену эту? – он снял с головы свою залатанную шапку и грустно посмотрел на нее. – Нет, я, наверное, лучше надену соболиную.

– Конечно, лучше соболиную! – поддержал его Алыкул.

– И шерстяной халат.

– Надену, значит, я все это и пойду. – Оогонбай продолжал фантазировать с прежним воодушевлением. – И начну нарочно громко спрашивать у людей, нагоняя на них страх, мол, что это за человек власти такой появился в наших краях, который посмел проехать мимо моего дома и не поздороваться со мной! И люди в испуге примутся успокаивать меня, мол, потише, Оке¹, пожалуйста, не шуми так громко, ведь это приехал очень большой ачандик, и ты можешь испортить все дело... – А мне какое дело, что он большой ачандик², отвечу я аксакалам, вы лучше скажите, как его зовут и чей он сын! И люди мне ответят, что большого ачандика зовут Алыкул и что он сын охотника Осмона. Как! – воскликну я, – Алыкул сын Осмона! И вы испугались его? А ну-ка, прочь с дороги, трусы несчастные, сейчас вы увидите и услышите, как Оогонбай будет разговаривать с Алыкулом, сыном Осмона. Эй, Алыкул, сын Осмона, крикну я, подходя к твоей юрте.

– Если у тебя осталась совесть, и ты не растерял в дороге честь, тогда выходи, потому что перед тобой сейчас стоит сам Оогонбай! И ты выйдешь из юрты...

– О, кого я вижу! – воскликнул Алыкул, включаясь в игру. – Это ты, Оогонбай-аба! Очень, очень рад тебя видеть. Ассолом алейкум! – Алыкул протянул правую руку Оогонбаю, а левой изобразил козырек у фуражки.

– Алейкум ассолом! – степенно ответил Оогонбай, но затем не выдержал, взял обе руки Алыкула в свои громадные ладони,

¹ Оке – уменьшительное от Оогонбая.

² Ачандик – начальник

тепло сжал их, проговорил ласково: – Вaleyки, мой дорогой байке, вaleyки! И я очень рад тебя видеть!

– Ну, как ты тут живешь, Оогонбай-аба, как себя чувствуешь?

– Слава аллаху, все нормально.

– Мои достопочтенные земляки ненароком не обижают тебя?

– Да нет.

– Это хорошо... А так твой верный серый ишак, он еще надеюсь, живой?

– Не приведи господи! – испуганно воскликнул Оогонбай, мгновенно выходя из игры. – Нельзя ему умирать, байке! Ведь я без него все равно что без рук и без ног... – Затем, глубоко вздохнув, он снова включился в игру, произнес с улыбкой: – Да что с ним сделается, живой, конечно, мой верный серый тулпар.

– Если он еще живой, – произнес Алыкул нарочитым басом и обернулся, будто бы обращаясь к воображаемой толпе народа, – тогда пусть самые лучшие мастера на каждую ногу серого подкуют по две, нет, по три золотых подковы... А хозяин серого достоин носить еще одну соболиную шапку. А свою красавицу жену попроси, Оогонбай-аба, пусть она приготовит нам трех кекликов, зажаренных на постном масле...

– Молодец! – закричал Оогонбай, снимая шапку и зашвыривая ее в угол комнаты. – Ты настоящий друг и истинный сын своего отца! Да такого мальчика, если хочешь знать, можно сопровождать не только до детдома но и до самой Мекки!

Он схватил Алыкула в охапку, и они покатались по полу в шуточной борьбе, и долго еще звучал искренний и веселый смех: басистый – Оогонбая, и тоненький – Алыкула. И казалось, что не только они смеялись, но вместе с ними смеялась и эта глиняная развалюшка, и деревья, и речка, и горы... Казалось, весь мир вторил их счастливому смеху.

Ночное небо усыпали разноцветные звезды. Оогонбай, стоял возле своего жилища и, запрокинув голову, внимательно их разглядывал.

Небо было таким чистым и прозрачным, словно кто-то тщательно смел, будто мусор, все тучи и облака между землей и небом. А полный месяц казался белым лебедем, плывшим по синей бездонной глади озера в окружении своих многочисленных звезд-птенцов.

Из комнаты вышел Алыкул, застегивая рубашку. Посмотрел на застывшего Оогонбая, спросил:

– Что вы там разглядываете, дядя Оогонбай? – и тоже запрокинул голову.

– Твою звезду.

– Что? – не понял мальчик.

– Я увидел твою звезду, – ответил серьезно Оогонбай и показал пальцем вверх.

– А где она?

– Воон.

– Где, где...

– Следи за моим указательным пальцем... Вон, видишь спаренные звезды, их семь штук...

– Вижу.

– А теперь подними взгляд вверх... Видишь еще одну звездочку? Она поменьше остальных и не такая яркая, но зато много красивее остальных. Видишь?

– Да, вижу...

– Эта звезда называется Алтын казык, то есть Золотой кол.

– А почему она так называется?

– Потому что все остальные звезды кружатся вокруг нее, а она всегда остается на своем месте. Получается, она самая главная звезда на небе...

– А откуда ты знаешь, что она моя?

– О, чего я только не знаю... Старики говорят, у каждого человека есть своя звезда. Она всю жизнь сопровождает человека, и гаснет только тогда, когда человек уходит из жизни. Правда, бывает, звезда гаснет, когда человек еще живой, но это

случается, если человек забывает свою звезду. И, говорят, в умных книжках тоже так написано. Поэтому ты не забывай свою звезду, хоть изредка поглядывай на нее. Хорошо?

– Хорошо... А у вас тоже есть своя звезда, дядя Оогонбай?

– Конечно. Только я ее не знаю. Отец не успел мне показать ее, и мы потеряли друг друга. Поэтому я смотрю на все звезды сразу, чтобы моя звезда увидела меня, чтобы она все равно горела, пока я жив... Если ей суждено погаснуть, то пусть погаснет вместе со мной. Но об этом никто не будет знать... Пошли спать, байке, заболтались мы с тобой сегодня. Да и снегом начинает пахнуть, слышишь?

– Но ведь небо такое чистое...

– А долго ли черным тучам налететь? В горных аилах и не так бывает. Закат может быть красным, а утро дождливым... Ну, пошли, вставать очень рано придется, потому что путь предстоит неблизкий.

И в самом деле, утром весь аил, горы и долины выбелил снег, и ветви деревьев согнулись под его тяжестью.

Шел снег и сейчас, когда Оогонбай запрягал своего верного серого ишака. Еще раз проверив и подтянув ремни упряжи, он взял под навесом большую охапку душистого мягкого сена и застелил дно арбы. Проверил рукой, мягко ли будет ехать, и довольная улыбка тронула его губы.

– Алыкул, байке! – позвал он, обернувшись к дому.

Резко скрипнув, распахнулась дверь, мальчик придержал ее рукой, плотно прикрыл за собой, подошел к Оогонбаю. Тот подхватил его, посадил на сено, сверху укутал войлоком. Затем и сам устроился рядом с мальчиком.

– Ну, поехали! – сказал он, тем самым давая команду своему ишаку. Того не надо было подстегивать камчой, он успел достаточно хорошо изучить голос хозяина.

– Когда они уже выезжали из аила, то увидели вчерашнего седобородого старика, трусившего на коне навстречу. Поравнявшись, остановились.

– Ассолом алейкум, Омуке! – первым поздоровался Оогонбай.

– Алейкум ассолом! – ответил всадник и спросил: – Куда путь держите в такую рань?

– Да вот... – Оогонбай кивнул в сторону мальчика. – Решил все-таки отвезти...

Старик молча посмотрел на Алыкула.

– Я же сам буду и навещать его... – добавил Оогонбай, будто оправдываясь.

– Нет, нет, – оборвал его старик, поняв недосказанное, – ты правильно решил. Тех, кто заботится о стариках и сиротах, Аллах не обделяет своим вниманием. Говорят, новая власть делает немало для таких вот обездоленных, – он кивнул на Алыкула. – Никто не посмеет осуждать тебя за твое решение, Оогонбай.

– Спасибо за добрые слова, Омуке, – Он подхватил вожжи. – Ну, мы поехали...

Старик сделал знак не торопиться. Развязал старенький кушак, в его многочисленных складках отыскал пачку вчетверо сложенных денег и протянул Алыкулу три бумажки.

– Ну, бери, в городе купишь что-нибудь сладкое...

– Бери, бери, – сказал Оогонбай, видя, что Алыкуч не осмеливается взять деньги. – Дедушка дает от души, нельзя отказываться, бери...

– Где бы ты ни был, никогда не забывай, сынок, что ты сын охотника Осмона из айла Каптал-Арык!

Мальчик молча кивнул.

Старик, больше не глядя на сидящих в арбе, пришпорил своего коня, ударил камчой и галопом умчался в сторону айла.

Оогонбай и Алыкул, проводив его взглядом, тронулись в путь.

Вокруг было белым-бело от толстого и ровного снежного покрывала, скрывшего под собой многочисленные ямки и бугорки. Маленькая арба наших путников неспешно поднималась на хребет небольшого перевала.

– А ишак вытянет этот перевал? – спросил вдруг Алыкул, которому, похоже, порядком надоела однообразная дорога. Снег уже перестал идти, выглянуло солнце, зажгло на бескрайних просторах миллиарды бриллиантовых брызг от искристо светящейся белизны.

– Тихо! – Оогонбай приложил палец к губам, и, дождавшись, когда Алыкул насторожился, не поняв поведения своего возницы, он добавил, – если услышит это умное животное, что ты называешь его ишаком, то может и обидеться... Ты уж лучше впредь называй его серым иноходцем...

– Почему это? – Алыкул удивленно уставился на Оогонбая.

– Как, разве я не говорил тебе? – в свою очередь вполне серьезно удивился Оогонбай. – Разве ты не знаешь, чтоб он происходит от знаменитого Серого Тулпара, достоинства, которого и до сегодняшнего дня вызывают восторги у нашего народа?..

– Да ну!

– Совершенно точно тебе говорю. Неужели ты не знаешь историю Серого Тулпара и его потомков?

– Нет, мне никто не рассказывал еще...

– Это хорошо, что никто не рассказывал...

– Что же тут хорошего?

– А то, что, значит, я опять первым расскажу тебе историю, которая, может быть, когда-нибудь пригодится тебе... Ну так вот, слушай...

И он рассказал ему одну из самых притягательных для любого кыргыза легенд о Толубае сынчы и его сером Тулпаре.

...В некие стародавние времена один из жестоких правителей, узнав, что Толубай – великий знаток скакунов, повелит ему отыскать Тулпара среди своих бесчисленных табунов. Немалых трудов это стоило Толубаю, в конце концов, он нашел его. Это была пока серая невзрачная кляча, забитая несносным обращением. Когда Толубай показал клячу правителю, тот посчитал это издевкой и сурово наказал знатока. Выпросив себе в утешение за наказание серую клячу, Толубай открыл в ней качества Тулпара и вместе со своей старухой покинул края того повелителя.

На разгоряченном Сером два раза промчались они вокруг Земли по самому краю и только на третий раз, когда Толубай посоветовал своей старухе направить Серого в те самые заросли курая, где Алыкул потерял своих козлят, лишь там им удалось остановиться. Толубай со старухой построили в тех местах себе шалаш на берегу речки Кара-Балтинки и прожили они до глубокой старости. А когда стали совсем немощными, то за одну ночь все трое превратились в камни.

– Подрастешь, – закончил Оогонбай свой рассказ, – я обязательно покажу тебе эти три камня.. Ну, а пока Серый был еще в силе, то во всех табунах вдоль Чуйской долины он оставил по одному, а то и по два потомка, так что род Серого тянется и по сей день... И наш серый жорго приходится лукавым дальним родственником того самого Серого Тулпара, о котором люди слагают легенды. Да ты сам посмотри, – Оогонбай показал взглядом на мерно подергивавшего ушами ишака, – разве простой ишак может ступать так мягко по каменистой дороге?

– Конечно же нет! – подхватил Алыкул.

О том, что рассказ Оогонбая глубоко запал в душу любознательного мальчика, легко можно было догадаться по его искрящимся глазам. За свою жизнь он будет много раз мысленно возвращаться к легенде, не только стремясь проникнуть в глубину ее возникновения, но и находя ее отражение в сегодняшнем дне. Алыкул Осмонов в 1937 году напишет бессмертную поэму «Толубай-сынчы». А еще через десять лет, в пору своей зрелости, он вновь вернется к поэме, теперь уже не просто восхваляя Тулпара, но призывая людей не пройти мимо Тулпара, уметь разглядеть крылатость за порою невзрачной внешностью и найти в себе силы и честность, чтобы дать возможность таланту окрепнуть в урочный час. Но то будет много позже. А еще позже другие творцы музыки, слов или красок будут искать иные философские идеи, уже опираясь на высказанное Алыкулом.

А пока голодные, продрогшие Оогонбай и Алыкул, подгоняемые быстрым и холодным зимним вечером,

подъезжали к окраине незнакомого аила. На мгновение задумавшись, Оогонбай выбрал добротный дом на самом краю аила. Возможно, выбору сопутствовало то, что из трубы дома валил густой сизый дым. Подъехав к воротам, не слезая с арбы, он громко крикнул:

– Эй, хозяева, принимаете божьих гостей?

Их будто бы ждали. Хлопнула дверь, затем отворились ворота, вначале показался седобородый старец, за ним - его старуха, за ней – мальчик лет пятнадцати и девушка 16- 17 лет.

– Какой же киргиз откажет в приюте божьему гостю? – вместо приветствия произнес старик. – Слезай поскорее, дорогой... Разве можно отправляться в путь, когда стоят та-кие морозы, да еще с ребенком... - Сокрушаясь, он снял с арбы Алыкула, передал его в руки старухи.

– Э-э, добрый человек, не зря в народе говорят, если нужда заставит, так будешь и воду в решете носить... – ответил, с трудом выбираясь из арбы, Оогонбай. – Уж поверь, не от хорошей жизни мы вот так...

– Ладно, – перебил его хозяин, – обо всем этом ты расскажешь, если захочешь, потом, когда чаю выпьешь. А сейчас быстрее в дом проходите, обогрейтесь.

Затем он обернулся к дверям, коротко приказал:

– А вы займитесь животным и бричкой. Скотина тоже, наверное, проголодалась и продрогла не меньше своих хозяев.

Оогонбай сидел на самом почетном месте. По правую руку от него - хозяин, по левую - Алыкул.

Поставив пиалу на дасторхон и накрыв ее ладонью, тем самым дав знак хозяину, что насытился угощением, Оогонбай посмотрел на висевший на стене комуз и не без легкого смущения произнес:

– Не показалась бы моя просьба, уважаемый Жакып-аксакал, чересчур нахальной, но не может быть, чтобы в таком гостеприимном доме после вкусного чая не звучала бы мелодия комуза...

Хозяин дома, проследив за взглядом Оогонбая, улыбнулся.

Поднявшись, он снял комуз, вернулся на место, начал потихоньку перебирать струны. А когда почувствовал, что голоса струн увели гостей к самим себе, негромко заговорил:

– Давным-давно это было. Еще мальчишкой я слышал эту легенду от нашего божьего странника, который отказался от бессмертия, прожив на этом свете всего лишь полтора сто лет.

... Предвечерний летний день в горах тих и приятен. Роскошная и яркая зелень скрывает серость скал, делает их не столь угрюмыми. Жара к этому времени уже уступила легкой, чуть заметной прохладе, когда и дышится легче, и еще не чувствуется холод, ибо камни пока не отдали все свое тепло, забранное за день у солнца.

Но, похоже, ничто не радует двоих, оказавшихся невесть откуда в этих горах.

Двое – старик-слепец и мальчишка-поводырь – медленно бредут по едва заметной извилистой горной тропинке, то и дело огибающей валуны и камни. И настолько стар и беспомощен старик-слепец, и настолько еще пугливо юное сердце мальчишки, что двое они – как один человек в великих горах, кажущихся колыбелью земли.

– Смотри! – неожиданно восклицает мальчишка-поводырь, вытягивая руку вперед.

Старец повернул ничего не выражающее лицо в сторону мальчика.

– Нет, там, впереди, там жилье! Ой, простите, ата... – мальчик застыдился оплошности своей, и нетерпению своему, так неожиданно выплеснувшемуся из груди.

– Ничего, ничего мой мальчик... – старик-слепец погладил мальчика по голове. – Это хорошо, что жилье, пойдем, я думаю, божьим странникам не откажут в приюте на одну ночь. Так что, пойдем...

Голодные и даже несколько продрогшие от набирающей силу вечерней прохлады, без труда проникающей сквозь многочисленные дыры старенькой одежды, старец и мальчик медленно приблизились к ветхой лачуге, невесть как прилепившейся к углублению почти отвесной скалы. По бокам от лачуги и над ней стелились кусты колючей ежевики и разлапистого барбариса, так что разглядеть ее, похоже, мог

только зоркий взгляд мальчишки, привыкшего за долгое время скитаний замечать вокруг все то, что так или иначе могло бы иметь к нему со стариком хоть какое-нибудь отношение.

Неожиданно от неосторожного шага мальчика-поводыря отскочил камешек, ударился о другой. На этот звук, внезапно громко прозвучавший в сумеречной тишине, из лачуги вышла древняя старуха, лицо которой было изборождено глубокими, будто бы рукой человеческой, а не временем и судьбой начертанными морщинами.

– Мир тебе, добрый человек! – почувствовав ее присутствие, произнес старик-слепец, прижав ладонь к сердцу.
– Не откажи в ночлеге божьим странникам...

Старуха окинула еще довольно быстрым взглядом две фигурки странников, довольно-таки равнодушно ответила негромким бормотанием:

– Какой же мусульманин откажет в приюте божьим странникам... Проходите. Места хватит, а за угощение не взыщите, что наскребу, тем и поужинаем...

– Голос твой, хозяйка, слаще угощения любого, – не без улыбки произнес старик. – Жаль, что не видят глаза мои, не могут полюбоваться обладателем такого чудесного голоса...

– Проходите, – старуха никак не отреагировала на комплимент старика. Пройдя в лачугу, она показала мальчику, где им со стариком расположиться.

Внутри лачуга была еще непривлекательней, чем снаружи: торчали палки, висели какие-то тряпки, кое-где сквозь щели протягивали свои щупальца стебли ежевики. У стены, прижатой к скале, валялось нечто подобия матраца, на котором старуха и предложила располагаться гостям. В ногах постели была расставлена немудреная посуда – прокопченный казанок, чашки, деревянные ложки. В голове постели к стенке была прислонена домбра. Посередине лачуги над небольшим костерком закипал чайник.

– Садитесь, божьи люди, сейчас чай подам. Говорят, гость, поспевший к ужину, – к добру. Правда ужин сегодня – один чай, мяса нет сегодня, в силке одна заячья лапка осталась, а самого зайца кто-то до меня съел: волк или лисица – кто его знает? – Старуха все так же бормотала бесцветным голосом,

неторопливо кружась возле очага. – Зато чай с травами, он и силу дает, и зоркость, и слух, вам странникам на пользу будет... А вы что же так поздно в горах? Отсюда еще неблизко до дороги...

– Э-э, хозяйка, не зря в народе говорят, что если нужда приспичит, так будешь и в решете воду носить... – ответил, привыкая к обстановке, старик. – Уж поверь, не от хорошей жизни мы вот так...

– Ладно, – махнула рукой старуха, – обо всем этом ты расскажешь потом, если захочешь, когда чаю выпьешь. А жизнь – у кого она хорошая? У младенца разве, да и то, пока грудь материнскую сосет... А! Жизнь дается богом, и богом она забирается, что об этом попусту говорить. Да вы садитесь, садитесь...

Мальчик сел на край постели, потянул за руку старика. Тот, усаживаясь, нечаянно затронул рукой домбру и струны тотчас же отозвались, будто соскучились хоть по какой-нибудь песне...

Старик переложил домбру в руках, чуть слышно тронул струны и тут же зажал их ладонью. На мгновение лицо старика стало отрешенным, потом он поднял голову к остановившейся в дверях старухе, сказал:

– Давно этих струн не касалась мужская рука... Ты сама теперь играешь?

Старуха вздохнула только. Разлила чай в чашки, подала гостям. Потом пошарила рукой в замусоленной холщевой сумке, достала горсть сухарей.

– На ужин хватит нам сухарей, а к утру, даст бог, кто-нибудь в силоч попадетя...

– Такому ужину сам владыка позавидовал бы, окажись он на нашем месте, – улыбнулся старик. – Он размочил сухарик, надкусил, причмокнул от удовольствия, запил чаем.

– Может, и позавидовал бы, да только никогда не бывать владыке на нашем месте, – произнесла старуха в ответ.

– В жизни всякое бывает, – не согласился старик.

– Возможно... – пожала плечами старуха, доливая чай гостям.

Некоторое время трапеза продолжалась молча. Уже в конце ужина старик снова спросил:

– Если есть в доме домбра, а хозяйка на нем не играет, значит, что-то случилось с хозяином, не правда ли? Не показалась бы моя просьба навязчивой, но может быть ты все же расскажешь нам, что произошло? Это же давно было, душа зарубцевалась твоя, боль, наверное, уже песней стала...

Сама-то, что, не пробовала играть?

– Эх, божий странник, разве можно рассказать жизнь? А на домбре я не играла, мне больше киргизский темир-комуз по нраву... – Она достала из-под подобия подушки темир-комуз, приладила к губам, сделала несколько движений пальцем, и сразу же вновь положила темир-комуз на ладонь, вздохнула. – О, как я играла на нем, когда молодой была, когда зубы целыми были, а губы гибкими... Ты бы, старик, тогда тоже не сводил бы с меня глаз, а по твоим чувствую, что влюбился бы, как и многие из тех джигитов, кто видел юной меня... Сейчас не до песен уже, а тогда... Тогда и руки мои пели, и ноги, и сердце, и душа! Наверное, тогда я сама была песней, или песня воплотилась в мой облик... Если бы я умерла вместе с песней, я бы так и считала... Но бог сделал меня человеком, в этом я убедилась за годы моей долгой жизни... Да что говорить, ты же и сам все это чувствуешь, божий странник...

– Ты права, я чувствую, – старик отложил домбру в сторону. – Но для настоящей песни одного только чувства очень мало, нужно еще и знать... Я не хочу быть назойливым, но расскажи нам о своей нелегкой судьбе. Рассказ человека – тот же родник: ты расскажешь – и себя облегчишь, мы прикоснемся к рассказу – и наши помыслы станут чище. Не страшно тебе тут одной?

– Нет, старик, одной мне не страшно, куда страшнее; когда люди вокруг, да к тому же те, кто когда-то видел своими глазами все, что случилось с тобой... Тебе ли не знать, божий странник, что злых людей на земле куда больше, чем добрых, равно как больше и зла в нашей долгой и беспросветной жизни...

– Но зато добро сильнее, иначе мир не смог бы существовать так долго...

– Наверное, тебе лучше знать, божий странник... – вздохнула старуха. – Может быть, добро и сильнее, да только

зло такую боль приносит человеку, от которого и белый свет бывает не мил.

– Потом это проходит, не правда ли? Любая боль рано или поздно стирается в человеческой душе, в человеческом сердце. Было время, когда тебе жить не хотелось, но ведь ты и по сей день живешь. Значит, переболела душа...

– Если бы, если бы... – Старуха прислонилась к стене, закрыла глаза.

Редки праздники у простого киргизского люда, но когда они все же случаются – ах, как люди тогда отдаются веселью!

Вот схватились в поединке борцы, окруженные ревущей толпой болельщиков. Кто кого? Молниеносный прием – и подликующие крики соплеменников победитель принимает в качестве приза добротного коня, а побежденный стремится побыстрее затеряться в человеческом многолюдье...

Вот две группы всадников, используя всю свою сноровку и недюжинную силу как свою, так и своих коней, пытаются занести тушу козла в специально определенное посредниками место. И каждый ловкий прием, каждая удача той или другой стороны вызывают у присутствующих бурю восторга...

Вот группа джигитов соревнуется в меткости стрельбы из лука...

А возле белой юрты под взглядами сотен людей двое схлестнулись в музыкальном состязании: красивый, атлетически сложенный молодой казах по имени Нуржигит играет на домбре, а напротив него прекрасная, тоненькая, будто струна девушка-киргизка – на темир-комузе.

О, какой изумительной была их игра!

Словно пенистый бурный поток, срывающийся в долину из глубокого ущелья, звучали струны домбры под сильными пальцами Нуржигита, мелькавшими над инструментом с быстротою молнии.

И как негромкое журчание небольшого ручейка умирал его нежный темир-комуз Канаим...

Лед и пламя, сила и нежность, страсть и раздумье, шепот и крик противостояли друг другу, и казалось, что они непримиримы...

Но с каждой минутой, с каждой секундой, с каждым мгновением почти неприметно сливались два полюса, где противостоящие друг другу силы, и вот уже найдена золотая середина, когда домбра и темир-комуз звучали уже как одно целое, как песня одной души.

И не отрывали взгляды друг от друга Нуржигит и Канаим, словно, как и песня, растворились друг в друге. Для них уже ничего вокруг не существовало. Для нее – только он, для него – только она. И люди видели это, понимали все и все принимали. И, видно, каждый в душе наслаждался мечтою своей и люди невольно теснее прижимались друг к другу, зачарованные игрой двух юных и чистых сердец...

Похоже, Нуржигит и Канаим и впрямь растворились друг в друге, потому что даже в своей импровизации они завершили игру одновременно.

Еще какое-то мгновение после окончания игры возле большой белой юрты царил высокая тишина. Люди восхищенно смотрели на прекрасных в этот миг Нуржигита и Канаим, а те все не могли оторвать свои взгляды друг от друга...

– Молодец, Нуржигит! – закричал кто-то из слушателей изо всех сил.

– Ай да Канаим! – поддержал другой.

– Оба молодцы, ничего не скажешь... – произнес белобородый аксакал. – Они действительно созданы богом друг для друга.

Чудная ночь распахнула свои объятия в этот летний праздник! Яркие гроздья звезд, будто на качелях раскачивались и вели свой замысловатый и нескончаемый хоровод вокруг полноликой спелой луны, дарившей свой призрачный свет всему, что жило в тот миг на земле.

А на этой земле в это время кто-то праздник свой продолжал, кто-то услаждал собравшихся игрой на домбре, кто-

то рассказывал напевным речитативом, как легендарный Манас впервые повстречал свою возлюбленную Каныкей... Парни и девушки, приблизившиеся к возрасту, когда в жилах начинает играть кровь, попарно разбредались в окрестностях аила, и у каждой пары была своя тропа.

Нуржигит и Канаим стояли возле высокой арчи, глаз не сводя друг с друга. Они шептались, не смея разговаривать громко.

– Я люблю тебя, Канаим! – прошептал Нуржигит, держа в своих ладонях руки любимой.

– Я не могу тебе тем же ответить, Нуржигит... – шепнула в ответ Канаим, не делая, впрочем, попытки освободить свои руки. – У нас очень сложные родовые отношения.

Луна освещала все окрестности – деревья и кустарники, горы, отдельные валуны, делая их очертания зыбкими и призрачными.

– Я люблю тебя, – прошептал Нуржигит.

– Не мучай меня, – прошептала в ответ Канаим. – ты же знаешь, в последний раз отец отпустил меня на праздник. В доме уже были сваты. Нуржигит, Кочкорбай уже калым заплатил... К тому же ты не из нашего племени, милый...

– Я люблю тебя, – прошептал еще раз Нуржигит.

– Я не свободна, – прошептала в ответ Канаим.

Луна освещала бледные лица влюбленных, их вдохновенье и страсть, и печаль.

– Я люблю тебя, – прошептал Нуржигит.

– Не мучай меня, любимый, – прошептала в ответ Канаим.

– Я люблю тебя, – прошептал Нуржигит.

На фоне лунного диска их губы сомкнулись.

– Не мучай меня... – выдохнула Канаим.

– Я не могу... Я люблю тебя... – прошептал Нуржигит, опускаясь перед ней на колени, не выпуская ее руки из ладоней своих.

– Ты замучил меня, любимый, – прошептала в ответ Канаим, опускаясь на траву.

– Я люблю тебя, – прошептал Нуржигит, увлекая к себе Канаим...

И луна, словно стыдясь своего любопытства, лицо свое спрятала тучей-платком.

Верные друзья Нуржигита и близкие подруги Канаим ждали в степи, приготовив влюбленным для бегства двух скакунов.

Но Канаим и Нуржигит задержались.

– Там кони ... – кивнув головой в сторону степей прошептал Нуржигит так тихо, словно боялся, что звезды подслушать могут.

– Я согласна с тобой убежать, но мы так с тобой задержались, что там уже мог начаться переполох и мы можем попасть в засаду... – прошептала в ответ Канаим.

– Тогда давай пешком пойдем, к утру далеко мы будем, к тому же никто в бескрайней степи не знает, в какую сторону пошли – ни друг, ни враг...

– Я люблю тебя, Нуржигит, я навсегда теперь твоя, я только твоя, Нуржигит...

– Мы всегда будем вместе, Канаим, я никому тебя не отдам...

Ну, пошли?

– Пошли, мой любимый...

Узкой горной тропинкой они отправились в сторону своей мечты. Шли по распадкам, освещенным полноликой луной. Шли в кромешной темноте, когда скрывали свет луны громады высоких скал. Они, конечно, спешили, Нуржигит и Канаим, но все же иногда останавливались, замирая в мимолетных объятиях.

Да только недолгим был путь влюбленных. Едва лишь рассвет окрасил высокие горные вершины в розовый цвет, а до перевала, за которым начиналось их счастье, оставалось рукой подать, Нуржигит и Канаим были настигнуты верными слугами Кочкорбая.

Долго с упоением стегали беззащитных Нуржигита и Канаим слуги Кочкорбая, окружив несчастных влюбленных плотным кольцом. Издевались, пока не подъехал он сам - еще

молодой, крепкий, в богатом одеянии красивый джигит. Он брезгливо посмотрел на сбежавших, на их разорванные одежды, усмехнулся.

– Встаньте! – приказал он им.

Те с трудом поднялись все так же в окружении вооруженных всадников, ожидая своей участи.

– Глупцы, – вновь усмехнулся Кочкорбай, – неужели вы думали, что у меня не хватит верных джигитов, чтоб проследить за каждой тропинкой? – Затем сложенной камчой повернул лицо девушки к себе, приподнял за подбородок. – Посмотри мне в глаза, – властно приказал он, и когда девушка посмотрела на него, продолжил: – А теперь ответь, я разве не заплатил калым твоему отцу, да еще вдвое богаче, нежели он мечтал? Разве тебя не ожидало богатство мое, мое золото и серебро, мои слуги и служанки, имя мое, наконец? Так ответь мне, почему же ты предпочла меня этому вонючему казаху и пересмешнику чужих мыслей и чувств? Да еще голодранцу, у которого нет и никогда не будет гроша за душой?

– Я люблю его! – смело ответила Канаим. – Наши сердца соединились и навсегда останутся вместе, чтобы ни случилось с нами.

– Ты уверена в этом? – зло усмехнулся бай.

– Да!

– А знаешь ли ты, что таких, как ты и твой оборванец, люди считают предателями своего рода, недостойными пачкать землю и портить воздух?

– Ну что ж, по обычаям предков ты вправе казнить нас обоих, головы нам отрубить и оставить на съедение волкам. Только запомни, наши сердца тебе не подвластны, сердце мое и сердце Нуржигита объединились, и их никто не в силах теперь разъединить...

– Да что ты, что ты... – с нарочитым миролюбием отмахнулся Кочкорбай. – Не пристало джигиту, как какой-нибудь черни, обнажать оружие, чтобы расправиться с женщиной, хотя и шлюхой... Уверяю тебя, мы найдем для наших острых сабель куда более достойное применение, чем выковыривать сердца из ваших паршивых тел. Но... – он обвел

взглядом своих джигитов, - эти двое все-таки заслуживают наказания, не так ли?

– Истинно так!

– Конечно!

– Вы тысячу раз правы, батыр!

– Теперь слушайте меня, – сказал Кочкорбай, когда возгласы одобрения начали немного стихать. – Глаза у этой молодой шлюхи затянуты пеленой тумана. И нам будет стыдно, если она такой придет в чужой аил и чужие люди из чужого племени об этом узнают. Нам будет стыдно, значит, мы должны разорвать пелену, освободить ее, дать возможность сполна насладиться тем, о чем так мечтает. Хотите вы помочь ей избавиться от этого временного для всех баб недуга, джигиты?

– Хотим!

– Га-га!

– Она будет рада!

– Сил у нас хватит, счастьем ее одарить!

– А этот шут-пересмешник, – продолжил Кочкорбай, – похоже, чересчур озабочен ношей своей, грешно нам не помочь нашему брату по крови облегчить его заботы, не так ли, джигиты?

– Поможем!

– Он будет слугой своей шлюхи, и муж ее будет рад!

– За такую услугу ему откупаться придется...

– Джигиты! – кличем своим Кочкорбай дал команду.

И двадцать здоровых джигитов набросились на влюбленных, смяли их, скрутили, несмотря на отчаянное сопротивление обоих.

Часть джигитов столпилась, прижав к земле Канаим, и по их шуткам:

– Давай, давай!

– Уже? Во молодец!

– Ну-ка, теперь ты покажи, на что ты способен!

– Не бойся, она не кусается!

– Поспеш, дружок, ты не в постели и не один; другим тоже хочется...

Да по искаженному болью и стыдом лицу Канаим нетрудно было догадаться, что они делали с нею.

Другие слуги, свалив и скрутив Нуржигита, крепко держали его за руки и ноги, пока кто-то один из них вынимал отточенный кинжал, срывал с него штаны. И отчаянный вопль Нуржигита совпал с радостным криком того, кто с кинжалом был – Кочкорбаю он с восторгом показал на ладони своей кровавый кусок мяса:

– Во, оскопил! Все, батыр!

– Нет, не все... – усмехнулся Кочкорбай. – Если его так оставить, он сдохнет раньше полудня. А мне он нужен живым, и нужен надолго, чтобы сквозь поколения молва о нем шла! Залечи ему рану теперь!

– Эй, кто-нибудь, подайте курмуши! – крикнул он и протянул руку.

Кто-то из друзей достал из-под седла клок овечьей шерсти, подпалил ее, подал. Подсыпав курмуши к ране, тот усердно перевязал Нуржигита, натянул на него штаны.

– Теперь не подохнет!

Когда расступились джигиты, кто еще застегивая штаны, кто отряхивая пыль с рук и коленей, оставив на земле истерзанных влюбленных, Кочкорбай посмотрел сначала на потерявшего сознание Нуржигита, потом перевел взгляд на скорчившуюся Канаим, и сказал ей:

– Я прощаю твоему отцу мой калым. Идите с миром теперь, и да сопутствует вам счастье, любовь и много детей, хотя бы по количеству моих джигитов!

Раздался оглушительный хохот верных слуг бая, больше похожий на ржание табуна жеребцов.

– Вы сами избрали себе судьбу, вас никто не неволил, так что пеняйте лишь на себя! Джигиты!

Кочкорбай первым рванул с места вскачь своего скакуна, за ним его верные слуги, и с громким гиканьем, поднимая клубы пыли, они помчались в свой аил.

Но долго еще отзывался перестук лошадиных копыт в ушах бездвижно лежавшей Канаим.

Медленно, словно нехотя поднималось над землей солнце, даря свое живительное тепло всему, что жило на земле. И только Нуржигиту, все еще бывшему без сознания, да истерзанной Канаим солнце было не в радость.

– Воды... Пить... – едва шевельнулись губы Канаим, пытаюсь отвернуть голову от безжалостного солнца, от его лучей. Но никто не отозвался на ее стон безнадежный.

– Нуржигит... – через некоторое время вновь едва слышно простонала Канаим, призывая на помощь своего возлюбленного, поскольку больше ни от кого не ждала она помощи. – Нуржигит, ты слышишь меня?

Нуржигит ничего не слышал.

Беспокойство за возлюбленного заставило девушку с большим трудом приподнять голову. С содроганием смотрела она на застывшее, искаженное от нечеловеческой боли лицо Нуржигита, на расплывшуюся лужу крови рядом с ним, и впервые за все это время из глаз у нее потекли слезы.

– Они убили тебя, мой милый... – прошептала она чуть слышно, – Они убили тебя...

Потом, собрав остатки сил, она кое-как поднялась на четвереньки, подползла к Нуржигиту. И от того, что она увидела теперь, её глаза в ужасе расширились.

– Боже мой, что они с тобой сделали! ... – Канаим, обхватив голову руками, упала рыдая, на грудь Нуржигита. Когда же рыдания ее чуть ослабли, она вдруг замерла, прижала голову к груди Нуржигита плотнее. – А сердце бьется... – словно не веря самой себе, прошептала Канаим. – Ты жив, мой любимый, ты живой! Сейчас я помогу тебе, потерпи, я помогу тебе, потерпи, милый мой...

Она встала, огляделась, заметила сбегавший по скале крохотный ручеек и, пошатываясь, направилась туда. Возле ручейка она оторвала кусок платья, тщательно намочила его. Вернувшись к Нуржигиту, Канаим выжала воду ему на губы, потом влажной тряпочкой отерла его избитое, в кровоподтеках лицо. Через некоторое время Нуржигит открыл глаза.

– Ты жив, любимый мой...

Нуржигит затуманенным взглядом посмотрел на Канаим, сиюсья вспомнить, что с ним произошло в это злосчастное утро, когда их настигли слуги бая. И, вспомнив, застонал в отчаянии.

– Ничего, мой милый, – прошептала Канаим, продолжая отирать его лицо влажной тряпочкой, – главное, что мы живы и что мы вместе...

– Прости меня, Канаим... – в едва слышном шепоте разлепил губы Нуржигит.

– Молчи, не трать силы, милый мой... – Канаим осторожно погладила его по голове.

– Я не смог защитить тебя, любимая... Прости... – И натужный стон вырвался из груди Нуржигита. – Они убили и меня, сволочи...

– Молчи, милый мой...

Издали донесся топот копыт. Канаим подняла голову и различила друзей Нуржигита, которые, обеспокоившись его долгим отсутствием, пустились на поиски. Из последних сил Канаим кое-как помогла Нуржигиту хоть немного привести себя в порядок, прикрыла, насколько это было возможным, свое тело остатками платья и, обессилев вконец, опустилась рядом со своим возлюбленным на землю.

Друзья заметили их, подъехав, быстро спешили, окружив влюбленных.

– Это Кочкорбай со своими джигитами так избил вас? – в ужасе спросил кто-то из джигитов.

Канаим, подтверждая его слова, закрыла глаза. Нуржигит, скрипя зубами от нестерпимой боли, сел, помог сесть Канаим. Он еще не совсем понимал, что с ним произошло, только жуткая боль пронзала все его тело, и он инстинктивно прижал своей ладонью низ живота.

– Что они сделали с вами? Мы сейчас отвезем вас в аул и там отомстим Кочкорбаю даже ценой собственных жизней. Верно, джигиты?

– Верно!

– Мы должны отомстить!

– Нет, – покачал головой Нуржигит. – В наш аул мы уже никогда не вернемся...

– Так что здесь все-таки случилось? Что они сделали с вами?

Канаим лишь молча закрыла глаза. Нуржигит вскрикнул от боли и снова прижал руки к животу.

– Мы должны отомстить, скажите, что они сделали с вами, и то же самое мы сделаем с ними! – воскликнул кто-то из джигитов, сжимая кулаки.

– Нет, – тихо, но твердо произнес Нуржигит – сейчас не время говорить о мести... Да и слуг у него в десять раз больше, чем вас, и вооружены они так, что легко расправятся и с вами. Аульчане вряд ли поддержат вас, потому что мы с Канаим нарушили обычаи предков...

– Тогда что же, оставлять этих собак безнаказанными, что ли? Они же обсмеют нас потом!

– Придется стерпеть... – Нуржигит вздохнул. – Месть до добра не доводит. Стоит ей лишь коснуться сердца, как род схлестнется с родом, с племенем – племя, с народом – народ и кровавая вражда унесет многие жизни. Нужна ли смерть в разрешеньи обиды? Жизнь у нас начинается только... А если вы хотите помочь нам, тогда отвезите нас подальше от людей, я вас очень прошу. Сначала надо залечить наши раны, а потом уже думать, как дальше нам быть...

Джигиты бережно усадили на коня сначала Канаим, а когда усаживали окровавленного Нуржигита, тот снова вскрикнул от нестерпимой боли, потерял бы сознание и наверняка упал бы, не поддержи его друзья.

– Кто-нибудь из нас должен будет остаться с вами, помочь... – предложил один из джигитов.

– Нет, – покачала головой Канаим, – я сама со всем управлюсь...

И медленный, чуть ли не траурной процессией, они направились в сторону южного ущелья, в конце которого была прилеплена к скале кем-то из охотников древняя, как мир лачуга.

Шло время. Друзья едва ли не каждый день навевывались к Нуржигиту и Канаим, не оставляя их без своего внимания. Они привозили пищу, посуду, что-то из одежды, рассказывали последние новости из айльной жизни.

Физически Нуржигит и Канаим оправались сравнительно быстро, однако никакие ухищрения друзей не могли вызвать на их лица улыбку. Казалось, что сама печаль обрела очертания лиц двух влюбленных... И видя их скорбные лица, друзья не решались даже поведать о том, что отец Канаим, не выдержав позора, вынужден был бросить все нажитое добро и уйти из айла. Но никакие участливые разговоры не могли развеять печаль возлюбленных, ни на какие вопросы они не отвечали, словно были безучастны ко всему на свете.

В один из вечеров, когда предосенняя прохлада все увереннее заявляла о себе, когда пожухлые травы приготовились заснуть в ожидании будущей весны, у костра возле лачуги Нуржигита и Канаим собрались не только друзья, но и несколько айльских аксакалов.

– Дочка, – после некоторого молчания произнес один из аксакалов, – расскажи все же, что тогда случилось, как все произошло. Пойми, не для мести нам надо знать это, не для праздного любопытства, но для жизни. Ведь мы сородичи твоих айльчан. И вот столько времени прошло, а мы все разными пересудами ограничиваемся, одни одно говорят, другие – другое. Так нельзя. В одном роду сплетнями долго не проживешь, расколется род на мелкие кусочки, словно чаша, и сколько потом потребуется потратить времени, сил, крови, чтобы вновь слепить чашу... Расскажи нам, дочка, разделенную боль и вам самим легче нести будет...

Канаим некоторое время молча смотрела на яркие языки пламени, размышляя о словах аксакала. Она сильно изменилась за это время: стала взрослой, как будто бы за два-три месяца стала старше на несколько лет...

Потом она молча принесла из лачуги темир-комуз, вновь села у костра и начала играть. Ее остановившийся взгляд словно был устремлен внутрь самой себя, в ту трагедию, которую они

пережили вместе с Нуржигитом. Сам Нуржигит сидел несколько поодаль и казалось, что он безучастен к происходящему возле костра.

Сначала в мелодии ощущался восторг девушки, встретившей на празднике своего возлюбленного, затем в нее медленно, исподволь начало вплетаться нежное трепетанье юной влюбленной души. Слушатели – и юноши, и старики – с замиранием сердца впитывали мелодию, их лица, их взгляды отображали все те чувства, что передавала музыкой Канаим.

Кто-то из джигитов помимо своей воли мечтательно улыбнулся, будто бы и в самом деле ощущал близкое дыхание любимой девушки.

Кто-то теребил только-только начавшийся пробиваться ус, заново переживая возможно неудачное объяснение в любви.

Кто-то смущенно потирал подбородок, словно боялся, что когда-то пережитые чувства сейчас могли прочитаться на его лице присутствующими.

И только лица аксакалов практически ничего не выражали или первая любовь была уже слишком далека от них по времени, или с годами они научились прятать свои чувства под масками безучастности.

Но вот в мелодии прозвучал вдруг явно выраженный перелом: это Канаим решила убежать из аила вместе со своим возлюбленным. И этот перелом в музыке не остался незамеченным слушателям.

Одни завздохали огорченно – видно, и у них когда-то были решающие мгновения в жизни, но упущенные из-за каких-то непредвиденных обстоятельств, и эти обстоятельства, и эти упущенные решающие возможности еще долго, а может быть и всю жизнь, будут преследовать их, как порой преследуют старые, хоть и зарубцевавшиеся раны.

Другие заиграли желваками, и можно было, глядя на них, быть уверенным, что мелодия Канаим разжигала в их сердцах решимость, которую им предстояло проявить со своими возлюбленными.

Третьи закрыли свои лица руками, чтобы кто-то невзначай не прочел их мысли и не разглядел их чувства.

И только лица аксакалов все так же ничего не выражали, скорее всего потому, что эти чувства были давно ими пережиты, а если в ком и осталась боль за утраченные мгновения, или кто-то сумел в свое время проявить решительность, так не зря же они дожили до седых бород, научились надежно прятать свои чувства.

Но когда в мелодию Канаим вlepились первые тревожные нотки, оповестившие слушателей о приближающейся погоне, то начали не выдерживать и старики: кто-то, переживая, заерзал на месте, словно устраиваясь поудобнее, кто-то затеребил бородку...

И вот самый страшный эпизод мелодии, когда слуги бая настигли беглецов, принялись издеваться над беззащитными влюбленными, Нуржигит не выдержал, взял домбру и перебирая пальцами струны все так же безотрадно смотрел на яркие языки пламени костра, и со стороны могло показаться, что он безучастно наблюдает что-то происходящее там, перед самым перевалом, за которым открывалось счастье для двух влюбленных сердец. Но это было, конечно же, не так, просто Нуржигит передал свои чувства мелодии домбры и эта мелодия с силой поведала о страшной беде Нуржигита и Канаим.

Старики-аксакалы не могли сдержать своих слез, и они скатывались по их изборожденным морщинами щекам, запутывались в белых бородах.

Джигиты, приблизившиеся к годам своей взрослости, сжимали кулаки, жестко постукивая ими по своим коленям или по камню.

Глаза безусых юнцов вспыхивали яростным огнем, словно их взгляды впитывали в себя жар горевшего перед ними костра.

Да, каждый из слушателей ощущал сейчас себя свидетелем того, как был обесчещен этот человек, безучастно устремивший свой взгляд в какие-то мрачные дебри, как была поругана честь его возлюбленной. Трудно представить, что пальцы Нуржигита и струны могут стать одним целым, с такой нечеловеческой силой передать скорбь человеческую другим, не испытывающим этого.

Но было так.

Печальной была мелодия влюбленных.

Единый горестный вздох вырвался у всех присутствующих у костра, когда умолк последний звук домбры, когда бессильно упали на колени безмерно уставшие руки, будто бы проделавшие тяжелую работу.

Наступила тишина, едва нарушаемая потрескиванием ветвей в костре. И после некоторого молчания один из аксакалов, снова горестно вздохнув, негромко произнес, обращаясь к Канаим:

– Мы поняли вас, бедные... Они жестоко надругались над вами обоими...

– И не только над ними! – выхватив саблю из ножен, безусый юноша сверкнул яростным взглядом. – Они надругались над всем нашим племенем!

– Верно, – согласился раздумчиво аксакал. – А потому отныне эта мелодия останется в народе, как мелодия поруганного племени... А ты, сынок, обратно положи саблю в ножны. Нельзя нам истреблять друг-друга... Посмотри, итак разбрелись по всему свету потомки великого Тюрк Ата! Нельзя нам продолжать уничтожать самое себя.

Больше никто не проронил ни слова. Языки костра отражались в задумчивых взглядах слушателей, причудливо шевеля тенями близкого кустарника, тенью самой лачуги, внутри которой от неяркого света крохотного костерка размывались очертания Нуржигита, застывшего в одной позе, словно бы умершего.

– Несколько лет мы прожили с Нуржигитом в этой лачуге, ни разу не спустившись в его аул, – произнесла бесцветным голосом старуха. – А потом мой возлюбленный нашел смерть в нашей речке: то ли сам он искал ее, то ли она его пожалела... Ведь с нашим появлением здесь, в этой лачуге ни разу не прозвучал смех, ни разу не проскользнула по нашим лицам улыбка... Был сильный поводок, лил дождь, вода едва не добралась до лачуги. Нуржигит упал со скалы, на которой растет арча, в реку, разбился, вода унесла его так далеко, что я не смогла найти, чтобы передать по-человечески тело моего

возлюбленного земле... Раз в году хожу теперь туда, засохшая арча стала памятью о нем... А меня почему-то смерть не трогает... Живу зачем-то. Аильчане пока еще время от времени навещают ко мне, да почти никого уже не осталось из тех, кто знает или кто помнит нашу историю. Да и правильно это, зачем помнить чье-то горе, когда у каждого своего хватает? Какое сердце выдержит это?

– Да, горькая судьба досталась вам с Нуржигитом, – тяжело вздохнул старик-слепец, прижимая к себе придремавшего мальчика. – Но без памяти нет будущего, и тот аксакал оказался прав, ваша история и впрямь осталась в народе мелодией поруганного племени. Я много раз ее слышал, но впервые узнал, как она родилась...

– Что от этого изменится в мире, божий странник? – горько вздохнула Канаим. – Знал ты эту историю или не знал – все равно течет река, все равно поднимается ветер, все равно зажигаются звезды, рождаются и умирают люди... Что с того, что ты узнал?..

– Да, конечно, – согласился старик, – и реки также текут, и так же загораются звезды в сумеречном небе, и все это остается само по себе. Но судьбы людские остаются только в памяти нашей... Вот скажи мне, ты когда-нибудь слышала песнь о Раймалы-ага и Бегимай?

– Слышала, как не слышать! Может быть, не услышь я ту песню, так и не испытала бы хоть мгновение, но настоящего счастья... – подобие улыбки чуть коснулось уголков губ старухи и тут же погасло.

– Вот и я когда-то услышал впервые. Я божий странник, я давно на земле живу, и ты не права, Канаим, считая меня своим ровесником, я очень стар. Не один мальчишка-поводырь сменился у меня и, должно быть, еще не один сменится. Но я не о том. Я передал людям песню-память о любви Раймалы-ага и Бегимай, и эта песня дошла до тебя и хоть подарила единый миг – но счастья. Раймалы-ага и Бегимай не испытали даже этого. И может быть, кто-то, услышав память-песню о тебе и познавший судьбу твою, будет хоть ненадолго, но счастливей тебя... Тогда, знать, не зря твоя песня родилась. Низкий поклон тебе, Канаим, от тех, кто придет после тебя... Не жалею на склоне лет своих,

что не стала ни богатой, ни властной. Богатство - это грязь на руках: обмыл - и нету... Власть - огонь в очаге: дрова стоят, а пепел не согреет... Хотя и долго будет тлеть завистью от воспоминаний. Даже слава не вечна, Канаим, она подобна вихрю: поднимет человека, покружит, но потом обязательно швырнет на землю. Вечны только память и любовь. Память соединяет прошлое с будущим, любовь же отзывается в песне, что в народе живет. Любовь и времени не подвластна, только памяти. Что кроме любви может соединить в незатейливую мелодию и реальную жизнь, и мысли свои, и чувства свои? Ты, Канаим, и твой Нуржигит оставили память на земле своей песней-любовью. Да, вашу судьбу захлестнул черный океан, черный от горя, однако родник остался чистым, и еще не одной душе он поможет утолить жажду. Да, горька твоя судьба, но когда горе постигает судьбу целого народа, тогда черной становится уже сама память, и даже родники не скоро вернут ей чистоту. Если хочешь, Канаим, я поведаю тебе песнь о черной памяти, и тогда ты увидишь, что горе твое - полгоря, когда горе постигает судьбу целого народа...

– погоди, божий странник, давай-ка сначала уложим мальчишку, смотри, он давно уже спит... Хотя ты не видишь, прости...

– Я так давно слеп, Канаим, что мне многое видеть не надо: уши и сердце заменяют глаза мне. А мальчишку и вовсе узнаю за сотни шагов...

– Что ж, ты, наверное, прав... Но все же давай-ка я постелю ему. Нам-то что, старикам, мы свое отоспали, а там, где нас ждут, там и вовсе спать нам вечно...

Канаим поднялась, расстелила одеяло. Бережно приподняла мальчишку с колен старика, уложила, накрыла чапаном, вернулась на свое место.

– Вот так-то лучше будет, – произнесла она, удовлетворенно кряхтя. – Может быть, ты еще чаю будешь? – спросила она у старика.

– Если чашку нальешь... – улыбнулся старик.

– Отчего же не налить, чай-то горячий. – Канаим налила чашку, вложила в руку старика. Потом достала несколько

сухарики, вложила во вторую руку, пробормотала в ответ на «Спасибо»:

– Пустое, хлеб не помеха здоровью. К тому же, наверно, силы нужны, чтоб песню твою мне поведать... Речь-то о целом народе, ты говоришь, а что по сравнению с народом судьба несчастливой любви двух юных сердец... Так, сгоревшие бабочки в огне...

– Из черных родников рождается черный океан, – ответил старик.

– Бывает и наоборот...

– Бывает, – согласился старик, – но если черный океан делает черными родники лишь на время, то от черных родников рождается черная память, и не скоро тогда роднику стать снова чистым. Сколько тогда поколений людских понадобится, понадобится земле, чтобы освободиться душой от скверны! И как же редко задумывается человек, что его сегодняшней поступок всегда отзовется в будущем дне. Хуже того, бывает, что не задумываются об этом владыки могущественных племен, и тогда черная память через века, через десятилетия заставит содрогнуться целые народы...

...Еще некоторое время стояла тишина в доме после этих слов хозяина.

– Спасибо, Жакып-аксакал, – дрогнувшим голосом произнес Оогонбай. – Мне и раньше приходилось слышать это кюу поруганного племени, но впервые услышал, как она родилась. Спасибо.

Хозяин дома неожиданно протянул комуз Алыкулу, сказал:

– А ну-ка, попробуй ты сыграть.

– Что вы, что вы, я не умею, – испуганно отпрянул Алыкул и спрятал за спиной руки.

– Он и в самом деле никогда не держал в руках комуз, – заступился за мальчика Оогонбай.

– Человеку многое в жизни приходится делать в первый раз. И если мальчик действительно никогда не держал в руках комуз, то сейчас он это сделает. Разве киргиз может называть

себя киргизом, если он ни разу в жизни не побренчал на комузе... Ты только попробуй,- продолжал настаивать хозяин дома. – Держи его вот так, левой рукой прижимай струны в том месте, где тебе захочется, где захотят пальцы, а правой ударяй по струнам. И, самое главное, слушай музыку, она должна сопровождать твои мысли и слова, которые рождаются в сердце. На, ты только попробуй...

– Ну, разве что только попробовать, – согласился с хозяином и Оогонбай, – тогда возьми...

Алыкул взял комуз, сыграл небольшой кусочек. Его бренчание трудно было назвать игрой, но все же мелодия зазвучала, она чувствовалась, слышалась.

– И ты говоришь, что никогда в жизни не брал в руки комуз? – недоверчиво спросил старик.

– Нет...

– Ну что же... – глаза старика потеплели, – быть тебе тогда великим комузчи. Истинно великим!

– Вы что, приходитеесь родственником дочки Домо? – с улыбкой спросил Оогонбай. – Та, говорят, легко предсказывала людские судьбы... Кто может знать, кем станет этот мальчик, – он погладил Алыкула по голове, – великим комузистом или большим ачандиком? Я был другом его покойного отца, самого искусного охотника наших мест. Осмон, правда, не играл сам на комузе, но умел слушать других. И если ему выпадала большая удача на охоте, он созывал к себе всех айльчан и обязательно приглашал на пир акынов и комузчи. Когда же удача слишком долго отворачивалась от него, он заворачивал в чапан своего годовалого сына Алыкула и отправлялся с ним в другие айлы, где собирались комузчи. Бывало, до самого Суусамыра уходил с Алыкулом. Так-то вот. А когда умерла мать Алыкула, Осмон не захотел брать другую жену, вдруг невлюбит ребенка, или заставит отказаться от таких путешествий. Выходит, уже тогда Осмон хотел увидеть своего сына приобщенным к какому-нибудь вечному ремеслу, услаждающему душу. Но вы-то как заметили это?

– Э-э, гость, – возразил ему хозяин дома, – больше будешь жить, больше знать будешь, хотя взгляд твой и сейчас зорек: ты правильно определил, что быть мальчику большим человеком.

Но скажи, зачем ему быть ачандиком? Их и так хватает, и ты, наберясь немного грамоты, мог бы стать им. Богатство - это грязь на руке: отмыл - и нету... Власть - огонь в очаге: дрова сгорят, а пепел не согреет, хотя и долго будет тлеть завистью воспоминаний. И слава не вечна, она подобна вихрю: поднимет, покружит, но потом швырнет обратно на землю. Только талант вечен, он даже времени неподвластен, и комузистом стать может только талантливый человек, ибо кто другой сумеет соединить в мелодию и реальную жизнь, и мысли, и чувства свои? А мальчик действительно талантлив, потому что умеет не только слушать, но и видеть слышаемое, представлять это себе. Но, гость, скажу тебе вот что: конечно, талант может сам раскрыться, но лучше, когда его заметят вовремя, иначе он, бывает теряется в мирской суете. А нашему маленькому народу особенно важно беречь каждую крупицу, каждое зернышко таланта, ибо не так уж мы и богаты... Посуди сам, сколько веков прошло с тех пор, когда на нашем небосклоне возшла звезда Манаса? И разве есть у кого-то из нас уверенность, что скоро взойдет еще одна подобная звезда?..

- Мясо сварилось, - сообщила жена хозяина. - Ты уже совсем заморочил головы нашим гостям со своими талантами и манасами. Лучше за еду принимайтесь.

- Ты права старуха, - согласился хозяин, но если гость не возражает, мы продолжим нашу беседу после ужина.

Оогонбай развел руками, улыбнулся, сказал добродушно:

- Воля ваша, уважаемый. Как говорится, у себя веди себя как хочешь, а в гостях - как скажут.

- Хороший ответ! - засмеялся хозяин. - Тогда для начала вымоем руки. Эй, полейте нам...

Мальчик принес большую чашку, а девочка - чайник с водой и полотенце. Вначале Оогонбай, затем Алыкул и последним хозяин дома вымыли руки...

Покончив с ужином и вновь вымыв руки, и гости, и хозяин некоторое время сидели молча. Наконец хозяин предложил, обращаясь к Оогонбаю:

- Может быть, теперь ты, уважаемый гость, исполнишь нам какое-нибудь кюу? Мальчику это не под силу, хотя мне

доводилось знать и более маленьких, но умевших изображать самого Великого Манаса и его подвиги.

– Нет, хозяин, – огорченно ответил Оогонбай. – В наших краях нет хороших комузистов, поэтому нам не у кого было научиться владению этим инструментом. А вот вы, я вижу, не только большой знаток, но и большой любитель исполнять различные кюу. Не сомневаюсь, что исполненное вами перед ужином, это как кумыс перед бешбармаком. И осмелюсь попросить вас, уважаемый хозяин, исполнить еще что-нибудь. Ведь после бешбармака хорошо насладиться пиалой доброго кумыса. И не только для того, чтобы сегодняшний вечер запомнился мне на всю жизнь, но чтобы он запомнился мальчику. Вы же сами заметили, как впитывает он все, что окружает его. Возможно, он когда-нибудь станет большим ачандиком, а может великим комузистом, но в любом случае услышанное сегодня не пройдет для него без следа, оно обязательно откликнется в его душе...

– Ты хорошо сказал, и я не могу не исполнить твоей просьбы для мальчика, – ответил старик, вновь беря в руки комуз. – Возможно, это лучшее кюу из всех, что я знаю. Послушайте сначала, что произошло в те очень давние времена, когда на нашей земле хозяйничали иноземные захватчики.

Вместе с другими племенами и народами Среднего Востока оказалось поработанным чабгатами и одно немногочисленное племя «Сорока девушек». А названо было это племя так потому, что кроме общей подати, приходящейся на все племя, им надо было раз в два года снаряжать для службы чабгатскому хану Шыйкуу сорок лучших джигитов на самых лучших скакунах и боевых доспехах...

Хозяин дома, пощипывая струны, обращался теперь в основном к маленькому Алыкулу, найдя в нем чуткого и отзывчивого слушателя. И мальчик живо рисовал в своем воображении картину за картиной давно минувших дней. А когда далеко за полночь закончилась игра, мальчик уткнулся лицом в колени Оогонбая и моментально заснул. Хозяин дома перенес его в мягкую постель. Хозяйка с детьми тоже улеглись, и только Оогонбай с хозяином дома потягивали чай и вели неторопливую беседу.

– Человек всегда куда-то идет... – говорил, будто сам себе, хозяин дома. – И просить судьбу нужно не только о том, чтобы она продлила дни твои, но чтобы берегла человека, идущего вперед. Ибо достигнутое остается в памяти, оно может радовать других, но вряд ли принесет удовлетворение самому себе. И голько тот человек, которому удалось достичь счастливого состояния вечного движения, только тот человек может сказать без страха: «Я сделал все, что мог. Я шел, меня не затопили дожди и не засыпали снега, зной не иссушил меня и ветер не источил, и потому лишь об одном прошу судьбу, чтобы она даровала мое начало другому...».

– Ты извини меня, хозяин, – после некоторого молчания произнес Оогонбай, – я вижу, ты начинен мудростью и умеешь говорить мудрые речи, но мне, простому смертному, скажи мне прямо и откровенно, чего ты хочешь?

– Чего я хочу? – переспросил хозяин дома.

– Да.

– Хорошо, мой гость, я скажу тебе прямо и откровенно, как ты просишь. Я хочу, чтобы ты оставил мальчика мне. Пусть он будет моим сыном. Конечно, у меня и своих детей немало, но я думаю, что и этому мальчику хватит места. Ты же сам хорошо видишь, как мы живем...

– Но зачем тебе?

– Я собирал свое мастерство по крупницам у моего народа, но я не вернул его народу... Не знаю, сколько еще мне выпадет жить, но и так я прожил немало, и мне не хочется заканчивать свой земной путь, не оплатив земные долги. Да, у меня есть дети, но ни один из них не обладает талантом, и я не могу им передать свой комуз. А мальчик твой (я верю, что он никогда не брал в руки комуз), несомненно, способен... Когда я играл, то заметил, как загорелись его глаза. Если его вовремя научить, из него наверняка получится великий комузчи. Я думаю, ему не будет худо в моем доме. Да и мы, честно говоря, соскучились по маленькому, по заботам о маленьком... Я постараюсь, чтобы из него получился если не великий, то очень хороший комузист... Ну, а теперь я хотел бы выслушать твой ответ, мой дорогой гость...

– Хорошо, я отвечу тебе, хозяин. Твое предложение слишком хорошо, чтобы оно могло осуществиться. Конечно, было бы большим счастьем для этого сиротки попасть в руки такого мудрого человека. И дом, конечно, хорош, достаток чувствуется в каждой вещи. Все хорошо, конечно, но есть одно но...

– Объясни мне.

– У мальчика есть родная сестра и ее муж Черик. Поганый человек этот Черик, самый поганый во всем нашем аиле. Когда нажрется бузы, то никому от него покоя нет. И вам не даст он покоя, будьте в этом уверены. В общем, можете считать, что если возьмете к себе мальчика, то вместе с ним примете в дом еще и хама-верзилу, от которого самый ясный день станет несчастным. Мне бы не хотелось этого... Мне кажется, лучше будет, если мальчик окажется под защитой властей, чтобы не было лишних и никому не нужных разговоров... Что ты скажешь на это, хозяин?

– Да-а... Ты прав, мой гость... А скажу я тебе, что дорога до Токмака займет у вас еще не меньше двух дней.

– Ну что же, – вздохнул Оогонбай, – деваться нам некуда, придется осилить нам эту дорогу...

Хозяин дома ошибся: дорога заняла не два, а четыре дня. Добравшись до южной окраины, Оогонбай и Алыкул двинулись по накатанной тропинке, тянувшейся в двух километрах параллельно городу. Арба мерно поскрипывала на ухабах и рытвинах, а тропа все не сворачивала к Токмаку, хотя казалось, что она добралась уже до его середины.

Подумав, что так они могут объехать весь город, Оогонбай решил проехать напрямую, несмотря на то, что на ослепительно белой снежной целине не было видно ни единого следа. Рассудил Оогонбай примерно так: если даже они и застрянут в каком-нибудь месте, то вместе с Алыкулом сумеют вытолкнуть не слишком тяжелую арбу, зато гораздо быстрее окажутся у цели.

Но едва они проехали несколько шагов, как ишак показался Оогонбаю очень низким. Подумал даже, что тот упал, и громко крикнул:

– А ну, вставай!

Ишак не шелохнулся. Потом вдруг истошно заорал, как будто просил помощи. Оогонбай подошел к нему и сам провалился по грудь в мягкую теплую жижу. Лишь тогда он понял, почему на снегу не было никаких следов: они оказались в болоте.

– Байке, скорее! – скомандовал Оогонбай Алыкулу. – Возьми веревку и кинь мне один конец. Сам не подходи... Попробуй вытянуть меня...

Алыкул в точности выполнил все указания Оогонбая, но вытащить его у него просто не хватало силенок. Тогда Оогонбай подсказал Алыкулу зацепить конец веревки за телегу и лишь после этого огромным усилием вытащил самого себя из цепких объятий болота.

Немного передохнув и отдышавшись, Оогонбай принялся вытаскивать ишака и телегу, но, несмотря на суетливую помощь Алыкула, беспрестанно бегавшего вокруг, ему это не удавалось до тех пор, пока под одно колесо они не подложили все сено, что было в телеге, а под другое - кошмы и узелки. К тому же пришлось распрячь ишака, и сначала вытаскивать телегу, а уже потом перепуганное насмерть животное.

– Ну, молодец, ай да джигит! – хвалил Алыкула Оогонбай, вновь запрягая ишака. – Если бы не ты, нам бы с серым за тысячу лет не выбраться отсюда...

А мальчик, расстегнув пуговицы своего чапана, с удовольствием подставил потную грудь холодному зимнему ветру.

Вечерело. Солнце зависло над близкими верхушками гор и холодные его лучи потеряли даже в яркости.

В сумеречной комнате, мурлыча старинную русскую песню «Вот мчится тройка удалая», Груня Савельевна, женщина лет пятидесяти, зажгла керосиновую лампу, подошла с ней к

письменному столу, принялась перебирать какие-то бумаги, и вздрогнула от неожиданного вопля ишака...

Она не могла даже представить себе, что это за звук и откуда он исходит, поэтому осторожно прокралась к заиндевевшему окну, и увидела приближающиеся смутные тени. Присев на стоявший у окна диван, она поспешно перекрестилась и со страхом уставилась на дверь, вслушиваясь в шорох приближающихся, как ей казалось, чудовищ. Затем, пересиливая страх, добравшись до угла, где покоилось ведро с веником, схватила веник, занесла его над собой как топор, с полной решимостью ударить любое чудовище, что может появиться в комнате.

Но чудовища не торопились. Они потоптались у дверей, кто-то заговорил абсолютно человеческим голосом, и это несколько успокоило Груню Савельевну, и она спросила:

– Кто там?

За дверью вновь раздались голоса, и они опять были совершенно человеческими. Немного успокоившись, но на всякий случай не выпуская веник из рук, Груня Савельевна вышла на крыльцо и с удивлением уставилась на дрожащих от холода, перепачканных грязью мужчину и мальчика, Оогонбая и Алыкула, терпеливо переминающихся с ноги на ногу в ожидании появления человека...

– Ну, чего там у вас? – спросила Груня Савельевна по-русски.

Алыкул, впервые в жизни увидевший не похожего ни на одного из айльчан человека, да еще услышав совершенно незнакомую речь, вдруг задрожал, вцепился в руку Оогонбая.

– Этот маленький мальчик – Алыкул, – пояснил Оогонбай, показывая на дрожавшего мальчика, – сын Осмона, я привез его к вам, маржа¹.

– Чего, чего?

Оогонбай не понял смысла вопроса, но догадался по интонации, что женщина удивлена, и подумал, что она удивляется их внешнему виду, поэтому поспешно объяснил:

¹ Маржа – уважительное обращение только к русской женщине

– По дороге мы попали в болото, там и испачкались. А так всю дорогу были чистыми... Вот этот мальчик, – он снова показал на Алыкула, – круглый сирота.

– Завтра, завтра приходите, – сказала Груня Савельевна, хотя и не понимая слов, но догадываясь о сути посещения. – С утра здесь все начальство будет, оно и решит.

– Эди¹! И эта, как будто дочь Домо из сказки, предсказывает твою судьбу, байке... Видишь, она сразу догадалась, что ты будешь ачандиком... – И, повернувшись к женщине, продолжил: – Да, маржа, ты правильно угадала, вот этот мальчик станет ачандиком, иначе зачем бы я привез его сюда?..

– Ты о чем? – опять не поняла Груня Савельевна. Оогонбай наморщил лоб, лихорадочно перебирая в памяти все слова, которые он когда-либо слышал от русских, и, не найдя ничего схожего со словом «чом», подумал, что это киргизское слово и сказал:

– Чом нет, маржа... У нас чомом седлают только волов и верблюдов. А для лошадей и ишаков используются обыкновенные седла. Но ишак сегодня ни в чем не виноват, это я во всем виноват. Я же не знал, что там болото, я первый раз в этой местности... Поэтому все там осталось, и кошма, и узелок, даже его собственная шапка осталась в болоте и пришлось открыть его платком.

Поняв, что неожиданные посетители не собираются уходить, что они, видимо, просят помощи, она жалостливо посмотрела на дрожавшего Алыкула:

– Что же мне с вами делать? А мальчик совсем продрог... Совсем плохо ребенку...

– Плахой нет, – наконец-то осилил русскую фразу Оогонбай, – бала² карош...

– Да что же мы все на крыльце разговариваем! – всплеснула руками Груня Савельевна. – Ведь замерзли же оба... Проходите... – она жестом показала на дверь и первая вошла в комнату.

¹ Эди – восклицание удивления.

² Бала – ребенок.

– Ну, теперь ты убедился, что твой Оке не такой уж и простой человек? – толкнул Оогонбай мальчика в бок. – Стоило мне сказать ей несколько слов, как она сразу согласилась взять тебя в детдом... Ну пошли байке.

Не успели сделать и шага к двери, как она распахнулась и на пороге появилась Груня Савельевна с горящим примусом в руках. Алыкул отпрянул.

– Не бойся, – обнял его за плечи Оогонбай, – это русский очаг, на котором они кипятят воду и готовят пищу. Пошли.

– Я не пойду, Оогонбай-аба, я боюсь! – Алыкул уткнулся лицом в живот Оогонбая. – Забери меня обратно... – неожиданно зарыдал он, – я прошу тебя, увези меня обратно... Я всегда буду слушаться тебя, я буду пасти твоего ишака и помогать тебе собирать хворост...

– И что же тогда получается? – задумчиво поскреб затылок Оогонбай, спрашивая не столько Алыкула, сколько самого себя. – А тогда получается, что мы совершенно зря проделали весь этот долгий и утомительный путь...

– Не хочу я здесь оставаться, не хочу! – продолжал рыдать Алыкул, вцепившись в одежду Оогонбая.

– Ну что ж, так бывает... – поддался своим чувствам добродушный простак. – Если тебе очень уж хочется поехать обратно, то мы поедем обратно.

Подошла Груня Савельевна.

– Чего ждете! Вы же взрослый человек, вы же видите, что мальчику совсем худо. Сейчас я вас горячим чаем напою...

Слово «чай» немного успокоило Оогонбая и он принялся объяснять Алыкулу:

– Кажется, она приглашает нас на чай, если я не ошибаюсь... – Пойдем, выпьем по пиале другой горячего чая, а потом и в путь двинемся. Да и ишаку нашему отдохнуть не помешает, он тоже достаточно намаялся за эти дни. Ну, пошли.

Он взял мальчика за руку, они несмело поднялись на крыльцо, открыли дверь и остановились в нерешительности. Чистая просторная комната, посередине застеленная узорчатой дорожкой от порога до письменного стола, красивые стулья и кожаный черный диван, яркая лампа, хоть и керосиновая – все это было им в диковинку.

Не долго думая, Оогонбай снял чапан, вывернул его, чтобы ненароком не испачкать что-нибудь, аккуратно положил в угол комнаты. Затем снял чокои, самодельную обувку, и столь же аккуратно поставил рядом. Алыкул в точности повторил все его действия. Потом они прошли, не наступая на дорожку, к письменному столу, сели, прислонясь к нему. А когда, соблюдая обычай, одновременно провели ладонями по лицу, Груня Савельевна, молча наблюдавшая за ними, не выдержала, громко расхохоталась.

– Мы передумали, – сказал Оогонбай по-киргизски и кивнув на Алыкула, добавил: – Он не хочет оставаться.

– Да, конечно, – согласилась Груня Савельевна, глядя на мальчика, – ребенок совсем ослаб... Ты хоть немного понимаешь по-русски? – спросила она у Оогонбая.

– Понимаешь, маржа, понимаешь... – закивал Оогонбай.

– Ну, если понимаешь, тогда я тебе русским языком говорю, что ребенка надо приводить завтра.

Оогонбай долго перебирал в памяти все знакомые русские слова, но так и не найдя ничего подходящего, сказал:

– Нет понимаешь...

– Да как же мне объяснить тебе, что только завтра будет все начальство...

– Алыкул ачандик нет будет... – произнес по-русски Оогонбай – Оогонбай и Алыкул Кара-Балта хайда...

И затем добавил по-киргизски: – А чай у тебя очень хороший! – и показал большой палец. – Карашо...

– Ну чего здесь хорошего, – не поняла мысли Оогонбая Груня Савельевна. – Ты пойми, мил человек, что не я решаю этот вопрос...

– А? Попурос?

– Да, да, этот вопрос.

Оогонбай залез во внутренний карман и вытащил маленький сосудик, сделанный из рога для хранения насвая – курительного табака, протянул женщине:

– Прости, маржа, но папурос у меня нет... Вот, насвая, может, попробуешь...

– Ты что, ты что! – замахала руками Груня Савельевна. – Я сроду не пробовала такую гадость! Еще налить тебе чаю?

– Маржа, ты не можешь говорить по-человечески, зачем тогда злишься на меня? Я никогда в жизни не держал папирос. Я даю тебе то, что у меня есть, а чего нет – где я возьму?

– Наверно, мы с тобой никогда не пойдем друг друга, – вздохнула Груня Савельевна. – Ну да ладно, вам здесь где-нибудь есть переночевать?

– Маржа, нет понимаешь...

– Фу ты, господи!

Она сложила ладони и прижав их к щеке, спросила:

– Бар?

Огонбай обернулся к Алыкулу, увидел, что тот совершенно безучастен к разговору и готов вот-вот заснуть, ответил:

– О-о, жок, маржа, жок!

– Ну, конечно! – воскликнула Груня Савельевна и, посмотрев на Алыкула, приложила ладонь к его лбу. Да у мальчика сильный жар! Простудился, наверное...

– Алыкул и Оогонбай Кара-Балта хайда.

– Хайда, хайда... – проворчала Груня Савельевна, – Да разве можно в такую погоду приезжать? Хоть из Кара-Балты, хоть из Пишпека, она бережно взяла мальчика на руки, перенесла на диван и укрыла толстым одеялом. Алыкул невидящим взглядом посмотрел на нее, что-то бессвязно пробормотал.

– Бедняжка, – вздохнула Груня Савельевна, – ему совсем плохо, он бредит, – затем она повернулась к Оогонбаю. – Его лечить надо, в больницу отвезти...

– Алыкул карашо! – сказал Оогонбай, показывая большой палец и ласково глядя на женщину, тем самым давая понять, что мальчик попал в хорошие руки.

... Кто знает, не заболел тогда Алыкул, либо понимай Оогонбай хоть немного по-русски или Груня Савельевна по-киргизски, может быть, судьба будущего поэта сложилась бы совершенно иначе, но его величество случай активно вмешался в его жизнь и мальчика пришлось положить в единственную тогда в Токмаке больницу.

На следующий день, когда пришел директор детского дома, во всем, конечно, разобрались. Оогонбаю сказали, чтобы тот не беспокоился о мальчике, чтобы возвращался к себе в аил и даже обеспечили кое-каким провиантом на дорогу. Однако не мог уехать Оогонбай, не повидавшись и не попрощавшись с Алыкулом. Три дня ходил он вокруг больницы, и лишь когда директор детского дома посоветовал приехать навестить мальчика летом, Оогонбай с тяжелым сердцем уехал. Вряд ли кто-нибудь в аиле Каптал-Арык предполагал, что Оогонбай может плакать, но сейчас, когда он покидал Токмак, слезы скатывались по его щекам и застревали в усах, превращаясь в ледяные сосульки.

Почти неделю не приходил в себя Алыкул. Врач обнаружил у него двустороннее воспаление легких. Когда же очнулся, то не сразу и сообразил, где он и что с ним. А потом долго еще боялся встать с постели, опасаясь, что кончится его райская жизнь, что опять придется возвращаться к жезде Черику...

В палату к нему часто приходила Груня Савельевна. У нее, как у всякой уборщицы, хватало своих хлопот, но она как-то особенно привязалась к Алыкулу, может быть потому, что он был самым маленьким и самым слабым... Приносила испеченные дома бублики и пирожки, которые, правда, поначалу оставались нетронутым, но постепенно ласковое обхождение Груни Савельевны растопило лед недоверия в душе мальчика, и он уже ждал ее, встречая широкой улыбкой...

Но вот наступило время выписки из больницы. Подходя к выходу, Груня Савельевна увидела маленького человека уже в пальто, шапке и ботинках. Не выдержав, она с удовольствием воскликнула:

— Да вы только посмотрите на него! Как будто вся одежда специально сшита! И сразу такой важный стал...

Алыкул подошел к ней, приложил полусогнутую ладонь к щеке и сказал:

— Выдырасты!

Груня Савельевна обняла его, прижала к себе, едва сдерживая слезы, прошептала:

– Здравствуй, мой хороший, здравствуй, мой миленький! Я вижу, ты совсем уже поправился... Ну, как ты себя чувствуешь? Нигде не болит?

Ответом ей была привычная уже широкая улыбка мальчика, ни слова не понимавшего, но понимавшего доброту и ласковость ее голоса.

– Я спрашиваю, – медленно растягивая слова, повторила Груня Савельевна, – как ты себя чувствуешь, хорошо?

– Ка-ра-шо! – кивнул Алыкул, желая сделать приятное этой женщине.

– Ну и слава богу, что карашо, – улыбнулась Груня Савельевна, – это очень хорошо, когда все карашо. Значит, нам с тобой и домой пора... Пошли!

И они пошли по зимней улице Токмака в сторону детского дома.

Первое, что они посетили в детском доме, была столовая. В тот час она была пуста, но когда Груня Савельевна и Алыкул, сначала раздевшись в прихожей, сели за стол, к ним подошел невысокий мальчишка, лет на пять постарше Алыкула, принес по тарелке супа и ломтю хлеба.

– Ты опять дежурный, Миша? – спросила у него Груня Савельевна.

– Ага, – ответил тот.

– Но ты же позавчера дежурил?

– А я сегодня вместо Карима.

– Почему?

– Он заболел, Груня Савельевна.

– А как же у тебя с уроками?

– Уже все выучил, не беспокойтесь!

– Ну, тогда ты совсем молодец! Познакомься, – она кивнула на Алыкула, – наш новенький. Думаю поселить его в вашей комнате.

– Хорошо, – сказал мальчик, и, протянув руку Алыкулу, совсем по-взрослому представился: – Махмуд.

Алыкул, не зная, как поступить в такой ситуации, покраснел, опустил голову.

– Вот ты у нас какой стеснительный, – добродушно улыбнулась Груня Савельевна, поглаживая его по голове, и пояснила, обращаясь к Махмуду: – Его зовут Алыкул, он просто еще не умеет здороваться так, как вы, так что ты помоги ему, Миша, поскорее освоиться, тем более, что он ни одного слова не понимает по-русски. Да следи, чтобы его другие не обижали, ведь он такой маленький еще...

– Хорошо, Груня Савельевна.

– Вот и ладно, – довольно произнесла она и поднялась: – Спасибо тебе за вкусный обед, Миша, пойду отведу Алыкула в вашу комнату и познакомлю с ребятами. Ну, пошли?

Алыкул поднялся, вышел вслед за Груней Савельевной. Миновав небольшой двор, они зашли в другое здание и остановились возле двери на которой висела табличка с номером 13.

– Здравствуйте, дети! – войдя, поприветствовала она находившихся в комнате пятерых мальчишек в возрасте от семи до двенадцати лет.

– Здравствуйте! – хором откликнулись они, вставая со своих мест.

– Я вам привела новенького, – кивнула она на Алыкула, – зовут его Алыкул. Принимаете его в свою компанию?

– Конечно, конечно, Груня Савельевна!

– А какую койку вы ему дадите?

– Вон ту, она свободная.

– Иди, Алыкул, иди, – она подтолкнула его легонько в спину, – располагайся, это теперь твоя койка. Ну, я пойду...

Едва только Груня Савельевна вышла, мальчишки тут же окружили новенького. Никто не решался заговорить первым и в комнате воцарилась гнетущая тишина...

Но вот один из мальчишек лет десяти, с веснушчатым лицом, засунув руки глубоко в карманы, двинулся вдруг на Алыкула. Тот отступал до тех пор, пока не уперся в стену. Веснушчатый, приблизившись вплотную, грозно посмотрел

Алыкулу в глаза, потом неожиданно подпрыгнул, напугав Алыкула еще больше, и протянул руку для приветствия:

– Ассолом алейкум... седьмой!

Еще свежа была в памяти Алыкула его неловкость в столовой, когда он не смог толком поздороваться. Поэтому сейчас, посчитав поступок веснушчатого за здешний обычай здороваться, он, тоже подпрыгнув, сказал:

– Ва алейки салам, седьмой!

Все рассмеялись. Веснушчатый толкнул его в плечо, похвалил:

– А ты ничего!

Алыкул в точности повторил его движение:

– А ты ничего.

Это уже было чересчур. Веснушчатый подмигнул одному из мальчишек, стоявшему позади Алыкула, и тогда тот немедленно опустился за его спиной на четвереньки, толкнул в грудь. Алыкул упал, больно ударившись головой о стену. Из всех сил стремясь не расплакаться, он все же не удержал слез. В этот момент в комнату вошел Махмуд. Увидев слезы на глазах Алыкула, он грозно посмотрел на мальчишек:

– Кто его обидел?

Все молчали.

– Я спрашиваю, кто его обидел?

– Ну, я... – вышел вперед веснушчатый.

– Зачем?

– Да мы просто поздоровались...

– Сейчас я с тобой так поздороваюсь, что не обрадуешься...

– Кто? Ты?

– Да!

– Ха! Попробуй только! – веснушчатый демонстративно не вынимая рук из карманов, отвернулся от Махмуда. Тогда тот схватил веснушчатого за шиворот, повернул к себе лицом, и через мгновение клубок из двух мальчишеских тел покатился по комнате, переворачивая табуретки и раздвигая кровати. В конце концов Махмуд уселся верхом на веснушчатого.

– Запомни и передай другим, если еще кто-нибудь тронет пацаненка, будет иметь дело со мной! Понял?

Веснушчатый сделал еще одну попытку вырваться из цепких объятий Махмуда, но, почувствовав бесполезность усилий зatih, утвердительно кивнул. Махмуд отпустил его, подошел к все еще всхлипывающему Алыкулу, посадил на кровать, начал успокаивать:

– Ну, хватит, хватит, перестань плакать. Больше никто не тронет тебя...

Повернулся к мальчишкам, кивнул на беспорядок и тоном, не терпящим возражений, сказал:

– Приберите здесь аккуратно, я скоро вернусь.

Лишь когда за Махмудом закрылась дверь, веснушчатый решился встать, но не успел он привести свою одежку в порядок, как Алыкул с громким ревом подскочил к нему и вцепился в волосы...

И вот настал один из самых волнующих дней Алыкула: Груня Савельевна, вручив ему тетрадь и карандаш, отвела в класс. Остановившись у доски, Алыкул огляделся. За партами по двое и по трое сидело около пятидесяти мальчишек и девочек, занятых приготовлением к предстоящему уроку. Они совершенно не обращали внимания на Алыкула, который растерянно стоял возле доски, не зная, куда ему пойти. Из оцпенения его вывел Жапар, показывая на место рядом с собой, хотя они и так сидели вдвоем с Оруном, недавним веснушчатым обидчиком Алыкула.

Только успел Алыкул сесть за парту, как дверь в класс отворилась и вошел красиво одетый мужчина с журналом в руках. Все встали. Учитель остановился возле доски, повернулся и сказал:

– Здравствуйте!

– Здравствуйте, агай! – хором ответил класс.

– Садитесь. – И, когда ученики шумно расселись по своим местам, продолжил, – ребята, сегодня наш класс пополнился еще одним учеником. Конечно, пришел он к нам поздновато, но, думаю, если мы поможем ему, то он сумеет быстро усвоить пройденную нами программу. А мы ему поможем. Ведь чему

учит нас новая жизнь: помогать друг другу. Ну, а сейчас давайте познакомимся с новичком. Как тебя зовут? – он посмотрел на Алыкула.

– Алыкул... – едва слышно прошептал тот.

– А отца твоего?

– Осмон...

– Вот и прекрасно! Значит, ты Алыкул сын Осмона. А меня зовут Жунуш-агай. Я буду учить тебя и твоих друзей читать, писать, считать... Словом, учить всему, что умею сам. Все понятно?

Алыкул кивнул.

– Тогда откройте все тетради и напишите новую букву, – он подошел к доске, взял мел и одновременно с объяснением, начал выводить букву «ф». – Сначала рисуем палочку, затем одну руку слева, а другую справа. Вот так и получился у нас человек. Какая это буква, ребята?

– Фе-е! – хором ответили ученики.

– Не совсем правильно... Надо говорить «Эф». Ну-ка повторим все вместе.

Эфф! – выдохнул класс.

Утром Алыкул проснулся от толчка в плечо. Открыл глаза – Жапар, сосед по парте.

– Эй, седьмой! – воскликнул он, – Я вижу, ты большой любитель поспать. Подымайся быстрее, на зарядку пора!

– Зачем? – не понял Алыкул.

– Такой порядок!

Подобного объяснения для Алыкула было более чем достаточно: что-то, а уж кем-то заведенный порядок он никак не посмел бы нарушить. Вскочив с постели, принялся быстро одеваться, но Жапар остановил его:

– Не надо одеваться. Мы делаем зарядку в трусах и майках.

Выскочив во двор, они пробежали несколько кругов, после чего Жапар, скинув майку, принялся растирать себя снегом. Несмотря на свою исполнительность, Алыкул не решился последовать примеру... Тогда Жапар обхватил его сзади,

намереваясь повалить на снег, но в это время к ним подошла какая-то девочка.

– Что, новенький? – спросила она у Жапара, взглядом показывая на Алыкула.

– Сама, что ли, не видишь... – засмеялся Жапар.

– Бойтся снега?

– Ну да!

– А вот мы сейчас научим его, как это делается! – и она со смехом принялась растирать снегом лицо Алыкулу.

Вывравшись из объятий Жапара Алыкул, тоже смеясь, попросил:

-- Не надо, я сам...

– Не обманешь? – спросила девочка.

– Я никогда не обманываю!

– Как ты думаешь, ему можно поверить? – спросила девочка у Жапара.

– Не знаю... – пожал тот плечами. – Вообще-то он не плохой парень.

– Ладно, на первый раз поверим, а там посмотрим...

Алыкул принялся усердно натираться снегом. Девочка весело рассмеялась и убежала. Проводив ее взглядом, Алыкул спросил у Жапара:

– Как ее зовут?

– Кого? – не понял тот.

– Ну, девочку, которая к нам подходила сейчас.

– Гайникамал.

– Как, как?

– Гай-ни-ка-мал, – повторил по слогам Жапар.

– Разве такие имена бывают? – удивился Алыкул.

– Если ее так зовут, значит бывают.

– В нашем аиле я никогда таких имен не слышал.

– В вашем аиле, наверное, и уйгуров не было.

– А что такое уйгур?

– Так называется их народ, как киргизы, как русские, а эти называют себя уйгурами.

– Нет, у нас таких не было... Гайникамал... Гайникамал... Гайникамал...

– Э-э, что с тобой! – засмеялся Жапар. – Может быть, ты уже влюбился в нее?

– Да нет, – смутился Алыкул, – просто очень интересное имя – Гайникамал...

Однажды, когда они уже выучили все буквы алфавита, Жунуш-агай принес на урок какой-то предмет, завернутый в бумагу. Развернув, он показал ученикам портрет какого-то незнакомого Алыкулу человека.

– Это портрет вождя мировой революции Владимира Ильича Ленина, – пояснил учитель. – Кто такой Ленин? Ленин – это человек, который построил нам вот эту великолепную школу, который всегда боролся и борется за интересы трудового народа. Ленин – это тот человек, который сказал нам всем: «Вот вам школа, вот вам одежда, вот вам еда. Живите, учитесь и трудитесь, стройте себе радостную и счастливую жизнь». Теперь вам понятно, кто такой Владимир Ильич Ленин?

– Понятно!

– Тогда давайте сделаем вот что. Откройте свои тетрадки и на чистом листе напишите – Ленин. Только не заглядывайте друг к другу, напишите так, как услышите, отметок за это я вам ставить не буду.

Жапар написал – Ленин.

Орун написал – Ленин.

Гайникамал написала – Иленин.

Кто-то написал – Лейлин.

Алыкул, проникшись глубокой благодарностью к человеку, который для него сделал столько добра, послушав химический карандаш и старательно, с огромной любовью вывел на чистом листе бумаги – Ленин.

Шли дни, месяцы, годы. К четвертому классу Алыкул окреп, освоился с порядками в детском доме, обзавелся товарищами и друзьями.

Как-то учитель попросил его сбегать на почту, чтобы отправить письмо. Алыкул с готовностью согласился. Возвращаясь в детдом, встретил Оруна и вспомнил, что тот почему-то уже два дня не посещает занятий. Несмотря на позднюю осень, Орун был в одних трусах и майке.

– Что с тобой? – удивился Алыкул. – И почему ты на занятия не ходишь?

Орун заплакал.

– Да что случилось? Где твоя одежда?

– Вон... у них... – кивнул Орун в сторону трех мальчишек, игравших в альчики под громадным карагачом.

– Они что, отобрали у тебя одежду?

– Нет, – продолжал плакать Орун, – я сам ее в альчики проиграл.

– Зачем же ты это сделал?

– Я не знаю...

– Может быть, позвать Махмуда и других ребят да отобрать твою одежду у них?

– Ну да, будут они ждать...

– Что же ты предлагаешь?

Глаза у Оруна заблестели и он сказал:

– Если бы ты хоть одного взял на себя, то я с двумя запросто бы справился! Ты не испугаешься?

– Не бойся, пошли!

Они решительно направились к игравшим. Орун, напустив на себя довольно грозный вид, потребовал:

– Верните мою одежду по-хорошему!

Те удивленно посмотрели на осмелевшего Оруна и Алыкула, а самый здоровый из них насмешливо спросил:

– А иначе что будет? Или ты хочешь напугать нас этой малявкой? – он ткнул пальцем в грудь Алыкулу.

– Хотя бы... – голос Оруна дрогнул, в нем не осталось и следа недавней решительности.

– А мы его... – здоровый схватился за козырек алыкуловской фуражки и натянул ее ему на нос. Алыкул растерялся. Мальчишки захихикали. С большим трудом Алыкулу удалось стащить с головы фуражку, и он тут же, не раздумывая, ударил своего обидчика. Тот упал. Двое других мальчишек схватили

Алыкула за руки, собрались было повалить его на землю, но упавший мальчишка уже поднялся на ноги, повернул козырек своей кепки назад, приказал:

– А ну-ка, отпустите его!

Ребята послушно отступили, но едва только Алыкул собрался выпрямиться, как получил сильный удар головой в лицо. Упал. Орун взмолился:

– Ребята, милые, да оставьте мою одежду у себя, только его не трогайте, он хороший...

Но договорить ему не дали, вlepили такого пинка под зад, что Орун побежал, не оглядываясь. А мальчишки окружили Алыкула и принялись колотить его. Алыкулу удалось пнуть одного из них в пах так сильно, что тот волчком закружился, издавая дикие вопли. Но двое других, свалив Алыкула на землю, стали озверело пинать его...

– Эй, вы что тут вытворяете! А ну-ка прекратите! – неожиданно раздался голос Груни Савельевны, и мальчишки тут же исчезли, впопыхах позабыв о выигранной одежде.

Подойдя ближе к поднявшемуся с земли пареньку, она с ужасом узнала в нем своего воспитанника Алыкула, всплеснула руками:

– Господи, Алыкул, ты ли это? Что же они с тобой сделали! Зачем же ты связался с беспризорниками?

Алыкул, не поднимая глаз на Груню Савельевну, кое-как отряхнулся, и, размазывая по лицу кровь, текущую из разбитого носа, сказал:

– Я не связывался... Это Орун проиграл свою одежду в альчики, мы хотели забрать ее, вот так все и случилось... Простите меня, мама Груня, больше не буду...

Груня Савельевна привела Алыкула домой, быстренько согрела воду и умыла его. Приложила какие-то примочки к синякам. Потом вскипятила чай и поставила на стол пироги. Алыкул уминал их, запивая чаем, а Груня Савельевна ласково и грустно смотрела, как он ест...

– Спасибо, мама Груня! – Алыкул аккуратно собрал крошки со стола и отправил их в рот. – Ну, я пойду?

– Погоди немного...

Она прошла вглубь комнаты, открыла небольшой сундучок, достала тоненькую книжечку, раскрашенную цветными рисунками, протянула ее Алыкулу:

– Вот, возьми. Я ее купила, когда в Пишпек ездила, хотела на праздники тебе подарить...

Алыкул взял книжку и тут же вслух прочел:

– Александр Сергеевич Пушкин. Сказка о попе и его работнике балде. Этот человек написал и «Зимний вечер», да, мама Груня? – спросил он.

– Не знаю, сынок, наверное...

Уже на следующий день Алыкул будет знать эту сказку Пушкина наизусть, но никогда не расстанется с ней, даже после того, как великолепно переведет ее на киргизский язык. Но все это будет потом.

А сейчас, в один из зимних вечеров, он остался один в пустом классе, вновь с удовольствием представляя, как испуганный поп прячется от балды под юбкой собственной жены.

... Неожиданно распахнулась дверь, вбежавший Махмуд громко и, как показалось Алыкулу, испуганно крикнул:

– Скорее на площадь!

Выйдя из класса, он увидел множество конных и пеших людей, спешащих на игровую площадку вслед за всадником, который держал в руках красный флаг с черной каймой. Лица у всех были суровыми.

В центре площади была воздвигнута трибуна, которую обычно ставили на праздники 1 мая и 7 ноября. И портрет Ленина был там же, как на празднике, только зачем-то обрамленный черной лентой.

Все ехали и ехали конные киргизы, глубоко на глаза надвинув шапки и опершись на сложенные камчи.

Такое Алыкулу доводилось видеть только во второй раз. А первый был, когда бандиты убили председателя сельсовета Мырзакула. Вот так же тогда ехали мужчины, надвинув на глаза шапки и опершись на сложенные камчи, причитая: «О наш дорогой... Зачем ты покинул нас... Когда еще бог пошлет нам такого человека, как ты...» Это традиционное причитание называется «Окурук», делается мужчинами, и участие в нем считается обязательным, как последняя дань уважения к покойному... Мальчишек, как правило, приобщают к нему лет с пятнадцати, сначала по умершим самым близким родственникам, потом по дальним, а потом и по каждому покойнику в аиле. Обычно количество причитающих мужчин не превышает ста человек.

«Неужели умер директор детдома или Жунуш-агай?» – подумал Алыкул с тревогой, но тут же облегченно вздохнул, увидев обоих на трибуне вместе с несколькими незнакомыми мужчинами.

Все молчали. Но вот директор сделал шаг вперед, снял шапку и сказал;

– Дети! Товарищи! В эту минуту, когда человечество всего земного шара находится в глубокой скорби, я прошу почтить пятиминутным молчанием память вождя мирового пролетариата...

Три тысячи рук одновременно сняли шапки.

– Умер Ленин.

– Что?

Три тысячи «что» одновременно заполнили площадь. И собравшиеся люди, нарушив ритуал молчания в один голос запричитали:

– О наш дорогой отец, зачем ты покинул нас! Боорум-ой! Боорум-ой!

Содрогнулась земля, казалось, что причитают сейчас и горы, и небо, и дома, и деревья... К мощному многотысячному причитанию присоединились гудки заводов. И Алыкул впервые в жизни причитал:

– Боорум-ой!..

Наступило лето. В безоблачном белесо-синем небе повисло белое солнце. И только густые кроны тополей, карагачей и дубов спасали город от палящего зноя.

Двор детдома, обычно наполненный мельтешащими фигурками мальчишек и девчонок, и их гомоном, сегодня будто вымер: во всех классах проходили итоговые беседы учителей с учениками. Жунуш-агай, закрывая журнал, сказал:

– Итак, дорогие мои мальчишки и девчонки, поздравляю вас с успешным окончанием 1928 - 1929 учебного года. Но это еще не все, - успокоил он зашумевших учеников. – Пять человек из нашего класса - Баян Аламан уулу, Жузумкул Кудайберген уулу, Керимкул Кенжекул уулу, Алыкул Осмон уулу и Абдрасул Токтомуш уулу, закончив учебный год с отличными оценками и примерным поведением, полностью выполнили завет нашего великого отца Владимира Ильича Ленина, который призвал нас учиться, учиться и учиться! Эти пятеро награждаются похвальными грамотами...

И пока учитель награждал отличившихся грамотами, остальные ученики поддерживали их громкими аплодисментами.

– Ну, вот, – сказал Жунуш-агай, закончив раздавать грамоты, – теперь с сегодняшнего дня у вас начинаются летние каникулы. Вы разъедетесь по своим аилам, и я надеюсь, будете не только отдыхать, но и помогать своим близким родственникам. И я прошу вас всегда помнить, что по вашему поведению будут судить обо всем нашем детском доме.

Учитель заметил поднятую руку Оруна спросил:

– Тебе что-то не понятно?

Орун встал, смущенно опустив голову, казалось даже веснушек на его лице поубавилось.

– Вот вы сказали, Жунуш-агай, что желаете нам хорошего отдыха в своих аилах у своих родных и близких... А если совсем некуда ехать? Не будем же мы все лето жить, как Алыкул, у Груни Савельевны!... Куда нам, безродным?

– Садись, Орун, - прервал его учитель, – я понял твой вопрос, попробую сейчас объяснить... Во-первых, хотя ты уже

достаточно взрослый, но сознание твое все еще осталось прежним и ты порой даешь политического «петуха»...

По классу прокатился короткий смешок. Дождавшись тишины, учитель продолжил:

– Сам посуди, как это некуда ехать, если у нас давно нет безродных? Есть у нас общее государство, есть партия, есть комсомол и пионерия, есть школа и есть мы, наконец. Разве кто-нибудь не спешил тебе на помощь, если тебе было трудно? Спешили. Так разве мы здесь все не родственники?

– Родственники... – чуть слышно прошептал Орун.

– Ну, а, во-вторых, о тех, кто не сможет или не захочет уехать к своим родственникам в айлы, побеспокоился горком партии, договорился, мы поедем отдыхать на джайлоо Окторкой. Совет джайлоо ответит нам несколько юрт, обеспечит питанием. Но мы там будем не только отдыхать, но и выполнять важные задачи: соберем гербарии, дадим концерты для местных жителей, а самое главное, будем ликвидировать неграмотность... Кто согласен ехать, поднимите руки.

Весь класс поднял руки, а потом раздалось такое громогласное «Ура!», что его было слышно далеко за пределами детского дома...

До самого горизонта качаются изумрудно-серебристыми волнами густые травы, высокие, доходящие порой до самых голов пионерского отряда, шагающего за Жунуш-агаем. Невдалеке вздымаются сизо-голубые силуэты Великих гор. А под ногами - море земляники, смородины, ежевики, тысячи всевозможных цветов.

Поднявшись на небольшой перевал, Жунуш-агай остановился и показал на раскинувшиеся в низине юрты. Одна из юрт, самая большая, стояла на предгорке, а над ее тундюком развевалось красное знамя.

– Вот мы и пришли... – сказал учитель, – А теперь, ребята, давайте построимся в колонну по два, Алыкул и Сабыр впереди. Ведь в этом айле еще никогда не видели пионеров, так что нельзя вам ударять лицом в грязь...

И если поначалу никто не обращал внимания на шедших ребят, то когда Алыкул ударил в барабан, а Сабыр заиграл на горне, и когда эхо тысячекратно умножило их звуки, создав впечатление, что заиграл огромный оркестр, тогда залаляли отчаянно собаки, не смея, впрочем, приблизиться к отряду, испуганно заржали кони... И только невозмутимые овцы продолжали щипать сочную, вкусную траву.

Из юрт высыпали люди, не скрывая удивления, смотрели на приближающуюся колонну ребят в красных галстуках. Аильские мальчишки наперегонки бросились навстречу. Из ближних ущелий скакали взрослые мужчины. И вскоре отряд был окружен огромной толпой, оживленно обсуждавшей открывшуюся им картину:

– Ты смотри, какие маленькие впереди!

– Наверное, они самые главные...

– Председатель говорил, что к нам сироты придут, а эти совсем не похожи на сирот...

– Вай, какой стыд, девочка, а в коротких штанишках!

– Где?

– Да вон...

– Нет, это мальчишка.

– Посмотри хорошенько...

– Что же смотреть, если голова коротко острижена.

– Ну и что с того, что коротко острижена, сейчас, говорят, в городе каких только девушек не встретишь...

Так рассуждая, толпа сопровождала ребятишек на их пути к юрте с красным флагом. Но вот путь колонне преградили две старушки в белых элечеках. Первая держала в руках огромную чашку, доверху наполненную боорсоками, а другая – вместительный чанач с кумысом.

Первая сказала:

– Дети мои, отведайте свежих боорсоков.

Вторая сказала:

– Дети мои, отведайте кумыса.

Отряд остановился в нерешительности, не зная, как поступить. И тогда Жунуш-агай скомандовал:

– Разойдись отведать боорсоков и кумыса!

Отряд мгновенно распался. Окружив старушек, с шутками и прибаутками ребята накинулись на угощение. А из юрт потянулись новые старики, старухи, юноши и девушки, малолетняя ребятня, и каждый из них нес мясо, хлеб, сметану... Так быстро сошлись между собой айльчане и детдомовские мальчишки и девчонки, что казалось, будто они уже лет сто прошли вместе...

И никто, кроме Алыкула, не обращал внимания на старика и старуху, стоявших в сторонке с намернувшимися на глаза слезами... Может, потому обратил на них внимание Алыкул, что напомнили они ему того давнего хозяина дома, поведавшего такие чудные сказания...

И словно бы вновь услышал Алыкул голос хозяина дома, сплетающего речетатив легенды с негромким говором струн:

– Мелодия эта – светлая боль джигита, отважного воина Чын-Уула из племени «Жоочалыш».

– Это было в те давние времена, когда на нашей земле хозяйничали иноземные захватчики... негромко запел тогда старик, пощипывая струны. И казалось, что он обращается не только к замершим Огонбаю и Алыкулу, но и к глубокой ночи, найдя в ней и возможного свидетеля тех далеких лет, и отзывчивого слушателя.

Естественно и органично сплетались слова легенды с негромким говором струн. Тихая зимняя ночь и чуть слышное потрескивание дров в почти затухающем костерке способствовали тому, чтобы и певец, и слушатели начали жить светлой болью джигита, отважного воина Чын-Уула из племени «Жоочалыш», жить тем далеким временем и теми далекими событиями.

Так распорядились земля и время, что люди племени «Жоочалыш» должны были первыми встречать с мечом иноземцев, и последними прогонять их копьем. И далеко разнеслась молва о племени этом, и если кто слышал одно только слово – «Жоочалыш», тот понимал, что речь идет прежде всего о воинской доблести.

Но судьбой предначертано было, что бесчисленные войска табгачей покорили Средний Восток, и первыми среди других племен оказалось племя «Жоочалыш».

Хитер и коварен был владыка иноземцев – хан Шыйкуу. Заметил он, что в племени «Жоочалыш» женщины податливы и скоры в соблазнах, а мужчины бесстрашны в бою, но в то же время буквально рабски преданы повелителю. Поняв, что ни один из таких джигитов не будет мечтать о свободе, а значит, не будет опасен, решил он увеличить свое войско за счет них. А потому издал указ, согласно которому, кроме общей подати, приходящейся на все земли, племя «Жоочалыш» должно было раз в два года отдавать ему сорок девушек лучших своих и сорок самых отважных джигитов, снаряженных в доспехи и на своих скакунах.

О, не было этим женщинам равных в ханских утехах. В зной ли, в холод, в пресыщении битвами или едой они так умело завлекали хана, что тот моментально забывал о том, что еще минуту назад волновало его...

И не было равных этим мужчинам в охране своего властелина. Могли уничтожить любого, кто вдруг не понравится хану, будь хоть отцом он, хоть братом родным. Ужас охватывал все племена, едва появлялись эти джигиты. Сорок джигитов были нужнее и лучше, чем огромный отряд табгачей и потому Шыйкуу расширял границы владений своих, забирая и подчиняя себе моря и реки, горы и степи, отбирая у самых нищих последнюю корку хлеба. А чтобы эти народы остались навсегда покорны, приказал хан Шыйкуу своим сорока джигитам уничтожить книги сначала, потом запретить петь песни, потом уничтожил стариков и старух, то есть все то, что память в себе хранило. И, наконец, последнюю волю изрек: каждый отныне обязан говорить только на одном языке - на языке табгачей.

Да-а, в те времена даже беркут, даже конь крылатый, даже ветер, не говоря уже о красивой девушке, - все становилось легкой добычей ненасытного хана Шыйкуу, который с помощью сорока джигитов своих и отрядов воинов-табгачей все дальше распространял свою власть.

... Однажды случилось так, что к очередному сроку в племени «Жоочалыш» не нашлось всего одной девушки, чтобы стало их ровно сорок. И тогда решили двенадцать вождей, возглавлявших племена, что вместо той девушки пусть юноша будет – может быть, и не заметит хан Шыйкуу, ведь вон их сколько у него...

Хан Шыйкуу был страшен в гневе, но, как и подобает владыке, не показал он и виду, что гнев захлестнул его сердце. Он вызвал слуг своих и приказал накрыть дасторхон с богатыми яствами для двенадцати дорогих гостей – вождей племени «Жоочалыш». Сам же к ним подошел с улыбкой, поговорил о житье-бытье. А когда дасторхон был накрыт, хан Шыйкуу пригласил гостей в голубой шатер.

Стояла вторая половина лета, благодатнейшее, щедрейшее азиатское время. А потому дасторхон был украшен такими богатыми яствами, которые и не снились вождям. Огромные блюда с мясом и различными приправами, боорсоки, лепешки, виноград и много чего еще, чего вожди никогда и не видели. И против каждого гостя возвышался красивый кувшин с ароматным вином.

Хан Шыйкуу подождал, пока слуги наполнят чаши вином, потом поднял с улыбкой свою и сказал:

– Приятно видеть вас живыми и здоровыми, вожди племени «Жоочалыш». Так выпьем за то, что мы вместе, что вы служите мне, а я делаю то, что угодно всевышнему.

И пригубил свою чашу. Вожди пригубили тоже, по достоинству оценив изумительный аромат хмельного напитка. Хан Шыйкуу сузил глаза, но спокойно сказал:

– Вы гости сегодня мои, я разрешаю вам отдохнуть, так что пейте до дна!

Почувствовав, что изменился тон Шыйкуу, вожди поспешили осушить свои чаши, не смея прогневить владыку. Шыйкуу рассмеялся довольно, глядя, как проворные слуги вновь наполняют чаши гостей ароматным вином. Один из старейших вождей поднял чашу свою, посмотрел в глаза Шыйкуу, потом на своих соплеменников и произнес:

– Я восхваляю нашего великого и щедросердечного хана Шыйкуу. Да благославит вас Аллах, о владыка, на долгое

царствование во всех краях, где остался хоть мимолетный след от копыта скакуна джигита великого хана!

Он первым осушил свою чашу, за ним – остальные. Хан Шыйкуу вновь лишь чуть-чуть пригубил.

– А я восхваляю мудрость великого хана! – поднял полную чашу другой. – Да не покинет она его, пока солнце восходит на небо!

Так похваляясь друг перед другом, вожди осушали чаши с вином, с каждой чашей все больше хмелея. Слуги, не мешкая, заменяли кувшины.

– Прошу вас отведать вот это... – хан Шыйкуу взял с дасторхона ломтик арбуза и впился зубами в мякоть. Возбужденные хмелем вожди цокали языками от восхищения, пробуя арбузы, дыни, виноград, сушеный абрикос и прочие лакомства, которыми так богаты земли Востока и которые никто из вождей никогда не видел в горах.

Потом вокруг захмелевших гостей закружились в соблазнительных танцах полуобнаженные женщины – одна красивее и восхитительнее другой. Кто постарше – открыли рты в восхищении, кто помоложе – слюни сглотнули. И так зажигательны танцы те были, что хотелось закружиться вместе с ними, да никто из гостей не мог уже и ногой шевельнуть...

Едва ли не с восходом солнца закончился пир в шатре хана Шыйкуу.

Но вот Шыйкуу хлопнул в ладоши, слугу к себе подзывая. Тот подскочил, в низком склонился поклоне.

– Готовы ли подарки моим дорогим гостям? – громко спросил Шыйкуу.

– Да, готовы, о мой повелитель! – склонившись, ответил ему слуга.

– Что ж, дорогие гости, – произнес, обращаясь к вождям, Шыйкуу и приподнялся. – Новый день начался - и заботы новые у меня, пора и вам свою службу нести, я думаю, вы довольны сегодняшней ночью...

Медленно, держась друг за друга, пошатываясь, поднялись вожди, с трудом, чуть не падая, подобострастно склонились перед великим ханом, безмерную благодарность свою выражая ему.

– Ваша щедрость не знает границ! – произнес один из старейших вождей.

– Да, я знаю, я щедр, – улыбнулся хан Шыйкуу, – так помните щедрость мою, и детям, внукам своим накажите помнить щедрость мою!

Хан Шыйкуу подошел к коням киргизских вождей племени «Жоочалыш». К седлам коней уже приторочены были под завязку набитые курджуны, по выпуклостям содержимого которых можно было догадаться, что в них что-то круглое... Арбузы ли, дыни...

– И помните, гости мои дорогие, – взгляд Шыйкуу стал суровым, – до сорока я считать умею. Если еще хоть раз не будет сорока девиц – я сожгу все племя, а пепел развею по ветру. И в небе над племенем вашим не будут летать больше птицы, а в реках, что в племени вашем, не будет водиться рыба!

Так сказал гостям Шыйкуу и, повернувшись, ушел в свой шатер.

Сев на коней при помощи слуг – сами вожди вряд ли сумели бы сделать это – они отправились в обратный путь. Некоторое время ехали молча, припоминая последние слова хана Шыйкуу. Но хмель вновь вернул им благое расположение духа, и они почувствовали, насколько же возвращение было приятнее, нежели путь в стан Шыйкуу.

– Интересно, чем он набил нам курджуны? – похлопав по ним ладонью, самый молодой вождь спросил, когда ханский стан скрылся из виду.

– Должно быть, арбузы и дыни, да еще, конечно, мясо, – весело ответили ему.

И каждый похлопал ладонью по курджунам своим, испытывая чувство благоприобретения.

– Твердое что-то, значит, правда арбузы и дыни!

– А славно мы ночь провели!

– Вернемся домой, отоспимся.

– Что-то добр очень хан Шыйкуу... – кто-то заметил негромко.

– Если б тебя вот так одарили, ты бы тоже тогда подобрел!

Эти слова понравились всем и громко все рассмеялись, раскачиваясь в такт неспешно бредущим коням. Было весело

всем, и беспричинная радость охватывала вождей от каждого произнесенного слова.

– Вот мне бы тех баб! И вина никакого не надо... Я бы время с ними провел, как Шыйкуу и не снилось!

– Куда тебе столько! Ты к утру бы уже не поднялся... Слабак!

– Я? Да я могу три дня и три ночи подряд!

– Вот уж точно, язык у тебя на три дня и три ночи, а бабам язык не нужен...

– Что ты знаешь? Вот когда...

– Хватит вам! Радуйтесь лучше, что целы и сыты домой возвращаемся...

– А мы и рады... Кстати, что-то в желудке уже опустело. Может, откроем курджуны да перекусим немного, путь ведь еще неблизкий...

– Погоди, вон под той арчой остановим коней. Здесь неудобно. Шыйкуу еще может увидеть, что слуги его... Что подумает он о вождах после этого? А там, под арчой, посидим спокойно.

– Так давайте быстрее!

Один пришпорил коня, потом другой. С гиканьем, свистом хмельные вожди, словно мальчишки, помчались наперегонки, обгоняя друг друга.

Прежде чем спешиться, они огляделись – нет ли любопытного взгляда. Но вокруг ни души, только в высоком небе медленно коршун кружил, жертву себе намечая, да несколько грифов сидели в тайной надежде что падаль им подвернется...

Вскоре был расстелен дорожный дасторхон. Самый молодой из вождей снял со своего коня курджун.

– Ох, и тяжелый! Здесь еды дней на десять!..

Развязав курджун, вождь запустил в него руки, потом нагнулся внутрь, и неожиданный страшный крик заставил всех содрогнуться. Оглянувшись, остальные увидели, как молодой вождь покачнулся и упал без сознания, воздев к небу окровавленные руки.

Когда они подбежали к нему, он уже несколько пришел в себя.

– Воды... – прохрипел кричавший, там... – окровавленной рукой он показал на развязанный курджун.

Старший вождь подошел к курджуну, осторожно отвернул край, заглянул внутрь и, увидев отрезанные головы привезенных накануне хану Шыйкуу красавиц, отшатнулся, смертельная белизна обескровила его лицо.

Остальные молча смотрели на старшего вождя, ожидая его слова или поступка.

И, словно грома раскаты, над ними раздался голос хана Шыйкуу:

«И в небе над племенем вашим не будут летать больше птицы, а в реках, что в племени вашем не будет водиться рыба...» Испуганно завертели головами вожди, однако небо было чистым, даже коршуна не было видно, лишь на востоке, там, где остался шатер Шыйкуу, поднимался диск ярко-красного солнца. Да неподалеку величаво возвышались несколько грифов...

«Кырк кыз», – в ужасе прошептал старый вождь и закрыл лицо руками.

Печальная весть дошла до народа племени «Жоочалыш», и спрашивал каждый у каждого встречного, набралось ли сорок красавиц, чтобы хан Шыйкуу не прогневался?

С тех пор и повелось, что племя «Жоочалыш» утратило имя свое, и люди по сей день называют его «Кырк кыз» - племенем «Сорока девиц»...

В ту мрачную пору, когда иноземцы вершили судьбы народов Среднего Востока, на небосклоне темном зажглась звезда Чын-Уула – отважного воина племени «Сорок девиц».

Хан Шыйкуу был доволен своим новым слугою: храбрость и преданность тот проявлял всем другим на зависть, и не случайно к двадцати пяти годам был возведен он ханом Шыйкуу в ранг самых близких своих приближенных, кому разрешалось и ночью и днем входить в покои Шыйкуу, кому он доверял безгранично. И чрезвычайно полюбил хан Шыйкуу своего слугу, пока не имевшего имени, за то, что не раз спасал

тот его от всяких коварных ловушек, на которые щедры были недруги хана...

Было, сын Шыйкуу однажды случайно оставил саблю в постели отца.

Было, как-то первая жена забыла случайно кобру в рукаве ханского халата.

Было, первый помощник вырыл глубокую яму на пути Шыйкуу.

Было, когда властелин, однажды объятый жаром одной из своих девиц, мог быть погублен своим аскербаша, который почти занес над ним свой меч обнаженный.

Этот последний случай стал для слуги владыки значимым очень. Будто из-под земли возник он тогда, скрестив свою саблю с мечом великого воина и одолел в смертельном бою. Приставил острый кинжал, произнес:

– Собаке – собачья смерть!

И вонзил ему лезвие в горло...

Неожиданно за спиной слуги раздался спокойный голос хана Шыйкуу:

– Собаке – собачья смерть, тебе же – хвала и честь, ты настоящий воин! Я имя тебе даю – Чын-Уул!

В то время по воле хана его покоренным людям разрешалось имена давать, только раб и рабыня, только слуга и служанка. Поэтому воин отважный спросил у владыки:

-- На час или на день имею я имя свое?

– Я имя тебе даю навсегда! – Шыйкуу так ответил и приказал собрать всех поданных, а когда те собрались, он громогласно волю свою объявил:

– Отныне и навсегда этот доблестный воин достоин имя носить. Его нарекаю – Чын-Уул, и теперь его назначаю самым главным воином в войске моем... – и, чуть помолчав, добавил, - включая и табгачей.

– Хвала владыке гор и степей!

– Ханская воля - воля всевышнего!

– Долгая жизнь Чын-Уулу и удача в бою!

– Вечность хану и Чын-Уулу!

Казалось тогда, что и ветер крылатый, радуясь вести великой, вознес ее в небо, а солнца лучи ее опустили на землю,

чтоб каждый дышащий к ней прикоснулся, как к роднику живому, и пал на колени в священной молитве...

Немало великих побед одержал с тех пор Чын-Уул, ханскую славу умножив, расширив границы владений и заметно увеличив казну.

... Однажды, после блестящей победы над самым опасным врагом табгачей, когда тысячегласый народ восхвалял мужество и доблесть Чын-Уула и мудрость хана Шыйкуу, жестом воцарив тишину, владыка сказал:

– Назови мне свое желание. В этот победный час тебе не будет отказа. Сегодня ты волен просить все, что захочешь. Проси, Чын-Уул!

Никто никогда не слышал таких речей от Шыйкуу, и все затаили дыхание, и стал слышен писк комариный и шорох легкого облака, пролетающего в поднебесье. Каждому знать хотелось, чего же захочет воин, не ведавший страха в бою?

Встал Чын-Уул в учтивом поклоне, негромко сказал:

– О мой повелитель! Волен ли я просить невозможное, не опасаясь навлечь на себя вашу немилость?

– Существует ли на этой земле невозможное, если желаю этого я? – обвел Шыйкуу зорким взглядом толпу.

– Нет!

– Нет и нет!

– Тысячу раз нет!

– Много раз по тысяче нет!

– Ты слышишь, отважный воин? – хан повернулся к нему. – Что хотят мысли твои, либо тело, либо что хочет душа – проси! Ты волен сегодня просить.

Хан был уверен, что воин желает руки его дочери – кто же не хочет наследником стать Шыйкуу? Владыки всех времен и народов... А потому он повторил, в душе своей спрятав усмешку:

– Проси!

– Ну что же... – поднял свой взгляд Чын-Уул, и после короткой заминки сказал одно слово:

– Калас!

Та тишина, что пред этим была, сейчас показалась бы громом небесным. Ни единое веко не дрогнуло, не слышалось ни полдыхания...

– Прости, я не понял... – сказал, наконец, Шыйкуу, в толпу безмолвно глядя. – Ты о чем?

– «Калас» – так древние предки мои называли свободу. – Хотелось ему объяснить, что такое свобода. Ведь это свобода от мыслей чужих, от деяний чужих, а не только свободные руки и ноги... Но понял Чын-Уул, что тогда это будут последние его слова, а потому он только лишь повторил:

– Свободы прошу, владыка!

– Как ты... – хан Шыйкуу приподнялся, но удержал себя от гнева, переспросил мягко, чтобы не потревожить Чын-Уула:

– Как ты сказал – калас?

– Да, я прошу свободы.

«Ах ты, щенок! – кипела ханская душа. – Ты захотел свободы? Выходит, у тебя осталось еще время думать, выходит, мало войн проводил я... Значит, мне вас надо так зажать, чтобы ты был последним, кто это слово произнес прилюдно – СВОБОДА... Но для тебя сегодня нет отказа, ведь я пред толпой пообещал исполнить любое твоё желание. Что мне толпа, конечно, но пусть эти безмозглые бараны поют хвалу о ханском сдержанном слове, и эта песня еще не однажды послужит мне... А тебе, Шыйкуу, это будет уроком: нельзя держать при себе того, кто хочет свободы. Все должны быть рабами твоими».

Так думал хан одно лишь мгновенье, потом улыбка чуть прикоснулась к его губам и он произнес:

– Я обещал. Дарую!

О, что тут началось. Взлетели в небо шапки, тебетеи, лугая стаи степных птиц, и громкий хор людской стал причиной далекого землетрясения.

– Великий наш хан! – кричал народ.

– Он щедр, как сам создатель!

– Он справедлив, наш мудрый хан!

– Владыкой вечным будь, наш хан!

– Достоин хан хвалы и песен!

Но поднял руку хан Шыйкуу, и вмиг толпа притихла, и хан сказал:

– А чтоб та свобода, что тебе я дарю, не оказалась ложной, тебя назначаю я ханом и племя «Сорок девиц» – твое!

Ликование длилось долго. И племя «Сорок девиц» с восторгом приняло Чын-Уула, и пышным почестям, казалось, не будет видно конца. Поставив юрту белую для нового хана, в нее ввели красавицу-жену, которая, как оказалось, еще девчонкой была влюблена в него... Родители ее называли Гюль-Эрке, что означает – ласковый цветок.

Может ли кто-нибудь сказать, чего еще человеку надо? Стоит в долине среди густого разнотравья юрта белая твоя, у коновязи бьет копытом твой верный скакун-тулпар, красавица-жена тебя ласкать готова день и ночь, лишь только взгляд поймает твой желанный. В ущельях близких и далеких стоят айлы твоих друзей, оберегая твой покой... Живи и радуйся, да управляй своим народом, не забывая дань покорности платить.

Но мало было Чын-Уулу. Ему хотелось, чтобы его народ свои песни распевал, чтоб знал он язык свой, чтоб люди жили по законам предков.

А чтобы это стало так, однажды он собрал вождей всех двенадцати родов со своими воинами отважными. Много раз по тысяче их было, тех, кто мог держать оружие. А чтобы этим войском управлять, решили на общем совете так поступить: главным вождем был избран мудрый Козкаман, аскербашами стали Элчур и Кулчур, а храбрецы Солто, Шыгай, Чаа, Жапак и Мендибай - начальниками тысяч стали.

Немало времени и хитрости потратил Чын-Уул, чтоб обучить все это войско в тайне от глаз могущественного хана Шыйкуу. И вот настал тот час, когда собрал Чын-Уул большой совет и так сказал он своим людям:

– День приближается, когда нам нужно подать уплатить ненасытному хану...

– Должны успеть мы в срок, – сказал несмело кто-то, – и джигитов, и красавиц должно быть ровно сорок, иначе злобный Шыйкуу все племя истребит, как обещал. А слов своих на ветер не бросает он...

– Но наберем ли сорок девушек сейчас?

– Да, если хорошо поплакать, то и у слепого выжмем на одну слезу...

– Жаль сорок девушек... Ведь племя наше не так уже и богато, к тому же надобно подумать нам, как будем продлевать свой род.

Сказал Чаа, усмехнувшись:

– Мы сами мало что сумеем...

– Послушаем, что скажет вождь мудрейший? – поклон отвесил Чын-Уул, взглянув на Козкамана.

– Я думаю, пора настала...

– Чего пора? – не выдержав, спросил Чаа.

– Пора настала не давать в обиду нашу землю и наших людей!

– Но мы так долго отдавали, – громко произнес Элчур.

– Да, отдавали! Да, привыкли! – вскинул взгляд свой Козкаман. – А почему? – И сам ответил: – Другое время было. Мы жили каждый за себя, нас волновали только пустые собственные брюха, но не печаль, не боль соседа ближнего или дальнего... Сейчас иначе все, сейчас у нас есть Чын-Уул, и если мы упустим время, дождемся ли, когда еще родится в племени такой батыр? Не знаю...

– А что народ? Любой батыр бессилён без народа...

– Кто назовет народом тех, кто не мечтает о свободе? Народ твой там, где ты, коль ты батыр, и ты тогда батыр, когда ты там, где твой народ!

– Пусть будет так, – поднялся Чын-Уул. – Теперь послушайте меня. Решили мы бороться за свободу, но только надо помнить, что кровавой будет битва за это, и надо все предусмотреть. И если что-то вдруг со мной случится, войска сумеют повести Элчур, Кулчур, Шыгай, да и другие. Но помните всегда: Единство – главная опора, без этого сломает нас любой завоеватель.

– Я думаю, теперь пора решать, с чего начнем? – спросил Кулчур.

– Начнем с того, что мы по всей границе дозор усилим. Коней держать у юрт и под седлом, мужчинам спать ложиться, не снимая доспехи боевые, а женщинам и старикам начать готовить луки, стрелы, копья и кольчуги, и заодно военным играм пусть детей своих научат. Акыны, комузчи, ырчи начнут пусть воспевать все подвиги Манаса. А я клянусь, что каждой

капель крови останусь верноподданным народа своего, и если вдруг случится так, что клятву я нарушу – оденусь в женщину тогда!

– И мы клянемся!

– Оминь!

Закончился совет. В определенные места были поставлены многочисленные дозоры, и проверял их лично Чын-Уул. О-о, как мечтал он о победе! Он все учел: крутые перевалы, непроходимые болота, неукротимые потоки рек – все послужить должно защитой от врага.

В один из летних знойных вечеров собрался Чын-Уул опять дозор проверить. Гюль-Эрке обняла нежно шею мужа, горячо зашептала:

– Когда вернешься? Мне очень скучно без тебя... Ты уезжаешь – я мгновения считаю, вся в ожидании горя... Поскорее приезжай, любимый...

– К рассвету жди меня. Но знай, что если враг появится неожиданно, тогда вернусь с победой я! Или не вернусь совсем...

– Да сохранит тебя всевышний! – сказала Гюль-Эрке и вновь к любимому прижалась. – Я буду ждать тебя и заклинаю вернуться с первыми лучами солнца! Жду тебя, любимый, несравненный Чын-Уул!

– Храни очаг.

– Я сохраню, не сомневайся и спокоен будь в пути далеком...

Вслед за Чын-Уулом закрылся полог юрты, и ночь впитала стук копыт его коня. Объехав все айлы, везде легенды о Манасе слышал Чын-Уул, и везде по-разному звучали одни и те же песни: кровавый, хитрый Шыйкуу уже успел заставить если не забыть, так начать забывать родную речь, родные сказки и легенды...

Доехав до последнего дозора, устроенного у неприступных скал, где в любой момент мог появиться вражеский отряд, Чын-Уул неторопливо спешил, размял затекшие ноги, спросил у воина негромко:

– Как здесь у вас?

– Пока все спокойно, – последовал ответ.

– А где Шыгай?

– Там, в пещере... Кумыса не хотите?

– Такой вопрос не требует ответа. Гласит предание у нас, что если отказаться от белого напитка, будь то айран, кумыс или шубат, тогда несчастья жди. Когда-нибудь об этом слышал?

– Да нет... Откуда? В айле нашем не осталось стариков, а молодые живут сегодняшним лишь днем, лишь иногда задумываясь, что будет завтра...

– О дне сегодняшнем, тем более о будущем, конечно, надо думать, но человек тогда лишь человек, когда имеет память...

– Наверное, так... – ответил воин и снова предложил: – Шыгай просил, как вы приедете, чтоб вы зашли в пещеру обязательно к нему, кумыс прохладный приготовил он и угостить вас будет счастлив...

– Хорошо. Иду.

Войдя в пещеру, Чын-Уул увидел у костра Шыгая. Заметив Чын-Уула, тот учтиво встал, его приветствуя поклоном низким, подал с кумысом чашу.

– Спасибо, – улыбнулся Чын-Уул, с головы снимая шлем железный.

Но только лишь поднес к губам чашу, как удар дубинкой по затылку свалил его мгновенно. Упала чаша, и кумыс, еще недавно так манящий белизной, коснувшись пола, черным стал, как смола, и недоуменным громким стоном отозвались каменные своды.

Живые тени окружили Чын-Уула, связали ноги, руки, а потом подали знак негромким свистом. В пещеру вошел неторопливо хан Шыйкуу.

– Он жив? – хан коротко спросил.

– Его мечом не сразу-то уложишь... – последовал ответ. – А если окатить водой, очухается быстро.

– Так окатите!

Приказ был выполнен без промедления. Чын-Уул открыл глаза. Недоуменно огляделся, понять пытаюсь, что произошло с ним. Хан спокойно произнес:

– Неблагодарная собака! Тебя, безродного щенка, я сделал человеком, я имя дал тебе. Пока был верным мне, ты был непобедим и мог остаться после великим ханом всей

вселенной!.. Теперь ответь мне, шелудивый пес, зачем же предал ты меня?

– Я не предал, – ответил Чын-Уул, – так поступил, чтоб мой народ обрел свободу!

Хан рассмеялся, и этот смех ужасней был для Чын-Уула, чем предательство друзей, – такая крылась в смехе том уверенность... И как бы подтверждая правоту свою, промолвил Шыйкуу:

– Да разве есть такой народ, достойный жертвы этой? Что есть народ? Безмозглая толпа, что ждет, когда начнут повелевать ею. Шакалов грязных стая, что ждет, когда наступит миг наброситься на падаль. Подумай сам, какая им нужна свобода? Бежать бараньим стадом по указанной тропе? Или свободно горло грызть друг другу. Что ж, такой свободы ты для них добился... Шыгай!

– Я здесь, мой повелитель!

– Ответь мне прямо, ты ханом хочешь стать у племени «Сорок девиц»?

– Для этого я и расправился вот с этим! – Шыгай кивнул на Чын-Уула.

– Зачем ты ханом хочешь стать?

– Хочу свободным быть!

– Ну хорошо, получишь ты свободу, а что потом ты с нею будешь делать?

– Когда свободным буду я, тогда свободным племя будет все мое!

– Для чего?

– Чтоб вам служить, мой повелитель. Обогатившись мудростью и силой вашей, чтобы потом весь мир завоевать! Для этого свобода мне нужна!

– Все это хорошо. А как Элчур? Ведь он тебе помехой будет в благих деяниях твоих?

– Я убью его!

– Что тебе нужно для этого?

– Сорок ваших джигитов из племени «Сорок красавиц».

– Ты получишь их. – И обратившись к Чын-Уулу, спросил:

– Все ли ты понял, щенок?

– Да, я все понял, – ответил Чын-Уул, сохраняя достоинство. – Тебе удалось подкупить этого шелудивого продажного пса, и он стал верным твоим слугой. Но народ не предатель, в народе всегда смельчаки найдутся, способные шею свернуть любому тирану...

– Назови... – усмехнулся хан Шыйкуу.

– Их много! Да тот же Элчур-батыр...

– А знаешь ли ты, где сейчас твой Элчур?

– Он готовит сражение...

Засмеялся Шыгай.

– Ха! Он воюет с полуночи, да только... в постели! И не в своей... – И злобно сплюнул.

– Врешь, собака! – закричал Чын-Уул, поняв, на что намекал Шыгай.

– Хорошо, он докажет... – Шыйкуу произнес, кивнув на Шыгая. – Веди!

Знакомой тропой вернулись в спящий аил: Шыйкуу во главе небольшого отряда, в который влился Шыгай с подчиненными ему воинами, оставив дозор без ненужной теперь охраны. Снепились молча, к белой юрте подкрались, ведя за собой спеленатого Чын-Уула. Когда подошли совсем близко, услышали голос Элчура:

– Моя дорогая! Нет терпенья уже...

– Не спеши, мой хороший... Муж вернется не скоро, не раньше рассвета, если вернется, – громко шептала в ответ Гюль-Эрке.

– Обними меня, милый: поцелуй меня крепко... Вот так... Ты шобишь меня, мой сокол?

– Люблю... Я сгораю уже... Ложись.

– Обними меня крепче... О, как ты хорош! Тебя ни за что не сравнишь с этим воякой, который даже в постели готовится к бою... Тебе хорошо так?

– Да! Хотел бы я вечно быть вместе с тобою, вот так нечаядаясь...

– О, милый, еще... Ведь это так просто... Есть тысяча способов, если решишься... Когда ты захочешь, скажи мне. Я помогу, и станешь тогда ты моим господином и ханом племени «Сорок девиц»...

– Вот шлюха... – зло скрипел зубами Шыгай. – Но ты просчиталась с Элчуром, я буду ханом теперь!..

Будто услышав этот шепот, в юрте затихли, потом зашевелились опять, потом вдвоем застонали блаженно, и вскоре послышался голос Элчура:

– Теперь я пойду, наверно...

– Ну, что ты спешишь, мой милый, полежи, я еще не насытилась счастьем... Поцелуй меня... Положи вот сюда свою руку...

Заслушались воины этой минутой. Сумел Чын-Уул воспользоваться этим и выплюнуть кляп, собрав силы свои, выкрикнул громко:

– Эй, потаскуха, отпусти батыра, враг у порога!

Испуганный воин выскочил голым из юрты и тут же был схвачен ханскою стражей.

– Не быть тебе ханом, им буду я! – крикнул Шыгай и взмахом меча обезглавил его.

Едва лишь рассвет прикоснулся к вершинам, Шыйкуу приказал своей страже раскинуть шатер на высоком пригорке, откуда видны были все двенадцать аилов племени «Сорок девиц».

– Смотри! – сказал Шыйкуу Чын-Уулу и вниз кивнул, на долину.

То, что увидел батыр в тусклой предутренней мгле, не мог его разум принять.

Теперь он хорошо понимал Шыгая. Может ли племя какое похвастать, что в нем никогда не родится предатель подобный?

Нет.

Может ли муж какой утверждать, что всегда и во всем жена ему верной была?

Нет, не может.

Но чтобы народ...

На спящий аил Чын-Уула напало войско Шыгая. А в это время его аил громили джигиты Кулчура-батыра. И вскоре все аилы смешались, войска, старики и дети, с волчьим азартом они вырезали друг друга.

Жестокий хан Шыйкуу и тот не выдержал этой картины. Он повернулся к Чын-Уулу, сказал:

– Даже в стае голодных волков не видывал я такого. И ты называешь это народом? Глупец! Ты дал им свободу и вот что теперь получилось. Ты больше вреда причинил, посмотри, там нет ни одного табгача, только твои соплеменники. Они убивают друг друга и каждый надеется втайне остаться живым, чтобы назвать себя ханом. Ты глупец, Чын-Уул, хоть и воин прекрасный. Знай же, пальцы одной руки сильны лишь тогда, когда их в кулак сжимает рука. Ты же хотел, чтобы тысячи разных пальцев сами собой сжались в один кулак. Но так не бывает...

– Ты прав, Шыйкуу... – прохрипел Чын-Уул, не отрываясь от жуткой картины. – Нет одинаковых пальцев, ты прав, но ты отнял у них руку... Но я скажу о другом. О семиглавом драконе люди сложили легенду. Одна из голов, рассердившись на собственный хвост, как-то начала грызть его. Но на голову эту рассердились другие и стали кусать друг друга. И так продолжалось, пока семиглавый дракон не упал бездыханным... Племя «Сорок девиц» – это твой хвост, и ты укусил его, хан...

– Зачем мне кусать этот хвост, если он бьет о камни себя. Смотри!

Не мог смотреть Чын-Уул, но смотрел.

– Дети мои! – умолял Козкаман, мечась между родами. – Стойте! Очнитесь! Пусть проклята будет память моя! Стойте! Очнитесь!..

Но никто не слышал его, кровавое дело творя. Когда же надоело смотреть, что путается он под ногами и только мешает, друг его сына, сын Элчура могучий Бору насадил на копье старика и швырнул в юрту горящую.

Никто не хотел уступать, храбрость свою, проявляя и умирая с оружием в руках.

Слабые смерть находили, не успевая очнуться от сна.

Старики и старухи смерть находили у очагов.

Пополом колыбели рублились вместе с младенцами.

Синее небо стало черным от гари и плюшились трупы от новых тел.

Жаркий язык огня тянулся к комузу.

Но был потрясен Шыйкуу не этой картиной смерти. Когда он взглянул на пленного Чын-Уула, то вздрогнул, что тот грызет свой язык и с кровью его глотает.

— Скорее коня! — прохрипел побелевший хан. — Сумасшедший, он ест свой язык! Оставьте его! Кто прикоснется к нему, тот проклят на семь поколений будет!.. Коня...

Вихрем умчались джигиты, едва поспевая за ханом.

А черные тучи сгущались, и не понять уже было — день ли еще или ночь опустилась на землю.

И когда пришел в себя Чын-Уул — темнота окружала его. С огромным трудом перетерев веревки о камень, размяв затекшие руки, к утру он спустился в долину. Добрел до очага своего, где недавно белела юрта. Вздрогнул, увидев чудом оставшееся целым тело своей Гюль-Эрке. Огонь пощадил ее, миновал, и она как будто уснула, стыдливо зажав на коленях полы ночного халата. Рука потянулась потрогать родинку на плече, но одернул он руку и, расправив халат, закрыл любимой лицо...

Долго бродил по сгоревшим аилам Чын-Уул, так и не встретив живой души. Лишь проходя мимо юрты мудреца Козкамана, он услышал негромкий протяжный стон. Радость блеснула в глазах Чын-Уула, нагнувшись, принялся шарить руками в сгоревших остатках юрты, пока не наткнулся на слегка обгоревший комуз...

Как ребенка прижал он к груди, согревая хрупкую душу комуза, и сам от него согреваясь: две живые души племени «Сорок девиц»...

И побрели они, души живые, много племен и народов встречая. Пытался поведать о скорби своей Чын-Уул, жестами, взглядами к людям взывал, да только думали люди, что ненормальный какой-то... Так проходили годы и силы.

Однажды, выйдя из гор на просторы равнины, встретилось странное племя ему. Они жили вместе по несколько родов. Земли было вдоволь, наверно, поэтому были они сильны и уверены, и приняли, и накормили его, чужеземца, без страха. И в синих глазах старейшины племени прочел Чын-Уул один лишь вопрос: кто ты и откуда?

Знал Чын-Уул, что бесполезны ответы жестов и взгляда, тогда он настроил комуз, и пальцы его рассказали о той величайшей скорби, что племя его поглотила навеки.

Люди слушали молча, сердцами, внимая плачу. А синеокий старец в руки взял гусли свои и рассказал Чын-Уулу то, что думает он.

Нам жаль, чужестранец, - негромко молвили гусли, - что участь такая постигла тебя и племя твое. Ты искал утешенья, не увидя, что рядом оно. Оно в нашей жизни, в жизни народа, обретшего волю свою и власть. И если ты хочешь, мы примем тебя в нашу семью большую, волю и власть разделив на всех...

— Вот с тех пор, — закончил хозяин дома, — эта мелодия сохранилась как мелодия великой скорби и светлой боли человека, сердцем принявшего ту безвозвратность потери, которая возвышает народ...

Как праздничная нить запечатлелась эта светлая боль в юной и чистой душе Алыкула. И сейчас, увидев на джайлоо старика, так похожего на того далекого хранителя народной памяти, он вновь пережил живые картины волнующих дней, которые никогда уже не оставят его, возвращаясь отдельными строчками стихотворений и целыми эпизодами.

Позже в поэме «Воскресшие» Алыкул скажет:

Сплелись в клубок летящие века,
Впитав утраты и рожденья.
То запоют, как звонкая строка,
То спрячутся в траву забвенья.
Удачи повернутся к силачу,
Голодному еда приснится...
Судьба в насмешку подняла камчу
— И время вновь куда-то мчится!

Сравнивая прошлое и настоящее, пытаюсь расплести клубок минувших столетий, отделяя правду и ложь, измену и верность, ненависть и любовь, счастье и скорбь, храбрость и трусость, Алыкул будет стремиться понять истоки человеческих взаимоотношений, переходя затем от частного к общему, от двух людей к роду, от рода — к племени, от племени - к

человечеству. И особенно обострится это стремление Алыкула в годы Великой Отечественной войны, когда из-за туберкулеза его категорически откажут отправить на фронт, где уже будут сражаться его друзья и единомышленники Мукай Элебаев, Джусуп Турусбеков, Темиркул Уметалиев и другие.

И в незатейливой легенде о Великой скорби Чын-Уула он увидит прообраз войны и предскажет победу народу, сохранившему единство. Эти же мысли будут вкраплены и в другие его произведения. Вот поэма «Ак-Меер», которую, он не успел закончить. Начинается поэма с обращения:

О, неизменны законы природы:
Канули в вечность минуты и годы,
Были красавицы, воины были –
Остались легенды, сказки и были,
Словно осколок далеких тех дней,
Хранит наша память народы, людей...
Хочу я спросить у тебя, человек,
Был ли без войн хотя б один век?
Да, мой народ от рожденья силен,
Мощью могучей реки наделен.
В раздорах истратив силу свою,
Стала река подобна ручью...

Но все эти строки будут написаны потом, много позже. Когда он познает любовь и измену, унижение и гордость великой дружбы, отчаяние и громадную веру в себя, когда его мир раздвинется от границ крохотного аила Каптал-Арык до бескрайних просторов страны Советов.

Однажды прикоснувшись к неиссякаемому роднику творчества и почувствовав могучую и живительную силу его, он не сможет оторваться от него до последней минуты своей жизни, не только жадно впитывая из источника, но заметно очищая его своим незаурядным талантом, тонкой, чувствительно-ранимой душой, светлыми и прозрачными помыслами.

Да, так будет. Будет потом. А пока...

Ночь на джайлоо была наполнена таинственными звуками. Выводили свою бесконечную песню сверчки, ухали филины и всхлипывали совы, испуганно вскрикивали во сне певчие птицы.

На широко раскинувшемся куполе неба перемигивались звезды, полноликая луна щедро заливала землю молочным светом. Детдомовцы, после короткого концерта и игр с айльчанами, только-только улеглись спать.

Вдруг заворчал Жапар:

– Эй, Алыкул, ты ляжешь сегодня спать или нет?

– Сейчас, только барабан прикреплю к кереге, а то ночью наступит вдруг кто-нибудь...

– А ты, Жузумкул, – не унимался Жапар, – долго еще хрустеть будешь?

– Сахар ем, – пояснил тот. – Кто хочет? Я его сегодня целый мешочек насобирал на дастархоне...

– Интересно, – отозвался еще кто-то, – откуда на небе берутся звезды и почему их всегда так много?

– Ха! – донеслось из темноты юрты. – Ты до сих пор не знаешь, откуда берутся звезды? Вот чудак, тебя надо на два класса назад отправить.

– Объясни, если такой умный...

– С луны!

– Скажешь тоже!

– Не веришь? Аллах через каждые тридцать дней огламывает от нее кусочек, крошит и разбрасывает по небу.

– Зачем?

– А затем, чтобы светлее ночью было.

– А луна?

– Так она же не всегда бывает... И потом, если от нее не огламывать по кусочку, то она растолстеет и лопнет!

В темноте кто-то прыснул от смеха.

Алыкул не слушал спорящих. Он разглядывал сквозь приоткрытый тундук крупные чистые звезды, которые переливались на черном бархате ночи. Здесь, в горах, они казались очень-очень близкими... И вдруг Алыкулу показалось,

что одна из них задрожала, сильно качнулась, и будто сорвавшись с гвоздя, на котором висела, стремительно ринулась вниз, оставляя за собой яркий красно-зеленный след.

«Неужели это моя звезда? - отрешенно подумал мальчик. – Но ведь я еще живой. Неужели тогда дядя Оогонбай закончил свой земной путь и за ним ушла его звезда? Ведь такая яркая могла быть только у одного Оогонбая...»

Все уже давно уснули, и только Алыкул все смотрел и смотрел на звезды, и в его голове складывались рифмованные слова.

Касым – отцовский верный друг.
Однажды ночью поздней
Мне показал на небо вдруг:
«Людей сопровождают звезды.

Но главная – Полярная звезда,
Вокруг нее – все звезды остальные.
Не сходит с небосвода никогда.
Она – твоя отныне.

Ее из виду ты не потеряй,
Исчезнет – ты исчезнешь тоже...»
Прошли года. Среди звездных стай
Найти ее кто мне поможет?

Лишь утешаюсь: долго мне идти,
И может быть, успею я найти
Тебя, моя звезда...

«Начало нового увлечения, – гласит изречение наших далеких предков, – есть начало еще более сложных забот». И хотя вряд ли кто скажет, что такое увлечение и всегда ли, и к каждому ли оно приносит радость и удовлетворение, все равно разве найдется человек, который отказался бы от своего увлечения?

И раньше доводилось Алыкулу писать нечто похожее на стихи, но мгновения подлинного творчества он впервые почувствовал в ту летнюю ночь на джайлоо, когда смотрел сквозь тундук на звезды, вспоминал Оогонбая и размышлял о своем дальнейшем пути. Почувствовал и уже не мог обходиться без него, как не может обходиться человек без воздуха, без воды, без самого себя, наконец...

Он ощущал свою беспомощность перед своим состоянием, что-то загадочное уводило его от привычного ритма жизни, от привычных детских игр, от привычных друзей. Все большую радость доставляло ему оставаться одному, наедине со своими мыслями и ощущениями, и порой до глубокой ночи засиживался он над тетрадкой, при свете неяркой керосиновой лампы выводя узоры созвучных слов.

Нет, конечно, он не ставил перед собой цель писать стихи. Он просто открывал для себя мир, окружавший его и видимый только ему, открывал удивительный мир букв и слов, мир книг, мир сказок, исподволь приближаясь к великому миру Манаса и Пушкина...

А в детдоме он по-прежнему оставался обыкновенным учеником и воспитанником, иных физически сильнее, иных слабее, числясь, впрочем, всегда одним из первых по успеваемости.

Как единый светлый миг пролетели семь лет в Токмакском детдоме. Многие из жизни в аиле Каптал-Арык успело стереться из его детской памяти, оставшись расплывчатыми, будто за туманной дымкой, очертаниями силуэтов отдельных людей, поступков...

И вновь он замер в растерянности перед наступившей неизвестностью, как и в тот день, когда они с Оогонбаем отправились на поиски детского дома. Да, он возмужал к этому времени, многому научился и многое узнал, но чувство растерянности не проходило, пугало его. Тем более, что его детдомовские друзья каждый день куда-нибудь уезжали: кто учителем в отдаленные аилы и кишлаки, кто оставался работать здесь же, в Токмаке, кто уезжал к отыскавшимся вдруг родственникам.

И лишь на пятый день Алыкул узнал, что горком партии направляет десять наиболее отличившихся учеников для поступления во Фрунзенский педагогический техникум и что в их число включили и Алыкула.

... Забравшись в кузов старенькой «полуторки», выделенной горкомом для доставки учеников в столицу республики, Алыкул напряженно оглядывался вокруг, надеясь увидеть самого дорогого в детском доме человека, но Груни Савельевны все не было. Каждый день она провожала отсюда своих воспитанников и каждому находила добрые слова напутствия. А вот сегодня, когда уезжал Алыкул, ее почему-то не было.

Но вот его взгляд выхватил из толпы спешащую фигуру Груни Савельевны, со стороны довольно постаревшей и погрузневшей за эти годы, но для Алыкула оставшейся точно такой же, какой он увидел ее в первый свой приезд.

Легко выпрыгнув из кузова, он побежал навстречу, остановился в шаге от нее.

– Я уезжаю, мама Груня... – произнес Алыкул, с трудом сдерживая наворачивающиеся на глаза слезы.

– Знаю, мой маленький, – тяжело дыша, улыбнулась Груня Савельевна, – и очень боялась опоздать. Оставалось-то совсем немного, один рядок только... Ну-ка, надень...

Она протянула Алыкулу белый шерстяной полувер. Алыкул надел, ладонями провел по своей ладно обтянутой фигуре, счастливо улыбнулся:

– Спасибо, мама Груня...

– Носи на здоровье, сынок... И запомни, – она шутливо погрозила ему пальцем, – тебе нельзя простывать, у тебя очень слабые легкие, понял?

– Я знаю, мама Груня, и никогда не буду снимать ваш подарок, честное слово!

– Вот и хорошо... А если вдруг не поступишь в техникум, то обязательно возвращайся сюда, уж мы тут вдвоем что-нибудь придумаем, как нам дальше с тобой жить. Договорились?

– Спасибо, мама Груня...

Засигналила машина, ребята вразнобой закричали:

– Алыкул, быстрее! Без тебя уедем! Груня Савельевна, отпустите его, а то мы опоздаем...

– Ну, сынок, давай прощаться... – она обняла его. – Кто знает, как дальше наша с тобой судьба сложится, увидимся ли еще или нет, кто знает...

Алыкул молча прильнул к ее груди. На мгновение наступила тишина, казалось, даже ветер утих, стараясь не мешать расставанию воспитанника и воспитательницы.

– Прощай, сынок, береги себя... – Груня Савельевна опустила Алыкула, повернула его к себе спиной и ласково подтолкнула к машине: – Ну, иди, счастливого тебе пути!

И вдруг ойкнула, хлопнула себя по бедру, воскликнула:

– О господи, совсем с ума выжила, – протянула узелок Алыкулу, – это тебе на дорогу, да и на первое время во Фрунзе. Ну, иди, мой маленький...

Алыкул побежал, забрался в кузов, устроился сзади, не отрывая взгляда от Груни Савельевны, по щекам которой медленно скатывались слезинки.

Машина мчалась по каменистой дороге. Ребята с восторгом показывали друг другу картины мелькающего пейзажа, смеялись, шутили, кто-то громко декламировал, что, получив путевку в жизнь, летит как на крыльях навстречу судьбе.

И только Алыкул оставался безучастным к всеобщему ликованию. Взгляд его был грустным и задумчивым, а в душе складывались слова:

О добрая женщина, Груня Савельевна!

Помнишь, когда я пришел к тебе?

Сердцем матери ты поняла, наверное,

Как в тот миг ты нужна была мне!

Дни пролетели, стерлась судьба моя горькая.

Я возмужал, забыл про болезни свои.

Но сохранилась в душе твоей долгая боль моя,

Чтобы светлей и прекрасней были новые дни.

Годы – как птицы... Время пришло расставания.

Пусть я не знаю, как сложится дальше судьба,

Только уверен, что через все испытания

Память о сердце твоём сохраню навсегда.

Да, я не ведал ласковых слов материнских,
Отцовской заботы мне не пришлось испытать...
Груня Савельевна, ты заменила родных мне и близких,
Светлая боль – моя вечная мать...

Машина мчалась по пустынной дороге, и пыль из-под колес
вскоре густым туманом скрыла очертания Токмака.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

На просторах Ала-Тоо мы мужали и росли,
Твои кони, Ала-Тоо, нас в грядущее несли,
Ты кормил нас и поил, свет любовью окрылил,
Древний край мой, Ала-Тоо, образ песенной весны!

А. Осмонов

Эти стихи Алыкул напишет позже, в пору, когда человек мужает, когда юноша становится джигитом. В это время силы, гаящиеся внутри человека, начинают разрывать плоть, вырываясь наружу, на простор, чутко внимая земле и небу. В Алыкуле этой силой стали стихи, поэтому он уйдет в объятия простора, озаряя волшебными словосочетаниями тропинки, по которым ступала нога, юрты, где встречали его гостеприимные хозяева.

Еще впереди было время Алыкула, когда вспыхнет в груди его яркой звездой пламя бессмертной любви, но столь быстро погаснет оно, что любовь не бессмертной покажется, а мотыльком однодневным, и в той однодневности увидит Алыкул не явление природы, а одно лишь коварство.

Все это впереди.

Пока же Алыкул, словно для того, чтобы ускорить свои невзгоды, запросто, с первой попытки поступает в единственное в то время среднее учебное заведение Киргизии - столичный педагогический техникум. Здесь, в техникуме, очень кстати оказались уроки русского языка Груни Савельевны, а потому он легко постигает в оригинале творчество Пушкина, Чермонтова, других русских классиков, и, более того, пытался подражать им.

Педагоги заметили его поэтические наклонности, его пылкий ум, стремящийся не только отобразить

действительность, но и попытаться проникнуть в суть явлений. Стихи Алыкула начали появляться в каждом номере техникумовской стенгазеты, росла и его популярность среди сверстников, появились друзья.

Именно по настоянию друзей Алыкул однажды выбрал десятка полтора стихотворений, написанных в разные годы, и отослал их в редакцию одной из авторитетнейших в то время газет «Сабаттуу бол» («Будь грамотным»).

Неизвестно до сих пор, что труднее - ждать или догонять. Если взглянуть на судьбу Алыкула с позиций сегодняшнего дня, когда мы научились легко давать оценки тем или иным историческим событиям, то можно сказать, что Алыкул всю свою короткую жизнь с огромным напряжением догонял свою судьбу, так и не заметив, в какое из мгновений обогнал ее...

Точно с таким же напряжением ждал он ответа из редакции, как приговор еще не вполне определившейся мечте. Ждал до тех пор, пока учитель родной речи Нияз агай, войдя в класс, не произнес:

– Осмон уулу, тебе знакомо имя Жусупа Турусбекова?

– Разве есть такие, кому это имя может быть неизвестным? – встав, удивленно спросил Алыкул. – Жусуп-агай самый известный поэт...

– Так вот, значит, этот известный поэт хочет встретиться с тобой...

– Со мной? – еще больше удивился Алыкул, слегка покраснев от смущения.

– Да-да, именно с тобой.

– Но как же...

Класс шумно загудел, обсуждая новость, принесенную учителем. Алыкул стоял, чувствуя, как в коленях появилась какая-то непонятная дрожь, очертания предметов начали расплываться и он крепче ухватился за край парты, едва слышно добавил:

– Агай, мне приходилось читать его стихи, они мне очень нравятся, но его самого я никогда не видел...

– Если не видел раньше, то теперь увидишь, – с чуть заметной улыбкой спокойно произнес учитель, словно речь шла не о знаменитом поэте, а об однокласснике. – Когда он

приглашает тебя, то следует пойти. Не украл же ты себе в невесты его дочь и не оскорбил, чтобы избежать с ним встречи.

– Нияз агай ободряюще улыбнулся: – Скорее всего ему понравились стихи, которые ты посылал в газету, и он хочет познакомиться с тобой. Иди сразу после уроков, я обещал ему, что ты придешь. Кстати, ты знаешь, где находится редакция?

Алыкул отрицательно мотнул головой.

– Отсюда пойдешь по улице Киргизской, иди по левой стороне, пока не дойдешь до дома номер 25. Там на воротах увидишь табличку «Сабаттуу бол», рядом другая табличка, на русском языке, «Будь грамотным». Это редакция. Пересечешь двор, потом пройдешь по коридору, пока не увидишь табличку «Жол. Ж. Турусбеков». Войдешь, поздороваться. Понял?

И вновь у Алыкула слова застряли в горле и он только кивнул, доказывая, что понял.

– Ну, если понял, тогда садись, а мы, ребята, начнем урок. Сегодня будем знакомиться с частями речи в киргизском языке. Итак...

Что-то непонятное творилось в душе Алыкула и он, всегда один из самых внимательных учеников, на сей раз хоть и слушал учителя, однако не понимал ни одного произнесенного им слова. И потом, когда после уроков шел по указанному учителем адресу, когда вошел в кабинет, не смог даже произнести традиционное приветствие мужчине старше тебя по возрасту, хотя человек огромного роста уже встал из-за стола и направился к нему, подавая руку для приветствия:

– Входи, входи... Ты, наверно, и есть тот самый Алыкул, сын Осмона, который учится в педтехникуме?

Алыкул молча кивнул, лицо его расплылось в нелепой, до ушей, улыбке.

– Та-ак, понял... Ну, присаживайся, – Жусуп показал на один из стульев и Алыкул послушно уселся. Жусуп, обняв его за плечи, присел рядом, дружелюбно спросил: – Давно балуешься стихами?

Алыкул вновь кивнул и получилось, что он пишет стихи давным-давно.

– Это хорошо, что давно... – Жусуп понимающе улыбнулся
– Наверно, и сейчас что-нибудь принес с собой, а? Из новенького, свежего...

Поспешно вытащив из-за пазухи мятую общую тетрадь со стихами, написанными еще в детдомовском возрасте, Алыкул протянул ее Жусупу. Тот перелистал тетрадь, изредка останавливая взгляд на отдельных строчках, спросил:

– Так ты в детском доме воспитывался? – И на сей раз не услышав ответа, уже как будто сам себе сказал: – Что ж, прочтем какое-нибудь стихотворение... Та-ак... Ты назвал его «Моя звезда», я правильно понял?

Он прочел вслух алыкуловское стихотворение, потом повернулся всем своим могучим корпусом к Алыкулу и вполне серьезно произнес:

– Ты знаешь, старина, а ничего...

Улыбка до ушей была признательным ответом на похвалу известного во всей Киргизии человека.

– Ну, а этот мудрец твой Касым – это живой человек или ты его придумал?

– Его настоящее имя Оогонбай, – неожиданно произнес Алыкул, – я назвал его Касымом для рифмы...

Жусуп расхохотался. Его громкий смех, заметавшийся между стенами небольшого кабинета, казалось, вконец перепугал робкого юношу.

– А я-то принял тебя за немного и пытался хоть как-то приспособиться к твоим манерам... – сквозь смех произнес Жусуп.

И Алыкул тактично захихикал, поддерживая смех такого уважаемого человека.

– Ну, слава богу, что ты оказался не глухим, – сказал, наконец, Жусуп. – А теперь ответь, не будешь возражать, если мы чуть-чуть подправим несколько твоих стихотворений и опубликуем их в нашей газете?

Обменявшись еще несколькими фразами и не зная, как поддержать разговор, Алыкул несмело спросил:

– Я пойду, агай?..

Жусуп лишь кивнул, подражая жесту Алыкула, и они оба расхохотались так громко и заразительно, что даже совершенно

случайному человеку была бы ясна завязавшаяся дружба между этими двумя людьми – один еще совсем юноша, а другой – умудренный жизнью и поэзией, хотя тоже был не старым.

Редакцию Алыкул покинул необыкновенно окрыленным. Он шел по непостижимо широкой по меркам того времени улице, с обеих сторон обрамленной диковинными этих Мест молодыми дубками. Но даже эта широкая улица казалось гесной Алыкулу, ибо она была заполнена отарами и табунами, целыми стадами новых алыкуловских строк из будущих стихотворений. Мысленно он уже организовал богатейший той по случаю знакомства с таким знаменитым человеком, и созвал на этот праздник все и вся - небо и землю, реки и моря, горы и степи, людей и животных.

Он не шел, а буквально летел к четверым своим друзьям, которые, проводив его сейчас наверняка с нетерпением ожидали его возвращения, ждали гам, на квартире, на улице Южной близ железнодорожного вокзала, в большом доме с просторным двором. И дом, и двор с постройками были обнесены забором из гладковыструганных, покрашенных зеленой краской досок. Конечно, в то время многие не могли себе позволить в крохотной мазанке даже пол накрыть досками, не говоря уже о том, чтобы покрасить его, однако дом принадлежал некоему дядя Ване, работавшему штукатуром в какой-то строительной организации.

Естественно, дом не имел никакого отношения к пятерым друзьям, они просто платили по два рубля в месяц каждый за то, что дядя Ваня предоставил им для ночлега крохотную сираюшку в конце двора. Подобных сараюшек во дворе было несколько, и каждая сдавалась нуждающимся.

Но Алыкул думал не об этом. Он живо представлял себе реакцию каждого из четверых друзей на его рассказ о встрече с Жусуном Турусбековым.

Пятеро друзей еще не раз будут появляться на этих страницах, поэтому есть смысл представить их подробнее. Каждый из них, конечно же, имел имя, данное родителями, но

отдавая дань моде того времени и подчеркивая особую близость между собой, они дали клички друг другу, которые весьма точно соответствовали и внешности, и характеру каждого из них.

Ведущим в этой пятерке был Кубанычбек Маликов, прозванный Жулкунбаем. Забияка, то есть. Он был широк душой и крепок телом, по доброте характера никто из друзей не мог сравниться с ним, так что у него никогда и мысли не возникало обидеться на эту не совсем симпатичную кличку, даже не смотря на его врожденную горячность. Да что там «Жулкунбай», он не обиделся бы, даже назови его самим шайтаном! Только хохотал бы, тем самым выводя из терпения того, кто собирался обидеть Кубанычбека или хоть в самой малости унизить его.

Алыкул представил, как, выслушав рассказ, Кубанычбек первым соскочит с места и громогласно завопит: «Дай лапу, чертенок Асмайчи!» Алыкул протянет руку, и Кубанычбек с такой силой сожмет ее, что захрустят пальцы... Представив это, Алыкул машинально потряс рукой, словно на самом деле уже ощутил хватку Кубанычбека... Потом он примет грозный вид, нахмурит брови, быстро и ловко ударит Алыкула своими громадными ладонями по шее, прижмет его к себе словно маленькое дитя, затем левой рукой сморщит лицо Алыкула, смачно поцелует и, скривившись, брезгливо сплюнет, произнеся: «Поздравляю! Лишь бы смерть не узнала тебя, и тогда у тебя есть все шансы стать нормальным человеком... Так что не умирай, Нахаленок».

Когда Кубанычбек взволнованно рад за друга, он всегда поступает именно так...

Кстати, об асмайчи. Так называют людей, которые не мыслят себя без насвая, готовы отдать за него последнюю рубашку. Есть популярный анекдот о том, как люди встречают смерть. Бедный и богатый, властелин и раб, дурак и умный, – каждый по-своему стремится обмануть ее, выкупить хотя бы день. Однако Смерть лишь смеется над ними... Когда она пришла к асмайчи, тот безропотно согласился пойти за ней, но попросил напоследок насвая. Удивленная Смерть решила

отыскать где-нибудь щепотку, чтобы потом сполна отыгаться на нахале. А тот воспользовался ее отлучкой и сбежал...

Этот анекдот очень нравился Алыкулу, он без конца повторял его, даже юмористическое стихотворение написал, так что кличка «Асмайчи» не могла не прилипнуть к нему. И вот – прилипла...

Следующая очередь за Колконбаем, то есть, нелепой громадиной.

И у него есть нормальное имя. Отец Сыдыкбек назвал своего младенца Тугельбаем, но здесь друзья по достоинству оценили его неторопливость в разговоре, неспешность в движениях и поступках, поистине богатырское телосложение. Колконбай, в общем.

И наверняка он первым делом спросит: «Ну, как он выглядит?»

Прекрасно зная пристрастие Колконбая ко всему огромному, Алыкул ответит: «Во!» и нарисует пальцами в воздухе необъятную фигуру великана. «Поклянись!» – недоверчиво потребует Колконбай, и Алыкул проведет ребром ладони по шее, как бы отрезая себе голову. «Тогда ничего, – удовлетворенно произнесет Колконбай, – получается, что он могучий человек, значит, и поступки его будут весомыми. Даже тень великодушия гиганта может осчастливить маленького человека. В общем, если он захочет, то может сотворить для народа еще одного акына из обыкновенного асмайчи, а такого еще не бывало! Так что с тебя причитается, надо бы обмыть...» На это Алыкул ответит: «Я готов обмыть, если вы поможете...» – и потрет в воздухе пальцами, намекая, что у него одного на это не хватит денег.

И тут заговорит Байсалбай. Он скажет: «Не рано ли вы собрались делить шкуру неубитого медведя?» Байсалбай Керимкулов – непревзойденный комузист среди этой пятерки, впоследствии прозванной «компанией пяти холостяков», потому что они поклянутся, что женятся в один день все вместе. Этого, конечно, не получится, что даст повод Байсалбаю говорить, мол, я же не сомневался в этом... Так что Байсалбай в этой компании был с одной стороны скептиком, с другой – легкоранимым человеком, а его порой искренняя, порой

наигранная наивность граничила с предательством... Все это вместе предопределило кличку Байсалбая – Телпекбай, то есть, Капризуля.

«А почему ты считаешь, что рано? – спросит Тугельбай.

– Ведь сам Жусуп-агай обещал напечатать несколько стихотворений Алыкула в одном из ближайших номеров газеты. А когда такое говорит редактор...».

«Да потому что...» – с неопределенной двусмысленностью протянет Байсалбай. И тут уж не выдержит Алыкул, потребует, чтобы тот не тянул, Кубанычбек посоветует рожать быстрее, а Капар – не кокетничать. Все засмеются, но прежде чем сказать, что будет дальше, надо представить Капара, последнего из великолепной пятерки.

Итак, Капар, сын Айты, уроженец юга, где самым естественным образом перемешалось все киргизское и узбекское, начиная от языка и кончая народными обычаями и традициями. Друзья с удовольствием слушали киргизско-узбекский диалект Капара и не упускали возможности подтрунить над теми его предполагаемыми слабостями и пристрастиями, над которыми сами узбеки смеются с удовольствием. К примеру, «ортак» означает – «товарищ». Узбеки и южные киргизы пользуются этим словом в обращении между только мужчинами или только женщинами, на остальной части Киргизии – исключительно внутри красивой, но слабой половины. Потому, когда Капар привнес в круг друзей это слово, то поначалу привел их в немалое смущение... Даже сейчас, в конце XX века, самый захлюпанный киргиз не простит женского обращения к себе, тогда же, когда он еще с коня не слез... Но эти первые представители киргизской интеллигенции, вволю насмеявшись над собственным смущением, вскоре вернули это слово Капару второй кличкой. А первая родилась в недрах увлечения рисованием и лепкой. Занятие это требует дотошности, тщательности, выверенности, эти же качества определяли и его характер, поэтому Капара друзья прозвали Эзме, что переводится примерно как зануда. И Капар на эту кличку, как и все остальные на свои, не обижался.

Когда отсмеются, Байсалбай, возможно, скажет:

– Успокойтесь, ребята, у нас нет повода заводитьсь и в горячке пороть ерунду, – при этом он с хитринкой посмотрит на Кубанычбека. – Пусть появятся стихи нашего Асмайчи в газете, и тогда мы все вместе, – он посмотрит на Тугельбая, – бесформенной кучей столпимся вокруг и прочтем, что будет напечатано. К этому времени наш милейший Ортак тщательно нарежет морковь, лук и мясо, чтобы приготовить вкусный плов... Не правда ли, Капаш? А то, если мы начнем отмечать сейчас, рис в плове настолько разбухнет, что будет похож на Колконбая, а его засунуть в рот не так-то просто. Что ты на это скажешь?

– Я скажу: атандын баши! – произнесет Капар, что дословно будет означать безобидное «голова твоего отца» и несет значение «как бы не так». Но Байсалбай тут же найдется и в тон ответит, что голова его отца была действительно умнее Капаровской...

... Здесь оборвались видения Алыкула, потому что возле ворот дома он увидел гнедого коня, привязанного к столбу, увидел, когда буквально уткнулся в животное, и ему стоило большого труда успокоиться самому и успокоить коня. Войдя во двор, Алыкул изумился еще больше.

Под раскидистой яблоней стоял огромный стол, вытасенный из сарая дяди Вани, стол, накрытый всевозможными яствами, которые, учитывая время и возможности «пяти холостяков», могли бы показаться воистину царскими. Посередине стола возвышалась большая тарелка с боорсоками, рядом лежали куски вареного мяса, даже чучук был – великолепная конская колбаса, и по сей день считающаяся венцом угощения у киргизов. В пиалах белела густая сметана и золотилось топленое масло, которые даже сниться давно перестали Алыкулу. Что же касается кумыса, то его было, много, и его запахом был настоен весь воздух во дворе, и запах этот закружил голову Алыкулу, едва только тот вошел...

– А вот и наш Асмайчи появился! – громко объявил Кубанычбек, и пояснил, обращаясь к громадному краснощекому джигиту, сидящему рядом с «холостяками» за столом, – наш пятый...

– Ассолом алейкум! – робко, ничего не понимая, поздоровался Алыкул, протягивая незнакомцу руку.

– Ва алейкимма салам! – незнакомец, поднявшись со своей табуретки, так стиснул руку Алыкулу, что тот едва не вскрикнул от боли – Садись, братишка, и угощайся! – добавил он добродушно. – Соскучился, наверное, по айльской еде...

– Утоли жажду этим напитком для батыров, а там видно будет! – сказал Тугельбай, протягивая цветастую пиалу, до краев наполненную ароматным кумысом.

Алыкул неторопливо, с нескрываемым удовольствием выпил, наслаждаясь терпкой вязкостью во рту, а когда поставил пиалу на стол, проведя ладонью по несуществующим усам, Кубанычбек представил ему незнакомца:

– Это Ашыке! Мы с ним из одного айла, можно сказать родственники. Оба рано осиротели, оба работали на одного зажиточного человека. Ты ешь, Асмайчи, ешь, уши нужны, чтобы слушать, а не мешать челюстям жевать. Так вот, на нашу долю выпало немало невзгод и лишений, но тысячу раз прав был мудрец, некогда сказавший, что живая душа все равно когда-нибудь напьется из золотой чаши... Мы остались живы, я учусь в техникуме, мой друг Ашыке стал знатным табунщиком в колхозе «Беш-Кунгей». Он признанный силач, непревзойденный в оодарыше¹. Хотя в айле, наверное, уже появились молодые способные ребята, которые смогут тебя победить, Ашыке?

– Боже упаси! – в притворном испуге воскликнул Ашыке. – Такой богатырь еще не родился...

– Вот видишь, дорогой, – продолжал Кубанычбек, обращаясь к Алыкулу, – в мое отсутствие мой друг успел прослыть силачом, равного, которому еще не родила земля! Но ничего, закончу техникум, приеду в айл, отъежусь, и тогда всё станет на свои места... – для большей убедительности Кубанычбек засучил рукава рубашки. – Однако сегодня разговор не о богатырских доблестях нашего уважаемого Ашыке и верности старой дружбе.

¹ Оодарыш – кыргызская национальная борьба, в которой соперники должны стянуть друг друга с коня.

Просто слух о бедственном положении пяти знаменитых холостяков дошел и до колхоза «Беш-Кюнгей», вот он и решил поддержать нас таким способом... – Кубанычбек широким жестом показал на стол с заметно убавившимися яствами.

– Отлично! – улыбнулся Алыкул. – Пусть, твой друг почаще приезжает к нам и почаще поддерживает нас таким вкусным способом. Или я не прав?

– Он еще спрашивает! – хором воскликнули остальные.

– Послушай, ты, Жулкунбай, – произнес Тугельбай, обращаясь к Кубанычбеку, – тебя хлебом не корми, только дай рассказать что-нибудь. Ты лучше все объясни толком нашему Асмайчи, чтобы и он знал, с какой целью мы собрались здесь.

– Да перестаньте, ребята, – запротестовал Ашыке, – зачем еще мальчишку посвящать в наши взрослые дела...

– Чего? – изумленно приподнялся Кубанычбек. – Он – мальчишка? Да знаешь ли ты, мой друг Ашыке, что этот мальчишка, как ты его называешь, родился за семь лет до того, как была сотворена земля. И когда смерть обнаружила такое большое пространство для своей деятельности, она в первую очередь решила повстречаться с долгожителем, и, даже не отдохнув с дороги, заявила к нему. Но не на того напала! Этот, – Кубанычбек ткнул пальцем в сторону Алыкула, – моментально надул ее! И ты даже представить себе не можешь, как он это сделал. Он прикинулся вежливым ягненком и попросил перед тем, как распрощаться с душой, щепотку насвая. Смерть настолько обалдела от такой наглости, что чуть не умерла, но чего не сделаешь для человека перед его последним вздохом... Ладно, подумала смерть, я принесу ему щепотку насвая, этому киргизу, но потом такие попытки ему устрою, о которых он и не подозревал в самых своих кошмарных снах. Пошла она в аил за насваем, а этот удрал в Токмак и поселился в доме русской женщины, которая называла его своим сыном...

Смерть уже не одну пару башмаков истоптала, кочуя от дома к дому, от юрты к юрте киргизов, а заглянуть в русский дом ей и в голову не приходит. Потому-то он и здесь поселился у дяди Вани, улавливаешь? Хоть и запаха насвая не знает, а заслужил звания Асмайчи! Да если хочешь знать, этот

мальчишка запросто встречается с самим Жоомартом Бокомбаевым и Жусупом Турусбековым! Кстати, он сейчас от него возвратился... Расскажи-ка нам, Асмайчи, как прошла ваша встреча с Жусупом?

– Нормально... – улыбнулся Алыкул, на мгновение, вспомнив, что за все время общения в редакции произнес не больше десятка слов.

– И что вы порешили?

– Жусуп-агай пообещал опубликовать несколько моих стихотворений в своей газете...

– Вот видишь, сам редактор пообещал опубликовать стихи нашего Асмайчи аж в газете «Сабаттуу бол»! – Он подсел к Ашыму и, жестом обведя своих друзей, продолжил: Мы все, кроме Ортака, – поэты, но стихи наши печатаются пока только в стенгазете, а его – в газете, которую читают тысячи людей! Так что в сердечных делах он поможет больше, чем мы все вместе взятые...

– Ну, раз так, тогда я пожалуйста, – согласился Ашым, – тогда и ему расскажите...

– Давай, Жулкунбай, начинай, – с несвойственной быстротой произнес Тугельбай.

– Почему это я всегда должен начинать! – неожиданно для Ашыма взорвался Кубанычбек. – Когда вы в конце концов перестанете подставлять меня под все что угодно, а сами оставаться в стороне?

– Ну, успокойся, успокойся... – ехидно произнес Тугельбай, – что это ты с утра набрасываешься на людей, как голодный пес на кость...

Лицо Кубанычбека побагровело, Ашым удивленно переводил взгляд с одного на другого, казалось, что сейчас вспыхнет настоящая ссора, но тут поднялся Байсалбай.

– И что вы из всего делаете проблему, – произнес он миролюбиво, – если коллектив не возражает, то я могу поведать Алыкулу о той проблеме, с которой пожаловал к нам уважаемый Ашыке...

– Нет возражений!

– Так знай же, о достопочтенный Асмайчи, что у нашего нового друга Ашыке есть в аиле избранница сердца, которую зовут...

– Кукуш, – подсказал Ашым. – В общем, Кульджан...

– Правильно, ее зовут Кукуш, – подтвердил Кубанычбек на правах односельчанина, – однако здесь есть одна неувязка...

– Какая же? – не выдержав паузы, спросил Алыкул.

– Отец этой самой Кукуш приходится непосредственным начальником нашему Ашыке, он заведует фермой в колхозе.

– Ну и что? – не понял Алыкул.

– Друзья мои, – опять заговорил Ашым, – вы можете нормально все объяснить парню? Отец Кукуш во всей этой истории и в самом деле ни при чем.

– Ты прав, Ашыке, – встрял в разговор Тугельбай, – отец твоей Кукуш абсолютно ни при чем. А загвоздка вся заключается в этой ведьме...

– В матери, что ли? – спросил Алыкул.

– Послушайте! – воскликнул Ашым, подозрительно пристально глядя в Алыкула. – Мне кажется, что ваш юный друг не меньше чокнутый, чем вы сами! Я же вам объяснял нормальным киргизским языком, что вся загвоздка не в отце и не в матери, а в старшей сестре...

– У заведующего фермой есть старшая сестра, что ли? – Алыкул был сама заинтересованность.

– На кой черт мне далась старшая сестра этого завфермой, к тому же я не знаю, есть она у него или нету! В аиле говорят, правда, что когда-то была, но давно умерла...

– Бог с тобой, дружище, – подал голос сидевший в стороне Капар, до этого молчаливо рисовавший что-то, – успокойся, умерла так умерла, зачем же нам тревожить ее прах... Но, друзья мои, я помню, какая-то сестра мешала нашему другу обрести свое счастье. Вот вопрос, в котором нам необходимо разобраться обязательно, чтобы докопаться до истины. Итак, если есть сестра, то в первую очередь надо выяснить, чья она?

– Она старшая сестра Кукуш! – разгоряченно воскликнул Ашым. – Ее зовут Нуржан и она тоже очень красивая...

– Вот теперь нам все ясно, – заключил Кубанычбек. – Ты хотел бы жениться на Нуржан, однако...

– Сам женись на ней! – не выдержав, завопил Ашым.

– Ну к чему такая горячность, – с серьезным видом пожал плечами Кубанычбек, – если у тебя такие благородные намерения, отчего же ты не взял ее с собой и не показал мне? Ведь я не Колконбай, чтобы удовлетвориться тем, что где-то и на ком-то есть женское платье... И если бы она мне понравилась, то все это угощение вполне могло сойти за свадебное. Итак, насколько я понял, ты хочешь жениться на младшей, а мне уступаешь старшую. Что же, я согласен, на что не пойдешь ради человека, с которым родился в одном аиле...

– Дурак! – сплюнул Ашым.

– Вот видите, – совершенно невозмутимо обратился Кубанычбек к своим друзьям, – какая непростая ситуация сложилась. Наш друг Ашыке и красавица Кукуш давно любят друг друга, мечтают соединить свои сердца, но не могут этого сделать до тех пор, пока я не возьму в жены ее старшую сестру по имени Нуржан. Слава богу, хоть имя довольно благозвучное...

Витиеватая речь Кубанычбека явно утомила Ашым и он устало обратился к Алыкулу:

– Ты не слушай, братишка, этих оболтусов. Оказывается, они, завидев кумыс и мясо, даже не сумели понять мою просьбу. Никогда бы не подумал, что на свете могут существовать люди с такими крохотными мозгами, если бы не убедился в этом сегодня сам... А теперь выслушай меня, если не возражаешь...

– С большим удовольствием, Ашыке, – чуть склонил голову Алыкул.

– Старшая сестра Кульжан по имени Нуржан – моя ровесница, мы даже учились в одном классе, – начал объяснять Ашым. Друзья внимательно слушали его, приняв сытые позы на своих табуретках. – И никаких отношений у нас с ней не было. К сожалению, Нуржан до сих пор не замужем. И вот, как только я захожу к ним в дом, все стараются сделать все, чтобы мы с Нуржан остались наедине. Но ведь я-то прихожу ради Кульжан!.. И никак не могу объяснить ей это. Вот потому-то и пришел я к этим людям, у которых птичьи мозги, чтобы они помогли написать мне такое письмо, из которого Кульжан

поняла бы мои намерения, а не Нуржан думала, бог знает что. Но теперь вижу, что ничего из моей затеи не выйдет...

– Ей-богу, я все понял! – воскликнул Капар, чистосердечно подходя к Ашыму и протягивая ему свою руку. – Я тебе друг, Ашыке. Конечно, я не смогу помочь в написании письма, любовные стишки – это не мое занятие. Но вот если бог даст и вы с Нуржан соедините свои судьбы, то я нарисую ваш общий портрет и подарю вам его на вашей свадьбе.

Друзья попадали с табуреток. Выждав, когда смех утихнет, Капар невозмутимо продолжал:

– Или Кульжан? Да какая разница! В отличие от вас я умею держать свое слово. Во всяком случае, пока вы тут зубоскалили и ушлетали за обе щеки мясо, я набросал портрет Ашыке. Если бы он прихватил с собой фотографию этой Кульжан-Нуржан, то я нарисовал бы их обеих и уже сейчас мог бы сделать подарок к их будущей свадьбе!

Вновь раздался хохот друзей, смотревших, как Ашым удивленно разглядывает свой портрет.

– Ну, даешь! – воскликнул сквозь смех Байсалбай. – Ты сегодня неотразим, Ортак!

– Теперь и я все понял... – давясь хохотом, произнес Гугельбай.

– Понял, что я влюблен в сестру заведующего фермой? – Ашыму не удалось скрыть своего раздражения.

– Да нет. С самого начала я был уверен, что ты влюблен в Кукуш, но почувствовав в этой любовной истории присутствие какой-то ведьмы, приготовился написать драму, не уступающую «Кайгылуу Какей»¹

Вот почему я не позволял себе злоупотреблять авансами, – Гугельбай взглядом показал на значительно оскудевший стол.

А то, что хочешь ты – это пара пустяков. Эй, Телпекбай; шлей-ка мне кумыса... – Он залпом осушил пиалу, поднесенную Байсалбаем, взял карандаш и бумагу, приоткрывшись писать, но потом сказал: – А вообще-то сам ты

¹ Персия профессиональная киргизская драма М.Токобаева «Горемычная Какей»

перепутал все, начал говорить, что отец работает завфермой, что он, мол, твой начальник...

– Что же мне оставалось говорить, если отец моей Кульжан действительно работает завфермой, а не бухгалтером.

– Ну, а зачем сказал, что мать Кукуш является ударницей?

– Да она и в самом деле ударница!..

– Вот видишь, как хорошо, что мы во всем разобрались, а то Жулкунбай чуть было не отбил у тебя твою невесту...

– Пусть только попробует! Я ему шею тогда сверну!

– Не свернешь, – спокойно возразил Кубанычбек.

– Это почему же? – искренне удивился Ашым.

– Да потому что младшая сестра мне совершенно ни к чему.

Меня вполне устраивает и старшая сестра Нуржан. А поскольку все будет как ты хочешь, то есть, ты женишься на младшей, а я на старшей из сестер, то я буду твоим жезде, а по обычаям, которые мы с тобой обязаны свято хранить, ты не только поднять на меня руку не можешь, но даже сидеть, если я стою. Шарият не велит. А разве ты против шарията?

Жулкунбай прав, – поддержал друга Капар. – Именно так записано в Коране.

– А про любовное письмо ты не беспокойся, утешил Ашыма Тугельбай. – Каждый из нас напишет тебе по письму, так что если будешь вручать ей по одному в месяц – это четыре месяца, представляешь? А за четыре месяца ни одна девушка не устоит, это я тебе говорю. Но если все-таки тебе не хватит и четырех месяцев, тогда приезжай к нам осенью, прихвати с собой побольше еды, а мы к этому времени заготовим столько писем, что не только тебе, но и твоим внукам и правнукам, которые пойдут после тебя и Кукуш, хватит...

– А мое письмо почти готово! – заявил Кубанычбек. – Во всяком случае, оно достаточное, чтобы компенсировать то, что я съел и выпил.

– Ну-ка, читай... – глаза у Ашыма загорелись любопытством.

– Пожалуйста... – пожал плечами Кубанычбек. – Не в дальних далях, в одном селе живущая, со мной к социализму идущая, стремящаяся к высокому образованию... Пока все...

– Отлично! – серьезно подхватил Тугельбай. – А теперь давайте сообща досочиним. Пиши, Жулкунбай. Итак, стремящаяся к высокому образованию, ты в аиле самая лучшая!

– Гениально! – подхватил Байсалбай.

– И добавьте, что характер у нее мягче хлопка, – вставил молчавший Капар.

– Послушай, ты, Ортак, думай, что советуешь! – укоризненно посмотрел на него Тугельбай. – Кукуш и в глаза не видела, что такое хлопок, она его запросто сможет и за тыкву принять, как тогда будет выглядеть наш друг Ашыке?

– Ну, если ты думаешь, что она про хлопок не поймет, тогда сравните ее характер с мягким, податливым шелком...

– Это хорошо, – согласился Кубанычбек. – Значит, характер твой шелка мягче, глаза твои звездочек ярче, уста твои словно мед, а сердце мое поет, Кукуш...

– Послушайте, – перебил Ашым, – а нельзя написать вместо имени просто букву «К»?

– Зачем?

– Ну, как-то неудобно сразу по имени называть...

– Одну букву рифмовать трудно, – вздохнул Кубанычбек, – но если ты настаиваешь... Тогда мы так и назовем: «Открытое письмо красавице «К»»...

Почему открытое? – забеспокоился Ашым. – Нет, ребята, открытое нельзя, если весь аил прочтет, я не оберусь позора...

– Успокойся, Ашыке, это форма такая. Читал, наверное, в газетах, «Открытое письмо по такому-то случаю от того-то». А в любовных письмах такая форма сплошь и рядом, она означает, что ты с открытым сердцем обращаешься. Своей Кукуш ты отдашь это письмо закрытым.

– Все равно... Хочется какой-нибудь многозначительности...

– Как скажешь, – согласился Кубанычбек. – Напишем что письмо не совсем открытое и не совсем закрытое от «А» красавице «К». Не возражаешь?

– Вот это хорошо... – Ашым широко, счастливо улыбнулся.

– А что ты молчишь, Асмайчи? – повернулся к Алыкулу Кубанычбек. – Хоть бы одно слово вставил в общий котел. Не привыкай с юных пор жить за чужой счет...

– Я и не собираюсь. Вот мое письмо, мне кажется, написанное соответствует количеству съеденного и выпитого...

– Ну-ка... – Кубанычбек взял из рук Алыкула листок бумаги и пробежал его глазами. Потом повернулся к Ашиму, спросил: – А где письмо, которое мы уже написали?

– У меня в кармане... – Ашым на всякий случай прижал карман своей огромной ладонью.

– Дай мне! – потребовал Кубанычбек.

– Зачем?

– Я порву его!

– Нет, ребята, – Ашым напрягся, всем своим видом показывая, что так просто он не собирается расставаться с письмом. – Я вас накормил, вы мне написали, так что теперь это письмо принадлежит одному мне, я думаю, это справедливо...

– Ладно, – махнул рукой Кубанычбек, – ты сам порвешь его, когда прочтешь вот это, – он потряс листком, взятым у Алыкула, – вот настоящее любовное письмо.

– И что там написано? – явно сбитый с толку, растерянно спросил Ашым.

– Там написано то, о чем ты думаешь и о чем мечтаешь.

– Прямо так все и написано, и что думаю, и что мечтаю о моей возлюбленной?

– Именно так, мой друг Ашыке... – Кубанычбек понастоящему стал серьезным. И даже больше. – Можно, я его вслух прочту? – спросил он у Алыкула.

– Если он разрешит, – Алыкул кивнул на Ашима. – Теперь он хозяин этих стихов.

– Если они мои, то мне нечего скрывать от моих замечательных друзей! – воскликнул Ашым. – Читайте, читайте!

– Ну, слушайте...

И Кубанычбек начал читать только что написанное Алыкулом стихотворение:

Когда порог переступаю дома твоего,
Я ничего не вижу кроме одного:
Тебя, о несравненная Кукуш –
И не бывает выше счастья моего!

Пришел твой срок, тебе жениха называть...
О, как же мне твой взгляд завоевать!
Я не к твоей сестре, к тебе спешу, Кукуш,
Неужто чувств моих не хочешь замечать?

К твоей косе дотронусь иногда,
Я чувствую, что вдруг схожу с ума.
Когда ж случайно к платью прикоснусь, —
Стук сердца твоего мне слышится тогда.

Бывает, яблоко тебе я приношу,
Как знак любви принять его прошу.
Когда же на гнедом скачу во весь опор,
Знай, в мыслях я вокруг тебя кружу.

Вольна ты лучшего джигита выбирать.
Молю случайный взгляд свой на меня поднять!
Ведь больше жизни я люблю тебя, Кукуш,
С тобою — жить, а без тебя мне — умирать...

— Вот это да! Это же прямо по заказу получилось! —
вразной заговорили присутствующие.

— Послушайте, друзья, — вдруг очень серьезно произнес
Кубанычбек. — мне кажется, нельзя называть это любовным
письмом. Я думаю, что нашему уважаемому другу Ашыке для
женитьбы на его Кукуш вполне хватит и того письма, что мы
сочинили, а это — настоящее стихотворение...

— Эй, парень! — воскликнул пришедший в себя Ашым. —
Откуда тебе известно, что я приносил ей красное яблоко, что
прикасаюсь к ее косам, что когда случайно дотронусь до ее
платья, мне и в самом деле кажется, будто я схожу с ума! Даже
масть моего коня ты выписал так верно, как будто сам на нем
скакал! Скажи честно, ты, наверное, вместе с Кубанычбеком
бывал в моем аиле, только не попадался на глаза?

— Нет, — улыбнулся Алыкул, — я никогда не был в вашем
аиле, даже не знаю, в какой стороне он находится. А о масти
коня догадался по тому гнедому, что привязан у ворот и на

которого я наткнулся, когда пришел сюда. В общем, все очень просто, уважаемый Ашыке.

– А яблоко, косы, платье...

– Я понял, что вы добры по тому чучуку, который с таким удовольствием уплетал наш Колконбай. А что вы робки, так это всем ясно, иначе Кукуш давно была бы вашей женой. Верно?

– Верно. Я готов сразиться хоть с самим дьяволом, а вот когда нахожусь рядом с Кукуш, то робею, словно ягненок перед львицей...

– Ребята, – произнес Тугельбай, – я думаю, что наш Жулкунбай прав, эти стихи надо оставить Алыкулу. А если Ашыке захочет, мы ему все вместе напишем еще. Кубанычбек прав, к настоящему нужно относиться с уважением...

– Нет-нет, – запротестовал Алыкул, – я только облачил в стихотворную форму чувства и мысли нашего Ашыке, так что душа и тело этого стихотворения полностью его.

– Вот видишь, Ашым, – подойдя к земляку, сказал Кубанычбек, – каково воздействие твоего чучука и кумыса, даже Колконбай заговорил по-мужски. Теперь твоя очередь доказать, что ты не баба...

– Надо заплатить, да? – посмотрел на Кубанычбека Ашым и с готовностью полез в карман.

– Э-э, – остановил его руку Кубанычбек, – не стоит превращать в деньги или какое-нибудь имущество подлинные чувства...

– Ну так скажите, что мне надо делать, вы же ученые люди...

– Ты лучше подумай, как отблагодарить Алыкула, если его стихи будут главной причиной вашего счастья с Кукуш.

– Я назову этого парня крестным отцом! – воскликнул Ашым под общий хохот.

Хотя и пролетело немало времени, однако мало что изменилось во внешнем облике аила Каптал-Арык. Лишь три добротных дома появились после утверждения коллективизации. Первый – здание начальной школы. Второй – контора сельского совета. Третий – самый привлекательный для

сельских жителей, магазин, возле которого с утра до вечера постоянно толпились люди, а нередко именно здесь проводилось и общее собрание сельчан, требующее участия всех.

Здесь передавались из уст в уста новости, делались покупки, обмен товаром или скотом. Короче, магазин в Каптал-Арыке являлся и торговым, и культурным, и политическим центром сельчан.

Вот и в то теплое осеннее время, когда солнце перешагнуло полуденный рубеж, на небольшом пригорке напротив магазина, окружив мальчика, читавшего газету, на пожухлой траве сидело несколько человек. Среди них находился и Оогонбай. Несмотря на то, что его усы и борода покрылись легким налетом седины, по его жестам и разговору чувствовалось, что он еще не растерял свою былую силу...

– погоди немного! – вдруг остановил он читавшего мальчика и, стянув с головы старенькую шапку, помахал невдалеке проезжавшему всаднику, громко крикнул: – Эй, Кемел, сюда, сюда езжай, хорошие новости есть!

Пока всадник неторопливо приближался, Оогонбай держал мальчика за руку, видимо, чтобы тот не сбежал.

– Ну, что ты плетешься? Пришпорь свою клячу, пришпорь!

– Ассолом алейкум! – сказал всадник, спешиваясь и за руки здороваясь с каждым из сидящих здесь людей. Когда очередь дошла до Оогонбая, шутливо спросил: – В чем дело, Оке? Ехал я спокойно, задумался, а от твоего истошного крика чуть не свалился с седла... Что у вас тут за новость?

– Садись вот сюда и послушай, что здесь написано, – самодовольно улыбаясь, произнес Оогонбай, тыча пальцем в газету.

– А что это такое? – Кемел, похоже, впервые в жизни видел шестогозую газету.

– Это государственная письменность, и она сообщает нам, что наш Алыкул отыскался...

– Какой Алыкул?

– Ну, сын Осмона.

– Какого Осмона?

– Фу ты, ну конечно же охотника Осмона!

– Да-да, охотника Осмона, – поддержал Оогонбая один из сидящих. – Того самого, который был тестем этого верзилы Черика.

– А-а, теперь вспомнил, Осмон, конечно. Только, насколько я помню, у него не было сына, только дочь Мария.

– Нет, у него и сын был.

– Что-то не припомню...

– Э-э, неважно, помнишь ты или нет, главное, что нашелся Алыкул, – Оогонбай не скрывал своей радости. – А теперь давай, сынок, читай все с самого начала.

– А может быть, хватит? – мальчик умоляюще посмотрел на Оогонбая, однако тот был неумолим, а тут и другие поддержали его своими возгласами:

– Давай, сынок, давай...

И мальчик начал читать: «К нам в редакцию прислал свои стихотворения учащийся педагогического техникума Алыкул, сын охотника Осмона из аила Каптал-Арык...»

– Во! Про наш аил уже в газетах пишут!

– Не мешай слушать!

– Дальше читай, сынок...

«И мы решили сделать сегодня своеобразное разрезание пут в литературном смысле, то есть предложить на суд читателей несколько его стихотворений...» – Подожди!

Это вновь Оогонбай остановил мальчика, чтобы опять заорать во всю глотку:

– Эй, Черик! Подойди сюда и сразу готовь суюнчу¹.

– В чем дело? – спросил Черик, подойдя и даже ради приличия не поздоровавшись. Однако сейчас, увлеченные, люди на это не обратили внимания.

– Брат твоей жены отыскался!

– Какой еще брат? – не понял Черик.

– Какой, какой, Алыкул, какой же еще!

– Не может быть, он же...

– Да живой он, живой! – радостно сообщил Оогонбай. – Вот здесь написано, в газете, что он живой, наш сын охотника Осмона из аила Каптал-Арык.

¹ Суюнчу – вознаграждение тому, кто первым сообщит добрую весть.

– Не может быть...

– Что ты заладил свое «не может быть, не может быть...» – передразнил Черика радостный Оогонбай. – Вот погоди, Черик, скоро я поеду в Пишпек и все расскажу Алыкулу, пусть он и про тебя в газете напечатает, да так, чтобы тебя с головы до ног в ней видно было, ха-ха-ха!

Остальные тоже расхохотались, представив, как пропечатают этого Черика. А Оогонбай уже просил мальчика:

– Давай, сынок, читай...

Оогонбай-аба! – едва не плача, ответил тот. – Ведь я уже с утра одно и то же читаю...

– Ну и что? Такую новость можно целый день читать! – возмутился один из стариков. – Эх, ты! И впрямь весь в отца пошел, такой же ленивый! Видите ли, ему лень прочитать еще раз в газете про наш Каптал-Арык...

– Не расстраивайся, сынок, – успокоил мальчика Оогонбай, протягивая ему рубль. – В магазине потом купишь себе что-нибудь из сладкого. Ты же умница, вон какой грамотный! Ну, давай сынок, читай...

И когда мальчик в очередной раз прочитал редакционное предисловие, Оогонбай вновь остановил его:

– Асылбек, сынок, если прочтешь неспеша, тогда я тебе еще один рубль дам.

– Ладно, слушайте. Стихотворение называется «Моя звезда».

– Читай, сынок, читай...

Касым – отцовский верный друг
Однажды ночью поздней
Мне показал на небо вдруг:
«Людей сопровождают звезды.
Но главная – Полярная звезда,
Вокруг нее – все звезды остальные.
Не сходит с небосвода никогда,
Она – твоя отныне...»

– Это был я, а не Касым... – проговорил Оогонбай, когда Асылбек закончил читать это стихотворение. – В нашем аиле отродясь Касыма не бывало, а это я ему показывал на Алтын-

Казык, сказал, что она теперь его... В ту ночь, Черик, когда ты вечером избил его и свою жену Марию. Тогда Алыкул пришел ко мне и попросил, чтобы я отвез его в детдом...

Оогонбай прослезился. Ни у Черика, ни у других присутствующих не хватило духу, чтобы успокоить его.

– А почему же тогда он написал про какого-то Касыма?

– Может быть, он позабыл твое имя, Оогонбай? Он ведь в то время еще таким маленьким был, когда ты его отвозил в детдом...

– Да, на следующее утро после случившегося мы с ним уехали в Токмок...

– Чего, чего? – вскрикнул Черик.

– Уехали, говорю, в Токмок.

– Слушай, зачем в Токмок?

– Чтобы в детдом отвезти...

– Слушай, Оогонбай, ты же ведь нам говорил тогда, что отвез мальчика в Пишпек и там оставил его...

– Эй, какая разница! Может быть и говорил... Откуда мне было знать тогда, где Пишпек, а где Токмок... Тогда мне любой забор Пишпекком был... Это сейчас я знаю, что у каждого города есть свое название.

– Слушай, оказывается, один ты во всем виноват! – воскликнул Черик.

– Это почему же?

– Да потому что, когда ты рассказал нам про Пишпек, мы дней через десять поехали туда, чтобы забрать мальчика...

– Ну и что?

– А то, что нам там сообщили, что мальчик умер. Сказали, какой-то оборванец привез на ишаке мальчика, лет пяти-шести, больного, а сам уехал, не оставив ни адреса, даже имени мальчика не назвал. Мальчишка через два дня умер. Ну, подождали они еще три дня, но за ним никто не приехал, и там сами его похоронили. Даже могилку этого мальчика нам показали, – сказал Черик. – По тому, как его обрисовали, мы и подумали, что это был Алыкул. Чтобы не слышать каждый день причитаний Марии, я собирался перенести его тело к нам в аил, чтобы похоронить рядом с отцом, да мулла сказал, что шариат

запрещает откапывать однажды захороненного... Эй, а может быть, вы меня здесь все разыгрываете, а?

– Слушай, Черик, подумай сам, зачем нам это нужно? Ведь не мы же печатаем газету. А в ней все то, что ты слышал, написано черным по белому. Ну-ка, Асылбек, прочти этому, который никому не верит.

– Алыкул, сын охотника Осмона из айла Каптал-Арык, – прочитал мальчик.

– Что же теперь делать? – спросил Черик.

– Разыскать...

– Надо немедленно разыскать! – раздались голоса присутствующих людей.

– Погодите, – произнес Оогонбай, – пусть дочитает.

И все с огромным вниманием принялись слушать напечатанные стихи Алыкула.

Конечно же, ни Алыкул, ни его друзья и не предполагали, что, то шутивное застолье с Ашымом будет иметь свое продолжение. И вдвойне удивительно было то, что “пятерых холостяков” почти в самом центре города отыскал всадник, ведущий в поводу еще двух коней. И лишь когда они сблизались вплотную, узнали они Ашима.

– Ты ли это, Ашыке?

– Что-то не видно ни мяса, ни кумыса, значит, это не он.

– Да, наш друг Ашыке так бы не поступил.

– А мы, между прочим, выполнили свое обещание!

– Да ну? – притворно удивился Ашым.

– Спроси у Капара, – сказал Кубанычбек, – он подтвердит, что каждый из нас заготовил по мешку любовных писем. Но самый лучший подарок сам Эзме сделал, он каждое письмо разрисовал голубями, которые готовы летать с приветом и возвращаться с ответом, а самое модное – кровоточащие сердца, пронзенные кинжалами...

– Маладес! – по-русски воскликнул Ашым и продолжил: – Не позабыл и я свое обещание, выходит, не напрасно прихватил с собой двух коней, погрузим на них мешки с вашими

письмами, увезу все, что заготовили... Ну, а платить на этот раз буду деньгами, не возражаете? Правда, ни мне, ни Кукуш ваши письма теперь не нужны, однако уговор есть уговор, я так думаю...

– А что случилось? – спросил Тугельбай. – Неужели все-таки отбили у тебя твою возлюбленную, несчастный?

– Во всем виноват вот этот, – Ашым показал камчой на Алыкула, изо всех сил стараясь изобразить из себя несчастного, но, не выдержав, счастливо расхохотался, обнял Алыкула, как самого близкого человека. – Маладес, Алыке! После твоих стихов все джигиты собрались вместе, обнажили головы и толпой ушли в горы, чтобы никогда уже не показываться в наших местах. Те девушки, которым кто-то нравился, ушли вслед за своими возлюбленными, а я остался вместе с моей несравненной Кукуш. Так что, братишка, ты попал в самый глаз летящему голубю!

– Э, да наш Асмайчи и впрямь весь в отца! – воскликнул Тугельбай. – В народе говорят, что Осмон был непревзойденным охотником-мергенчи, в меткости мог соперничать с самим Кожожашем!

– Так что, друзья, – продолжил Ашым, – разбирайте коней. Быть Алыкулу крестным отцом, как и договорились. Завтра той начинаю. Моя Кукуш поняла все!

И когда друзья по двое расселись на коней, Ашым, хитро сощурился, предложил:

– А что, не захватить ли сначала в вашу сараюшку?

– Зачем?

– Письма захватим...

– Стоит ли, – махнул рукой Кубанычбек, – ведь ты сразил свою возлюбленную одним письмом, зачем тебе остальные?

– Да я кое-что еще задумал... В общем, если честно, я как-то завел разговор с моей Кукуш и предложил ей занять сначала пятерых сыновей подряд, и только потом пусть будут девочки и пусть их будет столько, сколько получится...

– Э-э, – оборвал его Капар, – вот здесь-то, насколько я понимаю, никакие стихи не помогут, тут другая сила нужна...

Взрыв хохота взметнулся над городом, и громче всех хохотал Ашым. И лишь успокоившись, он, вытирая слезы, произнес:

-- И знаете, что она мне ответила?

– Что?

– Моя несравненная Кукуш сказала, что если мы сможем родить пятерых сыновей подряд, то вряд ли нужно будет из-за оставшихся двоих до святого числа останавливаться... Пусть, в общем, сыновей будет семеро, а потом уж пойдут девочки... Так что ваши письма не мне нужны, а моим будущим семерым сыновьям.

-- Ну, к тому времени, как родиться, а потом вырасти, твоим сыновьям, наверно, уже другие письма нужны будут, – улыбнулся Байсалбай.

Шесть человек на трех конях поспешно удалялись в сторону гор.

– А что, если возродить традицию «Жар-жар-ай»? – мечтательно произнес Алыкул, сидевший в паре с Ашымом.

– Что такое «Жар-жар-ай»? – спросил Ашым.

– Это свадебный обряд, который сопровождается красивыми песнями и танцами приглашенных, как со стороны жениха, так и со стороны невесты.

– Было бы во! – ехавший вместе с Тугельбаем Байсалбай, показав большой палец, поддержал Алыкула. – Как-то в нашем шле казахи брали себе невесту, и один жырау на домбре играл такие казахские и киргизские кюу, что невозможно передать словами. А пел он так, что молодежь до сих пор поет его песни.

– Выходит, ты знаешь правила этого старинного обычая? – заинтересовался Ашым.

– Да нет, я тогда совсем маленьким был...

– А я слышал, – заговорил Тугельбай, – еще про один обычай, интереснее, чем ваш «Жар-жар-ай».

– Что за обычай? – спросил Алыкул.

– «Кыз оюн» называется, это девичьи игры.

– Ты не совсем прав, Колконбай, – произнес Байсалбай. – «Кыз оюн» – это главная составная часть «Жар-жар- ай», вершина этого свадебного обряда, без «Кыз оюн» не бывает

«Жар-жар-ай»... Говорят, не только молодые, но и старые люди не могут удержаться, чтобы не пуститься в пляс...

– К сожалению... – вздохнул Тугельбай.

– Что, к сожалению? – не понял Байсалбай.

– К сожалению, мы толком ничего не знаем об этих обрядах и обычаях, только слышим о них. А наши дети, наверно, и не услышат уже...

– Я знаю одного такого человека, который хорошо знает всякие обряды и обычаи! – объявил Кубанычбек. – В молодости он слыл заводилой всяких игр. Да ты должен знать его, Ашым, это дедушка Жакып, отец табунщика Медета. Если он живой еще, конечно...

– Живой! Да только вот характер у него, я вам скажу... Не зря же прозвали его Кежир-алпом (капризным-великаном), все делающим шиворот-навыворот.

– Этот старик знает, по-моему, абсолютно все национальные традиции. А уж об истории какого-нибудь кюю может рассказывать несколько суток подряд. Так что можно порасспрашивать его...

– А знаменитые кюю он играет? – заинтересованно спросил Алыкул.

– Хо! Нет такого кюю, который бы не смог сыграть аксакал Жакып. Даже, говорят, он не только играет, но и прекрасно рассказывает их. Некоторым доводилось слышать само кюю «Светлая боль Чын-Уула»...

– Да ну?

– Мне рассказывали.

– Послушай, Ашыке, дом его расположен на окраине аила, у самой дороги, не правда ли? – Алыкул спрашивал, словно вспоминал что-то давно позабытое.

– Ну...

– А перед его домом растет огромная чинара?

– Точно! Послушай, Алыке, прошлый раз, когда писал стихи для моей Кукуш, ты говорил, что первый раз меня видишь и никогда не бывал в моих краях, хотя точь в точь описал все мои мысли и чувства, даже как я на коне скачу описал. Неужели ты и сейчас хочешь сказать, что никогда в жизни не бывал у

старика Жакыпа или это светлая голова твоя представляет все так точно...

– Нет, – засмеялся Алыкул, – просто у меня такое чувство, когда слышу от вас о нем, что бывал в его доме... Давно, когда Оогонбай отвозил меня в Токмакский детдом, мы остановились переночевать в каком-то доме у старика. Я сейчас уже не помню, что он играл и о чем говорил, ведь совсем был маленьким, но что-то осталось в душе. Вот сейчас сказали о кюю «Светлая боль Чын-Уула», и мне кажется, что я слышал его... Дом запомнился у дороги, чинара большая-большая...

– Ну и прекрасно, если бывал! Вот у него и спросим правила «Жар-жар-ай».

– Ничего не выйдет, он не расскажет.

– Почему же?

– Да потому, что он все делает наоборот. Например, пошлет подальше своего односельчанина, который попросит огня или щепотку соли, а под настроение незнакомого путника, даже бродягу обогреет, накормит, да еще одарит по-царски...

Капар, до этого хранивший молчание, усмехнувшись, произнес:

– Мы его легко разговорим...

– Как? – оживились все.

– Сейчас мы поедем к нему...

– Похоже, ты надеешься на радушный прием?

– Нет, на это я не надеюсь, но уверен, что он выслушает нас. По рассказам, которые я слышал, этот человек свято придерживается житейских правил, а мы придем не со скандалом, а с миром, так что не прогонит. Ну а там, стоит только напомнить ему, что этот юноша еще малышом ночевал в его доме, и он сам все расскажет.

– А если это не тот старик?

– Тогда есть второй вариант...

– Какой?

– Ашыке говорит, что он все делает наоборот, я правильно понял?

– Да, так.

– Вот мы и заведем сначала разговор о свадьбе, а потом будем плести всякую чушь... Уверен, что он не выдержит и

начнет нас поучать, а нам тогда только останется все запоминать получше, с тем, чтобы потом сделать.

– А что, есть смысл, – улыбнулся Ашым.

– Ну, Ортак, – удивленно произнес Кубанычбек, глядя вполоборота на сидевшего за спиной Капара, – уже третий день из-за того, что в кармане нет ни гроша, ты даже глотка пива не выпил, откуда же, не пойму, у тебя умные мысли в голове появляются?

– Атандын башынан!

– Я так и знал, – ничуть не обидевшись, произнес Кубанычбек, – чтобы ты делал, если бы не голова моего покойного отца!

Все рассмеялись.

Друзья еще были в пути, а народная молва уже разнесла весть о предстоящей свадьбе в Беш-Кунгее.

– Говорят, один знатный джигит женится и собирается сыграть «Жар-жар-ай», – вели разговор люди на уборке урожая. – И даже сам аксакал Жакып из Бер-Булака возглавит группу женихов...

– Вас приглашали?

– Нет, мы вообще-то не общаемся, но ради такого случая, думаю, не зазорно будет сходить на свадьбу и без приглашения. Ведь не прогонят же...

– А я слышал, что этот джигит привезет из города тысячу своих знакомых акынов и всяких там артистов.

– Нет, он их нанял!

– Кто знает... Все может быть. Если сам аксакал Жакып согласился возглавить женихов, тут уж ничему не надо удивляться...

– А где же они разместят столько гостей?

– Раз приглашают, то знают где.

– Может, помочь надо парню? Давно ведь не бывало в наших краях подобных свадеб...

Примерно такие разговоры распространялись среди гор и долин, изумляя людей как размахом, так и богатством

предстоящей свадьбы, хотя толком никто не знал, кто будет жених, а кто невеста... Самым заманчивым было то, что джигитов жениха возглавит аксакал Жакып, главный хранитель народных традиций.

Когда Алыкул закончил весьма посредственную игру на комузе, седобородый Жакып, оказавшийся тем самым стариком, у которого когда-то заночевали Оогонбай и Алыкул, недовольно проворчал:

– Какая досада!.. Никогда не прошу себе, что не смог уговорить твоего спутника оставить тебя здесь. Вай-вай-вай... Сейчас бы ты стал уже неплохим комузчи. Жаль, очень жаль... С тех пор утекло много воды, скажи, сынок, чему ты за это время сумел научиться?

– Да вообще-то ничему пока толком... – смущенно пожал плечами Алыкул.

– Он просто скромничает, Жакып-ава, – вступился Кубанычбек. – Он пишет стихи. В газетах публикуется. Хочет стать настоящим акыном.

– А-а... Это достойно... Ну что, друзья, не пора ли нам собираться в путь?

– Мы в вашем распоряжении, – ответили юноши дружно.

– Раз уж вы, джигиты, просите, не в моих правилах отказывать... Эй, старуха, подайка ремень бакаевский и тебетей семетеевский. Я им покажу, как по-настоящему надо женихаться!

Взглянув на вошедшую свою старуху, аксакал Жакып не смог удержаться от громкого смеха:

– Красивая ты моя! Не подобает верной спутнице хмурить брови, отправляя сокола на последнюю охоту... Наверное, на этом и закончится мое свободное парение в небе, и задернется черный занавес... Ну, улыбнись! Да подай мне и мой комуз, тот, старый, из урюка...

Около двадцати всадников во главе с самим Жакыпом-кары¹ на закате подъезжали к айлу Беш-Кунгей. Жакып-кары давал молодым последние наставления:

– Запомните, каждый из вас должен с самого начала метким словом, заразительным весельем растопить лед в сердцах жителей айла. Лучше всего песней, конечно. Только тогда нам позволят переступить порог дома. И в ваших словах, в ваших шутках не должно быть ничего оскорбительного, никакого даже намека на хамство. Хозяева, вполне возможно, сделают вид, что не заметили ничего предосудительного, но я то буду рядом и от меня пощады не ждите!

Сегодня женится Ашым, но на этом вечере по крайней мере половина из вас должна отыскать себе девушек по сердцу, добиться, чтобы девушки сами назвали себя вашими невестами, ясно?

– А если не сумеем?

– Тогда грош вам цена! Нечего тогда беречь души милых созданий, сидите дома и ешьте кашу, которую приготовит мать...

Заготовали джигиты.

– Жакып-ава, а как проходили свадьбы в ваше время?

– Э-э, наша молодость пролетела так быстро, что я и задуматься не успел, будто первый снег растаял... Бывало неделями не отдавали нам невесту, пока не насытятся все нашими песнями и весельем...

Когда они приблизились к окраине айла, Жакып-аксакал спешился. Остальные последовали его примеру.

– Дальше такой внушительной кучей на конях нельзя. Мы же не воины, мы приходим в аил с миром и святой целью, с низким поклоном... Пусть двое джигитов останутся стеречь коней, остальные – за мной. И если кто-нибудь нарушит условия, о которых я говорил, то берегитесь, – он поднял свой посох, – вот это видите?

– Видим! – хором ответили джигиты.

¹ Кары – уважительное древний старый.

– Так вот, первому же послушнику я воткну этот посох в одно место и буду крутить...

– Не беспокойтесь, – сквозь взрыв произнес мужчина, явно старший среди остальных джигитов, – мы не подведем вас.

– Сколько у нас комузов?

– Четыре.

– Ну, с четырьмя комузами при желании и умении можно завоевать не только этот аил, но и весь мир, любой народ. Все настройте инструменты, сейчас, чтобы там, на людях, не пилиндрить. Когда начнет петь тот, кто делает это средне, пусть подхватит тот, кто умеет это делать хорошо...

Кубанычбек подошел незаметно к Капару и тихо, чтобы не слышали другие, предложил:

– Послушай, Ортак, может быть, мы с тобой лучше останемся здесь коней сторожить?

– С чего это? – не понял Капар.

– Не дай бог что-нибудь сделаешь не так, я не сомневаюсь, что старик исполнит свою угрозу. А я буду чувствовать неловкость, что именно в моем аиле пострадает мой лучший друг...

– Ты лучше о себе подумай, – ответил Капар, – ведь если с гобой случится это в твоём аиле, тебя и под землей позор постигнет... А за меня не беспокойся, я буду только рисовать, а за свое дело я спокоен...

– Ладно, не обижайся, я буду поближе к тебе держаться, если что, прикрою тебя своей грудью... Пошли!

Джигиты во главе с Жакыпом-кары, плотно окружив Ашыма, подходили к дому отца Кукуш сквозь плотные ряды аильчан. Путь во двор дома им преградили две девушки-подростки, перетянув аркан, а две молодухи вышли вперед:

– Не торопитесь, добрые джигиты! – сказала звонкоголосая красавица в легком шелковом платье вишневого цвета и бешмете из синего бархата, еще более подчеркивавшего изгибы соблазнительной фигуры, нежную грудь.

Это Эркайым. Эрке – баловень. То есть, милая баловница. Это, как говорится, точный перевод. Но здесь она будет царицей любви.

Какой должна быть на свадьбе Царица любви?

Потрогайте языком эти слова: «Эркайым» и «Царица любви». Будто перемешаны острота и резкость красного перца с нежной патокой нектара, горьковатый запах хвойного меда и обжигающий глаз сполок солнечного тюльпана...

Царица любви. Она избирается в аиле невесты из молодых замужних или бывших замужем женщин, которым уже довелось переплыть взволнованное озеро свадебного обряда. Красота, музыкальность, певучесть, веселость, остроумие, молодость, – все это должно быть в Царице любви. Чтобы знать не знали, ведать не ведали, даже почувствовать не могли джигиты жениха, что ждет их в каждое последующее мгновение, чтобы неожиданность испытания рождало в джигите стремление поднять себя в глазах людей. Бывало, Царицу любви приглашали из других аилов, ибо именно они – Царица любви и глава джигитов жениха определяли высоту полета свадьбы, оставляли ее в памяти людской или не оставляли, какими бы яствами не потчевали.

– Не торопитесь, добрые молодцы, – сказала Царица любви. – Сначала представьтесь. Кто вы? С чем пришли? Может, где-нибудь скот потеряли, скажите, мы поможем в ваших поисках... Или вы соскучились по жарме тогда мы напоим вас... А то еще не дай бог, вы окажетесь конокрадами какими-нибудь, тогда совсем другое отношение будет к вам!

Певуче произнося одну за другой эти насмешливые фразы, Царица любви проходила в нескольких сантиметрах от юношей, и те почти не слышали ее, зачарованные проплывавшей мимо величавой молодой грудью... Словно предупреждала юношей Царица: «Берегитесь, джигиты, кто коснется меня хоть мимолетно, тотчас сгорит в огне любви...»

На какое-то время растерялись джигиты, не в силах оторвать взгляда от восхитительной фигуры, собраться с духом и мыслями, чтобы достойно ответить.

– Неужели среди таких красивых джигитов нет ни одного, кто мог бы вымолвить хоть слово? – озорно вспыхнув белозубой улыбкой, произнесла Царица.

– Как не найдется, а я? – Жакып-кары, бросив предупредительный взгляд на юношей и показав им посох, грянул седой бородой и подошел вплотную к молодой, но не касаясь ее...

И стар и млад, и молодухи и женихи после слов Жакып-кары взорвались громким хохотом.

– Видно, хоть и седа борода, но душа молодая у нашего Жакыпа, – громко сказал кто-то.

– Ты поговори с ним, он и тебя многому научит! – прокричал другой из толпы.

– Эй, Жакып, если ты возглавляешь женихов, значит, есть еще порох в пороховнице! Сколько же тебе стукнуло?

– Под стать невесте, – Царица любви, а жених назвал главным другом меня!

После этих слов Жакып-кары, все так же стоя возле молодухи, повернул голову к джигитам, обратился к ним:

– Ну что, друзья мои, нехорошо томить таких красавиц ожиданием. Откройтесь им, и лучше всего песнями!

– Правильно! – загудела толпа. – И мы ждем песен!

И мгновенно стих гул, когда один из джигитов Ашыма тронул струны комуза, а потом он запел...

«Любви царица! Я пришел с друзьями. Пришли мы с миром. Но врежде чем представлю я друзей, позволю признаться в похищении тобой и в знак того, что покорила ты сердца джигитов непокорных, прими глубокий наш поклон...»

Голос певца звучал негромко, в нем еще чувствовалось то волнение, которое джигиты пережили только что. Поэтому сразу после поклона запел Байсалбай, он пел звонче и уверенней, в словах, сочиняемых на ходу, присутствовавшие уже уловили нотки юмора:

«Любви царица! Мы испытали долгий путь не в поисках жармы, не в поисках коней. Торговцев племя есть, есть племя сплачей, певцов и воинов есть племя. Но, так же племя есть одно – границ оно не знает, объединяя мир. Да, мы из племени влюбленных, любви мы жаждем и к тебе пришли. Наш путь

пустыней пролегал. Мы жаждали и жаждем, но продолжали путь, поскольку среди нас один терпеть не в силах. Быть может, ты найдешь живительный глоток хотя бы для него?»

Загудела толпа, оживилась, как бы интуитивно почувствовав, что этих джигитов уже не собьешь, что они обретают уверенность и силу в себе.

– Вот это да!

– А я-то думал, что они навсегда проглотили языки при виде нашей Царицы!

– Вы не знаете из какого аила этот юноша?

– Говорят, из города...

Еще звучали последние аккорды комуза Байсалбая, а эстафету уже подхватил другой, обращаясь к двум девушкам преградившим путь:

«Нашему джигиту нет равных в силе, и только сердце ищет тот цветок, бутон которого откроет только он... Не здесь ли тот цветок счастливый?»

Не давая девушкам опомниться, откровенно стремясь хоть немного смутить их, продолжал Байсалбай:

«Красавицы! В пылу задумок новых испытаний для юношей вы забываете о том, что ваше время близко, что избранникам вашим настанет срок пройти все это, что выпадает нам... Подумайте о них! Поверьте, готовы мы на все, и если вдруг Ашыму цветок вы не позволите сорвать, то вся поляна станет нашей!»

– Маладес! – не выдержал кто-то из пожилых мужчин.

– Так их, джигит, так их!

– Девушки, пропустите их! Не ровен час, они исполнят свою угрозу, что тогда?

– А может, они только об этом и мечтают!

Толпа смеялась, толпа гудела, с удовольствием принимая участие в этом песенном натиске джигитов жениха, по достоинству оценивая поэтические и музыкальные способности пришедших, их психологическую наблюдательность, во многом способствующую мгновенному поиску слов и ритмики.

Под нажимом толпы девушки вынуждены были отступить и пропустить джигитов жениха. Жакып-кары ободряюще

подмигнул им и победно посмотрел на Царицу любви: первое испытание они выдержали достойно.

Женщины постарше подтрунивали над девушками:

– Эх вы, – укоряли они, – не выдержали песни двух парней! Что же вы будете делать, когда запоют остальные?

– Не волнуйтесь, женщины, – успокоил их Жакып-кары, – ничего страшного с ними не случится. В лучшем случае с ними произойдет то, что когда-то в первый раз произошло с вами, что происходит с каждой женщиной!

Каждая удачная шутка, каждая понравившаяся песня, – а голпа была главным ценителем и главным судьей – позволяла джигитам жениха шаг за шагом приближаться к дому невесты.

Но вот путь им преградила молодая высокая женщина со строгим красивым лицом, но в глазах у нее откровенно бесились чертенята:

– Джигиты, вы смутили девушек, мало что знающих в жизни. Как вы теперь запосте!

– Один из джигитов вышел на шаг вперед и, тронув струны комуза, улыбаясь пропел:

«Джене¹ прекрасная! И статью, и улыбкой ты словно Айчурек, и мы, как Семетей, одно лишь скажем: коль не имеешь ничего, так ничего не потеряешь, но можешь приобрести... Идем же с нами! Тогда сумеешь оценить все то, что мы умеем и имеем...»

– Я согласна! – засмеялась женщина. – Пожалуй, действительно мне будет с вами интересней!

– Такие юные, а шутки у них и поступки взрослых мужчин! – восхитился кто-то.

Милая келин² – повернулся к женщине Жакып-кары, – ты поступаешь правильно. Мои орлы не подведут ни в песне, ни в шутке, ни в том, на что имеют право только двое!

Когда хохот немного стих, одна из старух прошепелявила:

– Еще бы сомневаться в их способностях, когда наставником у них такой развратник, как Жакып!

¹ Джене – уважительное обращение к старшей женщине.

² Келин – уважительное обращение к младшей женщине.

Жакып-кары приподнял посох, прося тишины для достойного ответа, но вперед вышла пожилая женщина, загородив путь джигитам жениха, и сказала:

– А ну-ка, женщины, посмотрим, смогут ли юнцы и мимо меня пройти...

Она еще договаривала свои слова, а один из джигитов серьезно, не скрывая почтения, запел: «Мы вместе с памятью отцов впитали истину, и наши помыслы и песни мы матери несем, в них находя надежду на бессмертье...»

«Джигиты! И этой женщине поклон за то -- что мать!»

И юноши дружно изобразили земной поклон перед женщиной.

– Молодцы! – всплеснулась толпа. – Честное слово, молодцы!

– Вот это выдумки!

– Если душа не воспитана с детства, такое не придумать!

– Настоящие джигиты!

– Будьте счастливы, дети мои! – не выдержала и сама женщина. – Спасибо вам, что вы такие... Я с вами, я сама поведу вас!

Она даже прослезилась от такого уважительного отношения к ней, поскольку была уверена, что и на этот раз юноши постараются отделаться какой-нибудь шуткой. Теперь же, в знак благодарности, она встала впереди процессии джигитов жениха, прокладывая им дорогу, и никто не мог преградить им путь.

Но когда они уже почти подошли к дому отца Кукуш, их остановил сам Жакып.

– Джигиты! – громко воскликнул он, тем устанавливая тишину. – Слушайте меня! В честь самых древних предков, засеявших первые семена семьи этого дома, в честь отца, породившего такую девушку, как Кукуш, в честь матери, воспитавшей ее – низкий поклон!

И первым склонился в поклоне, и за ним склонились остальные джигиты.

– Премного благодарны!

– Дай бог вам счастья...

– Спасибо вам!

Поднимайтесь, вы соблюли обычай, воздав памяти предков, поднимайтесь...

Однако едва только начали выпрямляться джигиты, как на них посыпались серебряные монеты. Их бросала старшая женщина в белом элечеке, бабушка Кукуш. Так велит обычай, что именно бабушка должна бросать монеты, приговаривая:

Боже, будь милостив и щедр к птенцу, вставшему на два крыла, не обдели молодых любовью и счастьем, миром и согласием! Ак, ак, ак!

- Дай им впереди много скота, а позади много детей! Ак, ак, ак!

- Не умали белое в жизни, а достаток -- в еде! Ак, ак, ак!

Так приговаривала бабушка свои пожелания, и после каждого трижды повторяя: «Ак, ак, ак!», то есть, пусть каждое пожелание обязательно исполнится, сохранив свою внутреннюю чистоту и доброту... А монеты, падающие на землю, с визгом и хохотом собирают мальчишки и девчонки, юноши и девушки.

Старуха взяла новую горсть монет и теперь уже бросила их на окружавших людей:

Бог великий! Дай народу мир, дай народу счастье, дай народу уверенность в себе! И пусть эти двое в своем священном союзе будут всегда с народом! Ак, ак, ак!

И все -- стар и млад -- молитвенно провели ладонями по щипцу, в едином порыве выдохнув благословение:

Ооминь аллау акбар!

И на мгновение в наступившей тишине легко могло показаться любому из присутствующих, что эта свадебная предгорная долина и есть не только центр земли, но и вся Земля, вся Вселенная, и что не люди, а сама Вселенная громким единым выдохом благословила жизнь на счастливое бессмертие:

Ооминь аллау акбар!

Раздавались голоса организаторов свадьбы:

Бер-Булаковцы, прошу в эту юрту!

– Токолдошевцы, сюда прошу, отведайте то, чем богаты свадебные дасторхоны!

– Кок-Жарцы, располагайтесь в саду, пожалуйста!

Многочисленных прибывших гостей рассаживали так, чтобы гости из разных айлов могли вести непринужденные беседы, чтобы никто не мог почувствовать себя потерянным в этом праздничном многолюдии.

– Джигиты, следите, чтобы чаши у гостей не остались ненароком пустыми!

– Гости из Тогуз-Булака, следуйте вот за этим усатым джигитом. Он устроит всех, даже ваших коней!

– Джигиты жениха, для вас вот эта юрта, пожалуйста, заходите! Нет, нет, спасибо теперь уже можете не кланяться, вы славно себя показали!

– О, юный Жакып, пожалуйста, вы проходите первым!

– Биссимилла Рахман Раим! Я, Жакып-кары переступаю этот порог, чтобы отрезать путь злобе и жадности, горю и разлуке, войне и раздорам, хвори и смерти!

Неумолчный гомон стоял в этот вечер во дворе дома завфермой колхоза «Беш-Кунгей», который выдавал свою дочь замуж. Всем гостям подавались свадебные угощения, во всю старались специально назначенные юноши и девушки. Отовсюду слышались веселые шутки, и порой шутки раздавались в одной юрте, а поддерживали ее в другой, и тогда две-три юрты вдруг взрывались смехом одновременно.

Молодая женщина, назначенная на свадьбу Царицей любви, должна была обслуживать джигитов жениха.левой рукой кокетливо придерживая грудь, а правой подавая чашу кумыса жениху Ашиму, она сказала:

– Если вы не возражаете, я выскажу пожелание подруг невесты...

– Мы готовы выслушать вас, говорите! – раздался голоса вмиг заинтересовавшихся джигитов.

– Любую просьбу выполним!

– Только, чтобы не слишком...

– Да для них можно и слишком! Говорите!

– Подруги невесты не дают мне покоя. Они говорят, что знают Ашыма и других джигитов из нашего айла, но нам

совершенно не знакомы приезжие из города. Пусть они представлятся, а то когда начнется «Кыз оюн», трудно будет общаться...

Кто знает, чего здесь больше было, – обыкновенного кокетства или стремления заранее узнать возможности приезжих ребят, поскольку в «Кыз оюне» им придется не раз выяснять, кто лучше из них в танцах ли, песнях, шутках... Тем более, что у юношей сейчас не было выбора – соглашаться или нет.

«Пятеро холостяков» переглянулись и остановили молчаливый выбор на Байсалбае. Тот взял в руки комуз, настроил его, после едва уловимой паузы произнес:

– Предложение девушек вполне законное, и я готов представить моих друзей. Только вот не знаю, в какой форме это лучше сделать? Пожалуйста, предлагайте...

– Лучше будет представить их песней, – предложила Царица любви, предложила таким тоном, как будто говорила, мол это наше предложение, которое вы можете поддержать, а можете и отказаться, но только попробуйте отказаться...

– Хорошо бы с шутками! – воскликнул Тугельбай.

– Только шутками не увлекайся... – предупредил Кубанычбек, рассматривая свой кулак.

Байсалбай под внимательными взглядами присутствующих еще раз настроил комуз и, глядя на Кубанычбека, запел:

«Все мои друзья, которых вы видите здесь, на самом деле в два раза больше, чем они есть. У нас две возможности: быть либо опозоренными, либо понравиться вам. У каждого есть два желудка, а значит, по паре баранов каждый сумеет умять. У каждого есть два желанья: одно – великим стать, другое – прожить полегче, а потому два имени каждый из нас имеет. В общем, когда представлять буду своих друзей, каждое слово умножьте на два, и станет вам все понятно.

Лишь один из нас в аиле этом родился, здесь корни его, отсюда восходят мечты акыном стать лучшим... Он в возрасте том, когда пора уже думать о свадьбе такой же, какая готовится здесь. Но поэтому помощь людская нужна, неужели акынские крылья джигита опереться не смогут на воздух родной земли? Хоть и трудно помочь человеку, если в обед два барана съедает,

а на ужин бричку арбузов, если характер его не уступает его аппетиту... Буйство и озорство, неистовство и балагурство – смешалось все в нем! Царица любви! Стал ли понятен наш Жулкунбай-забияка, Кубанычбек сын Малика?»

– Конечно, понятен! – воскликнула Царица любви.

– Хорошо ты его представил, в оодарыше, пожалуй, только один Ашым с ним может потягаться! – произнес кто-то из айльских джигитов уважительно.

– Давай, продолжай! – закричали другие.

Те, кто был во дворе, заслушав песню и реакцию на нее, столпились вокруг, подняли кереге, чтобы лучше увидеть и услышать происходящее.

Байсалбай, настроив комуз на другой лад, вновь запел, теперь уже не сводя взгляда с Алыкула:

«В этом мире все приходит и уходит, а уходит со смертью, которая, если захочет, любого с собой заберет: уroda, красавца, сильного, слабого, юношу, мать, ребенка... И вот как-то смерть решила забрать Алыкула, сказала ему: «Пошли...» И быть может с испуга он попросил напоследок насвая ему принести... Смерть изумилась, с нахальством таким не встречалась, и чтобы доставить себе удовольствий побольше, решила она сходить за насваем в деревню. Пока же ходила она, тот нахаленок в Токмок убежал, и поскольку был сиротой, то русская женщина матерью стала ему. С тех пор скитается смерть по киргизским домам, пеших и конных пытая, не встречался ли им нахаленок, сумевший от смерти уйти? Даже как-то спросила об этом она самого Алыкула, но он ей по-русски ответил такое... Вот он здесь, тот нахаленок, перед вами сидит. Смотрите, учитесь! В этом мире приходит все и уходит, акын-асмайчи остается!»

– Во дает!

– Молодец!

– Да он настоящий артист!

– Хоть бы на секунду замешкался! Как будто все это он давно сочинил, а для нас только номер исполняет...

– Да не шумите вы, не перебивайте, пусть продолжает!

– Продолжай, дорогой, знакомь нас со следующим своим другом.

И вновь перенастроил комуз Байсалбай, и, дождавшись относительной тишины, запел о Тугельбае:

«Нелепая громадина наш Тугельбай, он во всем больше всех, от того мы прозвали его Колконбай: в мечтах и еде, в росте и силе, да и в дороге своей... Чтобы знать больше всех, он в Пишпек добрался из Гюпа пешком. На этой дороге, должно быть, и стал он тогда Колконбаем, поскольку как будто верблюдою на тропе все жевал, что ему попадалось. Сам я тоже с верблюдом сравнил бы его, только вот, говорят, что предки его часто седлали верблюдов...» Последние слова Байсалбая так понравились Капару, что он первым громко засмеялся. Но Байсалбай моментально перешел на характеристику Капара:

«И совсем на животных других ездит наш дорогой Капар – на лошадях длинноухих, в зарослях с ними нередко скрываясь... Если сам он поведать захочет о том где родился, то узнаете вы, что арбузы растут там, как камни в предгорных долинах, что там не бывает зимы, там обносят дома плотным высоким дувалом, чтобы случайный прохожий хозяйку увидеть не смог, а чтоб и сосед не увидел – сами еду готовят из лука, моркови и риса... В ревности нет им равных, жен своих прячут так рьяно, что иногда по полгода сами их лиц не видят! Песни слагать наш друг совсем не умеет, но долго и тонко музыку жизни в картинах своих создает, а потому среди нас он зовется занудой-Эзме»...

● Молодец!

За стихами в карман не лезет!

Наверное, этот Эзме-Капар южанин.

● А на что он намекал про лошадей длинноухих? Что, там очень высокие кусты?

● Теперь о себе расскажи, джигит!

Нет, нет, нет, дорогие хозяева! – вскочив, закричал Кубанычбек. Судя по вашим восторгам, вам понравилось, как нас представили. Почему же о пятом нашем друге вы хотите слышать только хорошее? Это нечестно! Тем более, что мы не из тех, кто остается в долгу даже у лучшего друга! Пусть и не так складно, но уж совместными усилиями постараемся достойно показать вам нашего товарища...

– Ты прав, Жулкунбай! – кто-то из айльчан запомнил кличку Кубанычбека и не преминул вставить ее, что было встречено всеобщим хохотом.

– Вот видите! – засмеялся и Кубанычбек.

– Да и вам нас интересно послушать.

– Только обязательно песней представьте его!

– Конечно, песней! Да они не скрывают, что их объединяют песни и аппетит!

Кубанычбек жестом попросил у Байсалбая комуз. Тот, передавая, сидевшему между ними Алыкулу, громко сказал:

– Куке, помни, что я о тебе поведал далеко не все...

– Не пугай! – засмеялся Кубанычбек. – Я-то, по крайней мере, в своем айле!

Алыкул уже собрался было передать комуз Кубанычбеку, но в это время Царица любви задержала его руку. Мгновенно в нем вспыхнула кровь от прикосновения женщины, чья красота и озорной взгляд приковывали взоры всех мужчин. Его рука вздрогнула.

– Я думаю, здесь никто не будет против, если о своем друге споете вы... – сказала она не без кокетства.

– Конечно! – сразу же поддержали ее несколько человек, – все равно мы услышим здесь всех!

– Простите, – негромко пробормотал растерявшийся Алыкул, – но я никогда не пел...

– Каждый из нас когда-то делает это впервые, – улыбнулась Царица любви. – Или я так вам не нравлюсь, что вы не хотите, чтобы я стала первой, при ком начнете петь?

– О, Царица!.. – волнение мешало Алыкулу выразить свои мысли. – Наоборот, вы так мне нравитесь, что я боюсь упасть слишком низко в ваших глазах, когда, не умея петь, вдруг запою и тем вас разочарую...

– Ничего, любой кыргыз до тех пор не умеет играть на комузе и петь, пока не возьмет комуз в руки и не запоет. Если для храбрости нужен насвай, то щепотка найдется...

– Давай, парень, взял комуз в руки – пой! Тебе от этого не будет хуже!

– Давай, не ломайся!

— Ведь все равно мы хотим услышать вас всех! Раньше начнешь, раньше закончишь...

Во взгляде Царицы любви было столько огня, столько озорства, что Алыкул, когда она убрала свою руку, даже начав играть, еще долго ощущал прикосновение... Вокруг все пригихли, поняв, что парень сейчас начнет петь.

«Во всем есть разница — и в скалах и деревьях, в животных, людях, похоронах, свадьбах. Имеет каждый то, что он имеет: одно — высоко, а другое — низко, одно — ветвисто, а другое — нет, одно играет силой, а другое — слабо, одно — талантливо, другое — немо... Любви царица! Вольна ты выбирать! Сейчас ты выбрала немого... И если с песней звонкой я не справлюсь, в том не вина моя — беда»...

— Ты смотри, что он сразу сочинил!

— К такому не подготовишься...

Да это же сам хозяин песни!

Он далеко видит, а, друзья!

— И комуз ему послушен...

Смелее, парень, молодец!

Алыкул, увлекшись стихами, отдал струны комуза своим пальцам, сердцем пыгась отыскать тропинку к Царице любви в лабиринте жизненных явлений, и кажется, нашел...

«Бывает плодоносным сад, другой лишь тень дает. Бывает конь как ветер, другой поклажу медленно несет... Любви Царица! Ты выбрала меня, хотя я среди тех, кто медленным сльвет. Я пламенному взору подчиняюсь! И если в пламени твоем сегодня я сгорю, быть может, после вспомнишь обо мне и чуточку однажды пожалеешь»...

Молодец!

Не бойся, такие как ты в огне любви не горят!

Если Царица любви сумела зажечь тебя, то погасить и погасить сумеет...

Эх, каждая свадьба была бы такой... Это же действительно праздник... На следующую свадьбу надо будет опять их пригласить!

Какие друзья у нашего Ашима! Повезло нашей Кукуш, что ни говорите...

– О люди... – прослезился какой-то старик. – Я думал, что затерялись песни моего народа. Но нет... Жива киргизская душа!

Пока люди взволнованно обсуждали песню Алыкула, к Царице любви подошел полуголый карапуз лет пяти-шести и громко сообщил:

– Джене, байке сказал, чтобы вы шли домой. Сказал, что три шкуры сдерет.

Захотела толпа. Кто-то посоветовал не шутить с мужем, оставшимся дома. Другой успокоил, ведь всем аилом выбрали Царицей...

Алыкул продолжал:

«Любви Царица! Невольно я услышал угрозы в адрес твой. Не смерти я страшусь, но будет жаль мне превратиться в пепел, когда и вспыхнуть не успев, виновным стал в том, чего не сделал: боюсь, что след камчи цветок прекрасный обожжет... Любви Царица! Я обрываю песню о тебе, едва ее начав... Прости... Ну что, друзья мои, вам друга представляю. Байсалбай. Он всем хорош – и статью, и лицом, умом, талантом. Он одного боится, что люди позабудут, как он когда-то пел, как он когда-то жил. Хотя ему ли этого бояться! Он про меня сказал, что я останусь в мире акыном-асмайчи. Не знаю, может быть. Но в том, что он останется, нет у меня сомнений. Ведь недостатка в женской ласке он не испытает, а потому еще не раз во многих детях повторится... Как и любой талант, обидчив он не в меру, а потому он среди нас зовется Телпекбаем-капризулей...» Когда Алыкул закончил, толпа буквально взорвалась. Скрипнул остов юрты, покачнулся тюндюк, – это стоявшие снаружи пытались заглянуть и разглядеть поющего.

И сказал один седобородый старец своему рядом стоящему ровеснику:

– Пожалуй, после Осмонкула мы здесь не слышали такого...

С ним согласился собеседник.

А песни и шутки продолжались, были они разнообразными и было их много. И лишь когда ущербный месяц достиг центра тюндюка, организаторы свадьбы решили начать «Кыз оюн», которого ждали буквально стар и млад.

Для этого все присутствующие на свадьбе вышли на зеленую лужайку за аилом. Главным заводилой со стороны жениха стал Жакып-кары, со стороны невесты, естественно, – Царица любви. Принесли белую кошму в полтора метра шириной и около шести метров длины, растелили ее по середине поляны. Многочисленные зрители столпились вокруг. Пацаны, не сумевшие протиснуться, чтобы им было видно, позалезали на деревья и расположились на ветках. И когда подруги в плотном кольце вывели невесту, с другого конца лужайки раздался дружный хор джигитов жениха:

«Девушки с лукавыми глазами, вот вам наша крепкая рука, чтобы вместе в этот день счастливый восхищаться мы могли невестой...». Едва только джигиты закончили петь, Царица любви махнула белым платочком, и запели девушки:

«Спешка не к лицу джигитам... Как же мы, не зная жениха, станем вам показывать невесту?»

Парни не заставили себя ждать с ответом:

«Ну что ж, представим... Ему немногим больше двадцати, и недостатков нет ни в красоте, ни в силе...»

Девушки шутливо-равнодушной песней спросили:

«Таких джигитов на земле немало... Скажите нам, в чем он силен, умен ли он? Об этом расскажите!»

Джигиты запальчиво ответили:

«Его зовут Ашым, достоин он похвал великих. Как барс он ловок, добр как летний дождь, что в знойный день всему живому дарит прохладу и живительную силу. Ему нет равных в силе, десять джигитов сразу в оодарыше осилит! Ну, а умен ли он – об этом сами судите по песням и шуткам нашим...»

Толпа-судья не дала продолжить айтыш между юношами и девушками, громкими криками одобрения присудив победу джигитам:

– Правильно!

– Мы все знаем Ашыма!

– Лучший джигит айла!

В этих краях нет ему равных соперников в оодарыше, это они правильно сказали.

– Э-э нет, дорогой, с этим я не могу согласиться. В оодарыше нет равного нашему Абдыракману!

– Ха, сравнил! Да ваш Абдыракман окажется на земле от одного дуновения ветра, когда наш Ашым проскачет мимо него на своем великолепном Гнедом!

– Погоди, погоди. Ты когда-нибудь видел нашего Абдыракмана?

– Нет, не видел, но я видел нашего Ашыма, а ему нет равных в оодарыше!

– Давай поспорим?

– Спорим!

– Эй, спорщики, уймитесь, дайте наслаждаться играми и песнями!

В это время Жакып-кары и Царица любви вышли на середину поляны. За ними сгрудились девушки невесты и джигиты жениха. Разделяла эти группы только полутораметровая полоса белой кошмы. Жакып-кары неторопливо объяснил и участникам, и зрителям правила игры «Кыз оюн».

Начинают жених и невеста. Они становятся по разные стороны кошмы и под игру комуза, пение и ритмичные хлопки ладонями зрителей, тянутся друг к другу. Упершись друг в друга лбами и ладонями, они должны, не отрывая ног от земли и не наступая на кошму, медленно поворачиваться. Сделав оборот, парень, если сумеет, может поцеловать девушку. По традиции, первый поцелуй совершается именно в этой игре.

Естественно, здесь преимущество у высокорослых и гибких парней и девушек, так что когда Жакып-кары все объяснил, низкорослые незаметно отошли во второй ряд, сохраняя надежду добиться своего в других играх.

Итак, начали жених и невеста, Ашым и Кукуш. Высокий, атлетически сложенный Ашым легко наклонился, коснувшись лбом Кукуш, взял ее ладони в свои и, не нарушая ритма, оба стали медленно поворачиваться. Будто соприкоснулись две птицы крыльями, зачаровывая друг друга, даря мелодию друг другу, открывая завершенную картину любви перед теми, кому посчастливилось увидеть это. Когда щека Кукуш оказалась рядом с губами Ашыма, тот осыпал ее несколькими поцелуями, а когда встретились их губы, они замерли над кошмой в долгом счастливом поцелуе, пока не взметнулся возглас толпы:

– У-у! – восторженно отметили поцелуй жениха его джигиты.

– У-у! – подхватили пацаны на ветвях деревьев.

– У-у! – подхватила толпа.

И этот одобрителный гул бесконечно долго летел к звездам, пока не коснулся их.

– Дай бог вам счастья! – говорили пожилые, не скрывая своего доброго отношения к молодоженам.

Старики не смущались своих слез, ибо не верили уже, что когда-нибудь сможет возродиться этот прекрасный добрый свадебный обычай, выливающийся в праздник песни, шуток, игр...

Когда отраженный от звезд одобрителный гул вернулся в аил, Ашым и Кукуш повторили танец поцелуя над кошмой, только теперь поворачиваясь в другую сторону. И вновь не оплошал Ашым, и вновь, с еще большим восторгом, над аилом взметнулся гул одобрения:

– У-у!

– У-у!

Ашым, убедившись, что Кукуш ровно стоит перед кошмой, выпрямился, затем опустил на правое колено так, чтобы не задеть кошму, прижал правую руку к сердцу, и, не сводя взора с возлюбленной, запел песню, подаренную ему Алыкулом еще днем, когда главным образом соревновались джигиты:

Мы росли под одинаковые песни
И в азарте игр не замечали
Смену дней, заботы и печали...
Напролет все дни мы проводили вместе.

Солнце улыбалось нам беспечно,
С гор текла прохладная вода.
На просторах этих никогда
Мы не сомневались в том, что вечны.

Миновало детства безрассудство.
В нас раскрылись вешние цветы.
Крылья будоражащей мечты

Приближали нас к святому чувству.

День пришел. Моя пора настала,
Свет отныне без тебя не мил.
Подари мне свой прекрасный мир,
Заживи на сердце моем раны!

Наша песня будет высока.
Дай мне руку! Вот моя рука!

Какое-то время после песни Ашыма стояла восхищенная тишина. Кукуш стояла, потупив взор. К Ашыму подошел Жакып-кары и негромко произнес:

– Я счастлив, что именно у тебя такая свадьба...

И его слова словно стали сигналом для собравшихся, словно разбудили, сбросив с них оцепенение очарования необычной песни, так гармонично вплетавшей в себя эту лунную ночь, этих раскрывшихся почти забытым праздником людей, выбравшей Царицу любви, даже рядом с невестой выделяющуюся красотой, ну и, конечно невесту, которую казалось, только одну освещал молочно-белый лунный свет. И всплеснулась тишина:

– Молодец, Ашым!

– Молодец!

– Такому джигиту не жалко и десятка поцелуев!

– Пусть кошки поцарапают губы той девушки, которая откажет в поцелуе подобному молодцу!

Веселый смех, довольные возгласы переполнили мир, объединяя людей, их настроения, характеры...

Ашым встал, бережно взял правую руку невесты, достал из нагрудного кармана золотое кольцо и надел его на палец Кукуш. А она вытащила из-за серебрянного браслета белый воздушно-легкий платок и протянула его жениху.

Такой вот обряд совершился над белой кошмой.

– Молодцы!

– Ваш союз вечен отныне!

– Да сбудутся все ваши желания.

– Да не будет у вас недостатка в детях!

– Оомийинь!

... Все это – лишь прелюдия к игре «Кыз оюн», часть, предназначенная жениху и невесте. Царица любви взяла под руки Ашыма и Кукуш, провела их по белой кошме к сиденьям, застеленным атласными одеялами. Посадив жениха и невесту по обе стороны от себя, она обратилась к собравшимся:

– То, что вы увидели как соединились уста жениха и невесты, означает, что сегодня, во время игры «Кыз оюн», поцелуи ни для кого не возбраняются. В первую очередь это касается вас, девушки! Если джигит выбрал кого-то из вас и песней заслужил поцелуя, не прячьте свои личики, не убивайте джигита отказом, ведь он же старался для вас! Долой сегодня стыдливость! А если кто-нибудь начнет сопротивляться, я сама помогу такому джигиту сделать все, что он захочет, даже если мне придется держать ваши руки или что-нибудь еще!

– Правильно!

– Так их, Царица!

– Джигиты, она не женщина, даже не Царица – она богиня любви!

– Надо сделать все для того, чтобы она была к нам благосклонна.

– И тогда у нас точно будет по невесте!

– Царица, обращаюсь к тебе, я готов стать вечным твоим рабом, если поможешь получить мне хоть один поцелуй моей несравненной девушки Зыйнат...

– Не спешите, джигиты, – кокетливо успокоила их Царица. Не зря ведь говорят, чтобы заслужить любовь красавицы, истинный джигит должен изрядно попотеть и побегать...

– Верно сказано!

– Да я готов добежать до конца земли, если там увижу красавицу Зыйнат...

Царица подняла руку, успокаивая все больше возбуждавшихся юношей, продолжила:

– Но вам совсем не обязательно так далеко бегать. Достаточно одной песни. Только эта песня должна быть такой, что услышав ее, ни одна красавица не устояла бы, чтобы сама решилась на решительный шаг. Вы согласны, джигиты?

– О-о! – завопили юноши, понимая практическую невозможность осуществления этой задачи...

В этот вечер в аиле до самого утра звучали веселые песни громкий смех, задорные шутки.

В этот вечер у каждого участника были свои задачи: одному хотелось просто наблюдать происходящее, другой стремился соблюсти все требования обычая, третий прикидывал, как лучше осуществить задуманное.

В этот вечер друзья Алыкула стремились заполучить какую-нибудь девушку. А сам он только впитывал праздник ибо дремали еще в нем те чувства, которые толкают юношей на геройские или безрассудные поступки. Он оценивал красоту и необыкновенность происходящего.

«Каким же открытым душою народом надо быть, – размышлял он, – чтобы вот так вот всем, старым и молодым принять эту игру – и как самую серьезную действительность. А ведь если вдуматься, все это самый настоящий театр оставленный в наследство нашими предками. Только в отличие от других театров количество зрителей и исполнителей не ограничивается. Сцена и зал – вся земля киргизская, декорации – бессмертный Ала-Тоо... Выходит, «Жар-жар-ай» и «Кыз оюн» – бесценное наследие, оставленное предками... Так отчего же оно вымирает, это наследие, здесь, в селе? А ведь еще не дошли городские запреты сюда... Кому понадобилось запрещать их? Кто и чего хочет этим добиться? Разве они помеха идеологии. проведению в жизнь нашей партийной линии? Глупо искать в них религию, тем более – находить. Да и с каких пор киргизов надо отторгать от религии? Меньше всего места в нашей жизни занимает она, практически не выходя за рамки обычных жизненных устоев, соблюдать которые надо в любом обществе»...

Размышляя, Алыкул старался запомнить каждую деталь набравшего силу свадебного веселья, ибо Жакып-кары стар, а ведь и он уже подзабыл иные детали. Алыкулу стало обидно, что многое оказалось утерянным, ушедшим в песок времени...

А игры продолжались. Вот выходит юноша с комузом в руках. Даже если он не умеет играть – не беда, товарищу разрешается подыгрывать. Начинает петь. Каждый куплет, каждое удачное слово или выражение чувств сопровождаются одобрительными возгласами друзей. А если и девушки

начинают поддерживать свою подругу, значит, парень пришелся по нраву, он становится героем вечера, приковывает всеобщее внимание и девичьи взгляды, и кто-нибудь из признанных скромниц втайне мечтает, чтобы этот джигит бросил платок именно ей...

Джигит, либо растопив сердца присутствующих своей хорошей песней, либо уморив удачными шутками или умелым подражанием голосам птиц и зверей, либо сыграв одно из известных кюу, завоевывает право бросить платок в ту девушку, которую хотел бы избрать своей партнершей в дальнейшей игре.

Одно дело, если она покорно выйдет. И совсем другое, когда ответит достойно. Тогда начинается айтыш, состязание в мастерстве и остроумии. Если в айтыше побеждает джигит, он завоевывает право на принародный поцелуй. Если победит девушка, то юношу ожидает наказание: бляеть козлом или кукарекать, либо что-нибудь еще, но обязательно приводящее толпу в безудержный хохот и град насмешек на неудачника.

Поэтому, джигит, готовящийся выбросить платок, если уверен в себе, то не торопится, обходит ряды девушек, выбирая себе наиболее понравившуюся, причем, обходит под непрерывную песню. Большая пауза или заметная ошибка по решению народа может лишить юношу права продолжать борьбу. Ну, а не совсем уверенные стремятся побыстрее приблизиться к девушкам и выбросить платок, а там – куда попадет... Женщины внимательно следят, чтобы девушка, на которую упал платок, не скрылась в толпе. Если же какая и пытается это сделать, то такую держат за руку, и юноша без борьбы целует ее.

Нелегко приходится стеснительным, еще не испытавшим стояний с джигитами в укрытиях ветвистых деревьев. Ее начинают уговаривать женщины, обступив плотным кольцом. И она в конце концов выходит в центр круга, и волна первой дрожи "прокатывается по ее телу, когда прикасаются руки джигита... После поцелуя она тысячу раз проклиная себя, что пришла на свадебное празднество, включилась в игру, она решает покончить с собой... Но и это сделать невозможно, потому что ее окружают женщины, прошедшие это. Они

где-нибудь в сторонке успокаивают, развлекают, показывают следующую пару, вышедшую в центр круга. Вскоре девушка забывает свое недавнее состояние, в глазах появляется блеск, свидетельствующий, что она не прочь еще раз повторить игру, взглядом ищет того, кому подарила свой первый поцелуй, задерживает долгий взор на нем...

Вот такую волшебную силу заметил Алыкул в недрах этой древней игры, дающей прекрасные поводы для знакомства, возможности узнать друг друга, проверить характеры, способности. Ко всему прочему, это же великий родник народного творчества, ибо складывающиеся и мгновенно меняющиеся ситуации не дают возможности воспользоваться чем-то заготовленным заранее.

... Вдруг к ужасу всех «пяти холостяков», Царица любви выбросила платок Капару. Пока он растерянно держал его в руках, остальные четверо переглянулись, хорошо понимая, что нет и речи, чтобы он спел что-нибудь или сыграл, достойное развернувшегося праздника.

– Вот чего я больше всего опасался... – пробормотал Байсалбай.

– Теперь опозоримся на всю округу, а то и в городе узнают... – обреченно вздохнул Тугельбай.

– Сейчас последует наказание, я возьму его на себя, – приготовился Алыкул.

– Нет, – возразил Кубанычбек, – что ни говорите, а это мой аил, уверен, земляки простят, если я буду выглядеть не совсем подобающим образом. На худой конец, помякаю...

И, сделав несколько шагов к центру круга, Кубанычбек обратился к Царице любви:

– Царица великая, просьба есть небольшая...

– Слушаю, – последовало насмешливое.

– Во-первых, этот молодой человек наш гость, во-вторых, его профессия, а значит и характер, даже в отдаленном родстве не состоят с красноречием. И если не будет особых возражений, я хотел бы принять на себя его наказание...

Но здесь, к удивлению не только четверых друзей, но и всех собравшихся, Капар громко выкрикнул:

– Эй, ортак, позволь-ка мне самому распорядиться собственной судьбой!

Загудела толпа:

– Правильно!

– Кто бы он ни был – он настоящий джигит!

А Капар, затянув протяжное «Эй-эй», направился к центру круга, потом прокашлялся и запел:

«О Царица любви! Ты решила, чтобы среди акынов сегодняшних и будущих, подлинных комузистов, моя звучала песня тоже. Перечить не посмею...

Толпа притихла. Даже девушки, которые обычно, склонив друг к другу головы, обсуждали шепотом того или иного джигита или советовались, как лучше вести себя, и те притихли. Ибо и голос, и мотив, и исполнение, и произношение отдельных слов песни, которую исполнял Капар, – все это совершенно отличалось от того, к чему за века привыкли здесь.

Песня была рожденной где-то на границе между Киргизией и Узбекистаном, неуловимо вобрав в себя особенности языка и ритмики двух народов. В ней было столько темперамента, что толпа затихла в естественном желании уловить оттенки его песни, ибо понимала, что вряд ли еще когда доведется услышать подобное. Как правило, каждый куплет прерывается возгласами удивления или восхищения, сейчас же, когда пел Капар, стояла необычная тишина, и в этой тишине слышен был только голос одного Капара:

«На этом свадебном пиру любви Царица нас, джигитов жениха, сполна хвалой ты одарила, в которой сладость, нежность, ласка, доброта и жгучий перец... И пусть другим достанутся слова, способные сердца любые растопить, я буду счастлив, если мне подарить только взгляд. Я был бы счастлив испытать любое наказание, когда б имел возможность хоть на миг к твоим губам коснуться... Джигитов здесь немало: посильней меня, ловчей, богаче красотой или деньгами. Пусть выберут они здесь девушек по нраву, пускай влюбляются и в страхе тех находят утешенье. И я свой выбор сделал. Тебя я выбираю, любви Царица! Тебе платок бросаю!»

О, что тут началось! Люди видеть не видывали, слышать не слыхивали о том, чтобы кто-то осмелился бросить платок самой

Царице любви, а потому и в правилах не было предусмотрено как вести себя в подобных ситуациях. Толпа завопила:

- Молодец, южанин!
- Ты настоящий джигит!
- Кулсун, подари ему поцелуй за смелость!
- Он достоин твоего поцелуя!
- Он заработал его честно.
- Подставляй, Кулсун, свое личико, пусть насладится!
- Да такому и губы подставить не грех...
- Если сама Царица любви не придерживается правил, тогда что говорить об остальных!

Толпа все-таки заставила выйти в центр круга, и все мгновенно замолчали, предчувствуя, что вряд ли Царица позволит себя одолеть, а значит, подвергнет этого храброго южанина такому испытанию, которое тот уже не осилит...

Все так и получилось. Царица любви встала по другую сторону белой кошмы всем своим видом показывая, что готова к поцелую, пусть только джигит дотянется...

Присутствующим стало жаль храбреца, осмелившегося бросить платок Царице любви. Конечно, он достойно показал себя, но сейчас низкорослого и коренастого южанина ждет неминуемое наказание, в лучшем случае, учитывая необычность ситуации, в несколько облегченном варианте. И толпа участливо завопила:

- Это несправедливо!
- Царица, жалости нет в тебе!
- Теперь-то он точно пропал...
- Эх, ему бы пару ладоней роста прибавить!
- Оказывается, и бог бывает несправедливым, столькими талантами одарил, а ростом обидел...
- Парень, будь внимательным, наступишь на кошму – и тогда ничто не спасет тебя от наказания...

Царица любви стояла у края кошмы, уверенная в себе, уверенная в том, что этому нахальному джигиту никогда не справиться со столь непосильной задачей – выше-то головы не прыгнешь. Даже когда Капар потянулся к ней, с ее лица не сходила ослепительно-соблазнительная улыбка.

Но тут произошло то, чего никто не ожидал. Наклонившись, Капар подпрыгнул, дотянулся до Царицы любви, схватил за руку и, потянув на себя, опрокинул на кошму, мгновенно прильнув к ее губам в поцелуе.

Люди покатались со смеху. Корчились, не в силах вымолвить хоть какое-нибудь слово. Несколько пацанов попадали с деревьев. Хохотали до слез беззубые старухи, забывая прикрыть рот морщинистыми ладошками. Мужчины держались за животы, опасаясь судорог. Хохотала сама Царица любви, поправляя косынку и спрашивая у подруг, сумел ли этот джигит прикоснуться к ней или нет...

Наконец, первые возгласы раздались:

– Ты смотри, саму Царицу поцеловал!

– А что ему оставалось делать? Молодец!

– Ай да джигит! Жаль, нет у меня подходящей дочки, сейчас бы отдал ему...

К Капару подошел Жакып-кары, поцеловал его в лоб, проговорил благодарно:

– Спасибо, сынок, ты так высоко поднял наш сегодняшний праздник, что люди будут слагать о нем легенды!

Очевидцы того вечера и сегодня вспоминают тот случай, словно колыбельную песню, словно волшебную сказку. Никто не остался, и ничто не осталось тогда равнодушным или безучастным. Хохотали люди, смеялись животные, улыбались камни. Луна долго не покидала небо над аилом, включившись во всеобщее веселье... Не верите, спросите у аксакалов Кой-Гаша, они вам скажут, что солнце тогда взошло на три часа позже своего времени из-за того, что луна заслушалась праздником.

Песня, в небо высокое звонко взлетай,

Человека бессмертьем своим окрылай!

Не погаснет пусть в детях наших и внуках

Свет влюбленной души – Жар-жар-ай! Жар-жар-ай!

Жар-жар-ай! Жар-жар-ай! Жар-жар-ай!

Таким был тот вечер.

Учеба в техникуме продвигалась вполне успешно. Вот только со здоровьем у Алыкула не все ладилось, оно ухудшалось с каждым днем. Тем не менее, Алыкул не позволял себе ни малейших поблажек ни в чем.

В один из осенних дней учебы на третьем курсе Алыкул вместе со всеми занимался военным делом во дворе педтехникума. Как и каждую субботу, участие в этом занятии принимали все курсы. Разделившись на группы, кто повторял маршировку, кто изучал способы передвижения ползком, кто на деревянных винтовках вел штыковой бой. Бывало, одна группа изображала нападающих, а другая занимала оборону.

Занятия увлекали, и нередко вспыхивали перепалки:

– Не двигаться, я застрелил тебя!

– Врешь, пуля мимо пролетела!

– Тогда получай!

– Держи сдачу!

– Эх, если бы настоящая война была, я давно на тебе ни одного живого места не оставил бы! Или насквозь прострелил бы.

– Да я бы тебя давно прикладом прикончил!

– Как?

– А вот так!

– Эй, ты куда?

– На разведку!

– Что же ты на разведку в свой тыл идешь?

– Так я думал, что враги оттуда наступать будут...

В общем, на таких занятиях обстановка была самая что ни на есть «военная». В тот день Алыкул скрестил свою винтовку с «противником», отрабатывая штыковой бой. Вдруг «противник» участливо спросил:

– Что с тобой?

– Что? – не понял Алыкул.

– Устал очень?

– Да нет, не очень, просто в правом боку закололо что-то...

– Ну-ка...

«Противник» все так же держа свою винтовку крест-накрест с винтовкой Алыкула, дотронулся свободной рукой до его лба.

– Э, да у тебя температура... Может быть, объявим перемирие, отдохнешь?

– Ни за что! – обиделся Алыкул. – Я прямой потомок батыров, которые первыми встречали врага, когда тот приходил на нашу землю. Лучше признайся, что струсил, тогда поднимай руки и говори, «Сдаюсь»!

– Это я-то сдаюсь?

– А кто же еще? Не я же...

– Ладно, пеняй на себя!

И они вновь продолжили штыковой «бой» по всем правилам, которым их учили в техникуме. А мужчина в полувоенной форме переходил от группы к группе, кого-то хвалил, кого-то поправлял, делал замечание.

В общем, двор был полон учащихся, которые внешне беспорядочно занимались учебно-тренировочными военными играми.

– Сдавайся! – громко произнес «противник», изготовившись к удару прикладом.

– И не подумаю! – ответил Алыкул

В это время раздался громкий голос, перекрывший даже неумолчный гвалт многочисленных учащихся.

– Сынки мои! – прокричал кто-то. – Есть ли среди вас мой байке, Алыкул, сын Осмона?

Алыкул полуобернулся и замер оцепенело. «Противник» же, надеясь, что партнер защитится, нанес удар... Медленно начали гаснуть голоса ребят:

– Есть! Есть!

– Он где-то там...

– Кто видел Алыкула?

Оогонбай шел по двору, ударяя камчой по полам своего залатанного чапана, громко возглашая:

– Эй, Алыкул, сын Осмона! Если у тебя осталась хоть капелька совести, тогда покажись мне, к тебе пришел твой аба Оогонбай!

Учащиеся настороженно наблюдали за Оогонбаем, не понимая, шутит он или нет. Но в поведении великана они не заметили и признака дурных намерений. И потому вновь начали звать:

– Алыкул, ты где?

– К тебе пришли!

Алыкул, открыв глаза, увидел склонившегося перед ним перепуганного «противника», попытался улыбнуться, но ничего из этого не вышло.

– Прости, Алыкул, я же думал, что ты защитишься... – виновато произнес он.

– Ты же не нарочно... Я сам виноват... – негромко проговорил Алыкул, чувствуя, с каким трудом ему даются слова.

– К тебе какой-то старик приехал, вон он ходит...

– Помоги мне встать, – попросил Алыкул товарища.

Словно в тумане увидел он Оогонбая, пошел к нему навстречу, сделал шаг, второй...

– Байке, это ты! – радостно воскликнул Оогонбай, наконец-то увидев Алыкула.

– Аба...

Не успел Оогонбай подхватить Алыкула, тот упал ничком на землю.

– О, боже! – с воплем Оогонбай поднял голову Алыкула, перевернул его на спину и громко зарыдал, тем самым еще больше удивляя наблюдавших за ними.

Всю дорогу сокрушался Оогонбай, без устали повторяя:

– Ты прости меня, байке, прости старого дурака... Если бы я знал, что ты в таком положении, то давно бы приехал к тебе. Ведь и меня убедили, что ты умер, а это была просто злая шутка судьбы. Но ничего, теперь-то все будет по-другому.

Серый ишак с превеликим трудом тянул старую скрипучую бричку по извилистой горной дороге.

«И брочка еле держится, и сам ишак постарел, и Оогонбай-аба тоже... – с грустью думал Алыкул. – Наверное, будет лучше немного разгрузить их»...

И Алыкул спрыгнул с брочки, пошел рядом.

– Зачем ты так, байке! Давай-ка, садись снова.

– Жалко бедняжку... Тяжело ведь ему. Хотя вот этот подъем пусть осилит, а я ноги разомну.

– Не говори глупостей, байке, давай, садись. – Остановив ишака, он озорно добавил: – Разве ты позабыл, что этот серый происходит от того знаменитого Тулпара?

– Конечно не забыл, Оогонбай-аба!

– Если не забыл, тогда садись. Для него эта брочка – раз плюнуть. А уж не сможет одолеть подъем, тогда лучше мне слезть. Какой в тебе вес? Так, одна щепотка...

Когда они поднялись на гребень подъема, перед ними раскинулись бесконечные ряды адыров. Чем дальше, тем серее выглядело все. Лишь дорога хорошо просматриваемой змеей тянулась вдоль ущелья. И ни одной живой души ни вблизи, ни у горизонта. И все сильнее мрачнел Алыкул.

– Ты не расстраивайся, байке, – успокаивал его Оогонбай, не без тревоги замечавший любые изменения в лице Алыкула. – Давай сначала доберемся до аила, а потом уж посмотрим, как будут складываться дела. Вот посмотришь, родная земля, по которой ходили твои предки, поможет тебе встать на ноги, поможет одолеть навалившийся на тебя недуг.

– Мне учебы жаль...

– Ничего, байке, учеба от тебя не убежит. Учителя же сказали, что в будущем году ты можешь снова вернуться. А я к этому времени так тебя отремонтирую, что нашему потомку Серого Тулпара и впрямь нелегко будет одолеть подъем. А не сможешь дальше учиться, так тоже не беда. Нам с тобой хватит и тех знаний, которыми ты уже овладел.

– Нет, не хватит, аба, – сказал Алыкул, невольно улыбнувшись. – Я только приступил к настоящей учебе.

– Да ну?

– Чесслово!

– А что в этой связке?

– Книги.

– Зачем тебе столько?

– Читать.

– Все айльчане с почтением относятся к нашему мулле, хотя он всего одну книгу прочел, да и то коран, да и тот не полностью, и не все понимает, что там написано. И ничего. Живет припеваючи, во всяком случае, не хуже других. А ты столько книг прочел и говоришь, что тебе мало, что ты боишься не смочь содержать своего Оогонбая-аба. Не бойся, байке, я еще подсобить в состоянии.

Они расхохотались.

Постепенно теплели взаимоотношения Оогонбая и Алыкула. А потому и дорога, и окружающие пейзажи веселели, во всяком случае, становились не такими мрачными.

Ближе к вечеру Оогонбай предложил:

– Давай, байке, здесь выберем место для ночлега, – он остановил ишака возле небольшой бурной речушки, сбегавшей с гор в долину, с крутыми берегами, и заросшим густым джержанаком. – Здесь обычно много всякой дичи, так что расставим силки, глядишь и ужин себе царский сообразим.

– Аба! Видите вон тот одинокий тополь, может быть, под ним остановимся?

– Нет, там нельзя, – серьезно сказал Оогонбай. – Этот тополь, говорят, посадил святой человек по имени Эшимкан. Этому тополю больше ста лет. Не любит Жыламыш, когда простые смертные топчут землю, по которой ходили святые.

– А кто такой Жыламыш?

– Да вот эта речушка так называется...

– А я-то считал, что мой аба стал сознательным человеком в новой жизни, – весело рассмеялся Алыкул, – а он, оказывается, по-прежнему молится огню, воде и ветру. Ну и пусть не любит, что она может с нами поделаться?

– Не надо, байке, подвергать сомнению то, во что люди верят веками. Святые пусть останутся святыми, и если новой жизни нужны другие святые, то они найдутся. А под тополем нам все равно будет неуютно.

– Почему?

– Эй, байке, что за дерево – тополь? Так, на день только. Помнишь, возле дома Абдылды один рос? Как-то буря была,

свалила его. Ходил я смотреть потом, а там – яма, где корни были. Яма в ширину большая – на ишаке полдня по краю надо ехать. А в глубину – чуть-чуть, сапоги торчат, если на дно поставить их. Потому что нет хороших корней, байке. И здесь посадил Эшимкан десятка полтора, да вот один только и остался, остальные ветер повалил... Видно, дерево такое, что соки лишь на поверхности берет. А потому ни на что и не годится – на комуз там, на камчу или еще что... Даже в костре тепла не дает. В общем, не пойдем туда, байке, ты извини уж...

– Да не будет ветра, аба, смотри, небо какое...

– Ты что, дочь Домо, что ли! Сейчас оно чистое, а через час грозой упадет на землю... Это горы, байке... И потом, здесь недобрые люди появились, называются басмачами, и в основном они промышляют по ночам, убивают и грабят ни в чем не повинных людей. С другой стороны, люди пришли, которые называют себя добротрядцами, те тоже не очень миролюбивые или вежливые. Так что не хочется встречать ни тех, ни других, давай остановимся здесь, все равно лучше места мы не найдем.

– Уговорили, – улыбнулся Алыкул.

Оогонбай распряг ишака, привязал его к жергану так, чтобы тот мог достать себе траву. Алыкулу же посоветовал размяться, пока он расставит силки.

Алыкул, не долго раздумывая, направился к тополю.

Ясная погода стояла в ущелье Жыламыш. Хорошо проглядывались крутобокие желтые склоны. Далеко-далеко, у самого горизонта, белоснежные горы поддерживали синее небо...

Тополь выился горделиво. Ему было чем гордиться: метров десять-пятнадцать в обхвате, метров сорок высотой, в то же время крона свисала так низко, что ее легко можно было рукой достать. В знойный день под его тенью легко бы укрылись, наверное, человек триста, не меньше... А на ветках, которые могла достать человеческая рука, были привязаны многочисленные разноцветные тряпочки, часть из них выцветшие.

Со стороны гор дохнул свежий ветерок, всколыхнув крону, и зашептались листья между собой. Алыкул почувствовал себя

неуютно, подумалось: «Поблизости нет ни одного дерева, а этот растет себе одиноко, и хоть бы что... Тут и в самом деле есть что-то загадочное, и наверняка не зря люди сочиняют про святого»...

На обратном пути Алыкул насобирав вязанку хвороста для костра. Оогонбай уже заканчивал складывать из камней очаг.

– Если в наши силки никто не попадется, так хоть чаю вскипятим, – сказал он Алыкулу. – Да и теплее будет сидеть возле нагретых костром камней.

– Тогда я еще насобираю хворосту, – Алыкул направился в сторону зарослей.

– Байке, ради бога, будь осторожнее, они такие колючие!

До сумерек Алыкул все таскал и таскал хворост, пока Оогонбай не сказал, что хватит.

– Мы же не конину собираемся варить, – пояснил он. – Садись рядом. Как стемнеет, пойдем силки проверять.

Алыкул присел у очага.

– Вот увидишь, байке, – сказал Оогонбай, зачерпывая ведром из речушки и ставя его на огонь, – я избавлю тебя от твоих недугов бульоном из дичи. Раньше люди всегда таким способом излечивались. Ну, а пока чайку попьем...

Когда вода закипела, Оогонбай насыпал туда заварку, положил несколько стебельков мятной травы, нарванной по дороге и называемой «кийик от», то есть, питание горных козлов, потом принялся ворошить узелок, вытаскивая оттуда провиант, захваченный из города в дорогу.

Когда Оогонбай соорудил из веток подобие постели, Алыкул вдруг тревожно произнес:

– Аба, что-то вон там шевелится...

– Где?

– На том берегу... Вот, еще шевельнулся.

– А ну-ка...

Пока старческие глаза Оогонбая привыкали к темноте, подозрительный силуэт притих, не издавая ни шороха.

– Может, это волки... – тихо произнес Алыкул. – Вон они – один, два, три... Да их там целая стая!

Оогонбай взял в руки головешку и двинулся навстречу тем, кого не видел, а пошел только затем, чтобы успокоить Алыкула.

Когда он подошел к берегу, стадо каких-то животных с шумом рвануло в заросли, и топот их копыт в ночной тишине казался ничуть не меньшим, чем топот коней на козлодрании во время больших пиров.

– Айт, айт, айт! – громко закричал Оогонбай, еще сильнее напугав животных. – Это элики, спускались на водопой, – пояснил он Алыкулу. – Штук тридцать, наверное.

– Нет, – возразил Алыкул, – раза в два больше. Эх, было бы ружье, можно было бы подстрелить парочку...

– Конечно, – улыбнулся Оогонбай, – только если, мечтать, так мечтай пошире...

– Не понял.

– А что тут понимать. Ведь у нас было бы два ружья, тогда могли бы подстрелить штук пять эликов. А вот был бы у нас «Тёё-комдот», то есть «Седлай верблюда», тогда могли бы взять и всю стаю.

– Это ружье Манаса, что ли?

– Нет, «Тёё-комдот» – это ловчий беркут. Когда его выпускали на охоту, он брал все от кеклика до кабана или волка, а называли его так, потому что, выезжая на охоту, надо было брать с собой верблюда, чтобы увезти потом добычу.

– Первый раз слышу об этом, – честно признался Алыкул.

– Так и быть, если не слышал, я расскажу тебе, – сказал Оогонбай, – только давай сначала подготовим место для ночлега. Ночь длинная, я расскажу тебе.

Взошла луна. В ущелье стало заметно светлее. Рассказ Оогонбая о мунушкере¹ увел Алыкула в далекий чудесный мир...

Давным-давно жил в наших краях самый большой знаток ловчих птиц Домо. Как-то взяв на воспитание птенца беркута, он дал ему имя Сарежи, и потом они охотились около тридцати лет, и за все это время не знал Домо неудачи.

А когда стал беркут подавать первые признаки старости, Домо отпустил его на волю.

¹ Мунушкер – человек, готовящий ловчих птиц для охоты.

Прошло четыре года. И вот однажды, Домо увидел над аилом четыре крохотные точки и воскликнул:

– Эй, ребята, бейте в барабаны, мой Сарежи привел своих птенцов. Бейте громче, он обязательно спустится!

И в самом деле, на удивление всем, когда забили в барабаны, на тундюк юрты Домо опустился сначала громадный беркут Сарежи, а за ним трое красавцев-птенцов.

Но я сначала расскажу тебе о дочери Домо, которая по части знаний превзошла своего отца и осталась в памяти народа как способная предсказывать судьбы людей.

Пришло время выдавать Домо свою единственную дочь, и так случилось – жизнь есть жизнь, – что он вынужден был отдать свою дочь за сына зажиточного человека. Муж ее совершенно не интересовался охотой, не отличался и удалью, да и жену свою за человека не считал. Больше всего он любил уезжать на недели и месяцы с торговцами в дальние края. Однажды он в очередной раз наказал жене присматривать за родителями, а сам уехал с караваном, и должен был вернуться не раньше чем через месяц.

Как-то в отсутствие мужа старик-свекр сказал ей:

– Доченька, посмотри, что там, собаки беспокоятся, может быть, сын возвращается...

Вышла она, но вскоре вернулась и сказала:

– Отец, сюда поднимаются трое всадников. По внешнему виду все – мунушкеры. Крайний слева очень доволен, второй огорчен, а третий опечален. Все трое не из наших мест.

– Ты о чем, доченька?

– Я говорю, сюда едут охотники-беркутчи, – уточнила она. – Один довольный, видно, его беркут взял барса или волка, второй огорченный, видно, его беркут вообще отказался вылетать, а третий опечален, видно, он выпустил беркута на лисицу, но та обхитрила его и он разбился...

Вскоре подъехали трое всадников, назвав себя божьими гостями. Хозяева приняли их радушно, пригласили в юрту, соседи начали разделывать барашка в их честь. Пока мясо готовилось, старик расспросил путников и выяснилось, что сноха все правильно рассказала. Удивлению старика не было

границ. А на следующий день, когда гости собрались уезжать, сноха отозвала старика в сторону и сказала:

– Отец, попросите продать вам того беркута, который отказался вылетать.

– Зачем же нам такая никудышняя птица? – удивился старик.

– Я попробую обучить его, может быть, ваш сын будет утешаться, когда ему будет скучно.

Чувствуя неудобство перед гостями, но еще большее перед снохой, старик спросил у путников, не могли бы они продать ему того беркута, который отказался вылетать.

– А зачем продавать? – удивился гость. – Я вам оставлю его так и пусть он будет моим скромным подарком за радушное гостеприимство. Берите.

– Нет, – не согласилась сноха, – мы не можем просто так взять этого бесценного беркута. – Самая низкая цена ему – табун лошадей.

– Что? – удивились и гости, и старик.

– Отдайте ему табун лошадей и оставьте беркута у нас.

– Вы что, решили оскорбить меня! – возмутился гость. – Я вам просто так отдаю его.

– Просто так не возьму, сынок, – тихо произнес старик.

Короче, старик уговорил-таки гостя забрать табун лошадей за беркута. И когда гости скрылись из виду, он спросил у снохи:

– Ну, доченька, объясни мне, пожалуйста, чем же этот никудышный беркут приглянулся тебе?

– Отец, его зовут «Тёё-комдот». Ловчее его беркутов не бывает. На самой первой охоте хозяин допустил оплошность: выпустил на кабана, а когда тот взял его, хозяин отрезал жал¹ и накормил им беркута, а жал покрывает гортань изнутри толстым слоем жира, потому птица не чувствует крови и не хочет охотиться. Надо снять этот налет.

– Что же надо сделать?

– Зарезать белую кобылицу. Я попробую кормить его кобыльим мясом, особенно внутренностями...

¹ Жал – загривок животного, где скапливается жир.

Что было сказано, то было сделано. Старик зарезал белую кобылицу, а сноха принялась скармливать беркуту казы и карга, то есть самые лакомые внутренности, которые подаются только почетным гостям...

Вскоре вернулся муж, но не обратил никакого внимания на беркута.

Как-то жена сказала мужу:

– Беркут проявляет беспокойство и пытается издать боевой клич. Завтра отправляйся на охоту, да людей себе возьми в помощники – три-четыре человека, да двух оседланных верблюдов, чтобы нагрузить на них добычу. Думаю, после третьей охоты беркут возместит затраты на него, а потом будет охотиться в твою пользу. Правда, у него есть недостаток.

– Какой?

– Он очень любит похвалу. Поэтому после каждой удачной охоты нужно увеличивать число охотников хотя бы на одного, они должны стать и хвалителями. Чем больше его хвалить, тем азартнее он становится. Но не дай бог, если он обнаружит, что людей стало меньше, чем накануне, тогда всем не сдобровать, может и на хозяина наброситься.

– Хорошо.

На следующий день муж отправился на охоту с пятью помощниками и беркут порадовал взятым горным козлом, маралом и волчицей. В следующий раз еще больше... Вскоре благодаря беркуту «Тёё-комдот» разбогател не только хозяин, но и весь аил. А то, что родня мужа носила одежды из самых дорогих мехов, никого уже не удивляло в округе.

Однажды задумался муж: «Баба просто так сболтнула, а я слушаю. Чем больше беру с собой помощников, тем меньше добычи остается самому. А беркут – мой, собственный. И с какой стати я должен кормить и одевать весь аил! Нет, надо уменьшить количество помощников и тем самым увеличить свою долю».

Что сказано, то сделано. В следующий раз он ушел на охоту с меньшим количеством помощников.

К вечеру жена вышла из дома и вдруг увидела беркута, сидящего на коновязи. Она спросила у старика:

– Отец, сколько помощников сын взял сегодня?

– Кажется, четверых. Всего пятеро отправились на охоту, – ответил старик, ничего не подозревая.

– Я же говорила, что этого делать нельзя, – заплакала женщина, – Отец, скорее отправляйте людей за охотниками. О горе мне, о бог, сделай так, чтобы не сбылись мои предположения!

Но джигиты вскоре отыскивали растерзанные трупы всех пятерых охотников... И тогда дочь Домо топором отрубила когти беркуту.

– Прощай, – сказала она ему, – голову тебе отрубать было бы несправедливо, – и, сняв кожанное кольцо, выпустила беркута на волю.

Чувствуя себя виноватой в смерти молодого мужа, она до конца дней своих больше не выходила замуж, утешала свое горе, ухаживая за ловчими птицами и даря их охотникам.

Долгая жизнь выпала ей. Чтобы искупить свой грех, дочь Домо предсказывала людям и народам, как отзовутся их поступки и намерения, оберегая тем самым людей от бед, народы – от войн. Пока она была жива – сама служила добру, когда не стало ее – служили добру и служат сегодня легенды о ней. И кто знает, остались бы мы на земле, не будь у нас дочери Домо...

Ночуя у речек, питаюсь, чем бог пошлет, Алыкул и Оогонбай лишь на четвертый день добрались до аила Каптал-Арык.

Поскольку Оогонбай отнюдь не был незаменимым мастером какого-нибудь дела или просто заметной фигурой в аиле, никто из аильчан не высказал никакого отношения при их появлении, словно с час назад ехали они в одну сторону, а сейчас едут по своим делам в другую... Хотя ведь Оогонбай всю дорогу твердил, что аильчане очень добрый, отзывчивый народ, что ничего в аиле не происходит незамеченным, что появление Алыкула для них будет настоящим праздником...

Минуя школу, возле которой мальчишки гоняли некое подобие мяча, кто-то все-таки окликнул их:

– Эй, Оогонбай, ну-ка погоди!

Когда повозка остановилась, к ним подошел мужчина примерно одного возраста с Оогонбаем.

– Ты где пропадал, целую неделю тебя не видно было? – спросил мужчина. – Салоом алейкум.

– Ва алейким салам! – вместе ответили Оогонбай и Алыкул, по очереди за руки здороваясь с мужчиной.

– Да вот, в Пишпек надо было съездить... – ответил Оогонбай, многозначительно посмотрев на Алыкула. – А там я немного задержался по делам.

– А этот парень откуда?

– Оттуда, из Пишпека. Сын моего покойного друга охотника Осмона.

– Чего, чего?

– Алыкул он, сын Осмона! – повторил Оогонбай, и в голосе у него зазвучали торжественные нотки.

– Неужели? – все никак не мог поверить мужчина.

– Точно, он самый.

– Дай руку, сынок, давай заново поздороваемся!

Алыкул спрыгнул с телеги и протянул обе руки.

– Вот ты каким стал, – сказал мужчина, откровенно радуясь. – Очень хорошо, что ты вернулся на родину своего отца. Все-таки не зря говорят в народе, что не бывает коня, который не скучал бы по своей летовке, и не бывает батыра, который не скучал бы по родной земле...

Мужчина говорил все это таким громким голосом, что на них обратили внимание остальные, и вот уже длинной цепочкой потянулись люди, до этого игравшие возле школы. И первые подошедшие, окружив телегу, поняв, о чем идет речь, тоже не скрывали своего восторга.

– Здорово, что этот малый все-таки нашелся!

– Э-э, народ правильно говорит: если будешь жив, то когда-нибудь обязательно напьешься из золотой чаши...

– Здравствуй, дорогой, позволь я обниму тебя.

– Когда я слушал твои стихи, то представлял тебя очень солидным человеком, а ты, оказывается, почти совсем еще ребенок.

– Ты где пропадал, сынок?

– Семей не обзавелся еще?

– А меня ты не узнаешь? Я ведь прихожусь тебе родственником по материнской линии...

– Откуда ему тебя помнить, если он тебя ни разу в жизни не видел!

– Ну, пусть меня он не узнает, но, может, он успел познакомиться с сыном Дадыбай, ведь и тот подался в город...

Разговор, начавшийся с Алыкула и охотника Осмона, теперь пошел по другому руслу, в основном ограничиваясь перечислением людей, по тем или иным причинам покинувшим Каптал-Арык.

– А ты просто молодец, Оке! – похвалил рыжебородый старец, похлопывая Оогонбая по плечу. – Святое дело – отыскать мальчишку. А что теперь собираешься делать?

– Как что? Сначала поедем домой...

– К тебе, что ли?

– Ну, а куда же еще? – искренне удивился Оогонбай.

– Нет, так не годится, – покачал головой старик. – Если ты поступишь так, то обидишь Марию. Сначала нужно отвести мальчика в ее дом, а потом уж поступай как знаешь. Нельзя нарушать обычаев предков, ведь она родная сестра Алыкула, их двое осталось из одного гнезда...

– По-моему, надо десятой дорогой обходить этот дом, – возразил кто-то. – Если они из одного гнезда, как ты говоришь, почему же она сама не отыскала младшего братишку?

– Зачем взваливать на женщину то, что она вынести не сможет, – произнес другой. – Что она может сделать против воли мужа, да еще такого, как Черик? По-моему – ничего. А что они сначала покажутся ей, а после этого домой к Оогонбаю поедут, – ничего страшного не произойдет.

– Верно говорит Маке. Пригласят в дом – входите, нет – и это не беда. Всем аилом, в складчину, как-нибудь сумеем отметить возвращение нашего соплеменника.

Оогонбай вопросительно посмотрел на мальчика. Тот пожал плечами, поступай, мол, как знаешь.

– Ну, ничего ведь не случится, если соблюсти обычай предков! – не унималась толпа.

– Если следовать обычаю, – веско произнес черноусый мужчина, – тогда нужно, чтобы кто-нибудь поскорее известил сестру о возвращении брата.

– Make, – предложил кто-то, – а что, если мальчишку посадить на коня?

– Это было бы здорово! Эй, кто-нибудь, подайте коня, да получше! И чтобы с десятков всадников было в сопровождении!

И проснулись, вспыхнули чувства Алыкула, заиграла кровь в нем, когда он почувствовал под собой коня, когда руки его коснулись белоснежной гривы.

Медленным и торжественным было шествие: впереди Алыкул на белом коне, по бокам десятков всадников, а сзади пешие люди... Из домов выходили старики, старухи, мужчины, женщины, дети, бросая свои дела, на ходу вникая в суть происходящего, а потому процессия обрастала с каждой минутой.

Возможно, четыре дня пути из города ослабили серого, а может быть с телегой неудобно было двигаться в толпе, но колонну замыкал Оогонбай на своей телеге, отставая все больше и больше. Да теперь никто уже и внимания не обращал на него.

Оогонбай догнал толпу возле дома Черика. Аильчане замерев, смотрели как на мосту, перекинутом через речушку, Мария, прижав голову Алыкула к своей груди, продолжала свой кошок, начавшийся с появлением брата.

Кошок – это плач-причитание, у него свой мотив, свои особенности. Есть три вида плача. Черный плач – это когда провожают в последний путь умершего. Белый плач – это когда мать провожает дочь в дом мужа. И есть белый и черный плач одновременно, ибо это плач по человеку, долгое время считавшемуся умершим, но который вдруг объявляется. Все три плача имеют одинаковый мотив, одинаковую ритмику, только слова в них разнятся.

Сейчас в словах Марии переплетались и горе и радость.

Когда с горы спускаюсь вниз,
Когда я поднимаюсь в гору –
В тебе я нахожу опору:
От матери одной мы родились.

Нет мне роднее в мире человека.
Живешь во мне как память о Тулпаре.
Живешь во мне как память о Шумкаре –
Источник моей радости и смеха.

Пустеет даже воздух без тебя.
Скажи, что значит утро без рассвета?
Скажи, вопрос что значит без ответа?
Скажи, очаг что значит без огня?

Каждый куплет все женщины завершали громким скорбно безысходным стоном, сжимая сердца старого и малого. В конце плача стон достиг такой щемящей силы, что от слез не могли удержаться и самые крепкие джигиты.

И когда Оогонбай услышал это протяжное «а-а-а», покрывшее весь аил, он не выдержал, воскликнул:

– О, мой бедный друг Осмон! Дошла ли до тебя весть о возвращении сына? Если дошла, ты не остался лежать спокойно в своей вечной спальне!

И с такой силой ударил по борту телеги, что толстая, в хорошую мужскую руку, палка сломалась, будто хворостинка. И зарыдало все население аила, очищая свои души от накопившейся боли: кто свое горе вспоминал, кто искренне жалел несложившуюся судьбу брата и сестры...

Были и такие, кто лишь показывал себя... Но большинство слез проливались искренне, даже у Черика, который, присев на корточки, прислонился к тополи у моста и закрыл шапкой лицо.

И этот плач-причитание Алыкул почувствовал столь же объемно-охватывающим, проникающим в душу, как тот, которым он вместе со всеми отозвался на смерть Ленина.

Не прошло даже часа, а двор Черика переполнился гостями. Недавний плач-причитание, очистив людей, уже почти растворился в воздухе, все чаще звучали шутки, раздавался смех. Неуловимо изменились походки женщин, готовивших угощение: от скованно-неприметных они превращались в естественно-соблазнительных. Джигиты, ради которых и произошло это превращение, рубили дрова, таскали тяжелые казаны и самовары.

Аксакалы собрались в большой гостевой комнате дома, в центре которой восседал хоть и юный, но сегодня почетный гость Алыкул. Старики исподтишка оценивали его по жестам, по разговору...

Пока варилось мясо, они одолели несколько самоваров чая. Кстати о мясе. К немалому удивлению айльчан Черик велел резать двух огромных валухов. Больше того, он послал людей в райцентр, и те привезли немало водки в двух чаначах¹ и целую бочку бузы. К себе он пригласил буквально всех отведать кушанье и выпить горячительного. Естественно, прибывших встречал он сам, так что одним из первых был навеселе.

Да, этот день был необыкновенным для жителей аила Каптал-Арык. Поэтому хотя многие уже давно наелись и напились, однако не спешили покидать двор Черика, никогда не отличавшегося особой гостеприимностью. Конечно же, щедрость эта не осталась не отмеченной и в многочисленных тостах.

Поистине на вершине блаженства чувствовал себя Оогонбай, хотя никто не приглашал его на почетное место, не уговаривал выпить не то что горячительного, но и чашки чая. Тем не менее он был очень доволен, доволен тем, что Алыкул сидел на самом почетном месте, что именно ради Алыкула собралось здесь почти все население аила, что седобородые аксакалы вели с ним беседы как с равным.

– А ты, оказывается, совсем хилый, сынок, – произнес рыжебородый старик, протягивая Алыкулу пиалу с бульоном. –

¹ Чанач - бурдюк

Но ничего, бараний бульон выгонит из твоего тела всякую хворь, так что скоро поправишься обязательно.

– Конечно, поправится! – поддержали его остальные.

– В городе он таких бульонов не найдет!

– Куда там! А на одной капусте откуда силы и здоровье возьмешь...

– Надо бы парня каждый день бараньим бульоном поить тогда будет толк.

– Что-нибудь придумаем, – пьяно выкрикнул Черик. – Ведь люди мы или не люди...

– Люди мы, люди, успокойся...

– Пока мясо подадут, может быть еще по одной пропустим, а? – предложил Черик.

– А что скажут аксакалы?

– В такой день, я думаю, – икнул Черик, – аксакалы очень-то не обидятся... Верно я говорю? – повысил он голос, оглядывая собравшихся.

– Да, да... Верно... – потупив взгляды, согласились аксакалы.

– А моему почетному гостю налили?

– Налить-то налили, да не пьет он...

– Как это отказывается?

– Говорит, что никогда не пробовал...

– Так налейте ему! – приказал Черик. – Все мы что-нибудь в первый раз пробуем, а сегодня как раз такой повод, что грех не попробовать. И мне налейте. Правда, я давно уже не башовался этим делом, как почки заболели, но сегодня, когда почти заново родился Алыкул, я даже яд выпью за его поздравление, за его здоровье. Ну, дорогой, за тебя!

Алыкул молча сидел не поднимая взгляда на людей.

– Сынок, – сказал один из аксакалов, – не обязательно пить, но раз Черик-жезде предлагает, надо хотя бы чокнуться с ним...

– Верно, – поддержал другой аксакал. – Ведь все, что сегодня делается в этом доме, Черик сделал в твою честь. Так что своим поступком ты обижаешь жезде. Он теперь вместо отца и только добра желает...

– Извините меня, жезде, пожалуйста, – умоляюще произнес Алыкул, – я очень вас уважаю, но выпить не могу...

– Хорошенькое уважение, – сказал, усмехнувшись, один из мужчин, – да я на твоём месте лучше умер бы, чем отказал такому человеку, как твой жезде!

– Возьми, сынок, – проговорил кто-то из стариков, – может быть, этот день станет днём твоего вступления во взрослую жизнь, хотя раньше такое посвящение по другому делалось... Да что поделаешь... – вздохнул старик, – новое время, новая жизнь...

Побагровевший Черик процедил сквозь зубы:

– Выпей, сынок, выпей, сколько можешь...

И люди, знавшие характер Черика, почувствовали приближение грозы, и старались предотвратить ее.

– Возьми пиалу. Не обязательно выпивать, достаточно пригубить только...

– Можешь потом отдать пиалу мне, и я осушу ее до дна в честь всех наших и ваших предков!

Но Алыкул никак не мог заставить себя даже притронуться к пиале. Услышав нарастающий шум в гостевой комнате и почуяв неладное, Мария спешила на помощь брату.

– Отец моих детей, – произнесла она как можно ласковее, обращаясь к Черику, – оставь Алыкула ради всего святого, если он не пил никогда, зачем же заставлять его?

– Чего тебе надо? – рыкнул Черик. Он так грозно посмотрел на жену, что не только она прикусила язык, но и остальные присутствующие притихли. – Чего ты лезешь в мужские разговоры? Или хочешь сказать, что этот, – он показал пальцем на Алыкула, – для тебя роднее, чем для меня! Я что, зла ему желаю? Я хочу, чтобы он по-человечески помянул своих родителей, которые дали ему жизнь, но если он не хочет, я сам сделаю это!

Черик залпом осушил пиалу и с такой силой швырнул ее на пол, что она разлетелась на мелкие кусочки.

Наверное, не обошлось бы и без драки, если бы Алыкул не взял пиалу с водкой и не поднес ее к своим губам.

Умолкли все, глядя на него.

Из глаз Алыкула текли слезы, они падали в пиалу с водкой, и он в гнетущей тишине судорожно глотал содержимое. Даже на вздох никто не решился, хотя каждый понимал

несправедливость происходящего и предчувствовал последствия этого.

Лишь до весны следующего года прожил Алькул в аиле Каптал-Арык, в аиле, где родился. Жил он, как и предполагалось, в доме Оогонбая, да и то практически не выходя во двор, не говоря уже о том, чтобы включиться в жизнь айльчан.

Не получилось у него сближения с ними. И нелюдность, замкнутость характера мешала, и трезвая оценка собственных возможностей. Размышляя о жизни и своем месте на земле, он ничего утешительного для себя не находил. Все: слишком слабое здоровье, первое прикосновение к волшебству поэзии, пусть пока не осознанно, но захватившее его, непрерывное стремление понять многообразие мира, и попытки выразить это многообразие словами, – все это вовлекло его в пучину растерянности.

Конечно, каждый проходит эту пору, кто задумываясь, кто нет, но мало у кого в этой поре столько шрамов на сердце насчитывается... Трудно найти себя, не зная, где находишься.

А тут и реальность не способствовала этим поискам, скорее мешала. Как, впрочем, и молва айльчан.

– Очень уж странным получился сын у Осмона, – говорили одни, – как не от мира сего. Обычаев не ведает, да и простых человеческих взаимоотношений, которые складываются каждый день...

– Откуда знать ему, если он и не жил-то среди нас...

– Э-э, человеческие законы повсюду одни, – говорили третьи, – просто вырос он без родительского глаза, в детдоме, где все одинаковы, как бараньи катыши, потому-то ему и нет дела ни до кого, только бы живот набить...

– Даже к тем не идет, кто от всей души зовет его в гости, чтобы просто мясным бульоном напоить.

– А я думаю, что это достоинство его, нежели недостаток. Человек осторожничает, зная, что болезнь его опасна для других...

– Как это?

– Чахотка у него, говорят.

– Да ну?

– Черик сам говорил, что позволил жить Алыкулу у Оогонбая только затем, чтобы своих детей не заразить...

– Неужели?

– Может, он и болтун, да сам Алыкул своим кашлем айлу спать не дает. А мне доводилось чахоточников слышать.

– Э-э, надо и нашим детям наказать, чтобы держались подальше от дома Оогонбая!

– Будь он проклят, Оогонбай! Кто просил его везти сюда этого чахоточника, эту заразу...

Подобные разговоры, естественно, еще больше отдаляли Алыкула от айльчан. Но он нашел себе других родственников: Гомера, Шота, Навои, Низами, Шекспира, Гете... Он учился у них, сам же пока не стремясь отдавать долги да и некому было.

А потому жил Алыкул пока что в мечтах лишь только, обращаясь на «ты» с самыми великими людьми мира. О, как он был благодарен судьбе, подарившей ему знание русского языка! Ведь именно с его помощью стал ему братом англичанин и грузин, немец и перс... И в этом обществе он не чувствовал себя одиноким или униженным.

Однако, именно одиночество Алыкула больше всего беспокоило Оогонбая, ведь без общения с людьми вряд ли какие лекарства помогут... А чтобы вылечить своего байке, Оогонбай делал не только все возможное, но и гораздо больше. Он не оставлял ни одной тропинки без своих силков. Как не было и такой травинки, которую бы он не достал, если кто-то говорил, что она помогает излечить чахотку.

Вообще, Оогонбай об этой болезни спрашивал каждого, и любой совет не оставлял без внимания. Даже как-то накормил мясом кабана, выдав его за телятину... И каково же было ему, пожилому человеку, от первого до сегодняшнего дня выросшему в неприятии свинины, кормить кабаньим мясом, своего самого любимого человека, есть самому, лишь бы только Алыкул не заподозрил этого кощунства...

Всякий раз Оогонбай был искренне уверен, что именно данное снадобье вылечит его байке окончательно. А поскольку

многие снадобья требовали денег, Оогонбай, не взирая на возраст, нанимался к любому айльчанину на любую работу – дров ли заготовить, воды натаскать, очаг новый сложить. Да мало ли в аиле работы, которую хозяин дома в силу разных причин не успевает сделать, а сделана она должна быть. Порой, даже просто за хороший совет работал Оогонбай, и, бывало, если замечали айльчане, что очень долго беседует с кем-то Оогонбай, то были уверены, что уж он отработал этот разговор...

Безграмотный, но знавший множество легенд и сказаний, бессемейный, но прикипевший к Алыкулу, он сделал для мальчика столько, сколько не всякий родной отец, бывает, делает...

Сподвижничество Оогонбая не могло не сказаться. У Алыкула заметно ослаб кашель, на щеках появился здоровый румянец. В серой тетради появились стихи уже не столь пессимистические, и они впоследствии войдут в сокровищницу алыкуловской поэзии: «Земля наша», «Утро», «Луч победы», «Ветер-ветер», «Вольная девушка», «Голос из тьмы», «Парень из обновленного времени» и другие, которые уже тогда имели абсолютное право придти к читателю книгой. И кто знает, возможно, поживи тогда Алыкул еще какое-то время у Оогонбая, то не было бы этой сегодняшней светлой боли, заставляющей сжиматься сердце в восхищении перед его короткой жизнью и стихами.

Но что сказано судьбой, то сделано жизнью.

... Каждый раз, когда Черик перебирал бузы или чего-нибудь другого в этом роде, он садился на коня, подъезжал к дому Оогонбая и во все горло орал, привлекая внимание айльчан. Если Черик был в достаточно добродушном состоянии, он орал примерно следующее:

– Алыкул, эй, Алыкул! Дорогой ты мой, выйди пожалуйста... – И когда Алыкул выходил из дома, он продолжал: – Ты же мне не чужой, ты мой самый близкий родственник. Ты ведь знаешь, что приходишься родным братом моей единственной жене?

– Конечно знаю, жезде.

– Тьфу! Ничего ты не знаешь. Потому что если бы знал, тогда бы не позорил меня перед всем айлом, переселившись в дом этого паршивца Оогонбая. Я бы понял тебя, будь я таким же голодранцем как и он, или мне трудно было бы прокормить всех вас. Но слава богу я живу в достатке. Не унесу же я это все в могилу, когда буду уходить туда, все останется вам, моим детям, родственникам, тебе. А ты взял и наплевал в душу человеку, и теперь всяк горазд в меня пальцем тыкать, мол, выгнал из дома единственного брата собственной жены. Скажи, разве я выгонял тебя?

– Нет, жезде, вы никогда не выгоняли меня из своего дома, я сам ушел.

– Раз так, тогда садись на этого коня, и я увезу тебя к себе домой. Зарежу лошадь и созову айльчан в честь твоего возвращения, как тогда... А этого паршивца Оогонбая напою водкой так, что она из ушей у него будет литься, гы-гы-гы... Если же он откажется, то буду сам вливать в него через нос или какую-нибудь другую дырку! Что ты на это скажешь, дорогой ты мой, садись, поехали?

– Никуда я не поеду, жезде, мне и здесь хорошо.

– Вот ты как! Значит, ты меня уже не уважаешь. А если ты меня не уважаешь, тогда зачем мне жить на свете? Лучше я подохну у порога дома этого паршивца Оогонбая. Я развожусь с твоей сетрой, я покидаю своих детей, я остаюсь с вами... Оке, дорогой, где ты? Милый Оке, прости меня, пожалуйста, если я тебя когда-нибудь и в чем-нибудь обидел. Я же свинья, а откуда свинье знать, так она хрюкает или не так. Ну, хочешь, я сейчас начну хрюкать? Если ты меня не поцелуешь, я сейчас умру вот в этой луже. Не веришь? На, смотри!

И Черик плюхался в лужу, или в снег, или в грязь, это зависело от погоды и количества выпитого, но не от Черика, и лежал там, пока его хрюканье не переходило в храп. Тогда Оогонбай и Алыкул грузили его, словно мешок, на коня и отвозили к дому.

Но чаще после обильных возлияний у Черика было куда более злобное настроение. Тогда он с камчой в зубах прискакивал к дому Оогонбая, крича еще издалека:

– Эй, ты, олух Оогонбай, выходи! И вытаскивай с собой этого обжору, который сранья сожрал своих родителей! В моем лице к вам явилась судьба! Сейчас я отправлю вас к предкам, а следом пошлю свою жену Марию за то, что она не успевает таскать вам жратву, которую я зарабатываю своим хребтом. Выходи, Оогонбай, мне с тобой поговорить надо!

– Слушай ты, пьяная свинья, – отвечает Оогонбай изнутри, – если тебе так хочется расправиться с нами, так слезай с коня и заходи в дом.

– Хитрый ты, – возражает Черик, в любом состоянии помня, что с Оогонбаем ему просто так не справиться. Пару месяцев назад он рискнул было, но Оогонбай так отстегал его камчой, что штаны сзади превратил в лохмотья... – Ты хочешь опять заманить меня и хлестать на потеху айльчанам? Да, ты еще силен, Оогонбай, но я все равно затопчу тебя копытами вот этого коня! Выводи сюда сироту, и я отправлю его к родителям!

Подобные сцены происходили все чаще, обстановка, что называется, накалялась. Алыкул чувствовал приближение беды: не Оогонбая, так Марию Черик мог изувечить. Беречь свое здоровье, рискуя жизнью сестры, он не мог и несмотря на уговоры Оогонбая, решил возвращаться в город.

Судьбу определяют тебя окружающие люди. Они окрашивают жизнь в два цвета – черный и белый. Когда белого цвета больше, тогда вспыхивает радуга. Когда их поровну, тогда небо невзрачно. Когда черного цвета больше, тогда наступает ночь.

Немало черного цвета люди привносили в жизнь Алыкула. Сейчас его принес Черик.

– Пусть будет трижды проклята эта свинья! – бормотал, провожая Алыкула, Оогонбай. – Годик бы еще пожил у меня, и навсегда позабыл бы о всяких там болезнях-молезнях. Э-эх, не все еще успел я сделать даже из того, что умею...

– Ничего, Оогонбай-аба, – успокаивал его Алыкул, – я уже здоров. А тут, сами видите, нельзя мне оставаться. Пусть хотя бы сестра будет счастлива.

В городе Алыкул большие надежды возлагал на друзей, рассчитывая и на материальную помощь. Но один уехал в Нарын, в районную газету работать, другой перебрался в Джалал-Абад, третий, четвертый... Квартира, в которой они жили, была сдана другим людям. В общем, ни друзей, ни знакомых, ни гроша в кармане. Ничего утешительного не услышал и в педтехникуме.

– Куда же я дену тебя, дорогой мой, – развел руками завуч, – в конце учебного года? Итак по двое на одной кровати спят. Приходи после двадцатого августа, к началу нового учебного года, там видно будет. А так...

Две ночи Алыкул провел на вокзале, а днем искаживал город вдоль и поперек в поисках работы. Но куда бы он не обращался, даже в те учреждения, на воротах которых висели объявления о наборе, везде, едва только смотрели на его изможденную фигуру, следовал отказ: либо уже взяли, либо не требуется...

Поняв, что причиной отказа является его внешний вид, Алыкул совсем приуныл. Видно, все добродетели только в сказках Оогонбая существуют, а в жизни они не торопятся прийти на помощь обездоленным...

На четвертое утро его разбудил милиционер с пышными усами, закрученными чуть ли не к ушам.

– Вставай, парень! – громогласно произнес он. – Четвертый день слежу за тобой, и каждый раз ты приходишь ночевать на вокзал. Мой тебе совет, иди туда, откуда пришел. Не буду спрашивать, откуда ты, может, с родителями поругался, но придется идти на мировую и возвращаться. Так-то вот. А иначе я буду вынужден сдать тебя в детскую колонию, понял? В общем, парень, от души советую, иди домой...

Окончательно расстроенный Алыкул брел по утренним улицам города, не видя для себя мало-мальски приемлемого выхода. И неожиданно он вспомнил! Жусуп Турусбек уулу! По крайней мере, хоть что-нибудь посоветует...

– Можно?

– А, это ты, проходи, садись на диван. – Он сложил бумаги, над которыми работал, в стопку, приветливо спросил: – Где же ты пропадал столько времени?

Алыкул шмыгнул носом, несколько раз всхлипнул, а потом и разревелся в полный голос. Жусуп сел на свое место и принялся вновь изучать лежавшие перед ним бумаги, только предупредил Алыкула:

– Лучше на диван садись и реви, сколько хочешь, а то тебя там дверью могут ударить.

Сев на диван и еще немного поплакав, Алыкул, чувствуя нелепость своего положения, мало помалу начал успокаиваться. И когда перешел на редкие всхлипывания, Жусуп спросил:

– Ну что, все?

Алыкул кивнул утвердительно. Тогда Жусуп встал, подошел к нему, сел рядом.

– Ну, рассказывай, что стряслось?

– Я... я... я...

Алыкул едва не заревел снова, но Жусуп резко оборвал:

– Это я уже слышал, дальше рассказывай. И давай раз и навсегда договоримся. Мы с тобой поэты, в жизни еще не раз придется попадать в переделки и обращаться друг к другу за помощью. Так что лучше нам сразу рассказывать друг другу самое главное и, конечно, без таких вступлений, которые ты только что продемонстрировал. Согласен?

Алыкул молча кивнул. Понемногу успокаиваясь, он поведал Жусупу о своих злоключениях, не скрыл и того, что вот уже два дня у него во рту не было ни крошки.

– Да-а, – протянул задумчиво Жусуп, – положение не из радостных. Но и не безнадежное. И ты с первых же шагов сник? А когда будет еще больнее, еще обиднее, тогда как поступишь? Может быть, тебе лучше забросить стихи, а заняться чем-нибудь другим? Будет и проще жить, и легче.

Алыкул отрицательно мотнул головой.

– Что ж, тебе хуже, – заключил Жусуп. – А скажи, что ты будешь делать, когда тебе придется, а тебе придется обязательно, защищать настоящую поэзию? Клыкастые тебя в два счета съедят.

– Вы, пожалуйста, сейчас мне помогите, а там не обидно будет, если и съедят.

– Как знаешь... Чем же мне помочь тебе? Насчет работы, например, у меня...

– Только вчера приняли человека на свободное место, – подсказал Алыкул.

– Да, а ты откуда знаешь? Уже разговаривал с кем-нибудь из наших до меня?

– Нет, мне беседовать не с кем. Просто, этот ответ я наизусть выучил за четыре дня поисков работы... Простите, байке, за беспокойство...

– Сядь!

Резкий окрик заставил Алыкула плюхнуться на диван.

– А я-то думал, что с тобой можно кашу варить... – довольно зло произнес Жусуп. Потом подошел к телефону, набрал номер. – Жоке? Не помешал? Загляни ко мне на несколько минут. Да, с одним человеком тебя познакомлю... Придешь – увидишь, давай...

Положив трубку, Жусуп сел на свое место и вновь уткнулся в бумаги. Вскоре двери распахнулись и вошел красивый молодой человек в эффектном черном костюме. Особенно выделялись красный галстук и огромная кудрявая шевелюра.

– Здравствуйте! – привстал Алыкул.

Вошедший поздоровался за руку сначала с Алыкулом, потом с Жусупом, спросил:

– Что за молодой человек?

– Это сын известного охотника из аила Каптал-Арык.

– Значит, ты решил завести знакомство с сыном в надежде, что отец когда-нибудь возьмет тебя на охоту?

– Ну да.

– А сейчас он что-нибудь привез из дичи?

– Он привез нам наши доли, а сам собирается покинуть этот бренный мир, – Жусуп вытащил из стола серую тетрадь со стихами Алыкула и бросил ее Жоомарту. – Вот, смотри.

– Такой молодой, а уже надоело жить?

– Это он так говорит.

– И это все, что он нам принес?

– Да. Отбери свою долю, а я заберу остальное.

Жоомарт, перелистав тетрадь и внимательно прочитав несколько строк, поднял голову, воскликнул:

– Так это ты – тот самый Алыкул? Тогда давай здороваться снова! Он взял обе руки Алыкула в свои, потряс их, потом присел рядышком на диван, усаживая при этом и Алыкула, проговорил:

– А мы три раза печатали твои стихи в нашей газете. Ты- то, хоть сам видел?

– Читал, спасибо, агай!

– Так что за проблема у тебя сейчас?

Жусуп коротко ввел в курс дела своего друга и закончил вопросом:

– А у тебя ничего для него нет, хоть какое-нибудь место?

– Ни щелки! Двое даже работают на гонораре в надежде, что штаты увеличат. Но хоть что-то для него мы придумать просто обязаны!

– Конечно, – согласился Жусуп. – И может быть мы с тобой останемся в истории именно как люди, которые помогли в трудную минуту будущему великому киргизскому поэту...

– Что касается истории, то я не прочь уже сейчас записаться туда, – произнес Жоомарт. – Но, вот что я придумал. Отдам-ка я этому поэту одну страницу «Ленинчил Жаша», конечно, если ты напишешь напутствие, а оплачу авансом, сейчас, чтобы парнишка дожил до выхода номера со своими стихами.

– Ай да старик Бокомбай! – воскликнул Жусуп. – И откуда он знал, что у его сына будут такие широкие жесты!

– Отца я не знаю, а что ты этим хочешь сказать?

– Ну, как же, Жоомарт – значит, щедрый. Откуда же он знал, называя тебя Жоомартом, что ты действительно будешь таким щедрым!

– Иди и спроси у него...

– А ведь и меня мой отец мог назвать Жоомартом, но не назвал же...

– Да как он мог назвать тебя Жоомартом, если он знал, что ты будешь таким скуповатым.

– Что верно, то верно, – смеясь, произнес Жусуп. – Я тут целый день ломал голову, как помочь парнишке, а ты за минуту все вопросы решил.

– Не все еще, Жусуке, не все, – сказал Жоомарт, обнимая друга за богатырские плечи, – просто учись, пока я жив! Тут, видишь ли, даже если мы по два раза отдадим ему полосы, это не решит его проблем. Нужно найти постоянную работу.

– А где ее найдешь?

– Позвони Алыке...

– Думаешь у него есть?

– Хорошо попросить – найдет!

Жусуп покрутил ручку аппарата, уважительно попросил:

– Алыке, у нас с Жоомартом большая просьба к вам. Да, он рядом со мной сидит. Алыке, помните, я как-то говорил вам, что один паренек подает надежды? Сын охотника Осмона. Да, конечно, печатался, и у меня, и в «Ленинчиле», в стенгазете педтехникума каждый раз, а там же, сами знаете, какой отбор... Надо бы устроить парня в нашей среде. Хоть кем-нибудь. Нет? Алыке, неужели вы откажете нам, вашим верным ученикам? К кому же обращаться, как не к вам? Вы наш ведомый, как опора служите нам... Биография отменная, почти как у вас – он сирота, в детдоме хорошо русский выучил. Нет, к сожалению не окончил, здоровье подвело. 90 рублей? Хватит, Алыке! Я думаю, для одного такой суммы достаточно. Хорошо, хорошо. Большое спасибо, Алыке! Да, он здесь, сейчас же отправлю его к вам. До свидания.

Положив трубку, Жусуп спросил у Алыкула:

– Надеюсь, ты знаешь, где редакция «Чабуул» находится?

– Это рядом с КИРААПом?

– Да. Найдешь там Аалы Токомбаева, обещал устроить тебя корректором. Учти, он не любит, когда перед ним размазня, если что-нибудь спросит – отвечай внятно и ясно. А теперь иди...

Но когда Алыкул уже подошел к двери и собрался было открутить ее, он снова его остановил:

– погоди! – взяв карандаш, он что-то быстро написал на чистом листе бумаги, спросил, протянув его Алыкулу: – сумеешь найти этот адрес?

Алыкул всмотрелся, слегка задумался, потом уверенно ответил:

– Конечно, сумею! Это в тех же местах?

— Да, вечером приходи. Об остальном дома и потолкуем. А генерь поспеши.

Видимо, в тот день судьба сжалилась над исследователями второй половины XX века, ибо не вспомни Алыкул в последнюю минуту отчаяния о Жусупе, вполне возможно, вернулся бы в свой Каптал-Арык, к своему Оогонбаю, там окреп бы и повторил путь знатока сказок, перебиваясь случайными заработками в домах айлычан.

Однако 28 апреля 1932 года судьба открыла Алыкулу новую страницу. И невольно ему вспомнилась одна из длинных ночей в Каптал-Арыке. Тогда Алыкул спросил у Оогонбая, что означает поговорка: «Кыдыр даарыйт» то есть, нечто вроде того, что «из семи людей хоть один может оказаться пророком»?

— Кыдыр – это примерно пророк, – ответил тогда Оогонбай, – личность невероятно щедрой души. Святой Кыдыр приходит к любому человеку в образе родственника, друга, знакомого или путника. Приходит три раза. И если человек не обидит его недостойным поведением, тогда он удостоит своим лишь мимолетным взглядом и дела у такого человека пойдут в гору, а здоровье на поправку.

— А как узнать, что это Кыдыр?

— Если он захочет, то сам даст знать о себе. К тому же, Кыдыр никогда не помышляет о зле, так что его не заметить трудно...

— Я только двоих знаю, которые никогда никому не причиняли зла. Только я не думаю, что они могут принимать облик Святого Кыдыра. Одного зовут Оогонбай-аба, второй Кыдыр – Это мама Груня... Может быть я видел Кыдыра и в третий раз. Это когда пьяный Черик-жезде приезжал и просил прощения... Разве не заметили вы, что он был неузнаваем в своих благих намерениях? Даже обещал озолотить нас обоих... Наверное, это был святой Кыдыр, а мы не узнали его, приняли за обычного Черика. Надо было пригласить его в дом, найти бузы, напоить и накормить его вдоволь, после чего упасть на

колени и попросить благословения на лучшую участь. И мы вместо этого погрузили его как мешок на коня, привязали и отправили домой...

– Не надо, байке, – не на шутку перепугался Оогонбай. – Не надо насмехаться над святыми понятиями. Кыдыр еще не смотрел на тебя.

– Ну когда же ему смотреть, как не сейчас!..

– Не спеши, байке, обязательно посмотрит. Дай бог, чтобы это случилось пораньше...

И вот теперь, когда ему помог Жусуп, когда Аалы устроил его к себе на работу, Алыкул, вспоминая тот давний разговор с Оогонбаем, задумался, кто же из этих троих добрых и щедрых людей явился к нему в образе Кыдыра – Жусуп, Жоомарт или Аалы? Ведь в поговорке сказано, что один из семи... «Четверо друзей мне желают добра, эти трое – тоже. И кто как не они помогли мне... Ведь я был совершенно обреченным человеком. Ведь я даже не мог допустить мысли, что когда-нибудь буду зарабатывать свой кусок хлеба своим трудом... Кто же из них Кыдыр?»?

А пока было хорошо, пока кусок хлеба ему был гарантирован работой, он решил подумать о черном дне, начать уже сейчас готовиться к нему. А пока откладывать рубли, оставляя себе только на минимальные расходы, без которых невозможно жить. С присущей ему жадной познания он принялся изучать труды Ленина – благо, русский язык он знал неплохо, а по русским книгам еще более совершенствовал его. Увлёкся постижением музыкального искусства, рисованием. И с каждым новым познанием, мир открывал ему все новые свои грани...

Его стихи регулярно печатаются в газетах, и это помимо всего прочего помогло со временем снова собраться «пяти холостякам».

Кубанычбек, например, два года проработал в Нарынской газете, как один из опытейших журналистов, был приглашен в столицу и назначен заместителем редактора газеты «Ленинчил Жаш», к Ж. Бокомбаеву. Естественно, не без участия самого Жоомарта.

В те годы любой творческий работник или партийно-хозяйственный деятель, сам достигнув определенного положения, всячески стремился поддержать тех, кто нуждался в помощи, в особенности молодежь, совершенно не думая, что те могут стать их будущими конкурентами.

Среди творческой интеллигенции в своем кругу несомненными лидерами были Турусбеков и Бокомбаев. Никто не обвинил, например, Жоомарта, когда тот устроил к себе литературным сотрудником Тугельбая Сыдыкбекова после его возвращения из Ашхабадского сельхозинститута...

И Капар вернулся в город, два года проработав в Джалал-Абаде, вернулся, чтобы добиться открытия первого художественного училища.

И Байсалбай вернулся, хотя в составе фольклорной бригады почти все время проводил в разъездах.

Чтобы вновь жить вместе, они отыскивали одну большую комнату в доме на улице Южной. Дом принадлежал Ахмеду Абзюю, добродушному мулле, и тот пустил к себе пятерых друзей за умеренную плату. Довольно часто они проводили вечера возле педтехникума на улице Батрацкой, где можно было познакомиться с девушками.

В то время педтехникум заслуженно считался центром культурной жизни города. Стихи, прочитанные на вечерах литературного кружка, затем передавались из уст в уста. А на спектакли, подготовленные учащимися техникума к праздникам, стремились попасть все горожане. И после спектакля люди не расходились, подолгу оставаясь с теми, кто пел и танцевал. Вальс, танго и фокстрот особенно пришлись по душе киргизской молодежи.

Впрочем, почему только киргизской? И русской тоже, и татарской. Ибо владели тогда киргизским языком все, владели в такой степени, что неграмотные любые беседы вели, а грамотные еще и читали, и писали к тому же...

Убеленные сединами академики, писатели, ученые и по сей день вспоминают с улыбкой:

– На таких вечерах, когда время подходило к танцам, даже те, кто весь вечер держался степенно, пускался в пляс...

Алыкул посещал педтехникумовские вечера не так часто, как его друзья, но регулярно участвовал в занятиях литературного кружка, проводимых раз в неделю. Слышал ли он или нет, как шушукались девушки за его спиной, мол, теленок еще, никакие чувства ему не ведомы, зато про любовь здорово пишет, об этом кто не знает. Но знают все, что тогда он был влюблен в поэзию. И не было для него более трепетного свидания, нежели с карандашом и чистым листом бумаги.

К 23 годам он уже стал автором трех стихотворных сборников, в литературных кругах немало говорилось о его литературных возможностях.

В один из последних дней декабря Жусуп пригласил к себе Кубанычбека и Тугельбая, и предложил:

– Ребята, а что если сообща встретить Новый год?

– Чудесно!

– Жоке только вчера вернулся из Москвы, ему есть что сказать молодежи. Попросим и его быть с нами. Обязательно найдите Алыкула, я хочу сказать несколько слов о его стихах. На вечере будут и критики, другие поэты, аксакалы, что на это скажете?

– Ура! скажем!

– Значит, завтра вечером...

Первый снег после бесконечно теплой осени пошел в утро 31 декабря. Температура была плюсовой, но снег падал крупными хлопьями, тут же тая на земле.

Пришедших на новогодний вечер в педтехникум Жусупа Турусбекова, Жоомарта Бокомбаева, Кубанычбека Маликова, Тугельбая Сыдыкбекова и Алыкула Осмонова у входа в педтехникум встретили девушки, в своих разноцветных платьях особенно эффектно смотревшихся на фоне белого снега, преподаватели и комсомольские активисты. Когда они вошли в зал, стоявший гул на мгновение затих, а потом обрушился водопадом аплодисментов.

Главной новинкой в этот вечер была новогодняя елка, разукрашенная разноцветными лампочками, бумажными

колечками, самодельными игрушками. С потолка на нитках свисали кусочки ваты, создавая иллюзию падающего снега, и эта иллюзия казалась реальностью, ибо на улице падал почти такой же крупный мягкий теплый снег...

Десятки любопытных глаз всматривались в почетных гостей, тем более, что это были одни из первых людей Киргизии, перешедшие на новое, ныне принятое написание фамилий... И гости с удовольствием рассматривали яркие праздничные одежды встречающих Новый год. Ничего особенного в тех костюмах не было, но сделанные из картона, ткани и других подручных материалов, соответствующе разукрашенные, словно настоящие смотрелись и царски сказочная корона, и борода Карабаса-Барабаса долгая, как половинка простыни.

И ни у кого не вызывало сомнения, что в зале находятся киргизы Манас, Семетей, Каныкей, Айчурек, узбеки Тахир и Зухра, туркмены Гариб и Шах-Сенем, русские царь Салтан, Баида и Поп, казах Кобланды, цыган Данко, ибо не только одежды соответствовали героям, но были и они сами подобраны по национальностям.

Учитель родной речи и литературы Нияз-агай, наряженный Дедом Морозом, ударил звонким посохом о пол и попросил тишины. Затем громогласно объявил, что на вечере присутствуют знаменитые сыны возрожденного киргизского народа, и начал представлять каждого. После каждой фамилии, каждого имени, раздавались такие аплодисменты, что постороннему трудно было разобраться, кто из них знаменит больше, а кто меньше.

– Друзья мои! – завершив представление, произнес Дед Мороз. – Поскольку в зале главным образом комсомольцы и молодежь, я хочу первое слово предоставить любимому поэту юности, поистине комсомольскому акыну Жусупу Турусбекову. Надеюсь, остальные гости не будут на меня в обиде...

Гул одобрения и аплодисменты, в которые включились и гости, свидетельствовали, что Дед Мороз не ошибся.

Одетый в черный костюм с тонкой, едва заметной светлой полоской, на лацкане которого поблескивал значок «КИМ»,

Жусуп вышел на помост рядом с елкой. В первую очередь он поздравил всех с наступающим Новым годом, пожелал всем счастья и успехов, потом рассказал о значении сегодняшней литературы, ее месте в строительстве социализма, а в конце назвал Алыкула Осмонова надеждой киргизской поэзии.

Он говорил, что Алыкул тоже учился в этом техникуме, однако болезнь помешала ему закончить учебу, что именно в стенгазете техникума увидели свет его первые стихи. Сейчас он работает корректором в журнале «Чабуул», продолжает писать стихи, выпустил три книги, что если он будет продолжать писать стихи, то наверняка киргизский народ будет иметь еще одного замечательного акына. А потом, к немалому удивлению Алыкула, Жусуп прочел несколько его стихотворений наизусть.

Да, нам сегодня это может показаться удивительным, но в те годы поэты не считали зазорным читать наизусть стихи своих собратьев по перу...

Об этом вечере, о том, как отозвался о его творчестве поэт Жусуп Турусбеков, сам Алыкул напишет через несколько лет, в 1947 году: «Мне было неловко, когда он говорил обо мне. И вот теперь, спустя много лет, когда его не стало, я понял, какой все-таки щедрой души это был человек... Как мне сейчас не хватает его».

А когда одна из девушек попросила прочесть что-нибудь из собственных сочинений, он и здесь не стал делать из этого проблему:

Помню, нашей весны были дни.
Бушевало в груди моей пламя!
И в порыве высокой любви
Я сорвал вдруг цветок на поляне...

Помнишь ту нашу звездную ночь?
С сожаленьем рассвет мы встречали.
Нет, никто нам не в силах помочь,
И два сердца остались в печали...

Помнишь, клятвы давали тогда,
Что неведомы будут разлуки,

Что светить будет вечно звезда –
Долгой жизни нашей порука.

Помним все. И так хочется знать,
Что когда-нибудь вспыхнет огонь,
Чтобы в детях и внуках опять
На земле расцвела любовь.

В тот вечер Жусуп Турусбеков впервые прочитал это стихотворение. Называется оно «Эсимде», то есть, «Помню». Потом замечательный певец и мелодист Атай Огонбаев сложит на эти слова мелодию, и песню будут петь старые и молодые, в детских садах, школах, на празднествах и пирах, в дни горести и радости, и песня будет отзываться в душе любого киргиза... На ее основе создадут фортепианную пьесу, симфонию, даже эстрадную интерпретацию в стиле рок...

Все это будет. А пока первое прочтение «Эсимде» автором вызвало громкие аплодисменты и глубокие вздохи.

Потом он читал другие свои стихи и когда Жоомарт почувствовал, что Жусуп собирается заканчивать свое выступление, он наклонился к Деду Морозу и шепнул ему на ухо:

– Теперь Алыкула объявите...

– Как, раньше вас?

– Так надо... – шепотом произнес Жоомарт. – Что должно случиться, пусть случится вовремя. Сейчас время Алыкула. Когда Тулпар готов летать пусть летит, иначе перестоявший скакун легко превратится в ездовую лошадь... Объявляйте!

Дед Мороз посоветался со Снегурочкой, и когда Жусуп Турусбеков закончил свое выступление, она сказала:

– Я властью Снегурочки повелеваю держать ответ молодому поэту Алыкулу Осмонову!

Люди заулыбались, начали аплодировать. Вместе с ними аплодировал и Алыкул, абсолютно уверенный, что аплодисменты предназначаются Жусупу Турусбекову. Он даже повернулся к Тугельбаю и показал ему оттопыренный большой палец.

– Выходи на помост! – крикнул Тугельбай.

– Что?

– На помост выходи! – повторил Тугельбай, показывая на место у елки. – Тебя же объявили!

В общих аплодисментах Алыкул так и не расслышал слов Тугельбая. Стоящие неподалеку парни и девушки добродушно рассмеялись, понимая сложившуюся ситуацию, еще громче захлопали. Тогда к Алыкулу подошел Кубанычбек и, вывел растерянного друга к елке, завел на помост, приказал:

– Стой здесь!

– Зачем? – не понял Алыкул.

– Выступить будешь.

– Сейчас Жоомарт-агай выступить должен...

– Смотрите какой скромный! – громко воскликнул Кубанычбек. – Мало ему похвалы Турусбекова, пусть и Бокомбаев похвалит. Если уж такой скромняга как Алыкул, хочет чтобы его как можно больше людей похвалили, то каково же было Манасу или Цезарю... Эй, ты, Асмайчи, запомни этот вечер! Все, восторгам конец! Теперь начнутся хулительные речи. Так что тебе дали последнее слово, чтобы ты хоть что-нибудь сказал в свое оправдание.

– Зачем?

Удивление Алыкула было столь неподдельно искренним, что зал вновь разразился хохотом. Всех заставил притихнуть мягкий, но властный голос Жоомарта Бокомбаева.

– Алыкул, – произнес он, – тебе дали слово, чтобы ты рассказал своим сверстникам откуда ты, как ты впервые примкнулся к поэзии, кто твой учителя... Успокойся и говори.

– В общем-то, ниоткуда я... – с трудом выдавил Алыкул, и зал снова расхохотался.

– Да, нет, – громче произнес Алыкул, и его собственный голос, похоже придал ему некоторую уверенность, – я имею в виду, что я родился в аиле Каптал-Арык... Недалеко от Каинды. – Постепенно голос его становился все громче, все увереннее. – Когда я был совсем-совсем маленьким, один добрый человек по имени Оогонбай отвез меня в Токмакский детский дом. Ехали мы в телеге, которую тащил осел. Четверо или пятеро суток добирались до Токмака. Стояла зима. Как сейчас помню, все было накрыто белым снегом. Довелось испытать в пути и пургу,

и ночь в заснеженных горах, и присутствие волков. Потом, когда я уже учился в детском доме, когда выучился немного складывать рифмованные строчки, мне захотелось передать то свое состояние... Но ничего не выходило. А вот когда уже учился здесь, в этом техникуме, вдруг получилось. Вот, послушайте:

Мунарыктап борошо уруп,
Кар тозонун уйпалайт.
Бирде жырткыч айбанча улуп,
Жаш балача кээде ыйлайт.
Бирде тамдын үстүн жапкан,
Саманды эски чачкылайт.
Жоолочудай тунгө калган,
Бирде эшикти каккылайт...

... Произошло странное превращение. Снег мягкими хлопьями круживший на улице, вихрем ворвался в зал, плача и швыкая, заставив присутствующих морозно поежиться... Кто-то даже пиджак запахнул поплотнее. Вместо зала открылась бесконечно-хмурая заснеженная долина с двумя затерявшимися человеческими фигурками на ней – мужчины и мальчика, которые в этом холодном зимнем мираже видят теплое море и птицу-синицу, девушку и солнечное утро... Голос Алыкула вводил за собой, манил раскрывающейся картиной. Когда он закончил читать, все хлопали так, словно хотели согреться после мороза.

— Я надеюсь, – переждав аплодисменты, пряча улыбку, произнес Алыкул, – что вы догадались, кто задолго до меня так прекрасно передал состояние человека, оказавшегося в подобной мне ситуации? Ну, конечно, Александр Сергеевич Пушкин! «Зимний вечер». Я просто перевел его стихотворение на киргизский язык.

Долго еще многих не покидало ощущение, что Алыкул слукавил, выдавая свое стихотворение за принадлежащее Пушкину. Впрочем, если это все-таки Пушкин, то написан он на киргизском языке, ибо ни на каком другом языке невозможны такие совершенные ритм и рифма!

Свои стихи Алыкул читать отказался: киргизская деликатность в то время не позволяла в присутствии учителей хвастаться своими достижениями.

А когда на помост поднялся Жоомарт Бокомбаев, стало ясно, что новогодний вечер только подходит к своей вершине, поскольку Жоомарт явно выделялся и фигурой, и красотой, а его теплый голос располагал к себе любого слушателя. К тому времени, его имя уже было окружено ореолом легендарности, а слава порой забегала далеко вперед него. Даже обычное новогоднее поздравление и пожелание успехов прозвучало так, что вызвало бурю восторгов.

Жоомарт прочел несколько своих стихотворений. А потом произошло и вовсе неожиданное. Начал Жоомарт:

Комуз нам дан, чтоб душу выражать.

Тулпар – чтоб к далям неизвестным устремляться.

Нам голос дан, чтобы поведать миру –

К народу моему пришла весна опять!

Когда же он сделал паузу, чтобы набрать в грудь воздух, вперед неожиданно вышел «царь Салтан» и запел продолжение стихотворения своим бархатным тенором. Неизвестно, знал ли Жоомарт, что его стихи уже переложены на музыку, как неизвестно, знали ли об этом и другие, но стихи знали все, а мелодия была столь народно-естественна, что песню подхватили «Данко», «Семетей», «Зухра», «Сенем», «Айчурек», «Бакай», даже «Манас» пел:

От белопенных высоких вершин,

От полноцветных веселых долин

Миру счастливому шлем свой привет,

Дружбе народов слагаем наш гимн!

Время свидетель, никто не готовился петь всем вместе эту песню, все получилось стихийно, а потому, когда закончилась песня, каждый свои аплодисменты предназначал соседу, а значит, все поздравляли друг друга...

Времени до начала Нового года оставалось еще достаточно, и теперь учащиеся начали свою праздничную программу. Под ансамбль из аккордеона, двух комузов, темир-комуза и

барабана были исполнены несколько песен, потом танцевали всё – от вальса до краковяка... А когда осталось около десяти минут до двенадцати, вновь поднялся посох Деда Мороза, требуя тишины, и когда она установилась, Снегурочка объявила:

– Дорогие гости! Уважаемые учителя! Милые друзья! Совсем немного времени осталось до того момента, когда на смену старому придет Новый год. А чтобы старый год лучше вам запомнился, мы приготовили для вас небольшой сюрприз. Итак, «Белый танец»! Для тех, кто не знаком с правилами, поясню: с началом музыки юноши остаются на местах, а девушки выбирают себе партнера будь-то наш учащийся, гость или учитель. Если же кто-то из юношей останется не выбранным, советую не расстраиваться, но сегодняшний вечер провести так, чтобы на следующий новогодний вечер одна из наших девушек обязательно вас выбрала! Для «Белого танца» звучит «Киргизский вальс», музыку которого написал узбекский мелодист Фаттах Назаров на слова известного нам и присутствующего здесь молодого поэта Алыкула Осмонова, а исполнит его... Исполнит учащаяся нашего техникума, которая попросила не называть ее имени, «Белый танец»!

С первыми аккордами вальса Жоомарта пригласила «Кармен», а Жусупа – «Айчурек».

– Мяу, мяу! – девушка в маске степной рыси подошла к Кубанычбеку. – Если вы не будете со мной танцевать, то я вам глаза выщарапаю!

– Молодец, дикая кошка! – похвалил девушку Тугельбай. – Попала точно. Он и в жизни не расстается с кошками, и собаками...

– Долго я буду ждать?

Тугельбай обернулся и увидел перед собой девушку в маске львицы. Тут уж расхохотался Алыкул, посоветовал девушке:

– Держите его крепче, а то он и удрать может...

– А вас можно пригласить?

Перед Алыкулом стояли две девушки одинакового роста. Обе в легких розовых платьях и белых туфлях. Волосы обеих были распущены на плечах, а лица закрывали обычные маскарадные маски – одна белая, а другая черная.

– Ну? – хором повторили девушки, протянув к нему руки.

От этого «ну», сказанного с таким озорным кокетством, Алыкул совершенно растерялся. Оказавшаяся рядом Снегурочка пришла к нему на помощь.

– Девушки, вы не можете танцевать обе одновременно, – сказала она с легкой укоризной, – ведь это вальс...

– Тогда пусть он сам выберет одну из нас!

– Это другое дело, – улыбнулась Снегурочка. – Вам повезло, молодой человек, выбирайте!

Алыкул совсем опешил... Он смотрел на белую маску. Перед ним стояла поистине сказочная пери, о которой он и мечтать не смел... Посмотрел на черную маску – та если и не превосходила в девичьих достоинствах свою подругу, то и не уступала ей.

Обе девушки одновременно улыбнулись, понимая, какую непростую задачу задали джигиту.

Больше всего Алыкул не любил черный цвет – ни в одежде, ни в природе... Тем большая загадка, почему он выбрал себе в партнерши девушку именно в черной маске...

И совсем потерял чувство реальности Алыкул, когда выяснилось, что черная маска является объявленной исполнительницей «Киргизского вальса». Голос ее не был традиционно тоненько-нежным, ближе, пожалуй, к мужскому, он словно проникал в душу, пленял ее, уводил за собой.

Алыкул кружился с ней в вальсе, и почти физически ощущал, как вплетается в танец и в вечер, в чудный голос паривший над залом:

Добрый ты мой человек,
Мой боз бала,
Слышу твой ласковый смех
Возле села.
Мой боз бала,
Ой, боз бала.
В юном весеннем саду
Я все ждала,
Что ты отыщешь тропу,
Мой боз бала.
Или не знаешь, зачем

Тебя я ждала?

Волнение мало по малу начало стихать в груди Алыкула, и вдруг как озарение пришла благодарность судьбе. Он уже совсем позабыл, что несколько месяцев назад Кубанычбек познакомил его с узбекским мелодистом Фаттахом Назаровым, что по его просьбе написал какое-то стихотворение. Сейчас он не думал, что это им написанные слова, ему казалось, что девушка своими словами выражает свое отношение к нему... И он молил бога, чтобы песня не кончалась, чтобы не спешил Новый год приходить на землю, чтобы все как можно дольше оставалось таким, как сейчас... Второй куплет подхватили другие девушки – «Зухра», «Кармен», «Айчурек», даже «Львица», словно каждая из них стремилась зажечь своего партнера...

Ах, ненаглядный ты мой,
Мой боз бала,
Мне, будто лодке одной,
Как без весла?
Ой, боз бала,
Ой, боз бала.
Слышал, как речка звала?
Струилась она меж камней.
Я возле речки ждала,
Молила: приди поскорей!

Алыкул пытался разглядеть лицо девушки, но в прорезях маски лишь блестели точки глаз, а остальная часть лица была скрыта столь искусно, что не было возможности оставить в памяти хоть какие-то черты, в то же время маска придавала ей особую красоту и таинственность.

Заканчивала девушка песню с улыбкой и едва заметным кокетством:

Что же не идешь ты,
Мой боз бала?
Как не поймешь,
Что я мила?
Ой, боз бала,
Мой боз бала.
Джигитов немало

Ходит за мной.
Но я все искала
Встречи с тобой.
Как будто не знаешь.
Кого я ждала...
Смотри, опоздаешь,
Мой боз бала!

Когда песня закончилась, гул одобрения и аплодисменты были сильнее, чем после выступления Жусупа Турусбекова и Жоомарта Бокомбаева вместе взятых.

– Молодец!

– Это не просто девушка, это огонь, в котором любой мужчина сгорит!

– А какая песня!

– Да, и музыка, и слова, и голос девушки словно созданы друг для друга!

– А кто-то смеет утверждать, что у киргизов не было танца!

– Пусть в Новом году чаще рождаются подобные вещи!

Всегда самый спокойный и уравновешенный Жусуп не сдержался, обнял целую, Алыкула, поздравляя еще с одной победой.

И вновь все услышали посох Деда Мороза, просящего тишины. Взоры устремились к настенным часам. Чуть больше минуты оставалось до Нового года. Биение сотен сердец, казалось, стало единым с ритмом секунд, и последние из них стали вслух считать все вместе, скандируя: 10, 9, 8, 7, 6...

Не отпуская руки своей партнерши, Алыкул тихо спросил:

– Имя?

– Скажу, когда придет время, – ответила маска.

– Когда я увижу ваше лицо?

– Когда настанет час встречи...

– Когда встретимся?

– Не знаю...

– Где я вас найду?

– Кто ищет, тот находит.

И в этот момент Дед Мороз громче всех закричал: «Ура»!

С Новым годом!

Раздались аплодисменты, самые добрые пожелания друг другу... Этого короткого мгновения девушке хватило, чтобы исчезнуть в толпе. Так и не нашел ее Алыкул в тот вечер, и ни танцы, ни песни, длившиеся до самого утра, не могли его успокоить или хотя бы отвлечь.

Будто лавина обрушилась.

Гора собирала снежинку к снежинке, накапливая их долгую зиму, чтобы потом, откликаясь на зов весны, сорваться, круша все преграды.

Никто не знает, когда приходит любовь. Она, видно, в мгновение открывает в человеке весну, она будит в человеке природу, распахивая сердце настежь. Спал человек до этого, росли – неважно, лавина неведомого чувства не оставляет в нем ни единой клетки нетронутой.

В тот новогодний вечер пришла к Алыкулу любовь. Но и здесь его судьба не отказала себе в удовольствии почесать левое ухо правой ногой.

Надежда на встречу с прекрасной незнакомкой каждый день шекла его к педтехникуму. От природы застенчивый, он решил на то, чтобы расспрашивать о ней у тех, кто учился в техникуме. Иные искренне отвечали, что не знают такую, другие и посмеяться были не прочь.

Как-то он обратился с вопросом о незнакомке к группе девушек. Одна из них отделилась от подруг и с нескрываемым озорством призналась:

– Я пела на том вечере, меня зовут Айдай, Лунная красавица, значит... И на что я могу надеяться?

– Не знаю, на что ты собираешься надеяться, а вот я готова принять любое предложение, – не менее кокетливо сказала, присоединяясь, другая девушка, – На том вечере и я пела, меня зовут Кундей, то есть, Солнечная красавица!

– Между прочим, – вмешалась третья, – на том вечере я тоже пела, меня зовут Жылдыздай, а звезда куда ближе к любви, чем драгоценности!

– Мне кажется, ты не права! – слукавила следующая. – Меня зовут Алтындай, и дороже золота нет ничего на свете!

– А меня Кумуш, серебро сейчас в моде...

– Меня Алма – яблоко вкуснее...

– Меня Жузум, так что виноград слаще...

– А меня Анар, а гранат будоражит кровь...

– Молодой человек, меня зовут Ашкабак, хоть я на тыкву не похожа, но со мной будешь всегда сытым...

Все рассмеялись.

...Девушки, почувствовав в Алыкуле застенчивость, не упустили случая подтрунивать над ним, поэтому вскоре он предпочел не входить в здание, а оставаться на улице, на противоположной ее стороне, провожая взглядом каждую входящую и выходящую фигуру... Снег такой теплый в новогоднюю ночь, теперь стал от мороза скрипучим. Алыкул согревался тем, что время от времени пританцовывал или совершал высокие прыжки, доставая ветви старой вербы.

Прошел день, другой, третий... Алыкул не терял надежды встретить пленившую его незнакомку. Прекратились издевки девушек. Если поначалу им нравилось пошутить над ним, то потом его упорство вызвало уважение, а когда морозы опустились за 25-и градусную отметку, он уже вызывал у многих сострадание.

На четвертый день Алыкул увидел, как из подъезда выбежала девушка в накинутом пальто, зажав воротник левой рукой. Она подошла к нему. Сердце его забилось учащенно. Девушка, опустив ритуал приветствия, сказала:

– Я не должна была выходить...

– Отчего же? – спросил улыбаясь Алыкул.

– На то есть свои причины.

– Скажите, если я хоть в чем-то провинился перед вами, то готов понести любое наказание...

Он хотел еще что-то сказать, но его охватила внезапная неловкость, он вдруг услышал себя со стороны и понял, какую чушь несет.

– Давайте для начала познакомимся... – предложила девушка.

– Давайте, меня зовут Алыкул.

– Ну, это мы знаем, – улыбнулась девушка. – А меня Жыпар.

– Очень красивое имя...

Ему вдруг почудилось, что эта та самая девушка, черная маска, с которой он танцевал, и ему захотелось рассказать ей обо всех тех чувствах, которые он испытал тогда, рядом с ней, и потом, когда мечтал увидеть ее, познакомиться... Однако желание, вспыхнув, тут же погасло. Алыкул совершенно не понимал, что с ним происходит. И тогда он решил про себя, что как только распрощается с девушкой, то больше сюда уже ни за что не придет. Видно, любовь и высокие чувства не для него... Ни одним жестом, взглядом или словом он не объяснил Жыпар, почему так упорно искал ее все эти дни.

– Замерзла я уже, – сказала Жыпар, поняв, что из Алыкула вряд ли что толком вытянешь. – Пойду. А вы ждёте Айдай... Ее зовут Айдай Жигиталиева.

– Откуда вы знаете, что я жду именно ее?

– С тех пор, как вы белой маске предпочли черную... Я была в белой... Мы с Айдай подруги, очень близкие, живем в одной комнате. Ее сейчас нет, уехала к родителям на неделю – мать заболела. Так что приходите через неделю...

Через два дня он снова встретил Жыпар. Она возвращалась из магазина с какими-то кулками. Переговаривались они через улицу:

– Стоите?

– Стою.

– Еще не приехала.

– Приедет же...

– Тогда ждите.

– Хорошо, буду ждать.

Через день между ними произошел точно такой же разговор. Только на этот раз, входя в техникум, Жыпар обернулась и неожиданно показала ему язык.

Сначала Алыкула позабавила эта выходка, но, задумавшись над ней, он будто увидел Жыпар там, на новогоднем вечере, и здесь, когда она вышла к нему и рассказала про Айдай... Неожиданно он почувствовал укор в ее взгляде. Словно она не могла простить ему и тот выбор на новогоднем вечере, и нынешние разговоры, словно она говорила ему, что теперь ни

его признание, ни стихи не откроют ее, даже возьми он в помощники самого Хазрети Аалы, воина любви, со всем его войском.

Миновала неделя упорного ожидания. В этот день он, как всегда, занял пост под вербой – там было теплее, чем на открытой площадке. На душе было тревожно. Последние два дня и Жыпар почему-то не показывалась.

Короткий день тянулся утомительно долго. Когда же белый снег украсил багрянец заката, Алыкул неожиданно обернулся, как будто его кто-то окликнул. Со стороны железной дороги шли две девушки одинакового роста, в одинаковых пальто, только платки разные – у одной красный, у другой желтый.

Девушка в красном платке сочувственно кивнула в сторону Алыкула и направилась к техникуму. Вторая направилась к нему. На ней было темно-синее бархатное платье с шалевым воротником, ладно облегающее фигуру. Желтый шерстяной платок, опущенный снежинками, особо подчеркивал ее темные блестящие глаза и смоляные брови. Припухловатые губы делали ее лицо добрым.

Все это успел разглядеть Алыкул, пока девушка приближалась, ибо она не шла, а медленно, невесомо плыла к нему. Он рванулся навстречу, но не послушались ноги, он упал ничком, попытался встать, но снова упал.

Замерло время, застыли звуки, впитывая в себя небо и землю, и все, что есть у них.

Судьбу определяют два цвета – черный и белый. Когда черного много, тогда наступает долгая ночь. Когда и черного и белого поровну, мир серым становится, невзрачным. Когда белого много, тогда расцветает радуга.

То ли девушка держала радугу в ладонях, то ли сама радуга осторожно несла ее к Алыкулу.

И она продолжала лететь – секунду, минуту, час, век... У Алыкула же никак не хватало сил взлететь, чтобы встретить свою мечту в свободном полете.

Айдай присела на корточки, взяла в ладони его лицо, прошептала:

– Бедный ты мой...

Не помнил Алыкул чутких прикосновений материнских ладоней, забылось тепло рук мамы Груни Савельевны. Он почувствовал беспредельную нежность и головокружительную беспомощность, хотел сказать что-то, но губы его онемели, и в этом онемении затерялись не только слова, но и улыбка, он ощутил собственную крохотность во вселенском водовороте чувств.

Легкий ветер тронул крону вербы, с ветвей посыпались снежинки. Они сыпались на влюбленных, звеня будто невесомые серебряные монеты:

– Ак, ак, ак!

Они сыпались минуту, час, день.

Целый век они опускались на влюбленных, отгораживая их белым полотном от мира суеты.

– Ак, ак, ак!



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Но знаю, что скажут друзья, как оценят мой путь.
Сам я стыжусь на след, что оставил, взглянуть:
До горечи мало я времени пользы принес!
Отчизне своей ли суждено долги мне вернуть...

А. Осмонов.

Эти стихи Алыкул напишет позже, когда почувствует время оценить сделанное. А пока ему казалось, что наконец-то раскрыли свои объятия одновременно богиня любви Зулайка и бог поэзии Джусуп, и бог веселья Асан. И стихи складывались будто бы сами собой, и с друзьями лад был и покой, а главное – он любил и был любим. Он видел перед собой свою несравненную Айдай, когда писал:

Па просторах Ала-Тоо мы мужали и росли,
Твои кони, Ала-Тоо, нас в грядущее несли.
Ты кормил нас и поил, свет любовью окрылил,
Древний край мой, Ала-Тоо, образ песенной весны!

Благодарность к миру, к горам и долинам, рекам и озерам переполняли его. Он видел красоту в обыденной работе маляра или доярки, тракториста или чабана, во всем находились поэтические зерна, и Алыкулу оставалось только складывать из них строчки, в которых невозможно было не разглядеть высоту его любви. Страницы газет и журналов пестрели стихотворениями Алыкула, имя охотника Осмона из небольшого аила Каптал-Арык благодаря поэтическому вдохновению сына, произносилось в самых отдаленных уголках республики с уважением.

Именно в тот год пять друзей, известных под названием «пять холостяков», заставили усомниться в неизменной верности восточной мудрости, гласящей, что головы двух баранов не могут вариться в одном котле. Из пятерых холостяков трое – Маликов, Осмонов и Сыдыкбеков мечтали стать поэтами. Это потом Сыдыкбеков станет мастером киргизской прозы, Маликов – акыном и драматургом, Осмонов – «чистым» как говорится, поэтом. Но и тогда, стремительно выдвигаясь в лидеры, они вместе с художником Капаром Литиевым и комузистом Байсалбаем Керимкуловым, сохраняли удивительную восторженность друг другом, радовались успеху другого как своему собственному...

Первым среди «пяти холостяков» выдвинулся на ответственную работу Кубанычбек Маликов, став начальником управления министерства культуры. Согласно должности ему была выделена двухкомнатная квартира, так что у великолепной пятерки наконец-то появилась своя, общая крыша над головой.

Известно, что и одной семье без ссор не обойтись, что уж говорить о совместно живущих пятерых, признанных талантливыми! В такие минуты настоящим громоотводом становилась щедрость души Кубанычбека Маликова. Подтверждение тому легко найти в дневниковых записях Алыкула.

«Все мы были одержимы страстью к писательству, бумага и карандаш являлись непременно атрибутами каждого из нас. В одной комнате безраздельно властвовал Капар со своими красками и мольбертом. Нам не позволялось задерживаться возле него ни на одну минуту, он раздражался, когда кто-то наблюдал за его работой, и мы старались не трогать этого темпераментного южанина. Большая комната служила нам и спальней, и залом, и рабочим кабинетом. Иногда мы писали сразу втроем и в это время стол оказывался чересчур маленьким, тесным, приходилось кого-нибудь буквально вытаскивать. Чаще всего вытаскивался хозяин квартиры, хотя физически он был сильнее нас всех... И не помню, чтобы Кубанычбек сердился или обижался...»

...Тугельбай чувствовал себя неважно. Больной, он полулежал на подушке на своей кровати. Возле окна примостился Капар с мольбертом, создавая ставший впоследствии знаменитым «Портрет друга». В углу комнаты, устроившись на табуретке, Байсалбай наигрывал на комузе какую-то грустную мелодию. Алыкул с Кубанычбеком работали за столом.

Тишина в квартире не нарушилась даже тогда, когда Байсалбай вдруг подошел к столу, молча взял один из исписанных Кубанычбеком листков бумаги. Все так же молча вернувшись к своей табуретке, провожаемый недоуменными взглядами друзей, он, глядя в листок, негромко запел, подыгрывая себе на комузе:

Голубем быстрым к солнцу бы взмыл,
Если б коснулась любовь моих крыл...
Неужто навечно к земле я прикован,
Поскольку любимой голубке не мил...

Тишина стояла до тех пор, пока не закончил петь Байсалбай. Но едва он зажал струны комуза ладонью, как тут же хихикнул Тугельбай. На него удивленно посмотрел Кубанычбек:

– Ты чего хихикаешь?

– Просто так... – Тугельбай сложил руки на животе и спокойно улегся на кровати.

– Нет, – не унимался Кубанычбек, распыляясь от предчувствия спора, – ты просто так не станешь ухмыляться! А ну-ка говори, что у тебя на уме?

– Да успокойтесь вы, – примирительно сказал Капар, – это же просто дежурная ухмылка всем известного Колконбая...

– Ты бы, Кубанычбек, отошел на пару шагов от города и огляделся, – веско произнес Тугельбай, уже не улыбаясь. – Там ты увидишь совершенно обновленную землю, обновленный народ и героический труд там увидишь. Не обижайся, дружок, если я смеюсь над вашими с Алыкулом стихами, в которых абсолютно ничего нет, кроме луны и вздыхающих влюбленных. Но погодите, найдется и на вас критик, который так вас

распишет, что не только я ухмыляться буду, но люди со смеху животы надорвут!

Алыкул оторвал взгляд от своего листа бумаги, посмотрел на Кубанычбека, произнес:

– Не обращай на него внимания, Куке, где Колконбаю понять истинный смысл ночи влюбленных, смысл дерева, чьи ветви скрывают два любящих сердца от любопытного взгляда посторонних, если сам он и понятия о любви не имеет... Он ведь и днем-то никогда не держал девушку за руку, не то чтобы ночью, при луне, при соловьиных песнях. Так что вперед, Куке, даешь стихи про любовь! Может, и Колконбаю сердце откроем...

– Валяйте, – махнул рукой Тугельбай. – Пишите свои стишки и поэмы, даже романы в стихах можете писать. Жаль только, что бумагу портите... Ведь все равно задолго до вас и лучше всех о любви сказал Шекспир, написав «Ромео и Джульетту». А у вас – так, фи... – он сложил пальцы в щепотку и дунул.

– И до Шекспира писали, и до Пушкина, – начал заводиться Алыкул, – и после них писали и писать будут, и неизвестно, кто лучше, а кто хуже напишет. Да и нет смысла оценивать, ведь она неповторима – любовь...

– А что любовь? – Тугельбай потянулся, громко зевнул, – любовь приходит и уходит...

– Интересно, когда же она к тебе придет? – хитро прищурился Кубанычбек.

– Только после вас, друзья мои, только после вас. Но, поверьте, я не стану тратить на нее высокие слова. Когда моя пора наступит, я завяжу глаза, выйду на улицу и женюсь на той, которая первой попадется мне под руку.

Алыкул, едва не уронив табуретку, выскочил из-за стола, в упор посмотрел на Тугельбая:

– Слово?

– Клянусь!

– Дай руку.

– Кубанычбек, разбивай!

Пока Алыкул, держа руку Тугельбая, обдумывал условия пари, Кубанычбек, воздев руки, молитвенно произнес:

– О, Создатель! Если ты есть и если ты справедлив, сделай так, чтобы этот нахал, насмехающийся над любовью, в свое время первым встретил нашего койташского мельника Хайтакуна... Остальное я сам доделаю и заставлю Колконбая жениться на нем!

– Ну, дорогой, – засмеялся вместе со всеми Тугельбай, – ты ошибся адресом, это для Капара удовольствием будет.

– Слушай, ортак, – не удержался Капар, – набрасываясь на Кубанычбека, – ты свет мне загораживаешь. Все спокойно сидят, а ты свой зад никак не приткнешь!

– К чему бы это, а? – невозмутимо пожал плечами Байсалбай.

Новый взрыв хохота потряс комнату. Тугельбай, вытирая ладонью слезы, произнес:

– Ты просто молодец, ортак! Твоя фраза признается лучшей на сегодняшний день, так что с меня пиво...

Нет, я так не могу, соскочил со своей табуретки Капар, – этот ортак специально загораживает мне свет, чтобы я не смог закончить свой «Портрет друга».

– Послушай, – не выдержав, возмутился Кубанычбек, – это что же получается! В этом доме только мне, хозяину, запрещается абсолютно все. Тому не мешай стихи писать, тому свет не загораживай, ему не мешай на комузе брэнчать, тому лекарство достань! Неужели вы думаете, что старый Малик породил меня для того, чтобы обслуживать вас? Мне в этом доме хоть что-нибудь разрешается делать?

– Тебе – нет...

– Почему же? – искренне удивился Кубанычбек.

– Да потому что ты большой начальник, – серьезно произнес Алькул. – Государство доверило тебе этот высокий пост именно для того, чтобы ты заботился о нас, байкушчиках. И только после нас ты можешь и о себе позаботиться. И то – совсем-совсем немножко, – он показал кончик мизинца. – А пока ты жив и начальник, будь добр, позволь нам пожить по-человечески!

– А я?

– А ты радуйся, что сидишь в кресле начальника и нам всеми силами помогаешь.

– Атандын башы! Я тоже хочу стихи писать, черт бы вас всех побрал!

– Кто же против? – опять удивился Байсалбай. – Кабинет у тебя просторный, бумага и карандаш бесплатные и всегда под рукой. Только не ленись, пиши хоть целый день, а здесь не мешай ребятам.

– Выходит, вы творцы, а я...

– Ты на работе твори.

– А кто за меня работу будет делать?

– Как кто? Секретарша, конечно. Неужели до сих пор не знаешь, зачем еще нужна секретарша? Пусть иногда и поработает...

Все рассмеялись. Байсалбай, укладывая комуз в чехол, произнес:

– Нет, сегодня тебе с ними не справиться. Простой ночью все трое скулили во сне, знать, бог красноречия Жэзренче чечен плюнул на их язык. Теперь жди, когда им еда приснится, тогда сразу языки прикусят... Лучше пошли со мной на концерт? Представляешь, какое будет ко мне отношение, если я заявлюсь на работу с самим начальником!

– Дурак ты! – сплюнул Кубанычбек. – Куда лучше было бы похвастаться, что пришел с известным киргизским акыном... Не пойду я, Байсалбай, на концерт, потому что понял, что для тебя дорого кресло начальника в моем лице, а не мое мастерство акына... – Он уселся за стол и принялся что-то чертить на листе бумаги.

– Вообще-то, если честно, – произнес, смеясь Байсалбай, – мне бы лучше всего вместе со всеми вами пойти на концерт. Тогда директор театра и атласные подушки вам в кресло подстелит... А серьезно, идемте, Осоке выступает со своим учеником Ысмаилом. Неплохой парень, скажу я вам.

– И Молдоке будет?

– И он, и Адамкалый с Ыбраем.

– Жаль, что я плохо чувствую себя, – с искренним сожалением вздохнул Тугельбай.

– Пусть Кубанычбек с Алыкулом идут, а я с большим останусь, – сказал Капар с тайной надеждой в голосе, что все разойдутся и перестанут ему мешать работать.

– Да нет, иди, я и без тебя выживу...

Капар неожиданно для всех подскочил к Тугельбаю и, встав в несколько угрожающую позу, как будто бы вполне серьезно произнес, свирепо вращая глазами:

– Ну уж нет! В конце концов я должен оправдать свое название – ортак. Вдруг ты надумаешь умереть, я тогда хотя бы отходную тебе прочту!

Все находившиеся в комнате покатались со смеху, и смех этот, несмотря на невозмутимую физиономию Тугельбая, звучал долго. Наконец, когда смех немного утих, Байсалбай, выдавливая в себе смех, едва ли не сквозь икоту произнес:

– Ладно... Вижу, что никто из вас не собирается идти, так что я побежал, а то опоздаю...

Он направился к двери, но едва дотронулся до ручки, как в дверь не очень-то требовательно, с какой-то заминкой постучали. Байсалбай недоуменно обернулся к друзьям, те переглянулись между собой, почти одновременно пожав плечами, и только Алыкул отвел взгляд, забарабанил костяшками пальцев по столу.

Дождавшись второго стука в дверь, Байсалбай распахнул ее.

– А-а! – воскликнул он, – Айдай, проходите, – и с вежливым поклоном пропустил девушку в дом. – Все дома...

Выскочил в прихожую Алыкул, встав перед нею, признательно и молчаливо здороваясь. А ребята в это время дружно забегали по комнате, впопыхах рассовывая все от бумаг до одежды под кровать Байсалбая. Так что, когда Айдай в сопровождении Алыкула вошла в комнату, там было относительно чисто и добропорядочно.

– Здравствуй, Айдайжан! – приветливо произнес Кубаныч, при этом свирепо глядя на Алыкула, мол, почему не предупредил о ее приходе. Алыкул в ответ лишь только пожал плечами...

– Как ваше здоровье? – участливо спросил Тугельбай.

– Как ваша учеба, девушка? – галантно спросил Байсалбай.

– Ай, почему вы без подруги? – задал неожиданный вопрос Капар.

И только тогда Айдай, до этого лишь успевавшая улыбаться на очередной вопрос да и то потупив глаза, смогла ответить:

– У нее дела...

– Жаль, – вздохнул Байсалбай, – пришли бы вместе, тогда я вас пригласил бы на концерт.

– Ну вот, – вновь улыбнулась Айдай, – мы совсем позабыли, что вы артист и можете достать билеты. Представляете, три часа простояли в очереди, а ушли ни с чем.

– Иногда очень полезно вспоминать друзей, – наставительно произнес Байсалбай, подняв вверх указательный палец. – Впрочем, и сейчас не поздно...

Он вытащил из кармана вчетверо сложенный лист бумаги и прогянул его девушке. Айдай раскрыла, увидела два билета, сразу же вопросительно посмотрела на Алыкула молча спрашивая, пойдет тот на концерт или нет.

– Нет, – вздохнул Алыкул с легким укором, – я не смогу сегодня пойти...

Кубанычбек, взяв билеты из рук Айдай, повертел их, потом вернул Байсалбаю.

– Они обязательно пойдут на концерт... Но только завтра Я сам достану им билеты.

– Ты-то да не достанешь! – расхохотался Байсалбай. – Даже если вы, Айдай, завтра приведете с собой всю группу, он всех без билета проведет... Такой начальник, понимаешь!

Давным-давно поднявшийся, еще до того, как Айдай вошла в комнату Тугельбай грозно направился на Байсалбая:

– Ты, понимаешь, так можешь и опоздать в театр... Как потом будешь билеты доставать девушкам, а?

...Вряд ли кто сегодня скажет, почему в те годы так полюбилось это русское слово «понимаешь», ничего практически не значащее, но обязательно употреблявшееся исключительно по-русски. Вместе с тем, оно, будто междометие, выражало массу оттенков: иронию и пренебрежение, наставление и презрительность, в общем, выражало все, что подразумевал человек, однако по каким-то причинам не выражал. Впрочем, поди разберись, кто что выражает в скоротечной беседе...

– Ухожу, ухожу, – Байсалбай поднял руки вверх, – но хочу предупредить Айдай, что если в мое отсутствие кто-нибудь посмеет обидеть моего лучшего друга...

– Да иди же ты, – не выдержал и Капар.

Тугельбай подхватил Байсалбая под локоть и вышел с ним из дома. Засобирался и Кубанычбек.

– А ты куда, хозяин? – перегородил ему дорогу к двери Алыкул.

– На улицу, – шмыгнул тот носом.

– Зачем?

– Свежим воздухом подышать...

– Ты же только что плакался, что мы не даем тебе работать. Садись, пиши, а мы с Айдай пойдем погуляем, – Алыкул по-прежнему преграждал путь к выходу.

– Послушай, – возмутился Кубанычбек, – чего это вы все время меня учите, что мне делать! В конце концов, это ваше дело, чем вы будете заниматься! А я действительно должен идти. Так что, Айдайжан, вы не подумайте чего-нибудь там...

– Хорошо, я не буду думать! – засмеялась Айдай.

– А ты не беспокойся, Асмайчи, – похлопал Кубанычбек Алыкула по плечу, – я Капара оставлю тебя охранять, – и закрыл за собой дверь.

– Эй, подожди! – Капар бросился за ним. – С каких это пор меня за охранника держать стали!

– Капар, друг, а ты-то куда? – безуспешно пытался удержать хоть этого Алыкула.

– Не бойся, ортак, я скоро вернусь!

– Смешливые ребята, – весело произнесла Айдай, когда они остались вдвоем. – И откуда они только такие слова забавные все время находят?

– Из Кой-Таша привозят, – вполне серьезно ответил Алыкул на этот шуточный вопрос.

– Как это? – Айдай то ли поддержала шутку, то ли и впрямь не поняла.

– Да они каждую неделю ездят в Кой-Таш к родственникам Кубанычбека и привозят оттуда эти слова.

Но Айдай уже не приняла шутки. Она повернулась к Алыкулу, посмотрела ему внимательно в глаза и не без настороженности в голосе спросила:

– Ты обиделся, что я не сразу отказалась от билетов в театр, да? Но ведь их предложил твой друг для нас с тобой... И потом, я же не знала, что ты не захочешь пойти...

– Какая может быть обида... – Алыкул отвел взгляд.

– Что же тогда дуешься? – Айдай улыбнулась, потом кокетливо добавила: – Или тебе не нравится, когда я прихожу к тебе?

– Да ты что говоришь! – Алыкул отошел к окну, засмотрелся на вечернее небо, но взволнованность в голосе выдала его чувства, когда он продолжил: – Просто я не нахожу слов для тебя, в особенности, когда вижу тебя рядом...

Айдай рассмеялась. Алыкул, обернувшись, вопросительно посмотрел на нее. Она, не переставая смеяться, произнесла:

– Разве ты не едешь с ребятами в Кой-Таш?

– К сожалению, редко...

– Откуда же берешь свои слова для стихов?

– Не знаю...

Солнце уже зашло за невидимые сквозь ветви деревьев горы. Быстро сгущались сумерки. На улице зажглись фонари. Где-то заиграл патефон. Уличный свет четко обозначил красивые правильные черты лица Айдай. Алыкул услышал ее учащенное дыхание. Они встретились взглядами... И в это время скрипнула дверь, нарушив единый ритм двух сердцебиений.

Они одновременно оглянулись и увидели, как в приоткрытую дверь медленно вползла... бутылка вина. Она продвинулась с полметра и остановилась. Исчезла палочка, толкавшая бутылку, потом дверь плотно закрылась.

И только тогда Айдай и Алыкул весело расхохотались, поняв шутку.

Алыкул так никогда и не узнает, кто из друзей проделал эту операцию, а потому благодарен будет всем четверым...

Наполнив стаканы, он собрался было включить свет, но Айдай неожиданно удержала его руку.

– Лучше скажи что-нибудь... – шепотом произнесла она.

– И скажу! – громко воскликнул Алыкул, почувствовав неожиданный прилив храбрости в себе. – Я скажу! Знаешь, еще древние утверждали, что вино можно пить только в хорошем настроении, когда радостно сердцу. Моему сердцу сейчас очень и очень радостно. а потому я не сомневаюсь в правоте наших предков. Выпьем за тебя! Ведь одно твое присутствие превращает любое жилище в царские хоромы. Итак, я пью. За тебя!

– Я тоже пью за тебя, пусть тот напиток окажется ядом...

В окошко заглянул тонкий серп молодой луны, обрамленный яркими звездочками. Они перемигивались ожерельем из драгоценных камней, как будто желали счастья молодым.

После второго стакана вина у Алыкула настроение поднялось еще больше. В груди бушевали волны поэзии стихотворений, но он не решался дать волю стихам, пока Айдай, словно почувствовав его настроение, не попросила:

– Прочти что-нибудь...

– Хорошо, Айдай, я прочту тебе стихотворение о ночи, хочешь?

– Да.

– Слушай...

Я расскажу тебе сказку, хочешь?
Ночи добры для влюбленных очень,
Щедростью каждая клетка наполнена...
Пусть будут добрыми и наши ночи!

Айдай стояла у окна, перебирая в пальцах толстую косу. Она как будто попала в другое измерение и, то улыбаясь, то хмурясь, то печалась, то радуясь, ощущала очарование алыкуловского баритона... Талантливейший от природы декламатор, все же никогда раньше он не читал так свои стихи, когда поэзия просыпалась не только в словах, но и в буквах... И столь часто и так неповторимо произносил он имя Айдай, что наполнялось оно удивительно красивой музыкой, и сама она влюбилась в собственное имя, наслаждаясь той песней, которая в нем звучала. Алыкул читал и читал:

Тебя хочу я любить беспрестанно,
С тобою добрым и сильным стану,
Я хочу, чтобы меня ты раскрыла,
Как всеми забытую старую тайну...
А тайной твоей сам хочу овладеть,
Чтоб песням моим бесконечно звенеть,
Чтоб стигнули напрочь любые невзгоды...
Тебя, о любовь, никогда не долеть!

... Через многие годы пронесут современники драгоценные крупницы воспоминаний, сохраняя и передавая детям своим, и более дальним потомкам неповторимый запах пусть немногих, но счастливых мгновений прошлого. И один из них запишет: «Айдай Жигиталиева рассказывала, что в ту ночь даже соловей оборвал свою песню, чтобы послушать стихи Алыкула».

Эй, человек, суетой повседневной окутанный! Что заставляет тебя, вступающего в пору нравственной зрелости, отрываться от неведомо сколько отпущенных тебе природой мгновений для заботы о себе самом и ближних своих ради того, чтобы вглядываться в прошлое свое? Что заставляет тебя, человек сегодняшней, думать о хлебе насущном предпочесть думы о прошлом своем? Желание увидеть корни свои? Стремление возвысить себя в глазах собственных? Определить себя и старше, и мудрее?

Не увидишь тебе будущего не зная прошлого, и так же без прошлого не оценишь настоящего. Так, строя дом, не узнаешь, какой будет крыша, если фундамент неведом тебе.

Да, очень больно порой увидеть свой собственный след, находить там и славу свою, и позор свой, честь и бесчестие, доблесть и унижение. Но все это ты, человек, отцом и матерью рожденный для дня сегодняшнего и родящий детей по образу и подобию своему для дня завтрашнего. И завтра дети твои, лишь придет к ним пора зрелости духа, начнут вглядываться в тебя, человек сегодняшней, определяя день свой грядущий.

Так было, так есть, так будет неизменно, как неизменно солнце, совершающее круги свои во вселенной, как неизменно реки начинают свой путь наверху и сливаются внизу в единое море, как неизменны утро и вечер, полдень и полночь.

Да, очень больно разглядывать свое падение, но эта боль очищает, ибо видишь ты, человек, что после падения, каким бы оно ни было долгим, начинается взлет. Если, конечно, в падении том ты сохранил в себе человека.

В народе всегда человек сохранится.

И в самом беспросветном мракобесе средневековья зреет эпоха Возрождения.

И униженный, физически почти уничтоженный, народ мой, ты возродился, ибо сберег язык свой в «Манасе», а душу в комузе.

Память держит человека на земле. Память хранит человека народом.

Будет подниматься, и опускаться солнце, будут новые полдень и полночь, и неизменным будет в киргизском народе 5 декабря 1936 года. Ибо 5 декабря 1936 года – это гарантия КИРГИЗСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ.

Нет, не может муж похвастаться, что жена всегда и во всем ему верной была, как не может похвастать народ, что среди братьев его уroda не будет. Но так же не может похвастать тиран, что не даст он народу сохранить в себе человека, ибо там, где нет человека, тирана там нет и народа там нет.

Я, человек, из племени киргизов, я в пору своей нравственной зрелости говорю: эпохой Возрождения моего народа стали предвоенные годы. Тому подтверждение день сегодняшний наш, когда всем открыто доступны школы и книги, театр и художника кисть.

Тому подтверждение эти вот имена: Г. Айтиев, К. Акиев, И. Ахунбаев, М. Баетов, К. Баялинов, Ж. Бокомбаев, О. Болемалаев, А. Боталиев, К. Жантошев, С. Кийизбаева, А. Кутгубаев, М. Рыскулов, А. Малдыбаев, К. Маликов, А. Огонбаев, К. Орозов, А. Осмонов, Т. Сыдыкбеков, Ш. Термечиков, А. Токомбаев, М. Токобаев, Ы. Туманов, Ж. Турусбеков, Т. Уметалиев, М. Элебаев и многие другие, ибо они – золотой фонд народа, культура моей республики – ребенок

множи Возрождения, давшей возможность впитать живительный сок «Манаса», первых просветителей опыт понять, чтобы начать строить здание профессиональной культуры...

И здесь – Алыкул, в этом списке – по праву, определенному народом, ибо одним из первых киргизов сумел воспринять три музы: слово, мелодию, живопись...

Он – Тулпар в поэтическом кладе киргизов и, мне кажется, первым стал возводить мост культуры между киргизским народом и русским его собратом, а через русский язык – к мировому богатству культуры.

Алыкул – человек народа.

Полунищему, полуголодному, не раз глядевшему смерти в лицо, Великий Октябрь явился уверенностью завтрашнего дня. И для него самого. И для народа.

Алыкул – человек народа.

Он изведал мгновенья счастья, и отчаяние он испытал. Когда ему было плохо, он находил утешение в Пушкине и у Гете, Шота Руставели, Шекспира. Когда ему было плохо, он открывал народу огромные дали планеты.

Заведующий редакцией художественной литературы издательства «Кыргызмамбас» Насыраалы Майбашев вдруг изменил свое отношение к А. Осмонову. Три выпущенных ранее стихотворных сборника молодого поэта вышли в свет без каких-либо передразг. Четвертая рукопись негласно была передана на рецензирование доверенным людям с четким указанием: найти повод не издавать.

В один из осенних дней в Союзе писателей республики состоялось обсуждение новой рукописи А. Осмонова. На обсуждение были приглашены партийно-хозяйственные руководители, писатели, критики и семнадцать представителей НКВД.

Первым слово взял Майбашев.

– Товарищи руководители партийных и правительственных органов, уважаемые гости из НКВД, а так же, понимаешь,

писатели и критики! – сказал он, поминутно поправляя ярко-красный галстук с модным большим узлом. – Сегодня мы выносим на ваш суд, понимаешь, четвертый сборник стихов Осмонова, понимаешь... Значит, можно с уверенностью говорить, что творчество этого, понимаешь, поэта сформировалось, что он, понимаешь, должен нести ответственность за каждое свое слово. Вот почему, понимаешь, прежде чем издать книгу, мы решили четко, понимаешь, определить позицию автора и разглядеть платформу, на которой он стоит. Большинство стихов, понимаешь, у него посвящено любви. Конечно, о любви пели такие, понимаешь, великаны литературы, как Омар Хайям, Шота Руставели, Александр Сергеевич Пушкин, Вильям Шекспир и, понимаешь, другие. Поэтому, понимаешь, мы не собираемся запрещать молодому поэту писать о любви. Пусть пишет, сколько, понимаешь, душе угодно. Здесь дело в другом. Нужны ли нашему, понимаешь, народу такие книги? Достойно ли то, что он, понимаешь, сочиняет, издавать новой книгой для нашего, понимаешь, народа, который мы, понимаешь, должны воспитывать, понимаешь, на революционных идеалах, в духе политики Ленина-Сталина. Мы обязаны отделить, понимаешь, черное от белого и белое от черного, чтобы позиция поэта была ясной, понимаешь, для каждого советского человека. Если бы Осмонов отразил, понимаешь, правду жизни, у нас бы не было к нему претензий. Но некоторые, понимаешь, стихи заставляют нас сомневаться, что Осмонов искренне служит, понимаешь, делу партии и всего нашего народа. Чтобы не быть голословным, я, понимаешь, приведу пример. На 43 странице рукописи он в пятом абзаце пишет:

Влюбленный – тот, кто в щечку тебя целовал,
Уверен, бессмертье в тот миг испытал...
Позволь теперь мне к ней коснуться губами –
Любовь светлой радугой вспыхнет над нами!

Цитируя стихи, Майбашев, похоже, чувствовал себя не очень уверенно, потому что при всем желании сюда невозможно было включить в свою речь единственное русское

слово – «понимаешь», которым он пользовался поистине виртуозно... Продолжив речь, он вновь почувствовал себя на коне.

– Что получается, понимаешь... Я не буду говорить о рифме, я спрошу у поэта Осмонова, к чему он призывает современную, понимаешь, молодежь. К разврату, понимаешь! Он предлагает современной советской молодой женщине интимные, понимаешь, отношения, при этом убеждая, что ничего страшного не случится, если она побудет с ним и при этом останется женой молодого, понимаешь, рогоносца!

Присутствующие дружно рассмеялись. Майбашев поднял руку, призывая к тишине. Затем продолжил:

– Нет, товарищи, здесь, понимаешь, нет ничего смешного, здесь плакать надо, понимаешь. Он своим красивым словом соблазнит, понимаешь, любую женщину, раскрепощенную социалистической революцией, а мы, понимаешь, будем смеяться, так что ли? Не позволим! Так поступали байские акыны, пользуясь бесправным положением девушек и женщин. А чему могут научить подобные стихи нашу, понимаешь, сегодняшнюю молодежь? В лучшем случае легкому, понимаешь, поведению. И если мы выпустим такие стихи, то, понимаешь, как истинные большевики, как мы посмотрим в глаза нашей родной партии? Как объясним все это товарищу Сталину? Не надо, понимаешь, ухмыляться, товарищи, все не так просто, как вы думаете. Товарищ Сталин везде и всюду, он в каждом из нас, понимаешь... И я, как редактор, не желаю краснеть перед нашим великим вождем, понимаешь. Я не буду повторять про такие, понимаешь, стихи, как «Ночь, понимаешь, влюбленных», подобных тому, которые уже цитировал, они идейно, понимаешь, слабы, поэтически серы, вы сами можете прочесть на страницах 27, 34, 57, 60, 71, 80 и так далее, понимаешь. А теперь я хочу напомнить вам известное стихотворение. Вот это.

Когда мы закончим пахоту полей?

Когда оседлаем горячих коней?

Когда, наконец, мы сватать поедем

Красавицу Кукуш с монистой золотой?

Майбашев, прищурясь, хитро посмотрел на собравшихся. Раздались голоса:

– Эту песню у нас на юге поют!

– А я слышал ее у табунщиков Таласа.

– Я в Чуйской долине.

– И на Иссык-Куле...

– Вот-вот, – в голосе Майбашева ясно звучало злорадство. – Это, понимаешь, народная песня. А вот что пишет Осмонов:

Нам бы пахоту закончить поскорей.

Со сватами оседлать своих коней –

Ждет Кукуш. Моя невеста, потерпи!

В тишине звенят медали на груди.

– Что теперь скажете, товарищи? Лихо, понимаешь: заменил монисту в косе на трудовую медаль – и готов стих, понимаешь! На самом деле здесь явное смещение социалистического понятия и мелкобуржуазного. Можем ли мы допустить такое смещение? Нет и тысячу раз нет! Не для этого мы совершали революцию и не для этого, понимаешь, народ на строительство светлого будущего для всего человечества подняли. И потом, разве это стихи, понимаешь, поэта? Нет. У русских это называется плагиатом, у нас – воровством, а за воровство одна дорога – тюрьма. И у кого ты ворует, Осмонов? У своего народа!

Сидевшие загудели, обмениваясь мнениями. Майбашев снова повысил голос:

– И это еще не все, товарищи! Как сегодня ставится главная задача? Наш великий вождь товарищ Сталин, партия и правительство призывают нас быть преданными любимой родине, идеям интернационализма. А что же, понимаешь, Осмонов? Манаса он называет великим, Толубая-сынчы непревзойденным знатоком скакунов, а Тумаш у него самый лучший охотник в мире, понимаешь! На что намекает Осмонов? На исключительность киргизского народа, если все лучшее только у нас. А что подумает великий русский народ, наш старший, понимаешь, брат, освободивший нас от байманапского засилья? Это же явная, понимаешь, провокация,

пища для наших идеологических противников, ищущих хоть что-нибудь, понимаешь, чтобы вбить клин вражды в наши сплоченные ряды. Это свидетельствует о полной политической близорукости Осмонова. Ставит Манаса выше товарища Сталина! Это предательство наших светлых идеалов, понимаешь, это самая настоящая контрреволюция! Тише, товарищи. Чтобы, понимаешь, не быть голословным, рассмотрим стихотворение на 107 странице его рукописи. Вот что пишет Осмонов:

Голодранцы Европы неистовы,
Сокрушая все то, что мешает!

Каково, понимаешь? Не надо нас принимать за дураков. Здесь же явная тыныстановщина, которую мы с корнем уничтожили из нашей плодородной почвы интернационального единства. Называть русскую молодежь голодранцами Европы – кто как не враг народа может это? Ты, Осмонов, идешь в авангарде национализма, пугаешь засильем русских. Да, это не оговорка. С одной стороны, восхваление собственной нации, с другой – принижение нации поистине великой, кроме как национализмом все это не назовешь. Но не надейся, Осмонов, твоя антисоветская идеология не найдет поддержки в народе, бесконечно благодарном своему старшему брату. Ты сам, понимаешь, поставил себя вне народа, и не жди от него снисхождения! Ты надеялся, что мы не разобравшись, напечатаем твои призывы с явными намеками на кое-что, будем лить воду на мельницу затаившихся баев и манаров. Зря надеялся, понимаешь! Товарищ Сталин призывает нас к бдительности в период обострения классовой борьбы, и мы его призыв слышим. Ты рассчитывал на мое доброе расположение к тебе, мол, три книжки выпустил, теперь куда денется – и четвертую как-нибудь... Не выйдет! Товарищ Сталин спросит у меня: «Как вы, товарищ Майбашев, могли, понимаешь, допустить такое в наших рядах?» Что я отвечу, а? Я скажу, что я отвечу. Я отвечу: «Товарищ Сталин, будьте уверены, контрреволюцию и национализм, понимаешь, мы не пропустим, потому что беззаветно верим партии Ленина-Сталина!» Вот что я отвечу товарищу Сталину, и это я сейчас говорю тебе, Осмонов, понимаешь...

В гнетущей тишине Майбашев закончил свое выступление, победно вернулся на место. Не только Алыкул растерялся, но и бывалые Жусуп и Жоомарт, пришедшие поддержать в случае необходимости своего молодого товарища, были явно ошарашены. А пока они соображали, что к чему, подготовленные Майбашевым люди один за другим поднимались на трибуну и гневно обличали объявившегося в их рядах националиста и контрреволюционера... Кто-то даже предложил создать комиссию и проверить, не является ли на самом деле Осмонов затаившимся байским сыном, который только лишь замаскировался в овечью шкуру...

Тут уже и Жоомарт не выдержал, вскочил со своего места и громко выкрикнул:

– Товарищи! Да вы отдаете себе отчет, в чем обвиняете Алыкула!

Он очень старался быть спокойным, этот Жоомарт, но побледневшее лицо его и дрожащие руки выдавали те усилия, которые он прилагал.

– Нельзя же в конце концов, – после короткой паузы продолжил он, – взять вот так и обхаить совсем еще молодого автора, приклеить ему политический ярлык! У нас говорят, что в доброй семье и некрасивая невестка хорошеет. Если рукопись Алыкула и в самом деле страдает какими-то недостатками, надо ее доработать. Но зачем же выдерживать отдельные строчки. Ведь голодранцами Европы он любовно называет известных всему миру синеблзников России, сокрушающих старый мир и строящих социализм. Именно – любовно, я это подчеркиваю! И Алыкул ратует за такое же движение и в нашей республике, чтобы ускорить строительство нового мира. И вместо того, чтобы понять эту простую вещь, над поэтом устраивают настоящее судилище. В таком случае позвольте спросить, может быть он кого-нибудь не устраивает в чем-нибудь?

– Кого вы имеете в виду? – с места громко спросил Майбашев.

– Да уж во всяком случае не тебя, Насыраалы, – спокойно ответил Джоомарт, – а тех, кто поручил тебе выступить сегодня с речью против творчества Алыкула.

– Товарищ председательствующий! – завопил Майбашев, вскакивая с места, – я требую оградить меня от оскорблений...

– Это разве оскорбление? – все больше успокаиваясь, произнес Джоомарт. – Вот когда ты полтора часа оскорблял молодого поэта...

– Я требую привлечь к ответственности за публичное оскорбление честного коммуниста!

– Ты-то честный! – ткнул в него пальцем Джоомарт. – Ну, если ты действительно честный человек, тогда скажи, товарищ Майбашев, кто заставил тебя и твоих приспешников сегодня обливать грязью по-настоящему честного человека? Назови имя своего хозяина!

– Прекратить!

Все обернулись на резкий окрик. Мужчина с тремя ромбиками в петлицах военной формы, который по ходу собрания иногда выяснял у председательствующего некоторые анкетные данные выступающих, встав, злобно смотрел на Джоомарта.

– Кто этот демагог? – он словно бы прихлопнул муху на столе своей ладонью.

Джоомарт резко вскинул голову и, выдерживая пристально изучающий взгляд, спокойно ответил:

– Я известный поэт Джоомарт Бокомбаев... – и после едва уловимой паузы спросил: – А ты кто такой?

Человек в военной форме чуть не задохнулся в ярости, а Джоомарт, ткнув в его сторону пальцем, все тем же ровным голосом повторил:

– Ты кто такой?

На этот раз уже не выдержал председательствующий, возмущенно произнес:

– Джоомарт, что ты себе позволяешь! Соображать надо... Этот товарищ отвечает там, – его рука непроизвольно дернулась вверх, – за вопросы литературы и искусства...

– Почему же тогда он не знает меня? – вызывающе улыбнулся Джоомарт. – Или их там грамоте не учат?

Военный вскочил снова, громыхнув стулом, выбрался из-за стола и начал суетливо расстегивать кобуру. Но Джоомарт

опередил его, мгновенно выхватив наган из заднего кармана брюк, подскочил к мужчине, приставил наган ко лбу, крикнул:

– Руки! – потом повторил уже спокойнее: – Руки! – В его тоне была такая властность, что невозможно было не поверить в серьезность его намерений. Заметив, что задвигались остальные военные, Джоомарт добавил: – Не двигаться! Я успею нажать на курок.

Ошеломленный зал начал приходить в себя. Послышались возгласы:

– Что вы делаете?

– Опомнитесь!

– Спрячь оружие, Джоомарт!

Военный жестом успокоил своих товарищей и, хмуро взглянув на Джоомарта, сел, пробормотав:

– Ну, понимаешь...

К Джоомарту подскочил Жусуп, заставил его спрятать наган, увел на свое место. Потом обратился к присутствующим:

– Я прошу извинить моего друга за несдержанность. Сами понимаете, у творческих людей бывает, эмоции перехлестывают через край...

– Хорош творец... – усмехнулся председательствующий, – за наган сразу хватается...

Жусуп не обратив внимание на реплику председательствующего, продолжил:

– К тому же, как выясняется, сегодня решается судьба не просто очередной книги нашего собрата по перу, но судьба самой многообещающей надежды национальной поэзии, судьба талантливого молодого человека...

– Что за чепуху ты мелешь? – опять подал реплику председательствующий. – Говори конкретно по рукописи, а не то по твоим намекам получается, что мы сегодня обсуждаем чуть ли не основоположника современной киргизской поэзии...

И вновь Жусуп не отреагировал на реплику председательствующего, сохраняя удивительную для создавшейся ситуации выдержку. На примерах русской и восточной классики объяснил, что стихотворение Алыкула о пахаре, мечтающем поскорее увидеть свою невесту, не плагиат, а обращение к истокам народного творчества, что вообще

нельзя выдергивать из стихотворения отдельные строки тем более перевернуть их, выискивать какой-то подтекст, обвиняя поэта в том, чего он не заслужил ни единым своим словом.

О тишине в зале не могло быть и речи. Кто-то обсуждал случившееся, кто-то хотел обязательно выступить. И только сам Алыкул сидел с каким-то отрешенным взглядом, не обращая внимания ни на тех, кто хулил его, ни на тех, кто поддерживал. В нем звучала мелодия светлой боли Чын-Уула, вновь ожили картины тех давно отошедших и сохранившихся лишь в преданиях дней... Тут невольно усмехнулся Алыкул, вдруг обнаружив в характере и поступках Майбашева черты Шыгая, в Джоомарте – Эльчура, хотя, Алыкул тут же мысленно позразил себе, нет, Джоомарт не способен на предательство, даже если сам пострадает. Пожалуй, Джоомарт ближе к Чаа... Может быть, и на самом деле его корни восходят к Чаа... Тогда Жусупа в те предавние времена звали, должно быть, Кульчоро...

Алыкул словно на самом деле находился на вершине Кара-Добо, наблюдал глазами Чын-Уула как племя истребляет самое себя своими собственными руками... Да, там и скрыты корни геройства и предательства, коварства и честности, злобы и великодушия. Сквозь многовековую толщу лет проступили они в сегодняшний день, обретя весомость слов, произносимых с трибуны. И Алыкул содрогнулся, представив, что все эти черты передадутся и потомкам... Зачем Алыкулу выдумывать образ коварного Шыйкуу, когда вот он, рядом, одетый в военную форму...

– У русских говорят, что рыба гниет с головы, понимаешь, – тем временем произнес с трибуны военный. – Для нас главное сегодня – это идеология. Мы хорошо видим гниющую идеологию таких, понимаешь, поэтов, как Маликов, Бокомбаев, Турусбеков, и что же тогда говорить об их последыше Осмонове! Эти, понимаешь, поэты думают, наверно, что мы не разглядим ту идеологическую диверсию, которая содержится в драмах «Не смерть, а жизнь» Турусбекова, «Семетей» Бокомбаева, «Кулуйпа» Маликова. Напрасно так думаете! По всему разговору здесь я, понимаешь, вижу, что некоторые товарищи идут не тем путем...

– Не ведают, что творят, – вставил председательствующий,
– ха-ха-ха...

– Хорошо если не ведают тогда мы их поправим, – сказал
военный, – но я боюсь, что...

Выйдя после обсуждения из зала, возбужденный Жусуп подошел к одиноко стоящему возле дерева Алыкулу. Похлопал его по плечу, одобряюще произнес:

– Что раскис! Я же предупреждал тебя, что путь поэта не бывает услан розами. Ничего, еще несколько подобных встрясок и, возможно, ты действительно станешь поэтом!

– Но ведь мы сами себя втаптываем в грязь, да еще подводим под это партийную идеологию. Понимаешь! – произнес Алыкул по-русски любимое словечко тех киргизов, которые хоть немного чувствовали себя начальниками. – Что же будет с нашей литературой, с нашим языком, наконец, если все определяют такие люди, как Майбашев или тот военный...

– Ничего не случится! – уверенно произнес Жусуп Турусбеков. – Это с нами может всякое произойти, но теперь, когда у нас и книги есть, и газеты, теперь уже точно ничего не случится, ведь и не такое пережил киргизский язык, кто только и как только не пытался...

«Шыйкуу» не бросает слов на ветер.

Через день Алыкула вызвал следователь НКВД, выступавший в Союзе писателей, и началось казавшееся бесконечным:

– Кто твои родители?

– Я уже говорил.

– Кто твои родители, я спрашиваю!

– Я их не помню. Говорят, отец был охотником, а мать сидела дома. С четырех лет я остался сиротой.

– Какие книги читаешь?

– Те, которые есть в библиотеке.

– С кем дружишь?

- Я говорил уже, у меня нет друзей.
- Девушка есть?
- Нет.
- Анекдоты любишь?
- А кто их не любит...
- С кем из русских дружишь?
- У меня нет друзей.
- А кого из алашордынцев знаешь?
- Я не знаком ни с кем.

Алыкул хорошо понимал, в чем его хотят обвинить, а то и через него впутать в историю кого-нибудь из известных писателей. Допросы продолжались изо дня в день, но он заученно твердил одни и те же ответы, в которых не было ни одного близкого ему имени...

Уже были расстреляны писатели: К. Тыныстанов и партийный работник Т. Айтматов, были предъявлены обвинения М. Элебаеву, Дж. Бокомбаеву, Ж. Турусбекову, многим другим лидерам республики, на примере которых воспитывалось первое поколение новой эпохи... Ни литературный деятель, ни партийный руководитель, на каком бы посту они не находились, вплоть до президента (А. Орозбеков) республики, не могли быть уверенными, что в одно мгновение не превратятся во «врагов народа». Одно лишь упоминание фамилии Лоцманова, тогдашнего наркома внутренних дел республики (в 1939 году выяснилось, что это был дезертир, присвоивший себе фамилию убитого им советского офицера) заставляло содрогаться тысячи образованнейших людей республики, благодаря которым народ, вчера еще падавший в пропасть безвестности и беспомощности, сегодня осуществил взлет к своему Ренессансу...

Алыкул хорошо знал, чем может обернуться для него любое неосторожное слово. Методика допросов была доведена до совершенства, до автоматизма: вопросы лишь видоизменялись, а ответы подгонялись под нужную, давно выструганную колюдку, чему в немалой степени способствовало и то, что одни с большим трудом соединяли в себе кыргызские слова и незнакомые русские понятия, а другие беспрекословно и профессионально выполняли указания... Поэтому Алыкул не

только не называл имен, но и замкнулся в себе, избегал встреч с друзьями и знакомыми. Да и встречи эти, даже в узком кругу, были, уже не те, что прежде: люди начали бояться друг друга – кто то по неведению предавал, кто намеренно, и беседы не складывались.

Не мог не понимать Алыкул, что происходящие события опустошительной волной накроют всю жизнь республики, тем более такую ранимую ее часть, как литература и искусство. Отнюдь не борец по складу своего характера, да и здоровьем не отличавшийся, Алыкул искал утешение в мыслях и чувствах великих Низами, Руставели, Шекспира, Пушкина, которые были недоступны ни лоцмановым, ни ежовым, ни их усердным помощникам, чьими руками на местах творились кровавые злодеяния.

В конце концов, допросы Алыкула прекратились. Но жить в городе, когда, казалось, каждый шаг наблюдаем, каждое слово запоминаемо, было невыносимо.

И он покинул столицу. Путешествовал вокруг Иссык-Куля с комузистами и ырчи, общался с животноводами Ала-Тоо, крестьянами юга республики, впитывая в себя живительные соки устной народной мудрости. Сравнение своего творчества с народным привело его сначала к разочарованию в собственных силах, и тогда он уничтожал любую попавшуюся из собственных книг. Но затем тесное соприкосновение с многовековой восточной мудростью, столь щедрой на легенды, раскрывает в нем талант мыслителя, и тогда он берется за перевод произведений Шекспира, Пушкина, Низами. Причем выбирает у них произведения, в которых идет речь о добре и зле, коварстве и любви, бережном отношении к человеку, его таланту – несомненно, сказывались пережитые потрясения. Уровень же переводов такой, что литературоведы до сих пор удивляются глубине проникновений в философский и поэтический мир выдающихся мыслителей прошлого. А ведь Алыкул в то время не перешагнул еще и порог двадцатипятилетия.. .

Прошлое и будущее.

Так близки они. Близки благодаря настоящему. И настолько тонка граница между прошлым и будущим, что, бывает, не разглядеть ее, не понять, не почувствовать, как не разглядеть, не почувствовать день сегодняшней, порой скрытый от внимательного взгляда суетой мимолетности...

Так было или не было? Переплелись «да» и «нет», как мечта и реальность, как прошлое и будущее, как корни дерева на закате своем последние соки, отдавшие молодому побегу в надежде, что новый мир ему откроется.

Навстречу заре уходили старик-слепец и мальчик-поводырь. Уходили не оглядываясь. Вокруг закатная бескрайняя заснеженная степь. Откуда-то издалека по снегу открылись следы, возникшие ниоткуда две цепочки, чтобы затем протянуться к двум человеческим фигуркам, уходящим в белое безмолвие.

И белое безмолвие встречает их, эти две фигурки, будто нематираясь и в старика – высокого, жилистого, судя по немигающему взгляду – слепого, и мальчика – не больше двенадцати лет, но и он, видимо, из-за долгого общения со старцем, преисполнен достоинством во всем своем облике.

Неожиданно мальчик заметил какое-то движение в степи, и старик, тотчас почувствовав его напряжение, спросил, чуть склонив голову:

– Что там?

– Хоронят кого-то, – ответил мальчик.

– Кем бы ни был усопший, пойдем, воздадим ему должное, – произнес старик, и мальчик повел его к неспешной похоронной процессии.

Белый холм, расчерченный черной цепочкой людей, составляющих похоронную процессию. Разные лица присутствующих, но всех их делают одинаковыми сутаны, в которые они закутаны.

А впереди идут четверо, неся на руках нечто, завернутое в белые простыни. Эти четверо – в черных шапках-чулках, но

тела у них по пояс обнаженные, и ясно видны мускулы, играющие от натуги.

– Мир вам, добрые люди! – произнес старик, когда они с мальчиком приблизились к процессии.

– Мир и вам, – ответил тоже старик, один из сопровождавших процессию.

– Чье брненное тело собираетесь предать земле? – спросил слепой старец.

– Его самого, всевышнего, хороним – последовал равнодушный ответ.

– Как так?

– А так! – голос отвечавшего старика стал жестким. – Он давно перестал быть самим собой. Он занялся тем, чем всегда человек занимался: он открыл свое сердце злу и коварству, ненависти и войне, воровству, наконец. Он стал баб совращать. Он – такой же, как мы!.. А ты кто будешь? – спросил старик.

– Божий странник...

– Ха, так только тебе и плакать по своему богу!

– Можно? – робко спросил старец.

– Да ради бога! Пошли с нами. Поплачь напоследок, божий странник, а кем ты будешь потом – я не знаю... – старик усмехнулся.

И степная колыбель земли, и прожитые годы старика, и будущее время мальчика, и медленная похоронная процессия – все слилось в одну песню-мелодию. В плач по родине, в плач по жизни, в плач по любимой, в плач по песне своей, пусть не сбывшейся, но живой и веселой, как утро, как новый день, как солнце, которое обязательно будут, даже после того, когда мы уйдем.

И этот отрывочный, скорбный плач поднимал со склона горы невесомые снежинки, смешивая их с вечерним сумеречным небом, превращал в высокие и далекие звезды, едва заметные сквозь мрачную пелену, и они вскорости падали на землю, в заснеженную траву...

Вот как звучала та песнь и тот плач:

не зверь, не дерево, не трава – человек сотворил колыбель
измены и предательства

сотворил человек, не помнящий матери своей и первого
шага своего

сотворила женщина, не помнящая первой любви своей

сотворил мужчина, не помнящий подвига своего

сотворил ребенок, покинутый матерью или отцом

сотворил народ, позабывший корни свои

и на той земле, под той колыбелью, не взрасти дереву
плодоносящему, а если и зацветут ветви на дереве том, то
явится из тех цветов – забвения дурман...

И услышь человек песнь-плач этот, то заслушался бы им, и
тогда все и всех на свете: и песню свою несбывшуюся, и закат
подступивший, и снег с морозом, даже измену и предательство
простил бы, ибо все – ничто на этом снегу, кроме следов
человеческих, ибо только память – бог человека – держит
человека на земле человеком и открывает ему путь новый...

Об этом песнь-плач старика-слепца, изваянием из времен
незапамятных застывшего. И потому замер подле старика-
слепца его мальчик-поводырь в оборванной одежде, еще не
познавший на земле ни песни, ни любви, а только собственную
жизнь, да и ту – лишь отчасти...

Старик-слепец, не прерывая своей песни-плача, опустился
вместе с мальчиком-поводырем на снег, сложил руки на
коленях.

И мальчик повторил его движения.

Сорок черных фигур неспешно окружили место
захоронения, а четверо раздетых по пояс мужчин опустили
ничто, завернутое в белые простыни, в яму, принялись деловито
высыпать могилу комьями из смеси черной земли и белого
снега. Когда же вырос черно-белый холмик, каждый из сорока
мужчин прошел мимо могилы, втыкая в нее по свече. Потом к
могиле подошел старик, отвечавший на вопросы старого
слепца, божьего странника, протер над свечами ладони, и свечи
зажглись одновременно...

А над белым безмолвием, над черно-белым холмиком, над
черными мужчинами, четверо из которых раздеты по пояс
были, и белой степью все звучала та песнь-плач...

И не знает никто, и никто никогда не узнает, что слышал, а что услышал мальчик: просто песнь-плач старика или вой зимнего ветра, или просто свои затаенные, зарождающиеся еще только мысли.

Разгорающееся пламя свечей начало шириться, заполняя собою весь мир...

... И вновь пламя обретает реальную осязаемость, но это уже не пламя свечей, это пламя горящих юрт. И песнь-плач старика-слепца становится предсмертными человеческими воплями павших от удара меча или пронзенных остро отточенным копьем.

Ноги, ноги, ноги... Босые и обутое в ичиги, ботинки, валенки, сапоги... Они движутся безостановочно, оставляя после себя вытопанные поляны цветов, расплющенные останки птиц и зверей, полуспрятанных от чересчур назойливого взгляда плотной завесой пыли и дыма.

Вдруг неизвестно откуда появился воин. Перехватив поудобнее меч, он бросился на движущуюся толпу неприятеля, принялся рубить мечом налево и направо, однако никто из толпы не обратил на него никакого внимания, словно и не заметили его, не вступили в схватку с ним, просто своей дорогой прошли, растоптав одинокого воина.

На окраине аила возле юрты Толубая-сынчи в присутствии огромного скопления воинов заканчивается совет вождей племен.

Среди наиболее уважаемых – глава самого большого рода, с непроницаемой маской на лице, словно бы совершенно ни на что не реагирующий Асыранды - султан среднего роста, худощавый человек, во внешнем виде которого угадывалось стремление к власти; глава среднего рода Сапа-Мылжын, все время посматривающий откуда ветер дует, чтобы затем мгновенно среагировать на изменившуюся ситуацию, Жуйкурхана – уже по манере одеваться и поведению хитрый, явно склонный к тому, чтобы свое верховодство утверждать не силой, а умом; Эрбол – предводитель воинов малого племени,

открытый, честный и отважный, доказывающий свою правоту храбростью и беззаветной преданностью своим чистым идеалам; его друг Байчегир – статью и поведением похожий на Эрбола; а также непревзойденный знаток скакунов Толубай-сынчи со своей женой Ай-Жамал, чьи советы не раз выручали в трудных ситуациях самых мудрейших...

– Ну что ж, – сказал, заканчивая совет самый старший из присутствующих, Толубай-сынчи, – мы пришли к общему решению – защищаться до последней жизни, до последнего вздоха каждого из нас, но не допустить врага к нашему дому.

Лучше свободная смерть, чем невольное существование. Теперь, может быть, нам что-нибудь скажет моя старуха...

– Я скажу, – произнесла, выйдя на середину перед собравшимися, Ай-Жамал, держа на вытянутых руках меч и кольчугу. – Я скажу свое напутствие тому, кто возьмет этот древний меч и эту старую кольчугу. Я бы сама вручила эти символы великих побед наших предков, но здесь собралось столько достойных воинов, что я не знаю, на ком остановить свой выбор. Может быть, каждый из вас сам решит?

– За моей спиной самое крупное племя, – первым произнес, отводя взгляд от старой кольчуги Асыранды-султан – и оно будет надежнее любой кольчуги и вернее любого меча для меня.

– А мне придется больше заниматься организацией перекочевки женщин и детей, так что пусть и меч, и кольчуга достанутся тому, кому больше пригодятся в жестокой схватке с врагом, – скосив глаза на Асыранды-султана, произнес Сапа-Мылжын.

– А я, как всем известно, возглавляю средний род, который всегда ценился больше за умное слово, чем за силу. А вы знаете, что слово убивает быстрее меча и защищает надежнее кольчуги, – едва заметно улыбнулся Жуйкур-хан – Спасибо тебе, тетушка, – легким движением головы обозначил поклон.

Над собравшимися повисла неловкая тишина. Дар Ай-Жамал, похоже, оказывался никому ненужным, а потому на многих лицах заметна была растерянность. Но тут поднялся Эрбол.

– Я возьму кольчугу и меч, – произнес он спокойно. – Пусть мое племя не самое большое, но мои воины всегда первыми

встречают врага. Спасибо тебе, Ай-Жамал эже, малого племени мать, мы не опозорим тебя.

Эрбол подошел к ней, но прежде, чем взять меч и кольчугу, припал на колени, поцеловал подол ее платья. Она вложила ему в руки доспехи, потом воздела свои ладони к небу, произнесла:

– Не смотри, сын мой, что эти доспехи изношены. Они принесли победы многим отважным воинам, и да принесут они победу тебе. Оомин!

– Оомин... – выдохнула толпа, благославляя всех на жестокую битву с врагом.

...Народ встал на защиту своей земли, своего дома, своей чести и своего достоинства, заключенных в одном слове – свобода.

Бились с врагом джигиты. Самым яростным и долгим бой оказался там, где защищал свою землю отважный Байчегир со своей дружиной.

На него одного нападали десятки врагов, яростно размахивая острыми короткими мечами и длинными пиками, но неуязвимым был Байчегир, разя неприятеля саблей своей, и, глядя на него, снова поднимались раненые, подхватывая выпавшее из рук врага оружие, и сражались, пока не падали вновь, теперь уже бездыханные.

Беспощадным было сражение и в стане Асыранды-султана. Полыхали горящие юрты, сполохами высвечивая искаженные яростью лица сражавшихся.

Лишь только лицо Жуйкур-хана оставалось спокойным, поскольку он давно уже понял, что не совладать им с врагом, а потому не принимал он участия в битве, и властным движением руки останавливал тех из своих джигитов, кто в нетерпении порывался оказать помощь своим соплеменникам, попавшим в трудное положение.

На вершине лесистого холма, заросшего густым кустарником, расположился Эрбол с частью своих войск.

Облаченный в кольчугу, он, держась за рукоять вложенного в ножны меча, внимательно вглядывался в картину развернувшегося внизу боя. Особенно часто он останавливал свой взгляд на Байчегире, своем друге, который буквально терзал врагов.

Когда Эрбол замечал, что сражавшиеся воины от усталости едва держали в руках оружие, он отдавал короткое приказание кому-нибудь из своих помощников, и тотчас же новый отряд менял уставших и раненых, которые отходили в заросли кустарника и леса и там перевязывали раны, отдыхали, чтобы спустя некоторое время снова окунуться в стихию боя, заменяя уставших.

Шатер владыки иноземцев – Шыйкуу был расположен на другом холме, чуть пониже чем тот, на котором находился Эрбол. Владыка, окруженный военачальниками, тоже пристально всматривался в картину боя, но никаких приказаний не отдавал, поскольку видел, что преимущество было явно на его стороне. В то же время владыка не мог не отметить про себя очень грамотное руководство войсками одного из отрядов оборонявшихся.

– А эти дикари – храбрые люди, – негромко произнес владыка.

– Потому что дикари, – вступил в разговор один из военачальников. – Не будь они действительно дикарями, так уже давно сдались бы, рассчитывая на милость победителей, на нашу милость...

– Они знают, что на нашу милость им не приходится рассчитывать, – усмехнулся владыка. – Но сражаются умело. Кто бы мог подумать, что у дикарей найдутся такие военачальники... – и он кивнул в сторону холма, с вершины которого руководил боем Эрбол.

Уже несколько раз владыка посылал к холму отряды своих воинов, чтобы смять Эрбола, но те встречали такой отпор, что сразу же скатывались вниз, теряя убитых и раненых.

– У любого народа всякое найдется, – пробормотал кто-то из свиты.

К Эрболу подсказал Байчегир. Лицо его было залито кровью, одежда разорвана. В плече торчала стрела, которую он вырвал, швырнул на землю. Перед ним поперек седла лежал тяжелораненый воин.

Соскочив с седла, Байчегир бережно снял воина и положил его на траву, за тем повернул искаженное гримасой боли лицо в сторону Эрбола.

– Что ты ждешь, Эрбол! – яростно воскликнул Байчегир. – Нас там, – он показал рукой в долину, – почти никого не осталось, а ты держишь здесь войско, которое еще даже не вступало в бой. Что ты ждешь, Эрбол! – и Байчегир сжал в ладони рукоять сабли.

– Успокойся, друг... – Эрбол подошел к Байчегиру. – Бой не закончен еще...

– Успокойся? – вскричал Байчегир. – Тогда успокой моего брата Жантемира он смертельно ранен! – И Байчегир повернул голову в сторону привезенного им воина, лежавшего на траве.

Эрбол подошел к Жантемиру, прикоснулся к его плечу. Жантемир чуть приоткрыл глаза, потом произнес едва слышно:

– Я умираю, Эрбол...

Эрбол вздохнул и, положив ладонь на темя умирающего воина, тоже негромко сказал:

– Да, ты умрешь, Жантемир. Погибнет и Байчегир, и я скоро погибну в бою. – Он встал, Эрбол, выпрямился во весь рост и, кивнув головой в сторону долины, где продолжался бой, сказал, обращаясь к Байчегиру: – Смотри, Байчегир, нет числа иноземцам, и если мы выступим сразу все, они сразу нас всех уничтожат. А нам нужно время, чтобы женщины наши и дети успели уйти от врага. Да, мы все здесь погибнем, и мой наступит черед, но чем дольше затянется бой, тем больше возможности спастись нашему племени. Ты понял меня, Байчегир?

Эрбол подошел к своему другу, обнял его, на мгновение замер, потом сказал:

– Прощай, мой друг Байчегир, сегодня мы встретим смерть, но встретим ее в бою, а завтра меч возьмут наши дети и сокрушат врага. Ради этого разве не стоит погибнуть! Иди, Байчегир, скоро, очень скоро я буду рядом с тобой.

Эрбол выпустил из объятий Байчегира, тот молча подошел к своему коню, не без труда забрался в седло и, не оглядываясь, помчался вниз, туда, где продолжали сражаться с врагом его соплеменники.

– Джигиты! – Эрбол обратился к небольшой группе воинов, стоявших невдалеке от него. – Поддержите нашего славного батыра...

И те рванулись вниз вслед за Байчегиром.

В шатер к Шыйкуу заходят военачальники, почтительно склонив головы, сообщают о ходе продолжающегося сражения с упорными джигитами.

– Тех, кто в низине, мы одолели, владыка, – сказал один из вошедших.

– Справа победа за нами, – сказал второй.

Третий замер в низком поклоне, молчит.

– Что у тебя? – не дождавшись доклада, нетерпеливо спросил Шыйкуу.

– Там они к красным скалам прижались...

-- И что?

– Помощь нужна, владыка, – не поднимая головы, ответил тот. – Эти дикари настолько отчаянно дерутся, что в этой битве мы больше потеряем, чем приобретем в победе... Такое малое племя, а дерутся, как будто из одного убитого двое вырастают...

– А если их оставить?

– Вы мудры владыка...

Привычная похвала не отразилась на лице хана. Он перевел взгляд на еще одного вошедшего в шатер человека. Тот доложил:

– Вельможа одного из племени к вам просится, владыка...
Пустить?

Усмехнулся владыка, сказал:

– Пусть войдет.

Вошел Жуйкур-хан. С порога упав на колени, сложил молитвенно руки, произнес учтиво:

– Пусть победа вас никогда не оставит, владыка...

– Кто ты? – спросил владыка.

– Я Жуйкур-хан, вождь среднего из племен.

– Так это ты воюешь у красных скал?

– Нет, владыка, воины мои в ущелье стоят, в битве участия не принимая... А у красных скал – это Эрбол, выкормыш мой... К несчастью, ослушался он меня, хоть я предлагал сложить оружие... – слукавил Жуйкур-хан преданно глядя в глаза владыки.

– Какой же ты вождь! – засмеялся владыка. – Ты просто бездарный учитель, если воспитанник твой ослушался тебя. Ладно, чего же ты хочешь?

– Нельзя прощать зарвавшегося ученика... Помогите владыка, – попросил Жуйкур-хан – и тогда я сам доставлю сюда голову окрысившегося на всех щенка, только хлопоты удлиняющего...

– Нет, не надо, – брезгливо махнул рукой Шыйкуу, – не нужна мне его голова. Но я дам тебе войско из самых надежных воинов моих, и тогда ты должен доставить сюда живым своего ученика Эрбола, живым, ты понял меня? Или ты сам умрешь быстрее, чем твой выкормыш.

– Хорошо... – Жуйкур-хан склонился в поклоне. – Вам я живого Эрбола доставлю...

Торопливой, но долгой колонной тянулись беженцы в горы, все дальше и дальше удаляясь от боя. Несколько лошадей, несколько коров да небольшая отара овец.

Все – и люди, и животные – несли на себе что-нибудь из нехитрого скарба кочевников: кошму ли, казан, курджуны, одеяла... В общем, то, что нужно для поддержания жизни.

Подростки женщинам и старикам помогали, подгоняя коров и баранов. Но вот один из них подмигнул другому, и они отошли в сторонку. И вскоре уже объединились в небольшую стаю, и когда процессия миновала очередной перевал, углубляясь в другое ущелье, подростки – кто за камень спрятавшись, кто за выступ скалы, кто за куст – отстали...

Не сразу обратили внимание старики и старухи, что нет среди них подростков. Все так же продолжали свой путь, чутко прислушивались к происходящему вокруг, опасаясь погони.

Но вот кому-то понадобилась помощь вдруг.

– Эй, Кемел, куда ты деля, чертенок! Две овцы у тебя отстали! – крикнула одна из старух.

– Да у них одно баловство на уме... – проворчала другая. И мой запропастился куда-то...

– И моя где-то внучка пропала... – сказала третья старуха.

– Эй, бесенята, а ну давайте сюда! – во весь голос закричала первая старуха, но только эхо отозвалось в ответ ей: – да... да... да...

– Что же это? ... – забеспокоились старухи. – Куда они могли подеваться?...

– Провалились они, что ли?...

– Эй, стойте, надо найти детей! – громко крикнула тетушка Ай-Жамал, и колонна беженцев остановилась.

– В распадках, наверное, надо поискать... – предложил Толубай-сынчи.

С ним согласились, и самые энергичные старики и старухи разбрелись по ближним распадкам.

– Только недолго и далеко не ходите! – крикнул им вслед кто-то.

Неспешно брел среди валунов и кустарников Толубай-сынчи, и по его задумчивому лицу трудно было определить, чем он в данный момент озабочен. Неожиданно за одним из камней он увидел череп коня. Выбеленный тысячами дождей, снегом и солнцем, он уже почти до половины врос в землю.

Толубай-сынчи какое-то время всмагивался в конский череп, потом присел на корточки, разгреб жилистыми пальцами землю, освобождая череп, взял его в руки, присел на камень.

После долгого раздумья негромко произнес, обращаясь к черепу:

– Как жаль, что время разделило нас... Неужели ты был последним Тулпаром на древней многострадальной земле? Ах, я несчастный, что так и не встретил тебя...

Он закрыл глаза, устремившись к Тулпару...

Старики и старухи вновь собрались все вместе – озабоченные и сердитые.

– Нет их нигде...

– Как сквозь землю провалились!

– И трех девчонок нет...

Сапа-Мылжын растерянно крутил головой, стараясь увидеть каждого, кто говорил, ожидая, что кто-нибудь добрую весть принесет. К нему подошла тетушка Ай-Жамал и, сверкнув глазами, произнесла:

– Где наши дети, Сапа? Ты за их судьбу отвечаешь, за будущее нашего рода! Где искать теперь? Откуда теперь быть нашему роду!

– Что ты паникуешь, тетушка Ай-Жамал... – стараясь не смотреть ей в глаза, довольно бодро произнес Сапа-Мылжын. – Разве угонишься за этими сорванцами... Да они догонят нас, куда им деваться!..

– А если что-то случилось с ними, как тогда выжить нашему роду?

– Да вон, сколько девок растет! – сделал попытку пошутить Сапа-Мылжын. – Не только род приумножим свой, но еще и калым получим хороший...

– Чтоб они род чужой продолжали, а свой предали забвению! Да как же ты можешь думать об этом?

– Не кипятись... Я так, пошутил...

– Кто же шутит в таком черном горе, Сапа... А где Толубай?
– Ай-Жамал огляделась. – Эй, Толубай, где ты? Отзовись!

И снова в ответ лишь горное эхо ей отвечало:

– ись... ись... ись...

Отважно сражались воины. Но чувствуя, как начинают таять силы, увидел Эрбол, что к ним спешит на коне, размахивая саблей, Жуйкур-хан.

– Эй, джигиты, брат мой Жуйкур-хан еще жив! – воззвал Эрбол к своим соплеменникам. – Держитесь, подмога идет!

Услышав слова Эрбола о доброй той вести, даже те, кто был ранен смертельно, опять поднимались, подхватывая выпавшие из рук луки и сабли, а те, кто продолжал еще биться, тот новые силы обретал.

Джигиты Эрбола стали теснить врага, не замечая в пыли сраженья, как тают их ряды под ударами воинов Жуйкур- хана напавших по-предательски сзади...

А тут еще с высокой скалы, у подножия которой сражение шло, на неприятеля посыпался град камней, как будто небо само пришло на помощь Эрболу – это подростки вернулись, чтобы судьбу отцов разделить. Что могли они, десятка два мальчишек да три девчонки! Но камни, летевшие сверху, кого- то пугали, а кого-то, попав в лицо, сбивали с коня на землю...

Из глаз подростков слезы катились, ладони и пальцы в кровь от острых камней разрывались, но и плача от бессилия и боли, они продолжали камни швырять на врагов ненавистных.

– Ах вы, звереныши! – заскрипел Жуйкур-хан зубами. – Эй, лучники, ко мне! Снимите оттуда этих волчат! – он показал на подростков, когда несколько лучников откликнулись на приказ Жуйкур-хана.

– Уходите! – Эрбол закричал подросткам. – Стариков догоняйте, быстро!

– Что стоите? – вскипел Жуйкур-хан на своих лучников, опустивших луки свои. – Стреляйте!

– Это же наши дети... – кто-то ему возразил.

– Это стая волчат, которая всех нас погубит! – свирепо сказал Жуйкур-хан. – Стреляйте, ну!

Один из лучников натянул тетиву, но тут же лук опустил, произнес:

– Не могу...

– Собака! – Жуйкур-хан отточенной саблей обезглавил его, потом приказал остальным: – Стреляйте!

Взвизгнули тоненькие стрелы, в детские тельца вонзаясь...

Всхлипнул один подросток, схватившись за сердце, всхлипнул другой...

– Апа... – прошептала девчонка, срываясь в глубокую пропасть...

Бедные наши дети, неведом вам страх перед смертью, когда азарт справедливой мести ваши сердца захлестнет...

Увидев все это, Эрбол закричал, будто раненый зверь, и кинулся в гущу врагов, все на пути сметая. Но несколько человек повисли разом на его плечах, свалили на землю. И когда связали, только тогда к нему подошел Жуйкур-хан и, усмехнувшись, сказал:

– Глупец! Не пристало щенку огрызаться на льва!

Женщины, несколько дряхлых стариков и старух, да кучка совсем малых детей разношерстной понурой толпой медленно поднимались по узкому каменистому ущелью.

Молчаливая скорбная процессия, возглавляемая Сапа-Мылжыном, уже почти достигла перевала, когда позади раздался дробный стук копыт мчавшегося коня. Вскоре всадник нагнал процессию, резко осадил коня Сапа-Мылжына, не слез, а почти упал на землю.

Это была девушка, облаченная в воинский наряд. Волосы выбились из-под шапки, упав на вспотевшее, разгоряченное от скачки лицо. Девушка посмотрела на остановившихся беженцев, выжидательно смотрящих на нее соплеменников, потом сквозь рыдания невнятно забормотала:

– Все... Конец... Байчегира убили... Эрбола захватили в плен... Перебили подростков... Жуйкур-хан предал всех... Теперь нет нашего племени. Теперь не быть ему больше...

К девушке подошла Ай-Жамал, положила ей руку на плечо, потом обратилась к притихшим людям:

– Сестры мои, соплеменницы! Что ж, видно такой час настал, когда женщина должна взять оружие в руки. Если

пришла погибель народу, то и нам незачем жить! Но помните, если мы не одолеем врага, тогда очень трудно будет возродиться нам... Бог пусть поможет нам в этом испытании... Эй, Сапа-Мылжын, ты поведешь нас в бой! – обратилась Ай-Жамал к единственному мужчине. Заметив, что тот возражать намерен, она жестом остановила его: – Ничего, если женщины рвутся в бой, то старухи присмотрят за остатками рода...

Понемногу затихала ярость боя, потому что все меньше оставалось джигитов, способных держать оружие. Лишь кое-где воины, прижавшись друг к другу спиной, отбивались от нападавших на них иноземцев. Сквозь дым пожарищ метались кони без седоков.

Неожиданно из ущелья вылетела большая группа всадников и с гиканьем обрушилась на неприятеля. Те, предвкушавшие уже скорую победу в этом долгом кровавом бою, начали отступать...

Вышедший из шатра Шыйкуу грозно посмотрел на Жуйкур-хана напряженно вглядывавшегося в долину.

– Ты говорил, что у них не осталось больше воинов...

Жуйкур-хан отступил в испуге от владыки, оглянулся на сражавшихся, еще раз всмотрелся внимательно, потом громко воскликнул:

– Да это же девки!

Словно эхом отозвались его слова над сражавшимися в долине:

– Девки... девки... девки...

Осмелев, Жуйкур-хан, усмехнувшись, посмотрел на Шыйкуу, произнес;

– А что, твои храбрецы не знают, что надо делать с девками, чтобы не сражаться с ними?

И вот уже сразу несколько иноземцев схватили одну девушку-воина, сорвали с нее одежду, повалили на землю. Другую... Третью... Кому-то из девушек удалось вырваться, и она побежала, совершенно голая, преследуемая гогочущими иноземцами. Добежав до обрыва, девушка, ни мгновения не колеблясь и не оглядываясь на преследователей, бросилась вниз, на острые камни.

Лишь из любопытства побежали преследователи к обрыву, посмотрели на лежавшее далеко внизу мертвое тело девушки, и тут же со свистом и гиканьем стали преследовать другую голую девушку, а, догнав, сбили с ног, навалились на нее... Насиловали тут же, на поле брани, не обращая внимания на окровавленные трупы, на стоны смертельно раненных, на едкий дым пожарищ.

Увидев такую картину, содрогнулись воины Эрбола, те, в ком дыханье теплилось еще, кто был способен хоть на мгновение вырваться из объятий смерти, из последних сил обрушивались на врага.

Один воин, взобравшись на коня, с трудом перебросил через седло обрубок правой ноги, из которого кровь текла...

Другой навалился на насиловавшего девушку врага и зубами вцепился ему в горло...

Третий из последних сил натянул тетиву лука, и стрела вонзилась под обнаженную левую грудь девушки, оборвав ее страдания и унижения...

Шыйкуу, посмотрев на почти скрывшийся за горизонтом багровый закатный диск солнца, хлопнул в ладоши и бросил подбежавшему слуге:

– Ужин мне!

И скрылся за пологом шатра, оставив Жуйкур-хана одного в окружении стражи.

Быстро сгущались сумерки, будто очень устали от убийств и насилий, и торопились побыстрее спрятать все, накрыв темным покрывалом ночи. Все более редкие и тихие вскрики женщин и стоны смертельно раненых начал заглушать вой шакалов.

Яркое летнее утро.

Победители и побежденные.

По длинному коридору, образованному выстроившимися в два ряда мужчинами – воинами-победителями – молчаливо, не глядя по сторонам, идет Жуйкур-хан в сопровождении

Асыранды-султана и Сапа-Мылжына, а также в сопровождении нескольких джигитов, разоруженных победителями.

На вытянутых руках Жуйкур-хан несет богатый соболиный тебетей.

Дойдя до шатра, подле которого восседал владыка – властелин бескрайних степей, а теперь и гор высоких – хан Шыйкуу, остановился Жуйкур-хан, припал на колени и униженно протянул тебетей.

Тот взял тебетей в руки, помял его пальцами, как бы прицениваясь, потом произнес, усмехнувшись:

– Говорят, что по-вашему обычаю головной убор приносят победителю вместо своей головы?

Еще ниже склонился в поклоне Жуйкур-хан, подтверждая слова грозного властелина.

Тот небрежным жестом нацепил соболиный тебетей на носок своего сапога, чуть заметно улыбнулся, услышав дружное гоготание своих воинов-победителей, оглядев их внимательно – такие разные по своему облику – белые, желтые, черные лица, но такие одинаковые в своем общем торжестве-ликовании...

Когда гогот начал стихать, все так же раскачивая на ноге тебетей, Шыйкуу негромко произнес:

– Хорошо, я прощаю тебя. А ты чего хочешь? – он посмотрел на Асыранды-султана.

Тот, не поднимая головы, сделал знак своим джигитам, и двое из них на огромном серебряном блюде поднесли властелину гор и степей большую кучу золотых монет, браслетов, серег, всяких других драгоценностей и побрякушек...

Властелин запустил руку в золото, пропуская между пальцами, наслаждаясь переливчатым солнечным блеском, и вновь остался доволен, сказал:

– Хорошо, и тебя я прощаю. Ну, а ты? – он посмотрел на Сапа-Мылжына.

По знаку Сапа-Мылжына джигиты вытолкнули на площадку перед шатром властелина толпу из десятка связанных девушек, десятка разновозрастных мужчин, десятка израненных, измученных джигитов во главе со связанным

Эрболом, мужественный вид которого даже сейчас не мог не вызвать уважения у врага-победителя.

Поднялся владыка со своего трона, подошел в сопровождении своей свиты и новых вельможных слуг к Эрболу, спросил:

– Что ты умеешь делать?

– Убивать! – ответил Эрбол. – И тех, кто приходит в мой дом ненавистным врагом, а не гостем, и тех, кто нас предает! – Эрбол метнул взгляд в сторону бывших вождей племен.

Громко засмеялся владыка, сказал:

– И тебя я прощаю! Ты мне нужен затем, чтобы верой и правдой служить.

– Никогда! – вскинул голову Эрбол.

– Что, он не будет служить мне? – с улыбкой посмотрел владыка на Жуйкур-хана.

– Да куда он денется! – махнул рукой Жуйкур-хан. – Будет служить, у нас есть тысяча и один способ выбить дурь из башки самого строптивного безумца.

– Хорошо, пусть он будет нашим, – сказал владыка и подошел к старику в высоком белом колпаке, спросил у него добродушно:

– А ты кто такой?

– Я звездочет, судьбу могу предсказать...

Улыбнулся владыка вновь, повернулся к воинам своим, произнес, утверждая:

– Разве кто-то может предсказать судьбу того человека, который сам ее держит в руках?

– Нет, тысяча по тысяче раз нет! – послушно взревели воины.

– Ты нам не нужен! – махнул рукою небрежно владыка, судьбу звездочета тем предсказав.

Подойдя к девушке, с ужасом глядевшей, как обезглавливают старика, владыка спросил:

– Что ты умеешь?

Но молчала она, не отводя взгляда от казни.

Не услышав ответа, владыка сказал, повернувшись к неотступно следовавшему за ним одноухому рябому воину:

– Себе заberi, Какай! Она молчалива, как раз то, что нужно тебе. иначе, похоже, скоро все горы и степи узнают, как ты ночи проводишь!

Вновь дружный хохот потряс и горы, и небо.

Рядом стоявшая девушка-пленница, не дожидаясь вопроса, сказала владыке:

– Когда ты в битве устанешь, я дам отдохнуть твоей плоти, в утехах моих ты верх наслаждения найдешь... – и игриво плечом повела.

Засмеялся владыка, довольный... Потом подошел к мужчине. Тот ответил:

– Я – ырчи.

– Это что? – удивился владыка, повернулся к Жуйкур-хану, чтобы тот пояснил.

– В наших краях нет равных ему в игре на комузе, – сказал Жуйкур-хан. – А песни, что он слагает, потом поют дети и взрослые, и песни его навсегда остаются, и время над ними не властно.

– И про Манаса знаешь? – спросил у ырчи владыка.

– Манаса могу воспевать сорок дней и сорок ночей подряд! – гордо ответил ырчи, тем самым судьбу свою предрешив окончательно.

Свирепо сверкнули глаза у владыки и он приказал приближенным:

– Отрежьте ему язык!

Не ожидая исполнения приказа, но уверенный в том, что он будет исполнен тотчас же, владыка продолжил свой путь, пристально вглядываясь в пленных. Остановился возле старика, который в отличие от остальных не склонил головы.

– Ты кто?

– Я – сынчи!

– Ну и что? – опять удивился владыка.

– Он непревзойденный знаток скакунов, – пояснил услужливо Сапа-Мылжын. – Его зовут Толубай, он может распознать Тулпара среди жеребят и взрослых коней.

– Тулпара? Мне рассказали, что ты мог убежать, была у тебя такая возможность, но ты задержался, увидев череп сгнившей кобылы...

– То был череп Тулпара! – ответил старик Толубай. – Я корил себя, что конь тот не встретился раньше, когда был конем. Он не участвовал в скачках, иначе, уверен, о нем бы слагали легенды...

– Откуда ты знаешь? – спросил удивленный Шыйкуу. – Того коня ты ни разу не видел, а что рассказать может череп?

– Я – сынчи, – повторил Толубай. – Вот почему я проклинал свои глаза, что вовремя они не смогли увидеть Тулпара! Надежда лишь только осталась, что кровь его сохранилась в потомках. Найти бы мне только след крови великой... Но разве по силам одному человеку всех коней собрать разом... – сокрушенно покачал головой Толубай.

– Мне все по силам, – усмехнулся владыка. – Перед тобой пройдут все кони моих владений, ты выберешь среди них единственного, лишённого недостатков, настоящего Тулпара найдешь. Сумеешь – свободу тебе подарю и золота дам, а нет – помогу твое же проклятье исполнить...

– Я согласен, – сказал Толубай, – но если только исполнишь два условия моих...

– Что? – сузил глаза владыка и тут же усмехнулся дерзости пленника: – Ну-ну, чего ты хочешь?

– Среди твоих пленниц – моя жена, отпусти ее, не пристало тебе, властелину теперь и гор и степей, – старуху в плену держать...

– Она твою участь разделит... Второе?

– Пусть поиски Тулпара пройдут по нашим обычаям.

Владыка посмотрел на Жуйкур-хана.

– Это можно сделать?

– Да, владыка, ничего страшного нет...

– Что ж, старик, посмотрим, на что ты способен, – произнес владыка, направляясь к своему шатру.

Огромная черная туча затянула закатное солнце. Вскоре начал накрапывать дождь.

От края большой круглой ямы, глубиной в два человеческих роста, в сторону шатров быстро прошли владыка в

сопровождении старых и новых слуг. В яме остались пленные джигиты и бывший их предводитель Эрбол. Они сбились в кучу посередине ямы. Пообочь от них, но тоже в яме, стоял одноухий рябой охранник Какай, вооруженный одним лишь коротким мечом.

Усилился дождь. Но негде было спрятаться тем, кто находился на дне глубокой, с почти отвесными краями ямы, в том числе и охраннику.

Надоело мокнуть одноухому Какаю. Он тогда подтолкнул к откосу одного из пленных джигитов, забрался к нему на спину и вылез наверх. Отряхнувшись от грязи, он огляделся, но никого не увидел. Наклонился над ямой, погрозил кулаком, предупредил:

– Чтоб тихо мне тут!

И затрусил к шалашам и шатрам.

Оставшиеся в яме джигиты обреченно жались друг к другу, сохраняя телами тепло, а дождь все сильнее лил им на головы, обнаженные спины.

Не выдержал вдруг кто-то один, отделился от остальных, начал карабкаться вверх по отвесному склону. Все с затаенной злобой следили за ним, и когда тот, в кровь обдирая пальцы, уже готов был вот-вот уцепиться за край, один из джигитов подскочил к нему, ухватил за ноги и содрал вниз.

Завязалась драка между джигитами. От сильного удара тот, кто собирался бежать, упал на других, и кто-то ударил его...

Озверело дрались джигиты, злобу свою, обреченность свою на ближних своих вымещая. Лишь только один Эрбол, прижавшись к осклизлой стене, заклинал своих соплеменников остановиться, одуматься, прекратить бессмысленную драку, попытаться сохранить в себе человека, но никто не слышал его. Потом и он замолчал, получив сильный удар в лицо от кого-то.

И долго еще, уже в темноте, молниями лишь разрываемой, озверело рычал клубок человеческих тел. Да только увидев, никто б не назвал их людьми...

... Утро на следующий день выдалось ясным и чистым, словно умытым за ночь. Первым, еще до восхода солнца, к яме пришел одноухий Какай, для начала сверху пересчитал избитых, изуродованных пленников. Все были на месте, и

стражник облегченно вздохнул, потом спрыгнул вниз, для острастки и для порядка пнул кого-то из подвернувшихся ему под ногу джигитов, и уже после этого продолжил службу нести.

Небо было настолько прозрачным и ясным, что было похоже на зрачки выпавшейся красавицы. И словно бы крохотная слезинка, стекавшаяся, казалось, из этого синего неба, извивалась в великих горах небольшая речка, увеличиваясь от ущелья к ущелью и превращаясь к долине в большую могучую реку.

Здесь-то, в долине, по обеим сторонам этой могучей реки, и стояли шалаши и шатры воинов-поработителей, и победителей.

Сегодня, в это чистое утро, тут было особенно многолюдно, а конные и пешие все продолжали тянуться в эти места, загоревшись единым стремлением воочию убедиться в предстоящих необычных, удивительных испытаниях.

Посередине широкой поляны возвышался шатер властелина Шыйкуу.

Полулежа на десяти подушках, плотно набитых лебяжьим пухом, он, приподняв полог шатра, наблюдал за Толубаем-сынчи, который сидел невдалеке от него в окружении седобородых стариков, себе подобных. Девушка, у ног владыки сидевшая, гладила ему колени, и тот жмурился от удовольствия.

На зеленой лужайке перед стариками была расстелена белая кошма, через которую каждый из приехавших проводил своего коня, внимательно следя за реакцией Толубая. Но тот даже не смотрел на них, продолжая неторопливую беседу с аксакалами.

Затем воины владыки стали демонстрировать ханских коней. Каких только достоинств, хорошо видимых даже глазу простого смертного, не было у этих прекрасно откормленных и великолепно ухоженных скакунов: и стать, и гибкость, и легко угадываемая мощь... Но ни один из них так и не понравился Толубаю, беседу не прерывавшему.

Кто-то из стариков, сидящих рядом, тронул Толубая легонько за локоть:

– Эй, сынчи, вы не заснули?

Толубай знаком приказал молчать.

– Тогда бы хоть раз посмотрели, каких прекрасных коней проводят сейчас по белой кошме! – не сдавался упрямый старик. – А то ведь уже владыка начинает высказывать нетерпение и недовольство тем, что ты никак не реагируешь...

– Что может быть обманчивее глаз... – ответил ему спокойно Толубай-сынчи. – Если доверять одним только глазам, то очень легко ошибиться. А вот слух никогда не подведет человека. И настоящего Тулпара можно узнать только по голосу его копыт.

– Разве у копыт бывает голос? – удивился кто-то из рядом сидевших стариков.

– У обычных копыт, конечно же, нет, – ответил ему Толубай, – а вот у настоящего Тулпара – да!

Владыка дал знак приближенным, чтобы те вывели его самых лучших коней.

Первым был гнедой. Выделялся он и статью, и движением, поражая мощью своей и напором.

– Хороший конь? – громко спросил владыка.

– Хороший, – согласился Толубай-сынчи. – Но это конь, а не Тулпар. Да и сдается мне, что порода у него немного подпорчена каким-нибудь безмозглым ишаком, потому он и голову вздергивает так, словно гордится, что мать его кобылица согрешила когда-то... А дурная кровь и седоку хлопот доставит...

Хохот собравшихся заставил владыку проглотить обидные слова Толубая-сынчи и он приказал приближенным вывести другого коня.

Это был чернявый.

– А этот? – хмуро спросил владыка.

– И этот хорош, – сказал Толубай. – Ноги, правда, чуть коротковаты, но это бы ничего, если б чернявый не растратил все свои силы на то, чтобы обслужить весь табун кобылиц сразу. – Переждав, когда стихнет взрыв смеха, Толубай продолжил: – А главный его недостаток в том, что у него тонка теменная кость. Когда много солнца, чернявый бессилен на скачках, он быстро устанет и далеко не уйдет. Используй его по ночам и в плохую погоду, когда нет солнца, владыка...

Теперь и владыка засмеялся вместе со всеми, а потом приказал привести своего любимца – Телкызыла.

Четверо могучих воинов, по двое с каждой стороны, вывели его на смотрины. Одновременный вздох изумления вырвался из толпы: мало кому из присутствующих здесь доводилось за всю жизнь увидеть подобного красавца. Длинные шелковые волосы гривы, переливаясь в солнечных лучах, струились от легкого дуновенья ветерка, придавая Тулпару особую красоту.

Даже людям, которые родились на крупе коня и всю свою жизнь проводили на коне, которые кормятся целебным молоком кобылиц, которые занимаются разведением коней и уходом за ними, даже тем за их долгие годы работы и жизни не часто доводилось видеть едва ли не идеальное воплощение коня. И даже неискушенному зрителю ясно было с первого взгляда, что Телкызыл необыкновенно красив, силен, быстр и вынослив.

Тем более, что на глазах у всех собравшихся четверо воинов едва сдерживали его.

– Ну, сынчи, что ты на этот раз скажешь! – не выдержав и отпихнув сидящую у его ног девушку, крикнул владыка, выглядывая из своего шатра.

Толубай, не проронив ни слова в ответ, понял, что владыка показал самого лучшего своего коня, тем не менее он только отрицательно помотал головой, всем своим видом показывая, что и этот конь, гордость владыки, для него не Тулпар.

Владыка повернулся к стоявшему невдалеке и почтительно склонившему голову Жуйкур-хану и спросил у него злобным голосом.

– Остался ли хоть один конь в этих владениях, которого бы еще не видел твой сынчи?

– Сегодня здесь побывали все кони, владыка, – ответил ему Сапа-Мылжын.

Но в это время взмахнул рукой Толубай-сынчи, требуя тишины, а потом показал в сторону подлеска. Все взоры присутствовавших устремились туда, и увидели люди, как тощая, худая кляча-заморыш, с трудом передвигая тонкие ноги, тяжело тащила на себе не очень большую вязанку сухого хвороста.

Неодобрительный ропот пробежал по толпе собравшихся людей.

Владыка жестом установил тишину и голосом, в котором легко угадывалась надвигающаяся гроза, приказал своим приближенным:

– Притащите его!

О, что тут было!

Толпа умирала со смеху. Один воин тянул за собой клячу за уздечку. Еще двое шли по обоим бокам животного и время от времени поддерживали коня, когда того заносило в какую-нибудь сторону. А еще трое воинов толкали клячу сзади, поторапливая ее, чтобы поскорее насладиться реакцией давным-давно выжившего из ума старого глупца Толубая-сынчи...

Толубай вскочил, пристально вглядываясь в приближающегося коня.

Едва только копыта серой клячи коснулись белой кошмы, Толубай подскочил к коню, словно позабыв про свой почтенный возраст, перехватил у воина уздечку, прерывистым от волнения голосом спросил у шедшего позади мужчины-толстяка:

– Ты хозяин этого серого?

– Ну, я... – лениво отозвался толстяк в дряхлой одежонке и с глуповатым лицом, не очень-то соображая, кому что нужно в невесть зачем собравшейся здесь толпе воинов и простых людей.

Толубай повернулся к владыке, сказал:

– О, владыка! Если ты и впрямь справедлив, как говорят о тебе твои верные слуги, тогда вели выколоть глаза и отрубить обе руки этому ленивому невеже, моему соплеменнику, – он пальцем ткнул в сторону толстяка, который в то же мгновение съезжился под колючим взором Толубая, – за то, что он издевался над бедным бессловесным животным, великого Тулшара в нем убивая!

– А что я... – заикаясь, пробормотал толстяк, на всякий случай отступая на несколько шагов от Толубая, – что я... Это была точно такая же ободранная кляча с разбитыми в кровь копытами, когда этот конь мне достался два года назад. Он и

сейчас остался точно таким же, хотя на нехватку травы пожаловаться не может... Хлебом, что ли, прикажете кормить эту дохлую клячу, которой и волки побрезгуют...

Жестом заставил владыка замолчать толстяка. Повернувшись к Толубаю, с угрозой сказал:

– Боюсь, как бы тебе самому не пришлось расстаться со своими глазами, выживший из ума старик, чтобы ты не морочил мне голову!

Он собрался было подойти к Толубаю, продолжавшему держать за уздечку коня, но, посмотрев на серую клячу, только брезгливо скривил рот и остановился на достаточном от них расстоянии, добавил:

– Ты отвлекаешься от главного своего занятия... Или просто хочешь нас подурочить? Учти, это дорого тебе обойдется несмотря на твои седины и на славу твою как о непревзойденном в этих краях сынчи... Я предупредил тебя, старик!

– Нет, владыка, я ни на мгновение не забывал, зачем сюда пришел, зачем привели меня твои слуги. И я знаю, чем грозит мне твоя немилость. Но, поверь, я очень доволен, что меня сюда привели, потому что вот он, смотри, настоящий Тулпар, конь, совершенно лишенный каких-либо недостатков!

И он обнял израненную шею Серого, принялся ласкать его за холку, приговаривая:

– Мой бедный Тулпар... Не увидь я тебя сегодня, и тебя загнали бы голодом и подневольной работой, для которой ты совершенно не приспособлен, просто не рожден для нее. И кто знает, когда еще в наших краях родится новый Тулпар, а если и родится – то сумеют ли люди разглядеть его вовремя... Но слава аллаху, я встретил тебя сегодня, я знаю теперь, что в наших краях у моего народа сохранился Тулпар, я знаю, теперь потомство твое будет дарить усладу детям наших детей и их детям...

– Эй, старик, ты что, совсем спятел! – вскинул голову владыка. – Неужели ты хочешь сравнить эту дряхлую ободранную клячу с моим Телкызылом?

– Конечно же нет, владыка! – воскликнул искренне Толубай-сынчи. – Твой Телкызыл действительно хороший

конь, мало какой с ним сравниться сможет, но как же я могу сравнить его с Серым Тулпаром, если твой Телкызыл не стоит не только копыта, но даже помета не стоит его!

– Эй, Жуйкур-хан! – не выдержал владыка. – Кого ты ко мне привел? Кого ты называешь сынчи несравненным? Это обыкновенный придурок, который осмелился поиздеваться надо мной! Эй, проучите его, выколите ему глаза! Все равно они ему теперь не нужны, дурной голове без глаз только легче...

Вздрогнул, выпрямился Толубай-сынчи, оглядел вмиг притихшую толпу людей, не ожидавших такого превращения праздника в жестокое представление, затем остановил свой внимательный взгляд на свирепом владыке и произнес негромко:

– Ну что же... Как стрела, выпущенная из лука не поворачивает вспять, так и слово владыки никто отменить не сможет, даже сам владыка... Я понимаю это... – вздохнул он, затем продолжил спокойно: – У меня к тебе одна только просьба, владыка. Когда твои воины выколят мне глаза, а я знаю, они это умеют, и если после этого останусь я жив, вели отдать мне эту клячу. Пусть она будет ценой за мои глаза. Я думаю, они этого стоят, владыка, в чем ты еще убедишься...

– Отдайте ему коня!

Владыка внимательно разглядывал стоящих перед ним в шатре Асыранды-султана, Жуйкур-хана и Сапа-Мылжына. Потом сказал Жуйкур-хану:

– Я недоволен тобой. Похоже, что ты, предавший народ свой, можешь предать и меня, если появится кто-нибудь посильнее... Ладно, – он жестом остановил Жуйкур-хана, собравшегося было оправдываться. – Тебя, Асыранды-султан, я назначаю ноеном моих новых земель, тебе я доверяю больше, но... – Он хлопнул в ладони и приказал слуге: – Какой ко мне! – И когда тот вошел, почтительно склонившись в поклоне, владыка сказал, к нему обращаясь: – Я назначил ноеном этих земель Асыранды-султана. Тебя назначаю правой рукой у него.

Ты должен будешь ему помочь властвовать так же умно и так же справедливо, как это умеем делать мы.

– Ты мудр и велик, владыка, – довольная улыбка тронула рябое лицо, – я понял тебя...

– А ты, Жуйкур-хан, знай великодушие мое и оцени его, ты будешь этим двоим помогать. Устраивай скачки и той, пусть люди ваших племен знают, что я принес вам праздники и счастье, озарил новым светом вашу дикую землю. Мне ваш балаган надоел! Меня другие ждут дикари, которым тоже нужны счастье и праздники, даже если они и не ведают этого. Надеюсь, когда я с новой победой вернусь, меня здесь радушно встретят преданные мне счастливые люди. Это от вас зависит, – улыбнулся владыка.

Ночь.

Слепая черная ночь.

Даже звезд нет.

Толубай лежит на кошме, глаза его завязаны белой тряпкой. Верная жена Ай-Жамал хлопочет по хозяйству, что-то ворожит у очага, ворчит:

– И зачем надо было связываться... Владыка может дать деньги, а может отнять деньги, но только добра от него никогда не дождешься... Столько лет прожил на белом свете, а таких простых вещей до сих пор не понимаешь... Ну, что ты молчишь? Язык от стыда за глупую голову отсох, что ли?

Толубай усмехнулся, приподнялся, поправил подушку, чтобы удобнее было, сказал:

– Э-э, старуха, ты не представляешь, как нам повезло! Четыре глаза – это роскошь, когда и двумя обойтись можно... Я не умер, когда мой учитель – Толубай первый, от которого я унаследовал свое умение, оставил меня одного, безоружного, перед стаей голодных волков, точно также, как Жуйкур-хан предал своего самого достойного ученика Эрбола-батыра.

Не умер я и тогда, когда первая моя жена сама ушла к другому.

Даже тогда я не умер, когда на моих глазах хоронили самого бога, хоронили как самую последнюю шлюху, потому что тогда похоронили память, а без прошлого не бывает будущего.

Даже тогда я не умер.

Что с того, если бы владыка озолотил нас? Богатство – это грязь, которую так легко смыть водой. А слава – это пепел втухшего костра, слепящий глаза от легкого дуновения ветра...

Да, нам повезло, старуха, потому что мы сохраним нашему народу Тулпара, и разве этому цена моих глаз? Когда на небе вспыхивает звезда, в своем величии подобная Манасу, никто не бережет ее, каждый уверен, что светить она вечно будет и света ее хватит на всех, а потому никто не задумывается над тем, появится ли новая звезда и как скоро она появится.

Даже когда держишь в руках полуистлевший череп настоящего Тулпара – все равно гордостью наполняется сердце, потому что знаешь, что это – твоя земля, что на твоей земле когда-то был настоящий Тулпар, пусть и не замеченный теми, кто рядом с ним жил.

И все-таки много важнее найти живого Тулпара, а не только память о нем.

Нам повезло, старуха, мы сохраним истоки Тулпара, мы крылья теперь сохраним, на которых когда-нибудь поднимется наш народ. Пусть даже сейчас народ и не знает об этом...

Такие слова произнес Толубай, и Ай-Жамал выслушала его, ни разу не перебив. И только когда замолчал Толубай, произнесла она:

– Ты хорошо говоришь, старик, а кто говорит хорошо – от тех и уходят жены... Скажи-ка мне лучше, чем будем лошадь кормить, чтоб эта кляча не сдохла?

– Чтобы прокормить лошадь – травы нам хватает пока. Но чтобы разбудить в нашем сером Тулпара, надо найти серый степной буркун, горный типчак и черные слезы орла, а из них приготовить целебный отвар. И это сделаешь ты, старуха!

– Оставить тебя одного, слепого! – причитать готовясь, всплеснула руками жена.

– За меня не волнуйся, старуха, люди не дадут умереть мне с голоду. Иди, помоги мне.

Вдоль небольшой речки, огибающий горный склон, неспешно идет Ай-Жамал, внимательно глядя на расстилавшееся под ногами буйно-веселое разноцветье и разнотравье. Время от времени она наклонялась, срывая попавшийся горный буркун и складывая крохотные невзрачные цветы в большую холщовую сумку-курджун, переброшенную на тесьме через плечо.

Откуда-то издали слышались удары топора, и по мере продвижения Ай-Жамал звуки топора становились все громче и громче.

Ай-Жамал поднимает взгляд и вздрагивает от неожиданности: вдоль речки высится ряд совершенно голых тополей, не только ветвей лишенных, но и коры, а потому тополя те больше на столбы похожи. А вдали возле еще пока живого тополя копошится человек, обрубая ветви и сдирая с дерева кору.

Подойдя к человеку вплотную, Ай-Жамал возмущенно спросила:

– Зачем ты делаешь это?

Человек опустил топор. Это был юноша, один из пленённых воинов дружины Эрбола. Голова его была замотана черной тряпкой, а мускулистое тело по пояс обнажено.

Юноша спокойно посмотрел на Ай-Жамал и равнодушно ответил:

– Хозяин сказал, чтобы я корм заготовил. Траву я скошил, но этого мало, вот и обдираю деревья.

– Но здесь же потом ничего не будет расти! – воскликнула Ай-Жамал.

– Земля велика, а хозяин сказал, чтобы я много корма заготовил, – спокойно повторил юноша. – Иди, женщина, у меня мало времени.

– Отдай топор! – Ай-Жамал протянула руку.

Юноша покрепче сжал топориче в руке, в глазах его сверкнула злоба.

– У меня мало времени, – произнес он, – иди, женщина, не мешай мне.

Он толкнул Ай-Жамал в грудь, та сделала несколько шагов назад, оступилась, упала. Поднявшись, посмотрела на юношу. Тот, не обращая на нее внимания, продолжал обдирать ствол тополя.

Она шла теперь уже по степному разнотравью, иногда наклоняясь и срывая попадавшиеся крохотные желтые цветы и складывая их все в ту же холщовую сумку-курджун. Степная тишина не отвлекала ее, наоборот, помогала сосредоточиться на своем занятии.

В один из дней она вдруг увидела табун лошадей, за которым следил табунщик.

С черной повязкой на голове, громадного роста, человек, табуном управлявший, был очень жесток, и это легко было заметить по тому, как нещадно гонял он лошадей по степи, а случись какому-нибудь из животных увязнуть в топи, как хлестал ту камчой до кровавых рубцов на гладких боках.

Но вот увяз конь под самим седоком, тот несколько раз сильно ударил его камчой, а когда и это не помогло, он ударил коня по голове рукоятью камчи со всего размаха, и животное сначала покорно рухнуло на колени, а потом и вовсе завалилось на бок, едва не прижав под собой седока, который лишь в последнее мгновение сумел вынуть ноги из стремян.

Что ты делаешь! – не выдержав, закричала Ай-Жамал, подбегая к упавшему на землю коню.

– А тебе что за дело? – отряхнувшись, спокойно посмотрел на нее человек.

– Он же возит тебя, как же можно безжалостным быть к тому, кто служит тебе?

– А что жалеть, вон их сколько, – голос человека был ровным, совершенно спокойным. – И любой повезет меня, и посчитает это за честь и за благо. – Он оставил коня лежащим и приблизился к женщине, спросил: – А ты кто такая и как ты попала сюда, во владения моего табуна?

– Я траву ищу... – тихо сказала Ай-Жамал.

– Вот и ищи в степи, здесь много чего можно найти. А я тороплюсь, мне надо сделать из этих коней настоящих тулпаров, чтобы гордиться ими смог мой хозяин великий, чтобы воины его поражений не знали в боях. А ты иди своей дорогой.

Сказав так, человек пошел к табуну. Кони судорожно задрожали, заслышав его крик, расколовший, казалось, звонкую степную тишину, и тем не менее ни один из коней и движения не сделал малейшего, чтобы убежать, чтобы спастись, будто вкопаны были животные, страхом удерживаемые на месте.

Солнце перешло на вторую сторону своего полушария. Откуда-то из-за горизонта выползла черная туча, закрыла солнце. Поднялся ветер. Закрапал дождь.

Ускорила шаг Ай-Жамал, озираясь в безбрежной степи в попытке найти хоть какое-нибудь укрытие.

Спустившись на дно пологого оврага, она вдруг, за одним из крутых поворотов, наткнулась на загон для овец, где было не менее сотни черных курдючных баранов, мясо которых ценится особо. Там же было заготовленное сено, небольшой навес, под которым висело семь не так давно освежеванных огромных волчьих шкур.

Оглядевшись и убедившись, что вокруг никого нет, Ай-Жамал не без любопытства обошла немудреное хозяйство какого-то пастуха-кочевника, в любую погоду и в любое время года остававшегося на своих выпасах.

Полуземлянку нашла она, в общем, случайно. Искусно вырытая в откосе оврага, она обросла густой травой и по бокам, и сверху, а потому была почти незаметна для постороннего взгляда. Отодвинув полог, скрывавший вход, Ай-Жамал переступила порог, постояла в ожидании, когда глаза привыкнут к сумраку, после чего неспешно огляделась.

Неприметная сверху и вообще снаружи, полуземлянка оказалась довольно просторной внутри. Посередине землянки черные угли свидетельствовали о том, что здесь часто разжигают костер. Ай-Жамал подняла взгляд и увидела

небольшое отверстие наподобие тюндюка в юрте. В самом дальнем углу землянки на голом земляном полу валялась растеленная черная овечья шкура с полуистлевшим мехом, судя по всему служившая местом для сна. Рядом лежали прокопченный чугунный котелок для приготовления пищи, а в нем – ложка...

Ай-Жамал тяжело вздохнула, глядя на примитивное жилище скотовода-кочевника, по сравнению с которым даже бедняцкая юрта одинокой женщины могла бы показаться поистине верхом роскоши, представила тяжелое существование здесь... К тому же, все убранство землянки говорило о том, что здесь наверняка жил кто-то из ее соплеменников.

Но долго печалиться ей не пришлось. Чуткий слух уловил неторопливый топот копыт.

Ай-Жамал отступила в сторонку, ожидая появления хозяина землянки.

Вошел человек с обмотанной черной тряпкой головой. По обросшему и грязному лицу скотовода трудно было определить его возраст.

Не обращая внимания на женщину и на ее приветствие, человек прошел к овечьей шкуре, молча лег, растянувшись во весь рост на спине.

Вглядевшись в лицо человека, лежавшего с закрытыми глазами, заметив неуловимо знакомые черты, Ай-Жамал, чуть поколебавшись, спросила:

– Скажи, добрый человек, не Эрбол ли ты, батыр из малого племени?

Человек, даже не открыв глаза, не повернув головы, равнодушно произнес:

– Ну и что?

– Я – жена Толубая-сынчи, тоже из малого племени, насколько тебе это имя?

– Ну и что?

Ай-Жамал стало не по себе и она, словно оправдываясь, сказала:

– Меня дождь застал в пути, а здесь я ищу черные слезы орла. Они мне нужны, чтобы разбудить Тулпара для нашего

народа. Так говорит Толубай-сынчи... Когда кончится дождь, я уйду...

– Твое дело, – все так же равнодушно произнес человек. Потом он поднялся, начал разводить огонь, на него поставил кипятиться чугунный сосуд с водой.

Ай-Жамал спросила:

– Я скоро вернусь в аил, может, что передать от тебя кому-нибудь?

– Оуф... – вздохнул человек.

– А может, тебе что-нибудь нужно, назови, я скажу айльчанам, – не унималась Ай-Жамал.

– Скоро хозяин придет... – в ответ ей сказал человек, подкладывая хворост в огонь.

– Но хоть что-нибудь хочешь же ты? – все пыталась пробиться до его мысли Ай-Жамал.

– Я хочу серебряный пояс.

Ай-Жамал удивленно посмотрела на человека, поверх овечьей куртки которого красовался широкий серебряный пояс с большой бляхой.

– Вот такой же? – спросила она и ткнула растерянно пальцем в бляху.

– Да! – человек явно подчеркивал свое заветное желание занять еще один пояс.

– Но у тебя же есть?

– Я хочу второй.

– Зачем?

– Когда у меня будет два серебряных пояса, мне разрешат пасти две отары.

– Кто разрешит?

– Хозяин!

– И это все, что ты хочешь? – Ай-Жамал внимательно посмотрела в его немигающие глаза. И отшатнулась, заметив в них какую-то недобрую искру.

– Гы, хочу... – глаза человека заблестели, рот растянулся в улыбке.

– Ты что, сынок... – отодвинулась Ай-Жамал.

Но человек схватил ее за плечо, рывком подмял женщину под себя.

Ай-Жамал вскрикнула, сделала слабую попытку освободиться, но человек был слишком силен, чтобы эта попытка возымела хоть какое-нибудь заметное действие на него...

Ай-Жамал затихла под ним, ее широко раскрытые, остановившиеся глаза смотрели на отверстие в потолке, сквозь которое видно было серое небо. Из глаз ее стекали крупные слезы.

– Боже мой, – почти не разжимая губ, чуть слышно прошептала она. – Что с тобой они сделали...

Через некоторое время человек вышел из своей землянки и печерный воздух разорвал его громкий животный хохот, от которого всполошились овцы в загоне, а привязанный конь испорщил в испуге и забил копытом.

Перед землянкой под навесом жарко полыхал костер. Какой и Жуйкур-хан восседали на стопках бархатных одеял. Стопка под Асыранды-султаном была заметно выше.

Джигит, низко согнувшись, протянул Жуйкур-хану блюдо с бараньей головой и дымящейся горой мяса вокруг нее. Жуйкур-хан, приняв блюдо, подал его, тоже низко склонившись, Асыранды-султану. Это не понравилось Какаю, и Асыранды-султан быстренько переставил блюдо к нему, почтительно сказав:

– Тебе голова положена...

Какай брезгливо поморщился, презрительно посмотрел на Жуйкур-хана, взял облюбованный кусок мяса, положил себе на серебряную тарелку, достал из-за пояса небольшой острый нож и, отрезая небольшие кусочки, принялся неторопливо жевать, ни на кого не глядя.

Жуйкур-хан после некоторого замешательства тоже взял себе кусок мяса, баранью голову вернул джигиту, блюдо же с мясом оставил возле Асыранды-султана.

Сапа-Мылжын с трудом сдержал в себе ехидную ухмылку, швырнул себе кусок мяса.

Трапеза продолжалась в тишине, изредка нарушаемой потрескиванием костра.

Помешивая кипящий отвар, Ай-Жамал ворчливо говорит Толубаю-сынчи:

– И в горах побывала наших Великих, и Великой степью прошла – пустой стала наша земля, не осталось, старик, настоящих людей. А кого повстречать доводилось – будто кошмы серые...

– Я знаю, – отвечает старик, – поправляя черную повязку на своих глазах. – Когда бог умирает, земля всегда наполняется грехом.

– Для кого же тогда, скажи мне, мы Тулпара выхаживаем? Нам-то жить немного осталось совсем, а там, куда мы уйдем, тулпар никому не нужен.

– Для них, для тех, кому неведома святость матери. При этих словах мужа вздрогнула Ай-Жамал, посмотрела на него, но Толубай-сынчи был далек мыслями от земной суеты, он продолжал:

– Тулпар их разбудит, лучше женщины разбудит. Да и для себя тоже. Надо возвращать, когда что-то берешь. Не годится, старуха, в наших годах должниками ходить, и впрямь у нас времени мало...»

– Ты хочешь Серого отдать?

– Я хочу вернуть долги.

Предрассветное утро.

Шумно возле землянки Эрбола.

Джигиты седлали коней, навьючивали верблюдов тюками с бархатными одеялами, дорогой посудой. Воины, позевывая, наблюдали за сборами.

Какой знаком подозвал к себе Эрбола, добродушно сказал ему:

– Я доволен тобой, Эрбол. Мясо у баранов жирное, да и приплод неплохой, значит, ты хорошо за ними

присматриваешь. Ну, а как обстоят дела с лошадьми, все ли целы они у тебя?

– Все целы, хозяин! – лицо Эрбола расплылось в довольной улыбке.

– А волки нападали?

– Семь волков, хозяин.

– И что?

– Вот они, мой хозяин... – и Эрбол показал на шкуры, висевшие под навесом.

– Как ты справился с ними?

– Руками, хозяин...

Эрбол был доволен, что хозяин спросил у него про волков, что он может похвастаться сейчас, и он протянул ему свои надубелые от ветра и мороза, испещренные шрамами, мозолистые руки.

– Молодец, – похвалил его Какай, и на лице Эрбола снова появилась довольная улыбка. – А как в этих краях с дичью? Ты не страдаешь без мяса?

– И зайцы есть, и сайгаки, хозяин, капканы редко пустыми бывают.

– Поведешь нас на охоту?

– Конечно, хозяин!

– Сам-то из лука стрелять не научился еще?

– Не знаю, хозяин...

– Посмотри... Эй!

Один из воинов подбежал к Какаю, заметив его поднятую руку.

– Дай лук ему и стрелу.

Воин исполнил приказ.

– А ну... – Какай сорвал с головы Жуйкур-хана тебетей, подбросил высоко в воздух:

– Стреляй!

Мгновенно преобразился Эрбол, напрягся каждой клеткой своей, выстрелил почти не целясь, и стрела пронзила тебетей насквозь. Засмеялся Эрбол ровным бесстрастным смехом, радуясь своей удаче.

Засмеялся и хозяин, когда ему услужливо подали прострелянный тебетей и он просунул палец в дырку.

У Жуйкур-хана смех получился жалким, вымученным. Он взял протянутый Какаем тебетей, нахлобучил на голову.

Только один Сапа-Мылжын смеялся весело, от души.

Люди дали волю себе. Они метались по высоким и густым зарослям камыша в поисках добычи, и стоило появиться зайцу, лисице или куропатке, тут же первую стрелу выпускал Какай, а за ним и все остальные, после чего любая живность была буквально нашпигована стрелами.

Но так было до тех пор только, пока по приказу Какая не дали стрелы Эрболу. За ним никому поспевать не удавалось, даже самому Какаю...

Все сильнее хмурился Какай, наблюдая, как разгорались глаза Эрбола от охотничьего азарта. Он давно уже перестал стрелять сам, лишь, сощурившись, покусывал верхнюю губу.

Неожиданно Какай остановил свой взгляд на мелькавшем в камышовых зарослях рыжем тебетее Жуйкур-хана, увлеченного охотой. Какай ткнул в его сторону пальцем, воскликнул:

– Эрбол, лиса!

Эрбол оглянулся и, почти не целясь, выстрелил. Стрела, тоненько свиснув, вонзилась под правое ухо Жуйкур-хана и тот, даже не вскрикнув, кулем свалился с коня.

Испугался Эрбол, настороженно посмотрел на хозяина, но тот похлопал его по плечу, успокаивая, потому добродушно улыбнулся, сказал:

– Ну, ничего, ничего, одним больше, одним меньше... Держи, ты заслужил... – и милостливо протянул Эрболу второй серебряный пояс – мечту покорного раба. – Скоро владыка вернется, – произнес Какай, с усмешкой глядя, с каким восторгом Эрбол цепляет на себя второй пояс, – что попросить у него для тебя?

– Гы, – утробно гоготнул Эрбол. – Женщину попроси у него для меня...

– Будет у тебя баба! – улыбнулся такому желанию Эрбола Какай.

— Гы-гы-гы... — звериный хохот Эрбола отразился в его сумасшедше-счастливых глазах. Он подпрыгнул от радости, схватил полный колчан стрел и одну из них вложил в тетиву.

Первым, зажав руками пронзенное горло, упал Какай. Следующей жертвой диких стрел Эрбола стал сам Асырандысултан. Сапа-Мылжын попытался было на четвереньках скрыться в зарослях кустарника, но стрела вонзилась ему в затылок, и он ткнулся лицом в пожухлую колючую траву, дернулся и затих.

Счастью Эрбола не было предела. Он вскочил на коня и теперь кружил на нем, уничтожая все живое вокруг: людей, животных, птиц... В страхе металась все в поисках спасения, однако безжалостные и меткие стрелы Эрбола все равно настигали их.

Вскоре одно только солнце и один только ветер подавали признаки движения. И в солнце, и в ветер пустил свои стрелы Эрбол, и стих ветер, и померкло солнце...

Настало время, когда Толубай велел своей жене Ай-Жамал выводить Серого Тулпара на свет.

Несколько любопытных, с самого начала наслышанных про всю эту историю и крутившихся возле жилья Толубая все эти дни, ахнули от удивления, когда Ай-Жамал выполнила волю мужа, потому что перед их взорами предстал совсем другой серый — с горящими, как у архара глазами, с шелковой гривой и пушистым, будто ковыль, хвостом. Спина же у Серого Тулпара такой ровной была, что на нее легко можно было бы и постель постелить с уверенностью, что она не упадет...

Да, от памятной многим серой замухрыханной клячи не осталось и следа, и будь порелигиознее люди в те времена, то легко могли бы обвинить Толубая-сынчи в простом колдовстве, поскольку в колдовство куда легче и проще было бы поверить, нежели согласиться с тем, что из клячи-заморыша можно взрастить такого красавца-коня, великого Тулпара.

Толубай-сынчи пальцами прощупал каждую мышцу Серого Тулпара, потом повернулся к своей старухе. Лицо его выражало

полнейшее удовлетворение. И он твердо, не допуская возражений, сказал:

– Седлай, старуха, в сером проснулся Тулпар, и теперь нет ему равных! Владыка возвращается с новой победой, нам надо встретить его достойно...

... На оседланном Сером Тулпаре ехали Толубай-сынчи со своей Ай-Жамал. Толубаю, конечно, пришлось ей доверить повод, а сам он пристроился сзади, держась руками за ее талию.

Они знали, Толубай-сынчи и Ай-Жамал, куда они держат свой путь, и встреча не могла не состояться. Но если Ай-Жамал знала, как начнется встреча, то Толубай-сынчи знал и чем она закончится.

Вот впереди показалась свита владыки, возвращавшегося с очередной победой после удачного похода. Много людей вышло встречать владыку, чтобы продемонстрировать ему верность свою, а так же полную свою благонадежность и преданность.

Встреча Толубая-сынчи и владыки со своей свитой случилась почти у красных скал, возле которых когда-то решилась судьба Эрбола и его отважных воинов, потерпевших там поражение.

Толубай, заслышав приближение владыки, попросил жену остановиться на достаточном расстоянии от весело смеющихся, вооруженных луками и копьями воинов. Выждав, когда смех чуть поутихнет, Толубай громко крикнул:

– Эй, владыка!

И горы усилили голос Толубая-сынчи, словно и они старались придти на помощь старику и старухе... Услышав, что воины владыки стихли, замерли, остановив своих коней, Толубай повторил, но теперь уже более тихим и спокойным голосом:

– Эй, владыка!

– Я здесь, – ответил спокойно владыка, – я тебя слушаю, чего ты хочешь?

– Посмотри, владыка, узнаешь ту самую клячу, серую клячу, которую ты подарил мне взамен моих глаз? Узнаешь? Да, я сам отчасти виноват, что поверил тебе в твоём намерении, будто ты и в самом деле искал настоящего Тулпара. А тебе важнее всего вызвать восторги и льстивые похвалы. Ты занят своей властью, что тебе до настоящего Тулпара, который может стать гордостью народа, да еще порабошенного тобой народа!

– Что за ерунду ты несешь, старик! – Из голоса владыки исчезло добродушие.

– Ты узнаешь ту клячу?

– И что? Даже сейчас мой Телкызыл выглядит куда сильнее и мощнее твоего серого коня, или как ты его там назвал, хотя, должен признаться, выходил и выкормил ты его неплохо...

– Если ты уверен, что твой Телкызыл сильнее моего Серого Тулпара, тогда попробуй догнать нас, хотя мы по-прежнему будем сидеть вдвоем со старухой на нашем коне. И если тебе удастся догнать нас, я тогда соглашусь принять любое твое наказание...

– А что тебя наказывать, – усмехнулся владыка, – ты и без моей помощи со дня на день простишься со своей жизнью, так есть ли смысл тратить на тебя мои силы и время, да и силы и время моих воинов.

– Я не знал, что ты так глуп, владыка, – серьезно, без тени иронии произнес Толубай. – Разве не знаешь ты о том, что один только бог ведает, кто и сколько дней проведет на земле...

– Здесь, на земле, Я твой бог!

– Не смейся людей, владыка! – засмеялся Толубай-сынчи. – Здесь, на земле, ты самый обыкновенный убийца, только облаченный властью.

Неожиданно в разговор между владыкой и Толубаем вступила Ай-Жамал:

– Конечно, у такого поганого владыки, каким являешься ты, вряд ли когда-нибудь появится желание побороться в честном поединке. Тебе лишь бы набить свой желудок да путаться в штанах своих грязных шлюх, на утехе лишь только и способных...

– Эй, воины! – вскинулся владыка, сдерживая своего Телкызыла. – Схватите обоих и приведите ко мне, я сам отрежу

их поганые языки. Какай, Асыранды-султан, Жуйкур-хан где вы, черт бы вас побрал! Почему так распустили народ, что иные несут всякий бред, позабыв о всяком почтении к владыке!

– Ха! – засмеялся Толубай-сынчи, высоко и гордо подняв голову. – Они, новые слуги твои, предавшие свой народ, как шакалы голодные перегрызли глотки друг другу, деля твои подачки, их уже не догнать тебе... Теперь попробуй-ка догнать меня и мою старуху, и тогда я позволю тебе отрезать мой хрен!

– А я кое-что у себя отрежу, – продолжала злить владыку и жена Толубая, – и пусть твои верные воины сделают из нее удобный для тебя ошейник!

И толпа встречавших, и воины владыки не удержались от смеха после этих слов Ай-Жамал, и это совершенно взбесило владыку.

А Толубай-сынчи развернул Серого Тулпара и легонько пришпорил его, чутко прислушиваясь к происходящему сзади. Воины во главе с разъяренным владыкой, подбадривая себя истошными криками, бросились за ними вдогонку, не жалея своих коней.

Сначала все догонявшие сгрудились в одну беспорядочную кучу, но со временем наиболее горячие, азартно пришпоривая своих коней, вырвались вперед, а потому вскоре преследователи вытянулись в один длинный ряд, будто журавлиная цепочка в небе... А впереди всех, словно возглавляя необычную гонку, легко мчался Серый Тулпар, и старик со старухой сидели на нем, как в лодке, скользящей под парусом по гладкому озеру, хотя под копытами то и дело встречались неровности.

Долго ли, коротко ли продолжалась это необыкновенная погоня, главным призом в которой были даже не жизнь или смерть Толубая-сынчи и Ай-Жамал, а нечто куда большее и важное...

Но вот настало такое время, когда один из преследователей приблизился на такое расстояние, что должен был уже вот-вот нагнать Серого Тулпара, а всадник приготовился схватить

беглецов, и старик уже слышал напористый храп коня и злобное дыхание воина.

– Оглянись-ка, старуха, – попросил жену Толубай, – и скажи мне, что за масть у этого коня, который приблизился к нам почти вплотную.

– Гнедой, – оглянувшись, ответила она.

– А, так я и знал... – пробормотал Толубай-сынчи. – Ну-ка, старуха, направь нашего Серого Тулпара на неудобную каменистую тропу. Мне кажется, повадки ишака должны сказаться в гнедом...

Старуха исполнила волю Толубая, и тот оказался прав. Гнедому вскоре надоело пересчитывать копытами камни, он резко остановился, и седок перелетел кубарем через его голову, бездыханно распластался на жесткой каменистой земле.

Продолжилась скачка. Иные из отставших воинов уже повернули своих коней назад, но наиболее горячие поддались азарту, продолжали погоню. И вот еще один всадник начал приближаться к беглецам, готовясь в скором времени схватить их.

– А теперь кто нагоняет нас? – услышав близкий стук копыт, спросил Толубай у жены.

– Чернявый, – ответила Ай-Жамал, оглянувшись.

– Ну, тогда направка нашего Серго Тулпара против солнца...

Ай-Жамал выполнила волю мужа, легким движением поводьев направила Тулпара в сторону солнца. Но все же, казалось, чернявому скакуну и его седоку-воину уже ничто не сможет помешать в самом ближайшем времени настичь Серого Тулпара...

Прошло еще несколько мгновений погони, и вдруг круп чернявого коня покрыли мелкие бисеринки пота, и вот он уже живо сбавил шаг, и даже сейчас, летом, было отчетливо видно, как из его широко раздувшихся ноздрей повалил густой пар.

И хотя всадник безжалостно бил своего коня камчой, отчаянно лупил его пятками по бокам, но все оставалось напрасным: Серый Тулпар уходил от погони все дальше и дальше, а чернявый скакун, вконец обессилев, по инерции сделал еще с десятков шагов, потом совсем остановился,

несколько секунд постоял на месте, пошатываясь, а затем и вовсе рухнул на землю горячую, опаленную солнцем, подмяв под собой седока...

Прислушавшись и не ощутив близкой погони, Толубай сказал жене:

– Пока поотстала погоня, дай нашему Тулпару чуть-чуть отдышаться, направь его на равнину.

Недолго, однако, длилась передышка у Толубая-сынчи, Ай-Жамал и Серого Тулпара, и вскоре они вновь услышали топот настигающего их коня. К этому времени они мчались по ровному мягкому полю, и пыль, вырывавшаяся из-под копыт двух скакунов, вверх поднималась лишь после того только, когда всадники оказывались уже далеко впереди.

И вновь обратился Толубай к своей жене:

– А это что за скакун?

– Гульсары, – ответила она.

– Да, Гульсары и в самом деле нет цены, да вот только показалось мне тогда на смотринах, что копыта у него недостаточно крепки для настоящего Тулпара. Ну, что, проверим? Попробуй-ка, старуха, повернуть нашего Серого туда, где овраги и речки...

И сейчас, несмотря на то, что Ай-Жамал быстро исполнила волю мужа, поначалу казалось, что действия эти не дали никакого преимущества Серому Тулпару, но едва только воин владыки потянулся схватить Серого за уздечку, перед всадниками оказалась небольшая речушка, почти не заполненная водой.

Серый Тулпар прыгнул через речушку подобно элику. Сначала он взмыл стрелой вверх, затем полетел прямо и лишь только после этого плавно опустился всеми четырьмя копытами на землю.

Гульсары почти полностью повторил маневр Серого Тулпара, но, похоже, толчок у него был чуть слабее, а потому задней ногой он чуть оступился, провалился в воду. И этого оказалось вполне достаточным для того, чтобы Серый Тулпар

со своими всадниками оказались недостижимыми для преследователей.

Раздосадованный неудачей воин изо всех сил ударил рукоятью камчи по голове Гультары, и скакун замертво рухнул под ним...

И долго еще, отшвырнув камчу, сидел на берегу речушки воин владыки, равнодушно и безучастно наблюдая, как буквально перелетел преграду Телкызыл, как перебирались через нее остальные воины-преследователи, большей частью вброд, конечно...

Неважно, сколько времени еще прошло с начала этой удивительной скачки, но когда Серый Тулпар мчался уже по бескрайним пескам пустыни, его стал настигать сам владыка на своем Телкызыле.

Серый Тулпар вел себя подобно лисице, убегающей от гончей собаки: он то ускорял свой бег, когда Телкызыл приближался, или, наоборот, слегка замедлял свой бег, когда тот отставал слишком далеко.

И все дальше и дальше они уводили за собой преследователей в безбрежные горячие пески...

– Не настала ли нам пора, старуха, наконец-то свести счеты с этим кичливым самодуром владыкой? – спокойно спросил у жены Толубай, когда окончательно убедился в том, что остальные преследователи далеко отстали, что один только владыка остался здесь.

– Что ты, с ума совсем спятил, старый! Как же ты собираешься сделать это, когда владыка мчится за нами следом с обнаженной саблей, а мы с тобой – два дряхлых калеки? – не на шутку испугалась старуха. – Хотя, конечно, ты не видишь его лица, искаженного дикой злобой, но уж поверь мне, что самое лучшее для нас с тобой – это умчаться подальше...

– Не бойся, старуха, – уверенно произнес Толубай, – даже пусть я теперь ничего и не вижу, но я и так хорошо представляю, какой злобой искажено лицо владыки. Да только не поможет ему сегодня его острая сабля! Да, я не спорю,

Телкызыл очень хороший, конечно, Тулпар, и слабостей нет у него, но все равно он никогда не настигнет нас, никогда, поверь мне, старуха... Очень уж любит он, Телкызыл, когда его хвалят, как и его хозяин, впрочем. И очень легко его бег сбить неумеренной похвалой... Так что, попридержи нашего Серого Тулпара, старуха, я немного побеседую с Телкызылом.

Ай-Жамал, опасливо оглядываясь, слегка натянула поводья. И в то мгновение, когда расстояние между Серым Тулпаром и Телкызылом сократилось, Толубай-сынчи, полуобернувшись, заговорил с ним, подчеркивая свое восхищение:

– Бог мой, конь ли это! О нет, это истинный, несравненный тулпар! Да нет, это даже не просто тулпар, это скорее орел-шумкар, парящий стремительно в небе, соревнующийся в своей стремительности с полетом сокола! Ни земля, ни небо, сколько они существуют, еще не видывали подобного тулпара! Ах, что за бег у него, ах, как красиво развеивается его грива, а стук его копыт достоин самой прекрасной песни!...

Разгорячился Телкызыл, рванулся вперед, с такой стремительностью обогнав Серого Тулпара, что владыка не успел даже саблю свою поднять... Окрыленный неумемной похвалой, Телкызыл буквально стал неуправляем, и сколько ни пытался владыка усмирить его, чтобы приблизиться к Серому Тулпару, ему это никак не удавалось, что приводило его в еще большее бешенство.

А Толубай-сынчи, слыша, понимая и представляя все происходящее вокруг, продолжал нахваливать Телкызыла, не жалея для него самых хвалебных слов и восхитительных сравнений:

– Ай да молодец! Нет, вы только посмотрите на него, вы только полюбуйтесь им! Какая грация в его движениях, какая восхитительная красота, как изящны его прыжки, напоминающие полет птицы!...

Толубай и Ай-Жамал на своем Сером Тулпаре давно уже стояли на одном месте, не двигаясь, а Телкызыл все носился вокруг них вместе с владыкой, танцуя и прыгая, приводя в настоящую ярость владыку, которому никак не удавалось совладать с ним.

— Нет, он и впрямь велик, этот замечательный тулпар Телкызыл, все остальные тулпары по сравнению с ним обыкновенные клячи, годные разве что воду возить и навоз! О как он прекрасен, этот тулпар Телкызыл, о как он велик в своей красоте! И небо, и горы, и степи, даже солнце само и вселенная вся должны быть ему благодарны за то, что он всех осчастливил явлением своим! О нем будут легенды слагаться, передаваясь из уст в уста другим поколениям. Неблагодарные люди! Они до сих пор все еще песни о нем не сложили. Восхваляя владыку, совсем позабыли о чудо-тулпаре, имя которому Телкызыл, а ведь без тулпара не быть бы владыке владыкой, он был бы обычным смертным, он вознесся так высоко лишь только благодаря тому, что есть у него такой тулпар!

О, что творилось с Телкызылом! Казалось, вот-вот он и впрямь взлетит, оторвется от земли, сметая на своем пути все существующие преграды, чтобы парить словно птица-шумкар...

Но если хвалебные слова Толубая возносили Телкызыла, еще больше горячили ему кровь, то слова о владыке привели того в бешенство, и он тоже потерял власть над собой. Забыв обо всем на свете, владыка ударил коня по голове своей саблей...

Рухнул Телкызыл, придавив своим телом хозяина. Когда же владыка, изрыгая проклятия, выбрался из-под него, отряхиваясь от песка, сжимая в руках окровавленное оружие, Толубай, поняв то, что произошло, крикнул ему:

— Эй, владыка! Теперь ты убедился, что я — настоящий сынчи? Я указал тебе на единственного Тулпара, который остался у моего народа! Но ты был слеп, хотя и имел глаза, ты был слеп от своей безграничной власти, поэтому воспринял правду как оскорбление, владыка! И я счастлив, владыка, что ты не поверил мне! Пусть даже это и стоило мне моих глаз... Но это хорошая плата за то, чтобы народ мой имел Тулпара!

За свои глаза я сполна отомстил тебе, владыка. Отсюда, где сейчас ты стоишь, на самом хорошем скакуне два дня добираться до места, где можно было хотя бы поток воды отыскать. Теперь прощай, владыка! Ты отнял у меня глаза, но, слава аллаху, я успел подарить моему народу настоящего Тулпара, и его потомство еще принесет нам славу. Прощай!

Толубай тронул за плечо Ай-Жамал, крепче ухватился за ее талию. Ай-Жамал развернула своего Серого Тулпара и они умчались в даль пространства, за собой оставив лишь облако пыли.

А разъяренный владыка долго еще рубил своей саблей песчаные барханы, вымещая бессильную злобу на зыбком бездушном песке, пока не упал, обессиленный...

... Алыкул обратил взгляд к опускающемуся пурпурному зимнему солнцу, вслушиваясь в песнь-причитание, в гимн памяти человеческой, сохранившей веками сказание о Тулпаре.

– Тулпар – это ветер, огибающий горы и степи, Тулпар – это солнечный луч, утро дарующий людям. Тулпар – это избранный путь, который пройти предстоит. Тулпар – это верность...

Так человек, талантом отмеченный, верен своей мечте – высокой звезде. Едва появившись на свет, еще не умея ходить, садится в седло человек. И потом, до последнего шага мечтает хотя бы однажды схватить за уздечку Тулпара, чтоб звезды достать рукой.

Да будет судьба благосклонна, да станет Тулпаром она и к звездам поднимет тебя, человек!

Но, оседлав Тулпара, помни всегда человек:

не зверь, не дерево, не трава – человек сотворил колыбель измены и предательства

сотворил человек, не помнящий первой любви своей

сотворил мужчина, не познавший подвига своего

сотворил ребенок, покинутый матерью и отцом

сотворил народ, позабывший корни свои

и на той земле, после той колыбели, не взрасти дереву плодоносящему, а если и зацветут ветви на том дереве, то явится из тех цветов забвенья дурман и не приведи Господь оказаться человеку – хоть в чем-то, хоть в самой малости своей, хоть мимолетно, хоть в движении неприметном – не приведи Господь оказаться человеку без памяти...

Так звучала та песнь и так звучал тот плач.

Прошлое и будущее. Нынешние потрясения уводили Алыкула в глубины памяти, где вольно чувствовали себя легенды, некогда рассказанные Оогонбаем. Они же, потрясения, заставляли вглядываться вперед, в то, что еще только будет. Обостренные одиночеством размышления еще ярче высвечивали происходящее, он видел творимую несправедливость и предчувствовал ее последствия, на себе испытывая сладость любви и кнут власти.

Алыкул осознавал, что не обладает такими бойцовскими качествами, как Жоомарт Бокомбаев, не имеет такого авторитета, как Аалы Токомбаев, и не так любим народом, как Жусуп Турусбеков, но уже понимал, что время – лучший судья происходящих событий, что только время определяет каждому его место на земле.

Вот и в поэме «Толубай сынчи», он, описывая скакунов, наделил их теми качествами, которыми отличались окружавшие его люди, себя представляя в роли забитой серой овчарки, в которой живет непревзойденный Тулпар.

Нет, это не было гиперсамоуверенностью вдруг оказавшегося в опале поэта. Да и откуда было взяться самоуверенности на высокогорных сыртах или возле голубой глади безбрежного Нысык-Куля, когда остаешься один или находишься в окружении простых тружеников, которым пока еще не ведомы такие понятия, как национализм, шовинизм, карьеризм и порожденное ими киргизское понятие жыргализм, предлагавший ограничиться полным равнодушием к происходящему, хмельным ничегонеделанием.

Скорее, то была трезвая самооценка поэта, не оглушенного незаслуженной обидой и преследованием, а ясно видевшего и понимавшего реалии сложного времени, когда несмотря ни на что выпрямлялся, мужал киргизский народ, закладывал фундамент профессиональных начал во всех житейских и духовных сферах своего бытия, отдавая себе отчет в том, что явилось движущей силой самосознания. Ибо не пройдет и сорока лет и благодарные потомки назовут Алыкула Осмонова первым лауреатом премии Ленинского комсомола республики,

как и легендарного Николая Островского, давно признав в нем непревзойденного тулпара киргизской поэзии.

Пока же Алыкул – обыкновенный двадцатитрехлетний юноша, как и все влюбленный в жизнь и единственно по-осмоновски – в девушку Айдай.

В глубокой небесной сини сталкивались полчища белых и черных туч и облаков, будто ушедшее лето и грядущая зима выясняли отношения, а наступающая осень мирила их, смешивая пронизывающим холодным ветерком. Но едва только солнце отрывалось от макушек заснеженных гор, как его лучи дарили уверенность в бесконечности тепла на Земле.

Вдоль извилистой речушки, ящерицей сбежавшей в долину, шли Алыкул и Айдай. Она в красном ситцевом платье, красиво облежавшем стройную фигуру, он – в белой рубашке с коротким рукавом.

То беззаботно смеясь, то мечтательно задумываясь, то шутливо кокетничая, Айдай засыпала Алыкула бесконечными вопросами и, словно ненароком, иногда прикосалась к нему, отчего он только улыбался в ответ, и в этой улыбке ясно читалось признание в любви...

Алыкул провожал, как это и раньше нередко, бывало, Айдай в ее аил. Девушка показывала ему растилавшуюся внизу долину с одиноко рокотающим трактором. Алыкул согласно кивал, будто слышал, что она говорила. Камни и валуны вдоль речки ему казались драгоценными самородками, стебли сухого курая – распустившимися тюльпанами, черные тучи, затягивавшие западный небосклон, – кроной огромного дерева, неугомонный шум реки – чистой и звонкой мелодией, мелодией их любви...

Они остановились на пригорке, с которого уже виден был аил Токбай. Долго стояли, прощаясь, как будто расставались на долгие годы, хотя уже завтра Айдай нужно было возвращаться в город. Но девушка уже почти дома была, Алыкулу же не хотелось уходить, пока Айдай не покинет пригорок.

И все-таки надвигающаяся непогода заставила Айдай побеспокоиться о своем возлюбленном, она пошла к аилу,

поминутно оглядываясь. Алыкул, проводив любимую долгим счастливым взглядом, с радостным воплем пустился в обратный путь вниз вдоль речушки на валун.

Оглянувшись в очередной раз, Айдай увидела, как Алыкул, целено взмахнув руками, кубарем свалился с валуна. Она побледнела, и не чувствуя ног от страха, побежала...

Алыкул уже выбрался на берег, когда увидел перед собой перепуганную Айдай.

– Что с тобой? – улыбнулся он. – Почему ты не дома?

– Ты живой?

– По-моему, да. Если не считать, что промок до нитки, не повезло, в водоворот попал.

– На кого ты похож, дурачок ты мой...

Он оглядел себя. Вода еще стекала ручьями, рубашка и брюки прилипли к телу, холодный ветер покрыл руки пунырышками. Но подняв взгляд на Айдай, Алыкул увидел в ее глазах такую нежность, что невольно, позабыв обо всем на свете, потянулся к девушке. И губы их впервые встретились в поцелуе...

Так стояли они, обнявшись, на верхушке валуна, согревая друг друга своими телами, и неутомная речушка, казалось, говорила Алыкулу:

– Благодарю тебя, джигит, не свались ты в мой стремительный поток, не удостоила бы она тебя этим счастливейшим в человеческой жизни мигом – мигом первого поцелуя. Благодаря мне ты поднялся на вершину человеческого счастья!

– Спасибо... – прошептал Алыкул и не понять было, к кому он обращался – то ли к своей любимой Айдай, то ли действительно к этой безымянной речушке, соединившей уста поэта и его возлюбленной.

– Хоть бы ты курил! – сокрушалась Айдай, растирая мокрые руки Алыкула своей шелковой косынкой. – Разожгли бы тогда костер и ты высушился и согрелся...

– Ни за что не разожгли бы! – сказал Алыкул.

- Почему?
- Да потому что спички промокли бы! – засмеялся Алыкул.
- Все шутишь?..
- А что мне остается делать...
- Раздеваться!
- Чего? – Алыкул растерянно улыбнулся.
- Раздевайся, раздевайся, хоть выжмем одежду, а то сутки еще вода стекать с тебя будет.

– Отвернись.

Айдай отвернулась. Алыкул стянул с себя рубашку и брюки, выжал их, потом ушел за валун и там выжал трусы. Когда вернулся, Айдай, расправляя, разложила сохнуть одежду, предложила:

– Ты посиди тут немного, я сбегая и принесу что-нибудь из одежды.

– Где ты ее возьмешь?

– Дома.

– Для кого?

– Для тебя, конечно...

– Ни за что! Ты представь только, какие пойдут разговоры, когда ты из дома куда-то понесешь мужскую одежду... А я не хочу, чтобы кто-то хоть одним словом плохим о тебе обмолвился...

– Тогда я принесу тебе свое платье и чапан.

– Еще лучше! Много чего доводилось испытать в жизни, но женское платье надевать... Я же киргиз! Да не беспокойся, любовь моя, не сахарный, доберусь как-нибудь до дома, не растаю.

– Ну, тогда пошли со мной вместе ко мне домой. Придем и все расскажем.

– И ты хочешь, чтобы я в таком виде появился перед твоими родными!

– А ты не хочешь войти в мой дом... – голос Айдай дрогнул, она опустила взгляд.

– Что ты! Очень хочу, только не в таком виде, пойми, родная... Если ты не против, я сейчас сбегая в город, переоденусь и попрошу у твоего отца согласия.. – И, не дожидаясь ответа, схватил одежду, намереваясь одеться.

– Сумасшедший! – воскликнула Айдай, выхватывая мокрые вени. – Заболеешь.

– Ничего, – все-таки одеваясь, произнес Алыкул. – Я готов тысячу раз нырнуть в эту речку, если ты согласишься повторить поцелуй...

Айдай не сказала ни слова в ответ, медленно потекли слезы по ее лицу.

– Что с тобой? – испуганно воскликнул Алыкул, прикасаясь к ее руке.

– Я не знаю, как с тобой быть... – произнесла она и зарыдала.

– Ну, не плачь, успокойся, родная! – Алыкул обнял девушку, вытирая ее слезы. – Вот увидишь, ничего со мной не случится... Ну-ка, улыбнись... Вот-вот...

Вновь застыли они в поцелуе.

– Теперь иди домой и не оглядывайся, – сказал Алыкул, выпуская девушку из своих объятий. – Потому что я не могу уйти, пока ты оглядываешься.

– Все-таки решил идти?

– Да, после такого поцелуя у меня столько сил, что не только до Фрунзе, до Токмака доберусь.

– Ладно, уходи. И все же боюсь, что замерзнешь... Как бы не простудился еще...

– Ну, тогда...

И вновь каблучки туфелек Айдай приподнялись вместе со своей хозяйкой и долго находились в этой счастливой невесомости.

– Теперь и до края света сил хватит добраться, – произнес отрывисто Алыкул, целуя лицо Айдай, не обращая внимания на волнами прокатывавшуюся по телу дрожь.

На улице Батрацкой чуть выше красавца-кинотеатра «Ала-Тоо», стоял квадратно-массивный кубик ресторана «Фонтан». Ряд уютных деревянных кабинок окружал расположенный в центре первый фонтан города Фрунзе.

В одной из кабинок сидели, тесно сдвинувшись за одним столом, шесть человек. Перед ними высились два графина с

пивом и водкой, закуска. Во главе стола сидел человек, судя по тону и манерам привыкший повелевать.

Может быть и не стоило упоминать это застолье, не присутствуй на нем один из ближайших друзей Алыкула Байсалбай Керимкулов. Именно его присутствие, а также неожиданный поворот разговора оставили это застолье в памяти людей и того времени и потомков как самое коварное застолье в истории возрожденного киргизского народа.

– А Жусупа мне жаль, – сказал, поглаживая каштановые усы, тамада. – Хотя, он сам себе вырыл яму, зачем надо было ворошить шестнадцатый год, а теперь его пьесу лучше назвать «Не жизнь, а смерть», ха-ха-ха.

– А Джоомарт?

– Тот тоже влип. Сейчас, когда раскрываются кавказские и среднеазиатские группировки, восхваляющие феодально-клерикальные устои, его погубит «Манас». Это же верблюд с кольцом в носу – пойдет туда, куда потянут. Чего только нет в «Манасе», даже пропаганда и религиозных, и оппортунистических, и националистических отношений, вплоть до идей пантюркизма! Тут у самого Манаса не хватило бы сил, а любой киргиз считает своим долгом защитить эпос от малейшего посягательства. Но мало кто читал его от строчки до строчки... Поистине великий эпос, если он служит любой идеологии, ха-ха-ха...

Рассмеялись и остальные.

– Правильно!

– Манас велик!

– Вообще, с тех пор, как ему поручили заняться наследием Токтогула, он стал невыносимым, давно пора его проучить!

– Пусть живет, – махнул рукой человек с каштановыми усами, но захмелевшая компания не поддержала его.

– А вот этот щенок... – дождавшись относительной тишины, произнес самый молодой из компании.

– Алыкул, что ли?

– Да.

– После того обсуждения он, вроде, перестал писать свои стихи, – задумчиво проговорил председательствующий, – а занимается только переводами... Думает, что никто не

придерется к Пушкину. Но этим он убивает в себе национального поэта. Жаль, конечно. Биография-то у него безупречная – детдом, русская женщина, воспитавшая его... А так... Из него, наверное, мог бы поэт получиться...

– Надо же тогда вернуть его на путь истинный.

– А как?

– Лучше всего встряхнуть хорошенько, чтобы обидно и больно было, тогда он с удвоенной энергией возьмется за работу. Поэтов боль возвышает... Кстати, я слышал, Баке, что ты с Алыкулом друзья?

– Да. Столько горя вместе хлебнули, а вы...

– А что – мы? Мы добра ему хотим. Он же мальчик еще. А ты вот, если считаешься другом ему, помог бы.

– Я-то что могу сделать?

– Э-э, Баке, иногда нужно сделать больно человеку, чтобы от болезни избавить. Ведь и пупок у новорожденного отрезают для того, чтобы он жил. От тебя много зависит, как вернуть своего друга в киргизскую поэзию. Если ты сейчас не поможешь ему, то Жусуп и Джоомарт затянут его в свое болото, он столько глупостей наделает, что придется локти кусать...

– Ну, подскажите, что мне делать.

– Думай, ты же друг у него. Мы просто беспокойство свое выражаем, а ты бороться за него должен. Впрочем, что мы в чужие дела вмешиваемся! Как будто пиво кончилось. Ну что, споем? – и он хорошо поставленным громким голосом затянул: «Степь да степь кругом...»

Остальные попытались подтянуть, но слов не знал никто, даже Байсалбай. На втором куплете кто-то стал подпевать из другой кабины, потом этот кто-то появился в образе полупьяного русского мужика с графином пива в руке. Сначала мужик удивился, что поет киргиз, но тут же заулыбался, присел рядом. Теперь они пели вместе, и закончили песню под дружные аплодисменты отдохавших от мирских забот людей.

И не случись много позже того, что случилось, наверняка никто и никогда не вспомнил бы этой ресторанной встречи. Но то, что должно случиться, случается всегда.

Даже когда Шыйкуу бросает слова на ветер, они остаются.

Почти неделя ушла у врачей городской больницы, чтобы вывести из бессознательного состояния поступившего к ним Алыкула. И лишь когда он смог разговаривать и понимать услышанное, ему назначили активное лечение.

Дни шли за днями, однако ни лекарства, ни уколы заметного улучшения не принесли. Через месяц его перевели в специализированный диспансер для чахоточников, построенный подальше от города, за железнодорожной линией.

Вскоре анализы подтвердили худшие опасения. Малиновский, лечащий врач Алыкула, решил не скрывать от него правды.

– Не вижу смысла утешать тебя ложью, – сказал он в один из обходов, присев на краешек кровати. – Это не просто простуда, это туберкулез. Да-да, тот самый бич двадцатого века. К тому же ты попал к нам слишком поздно...

– Значит, никаких шансов? – равнодушно спросил Алыкул.

– Я что, говорил тебе про шансы? – возмутился Малиновский. – Я сказал тебе, что ты мужчина, я сказал тебе, что такую болезнь очень трудно лечить, особенно, если ты не будешь нам помогать. Неукоснительное соблюдение режима – раз, – Малиновский принялся загибать пальцы на руке, – лекарства не прятать и не выбрасывать – два, а самое главное, – он сжал все пальцы к кулак, – самое главное – хотеть жить, стремиться выжить во что бы то ни стало. Самому стремиться жить, понимаешь? Очень часто это лучше многих лекарств. Тут до тебя одного парня лечил – настоящий джигит, тоже поэт, между прочим, сейчас он на Койсарах, в санатории. Пройдет там весь курс лечения, думаю, и слово такое позабудет – туберкулез. А все почему? – Малиновский назидательно поднял указательный палец. – Потому что соблюдал режим, все наши предписания и очень хотел выжить и выздороветь. Понял, джигит?

– Этот парень не Тугельбай Сыдыкбеков? – в глазах Алыкула промелькнула заинтересованность.

– Он самый. Ты его знаешь?

– Да, мне приходилось жить с ним под одной крышей, один кусок хлеба пополам делить.

– Вот как! – Малиновский встал, внимательно посмотрел на Алыкула.

– Я правду говорю... – Алыкулу показалось, что врач не верит ему, думает, что он решил прихвастнуть немного.

– Ну, теперь мне кое-что ясно, – задумчиво проговорил Малиновский. – Не знаю, правда, кто из вас кого заразил, кто кому подарил эти самые палочки Коха, но несомненно одно – в наших организмах Кохи нашли самый натуральный санаторий для себя... Да, кстати, у тебя есть девушка?

Легкая улыбка тронула губы Алыкула, на мгновение представившего Айдай.

Малиновский нахмурился, покачал головой:

– А вот это плохо... Тугельбаю проще, у него никого нет.

– Почему проще, доктор? Я не понял.

– Да лучше бы ты этого никогда не понимал! Но, к сожалению, необходимо все тебе объяснить... Так вот, Осмонов, вся заковыка в том, что туберкулез очень заразен. А потому опасен. Где-нибудь чихнешь неосторожно – и мне работы прибавишь. А уж целоваться забудь пока. Если ты настоящий джигит – должен беречь тех, кого любишь, кто окружает тебя. Ты можешь и сам не заметить, как принесешь кому-нибудь беду... Теперь понял?

Алыкул неподвижно лежал, осознавая горькую правду, не в силах произнести ни слова, лишь сглатывая тягучий комок, неожиданно подступивший к горлу. Малиновский сделал несколько шагов по палате, остановился перед Алыкулом, жестко произнес:

– Да, это одиночество. Жестокая реальность твоей сегодняшней жизни. Можно лежать живым трупом, а можно объединиться с нами и дать бой этой проклятой болезни. Я не могу обещать тебе, что ты вылечишься завтра или послезавтра, но я обещаю, что сам скажу, когда можно будет целоваться... Договорились?

Закрыв лицо руками, Алыкул отвернулся к стене, с трудом сдерживая в себе стон.

Поправив очки, но так и не найдя нужных слов, Малиновский, подавив вздох, вышел из палаты, оставив Алыкула один на один со своей бедой, со своим надолго наступившим и впервые так ясно осязаемым одиночеством.

Пришел новый, 1938 год. Чувство обреченности, охватившее Алыкула, становилось все глубже. Он почти не вставал с кровати, лежал, отвернувшись к стене, вслушиваясь в изменения происходящие в его организме. Лечение Малиновского помогло избавиться от одышки, Алыкул заметно поправился, хотя ел безо всякого аппетита. Иногда ему казалось, что с каждым днем удлиняются руки и ноги, и тогда он вытягивал их, прекращая это занятие только поймав себя на мысли, что сходит с ума...

Часто задумывался о смерти, с тайной надеждой предчувствовал свой последний час. Но смерть, которая нередко едва не наступала на пятки, все выжидала чего-то... Может быть, говорила: «Не торопись, джигит, разве это испытание по сравнению с тем, что ждет тебя впереди... Сам не рад будешь такой жизни... Умолять меня станешь, чтобы скорей пришла. А пока лежи, мучайся».

Короткие дни сменялись длинными ночами, но успокоения не было, а бессоница только усиливала и без того плохое настроение. Иногда возникавшие стихотворные строчки он заглашал в себе как некий мираж, напоминающий о прошлой счастливой жизни, напоминающий о прошлой мечте, к чему возврата уже никогда не будет... В конце концов, мысли о неизбежной смерти настолько наскучили, что Алыкул принялся читать небольшой сборник Маркса и Энгельса...

Чтение неожиданно для самого Алыкула увлекло его. И вот уже в толстой тетради, которая давно пылилась в тумбочке, появилась новая запись:

12 января. Наступило утро. На улице мороз. Небо хмурое. Туман. Дерево за окном палаты мне кажется горной арчой, крона которой белоснежна от инея. Всю ночь читал Маркса и Энгельса. Что же это за люди, которые смогли увидеть то,

что до них никто не видел, а если и видел, то не понимал...
Смогу ли я постичь глубину их мысли...

На следующий день запись на другой странице.

13 января. «Лучшее качество человека – целеустремленность». К. Маркс

Записи в дневнике не прерывались. Высказывания великих людей о доблести и подлости, о чести и бесчестии, о роли масс и вождей, о любви и коварстве, зле и добре. Многие цитаты дополнялись собственными мыслями Алыкула, в которых прорывались то восхищение прочитанным, то несогласие, а иногда и раздражение.

Больше всего записей в этом дневнике – о любви.

Вот строки стихотворения Тугельбая Сыдыкбекова, опубликованные в газете «Ленинчил Жаш»:

Когда мои дни закончат свой срок
И час мой последний настанет,
Когда подведу своей жизни итог,
Три образа я восславлю:
Мир огромный, окруживший меня,
Пламя любви, что кровью была, –
Вот образы те, что восславлю я!
И собственная оценка:

Колконбай! Молодец! Гениально! Если умеришь страсть к арбузам, большим человеком можешь стать!

Страница за страницей – высказывания о любви – Пушкина, Байрона, Гете, Шиллера, Руставели, Низами, Омара Хаяма, Саади... Их стихи, сразу же переведенные Алыкулом на киргизский язык.

И только четвертого марта, как свидетельство вновь всплывшей искры жажды жизни, стихотворение самого Алыкула Осмонова:

Не забывай: наши дни – это звезд ожерелье,
Мы собрали его мелодией первой свирели.
Можешь забыть, что к тебе вел меня светлый путь,
Но песнь, что тебе посвятил, – не забудь!

Нет, не забыла Айдай звонких песен Алыкула о любви, не забыла чистых мгновений, проведенных с ним. Даже потом, когда случится непоправимое, она ничего не забудет...

Красивая фигура Айдай, две длинные, чуть не до лодыжек, смоляные косы, большие мечтательные глаза, — все в ней приковывало внимание не одного юноши, заставляя их писать ей восторженные письма-признания, сравнивая ее то с луной, то с солнцем... И всех ждал негрубый, но твердый отказ. Немало времени ушло у нее на поиски любимого, так неожиданно исчезнувшего, что даже близкие друзья разводили руками в растерянности.

Найдя Алыкула в больнице для чахоточников, не стала она делать из этого трагедии, уверенная в благополучном исходе. Вместе с подругой Жыпар всю зиму навещала его, приносила газеты, книги, какие-нибудь лакомства, хотя Алыкул каждый раз просил девушек не приходить к нему, или хотя бы ничего не приносить. Даже тогда, когда дело пошло на явную поправку, когда, казалось, не осталось и следов болезни, едва не оборвавшей путь Алыкула, он ни на минуту не забывал о предупреждении Малиновского общаться с друзьями через закрытое окно...

В дневнике все меньше места отводилось записям чужих мыслей. И каждая своя строка дышала помыслами о жизни, о любви. Вот одна из самых длинных записей:

7 марта.

Только в пять часов дня смог начать писать. Потому что весь день был опьянен ароматом просыпающейся весны, которая наконец-то пробилась и в мою палату. И вот обыкновенные воробьи мне кажутся соловьями, а едва заметные почки на ветвях деревьев — волшебным цветением. А в аилах, наверное, уже вовсю поют перепелки...

Пока умывался, наслаждаясь этим чудом, какие-то беспардонные тучи слопали все признаки весны и заслонили собой молодые солнечные лучи. Потом загредел гром, начался дождь. Я с детства люблю первые весенние дожди, люблю подставлять под них лицо. Но сегодня я его ненавижу! Потому, что перед самым дождем пришли Айдай и Жыпар. Дождь обрушился на них, стоящих под моим окном. Я сердился по-настоящему, потом умолял, чтобы они ушли... Как они вымокли! Лишь бы не простудились. А тут мы с Айдай чуть не

расплакались, когда наши взгляды встретились. Что делать! Остается ждать и терпеть.

– Простите меня, девушки, – сказал я, ругая себя последними словами, что не успел написать им поздравительное стихотворение к празднику. – Мне сегодня совсем нечем похвастаться. Но завтра я для вас обязательно что-нибудь приготовлю.

– Ты просто схитрил! – засмеялась Жыпар. – Самые хорошие стихи решил подарить одной Айдай.

– Почему? – не понял я.

– Потому что она, наверное, уже успела шепнуть тебе, что я сегодня уезжаю в аил, так что завтра Айдай придет сюда одна. Признайся, что ты поберег стихотворение именно для этого случая!

– А если я свои пожелания тебе выражу прозой, ты не обидишься?

– Попробуй, да и в пути мне будет приятно думать, что ты когда-нибудь, отвернувшись от Айдай, подмигнешь мне...

И Айдай, и Жыпар весело рассмеялись. Ах, что за чудо – эти два создания, одна лучше другой! И красотой, и умом, и озорством они почти одинаковы. Надо же им было стать подружками!

Я подумал: «Ты великодушный человек и настоящий друг, Жыпаржан, если можешь так радоваться чужой любви...» А вслух произнес:

– Тогда я поздравляю тебя с наступающим праздником, Жыпаржан! Я желаю тебе большого-большого счастья. И чтобы следующий такой праздник мы встречали вчетвером!

– Вот это хорошее пожелание! – вновь засмеялась Жыпар.

– Иначе нас ожидают крупные неприятности, потому что надо видеть, как хмурит бровки Айдай, когда ты говоришь мне что-нибудь приятное...

– Нет, – возразил я, – моя Айдай меня понимает! Завтра, а самое позднее через три дня я напишу пожелание в стихах.

– А скоро тебя выпишут?

– Если все пойдет как сейчас, майские праздники встретим вместе. Если, конечно, Айдай к этому времени не найдет себе другого...

И тут губы Айдай задрожали, на глаза навернулись слезы.

– Что с тобой? – испугался я.

– Дурачок ты...

– Что?

– Она говорит, что ты круглый дурак! – так перевела Жыпар слова моей Айдай.

– А-а, теперь услышал... Вообще-то, она права, – стараясь придать своим словам шуточный тон, произнес я, – дурацкие мысли не такие уж редкие гости в моей глупой башке.

Девушки опять заулыбались, и в улыбке Айдай я увидел, что она уже не сердится на меня за неуместную шутку. Тут я заметил, что девушки совсем промокли и попросил:

– Вы идите, будем живы – еще не раз встретимся. С праздником вас обеих!

– Постойм еще, – сказала Айдай, – нам спешить некуда.

Мне пришлось соврать, что время уже одному моему месту принимать очередной укол, что медсестра начнет ругаться.

– Завтра до обеда приду, – пообещала Айдай. – Иди, носи свое место медсестре.

– Сначала вы уходите, – попросил я.

– Ну, ладно, пока...

– А вообще-то у меня есть предложение, – сказал я, желая шуткой поднять настроение девушек. – Если вы обе не возражаете, то я согласен.

– Ну-ка...

– Чтобы мы всегда оставались втроем... Так что и ты, Жыпаржан, не давай согласия первому встречному. А уж я постараюсь вас обеих одарить любовью, это же хорошо, когда две жены, да еще такие!

– А что, идея неплохая, – сказала Жыпар нарочито серьезно, – к тому же можно быть уверенным, что Алыкул не скоро еще умрет от скромности или обжорства...

– Ха-ха-ха!

Мы долго смеялись, и Жыпар добавила, что не станет она тратить время на поиски кавалера, если я устраиваю обеих, потом пообещали, что проживут со мной тысячу лет в мире и согласии...

Девушки ушли, и только когда их фигурки скрылись за воротами больницы, я засел за свой дневник. Сначала попытался написать поздравительное стихотворение, но ничего не получилось. Почему-то вспомнился Майбашев, он теперь неотступно преследует меня, выбивая из моей головы акынские начала... То вертятся рифмы, но я не могу соединить их мыслью, то мысль облекается в какие-то чудовищно-промоздкие фразы. Уже 11 ночи, но ни одной стихотворной строки...

Два часа ночи. Не могу заснуть сегодня... Нет, вчера я так и не смог сказать моей несравненной Айдай ни одного слова, достойного ее красоты, ее щедрой души... Я пытаюсь хоть ненадолго забыть о ней, о чем-нибудь другом подумать, но не выходит... Неужели любовь так сильна, что пленяет одинаково батыра и труса, мудреца и глупого, сильного и слабого, молодого и старого, честного и подлеца... Что же тогда говорить обо мне, больном чахоточнике, для которого любовь – единственный светлый луч, открывающий горизонт... Неужели придет такой день, когда я стану таким же, как все, – здоровым, достойным любви, поцелуя... Неужели придет такой день, когда Айдай станет моей навсегда. Мы будем любить друг друга и любить наших детей. Мы будем счастливы до конца наших дней! И если мне суждено быть акыном, я каждое слово, каждое стихотворение посвящу только ей, моей единственной Айдай! Я буду воспевать ее красоту, ее святость... А вдруг Айдай тоже не спит сейчас и думает обо мне? Или ей снится красивый сон, и в этом сне – мы вместе... О бог! О судьба моя! Дайте мне самую малость! Пожалейте меня. Пусть я никогда не напишу ни строчки, но буду здоровым, как все люди, и тогда, я уверен, мы с Айдай будем счастливы...

Проводив Жыпар, Айдай вернулась в свою комнату. Неторопко напевая, умылась, причесалась. Надела любимое розовое платье, в котором впервые познакомилась с Алыкулом. Белые туфли завернула и положила в сумку, накинула на плечи

темносинее бархатное пальто, вышла из общежития. И только сейчас до нее дошло, что пальто просто накинула, не надела, и от этой плохой приметы почувствовала неловкость... Смутное чувство вины не покидало ее. И сразу пожалела, что не сказала Алыкулу о сегодняшнем вечернем концерте, на который шла сейчас. Если бы Жыпар не уехала, то все было бы проще. «В конце концов, что я делаю плохого! – подумала Айдай. – На концерт иду с лучшим другом Алыкула... Да и когда еще удастся попасть на праздничный концерт всеми признанных артистов. А сидеть в общежитии одной, когда все разъехались кто на вечеринки, кто домой...»

Так успокаивая себя, она не заметила, как подошла к музыкально-драматическому театру. Байсалбай, одетый с иголочки, ждал ее, держа два больших букета цветов. Один протянул Айдай.

– Поздравляю с праздником! – приветливо улыбнулся он. – А где Жыпар?

– Брат приехал за ней и увез домой.

– Тогда держи, – он вручил ей и второй букет. – Ты заходи, скоро начало уже, а после концерта встретимся на этом же месте.

– Зачем? – вырвалось у Айдай.

– Провожу до общежития, чтобы никто не украл тебя! – засмеялся Байсалбай. – Договорились?

– Хорошо.

Зал был переполнен. Айдай отыскала свое место в женской половине – театр хоть и был очагом новой культуры, однако мужчины и женщины занимали пока разные половины.

На сцену вышел улыбающийся ведущий в строгом черном костюме. Он поздравил женщин с наступающим международным женским праздником, пожелал успехов в труде и счастья в личной жизни, на что мужская половина ответила дружными аплодисментами. Потом он объявил, что свои поздравления женщинам хотят выразить акыны Алымкул и Осмонкул.

Снова раздалась дружные аплодисменты. Красный занавес раздвинулся, открыв знаменитых акынов. Занавес еще был в движении, а уже раздалась звуки комуза. Акыны, продолжая

друг друга, ни разу не сбиваясь ни с ритма, ни с рифмы, в течение получаса на ходу импровизировали, рассказывая в этой песне-айтыше о новой жизни, которая дала женщинам Востока равные права с мужчинами, о чем свидетельствует сегодняшний праздничный вечер.

— Молодцы! — приветствовали зрители артистов, когда номер закончился. Потом они спели другие песни, потом объявили, что выступает молодая талантливая актриса Анвар Кутубаева, которая наверняка приведет в восторг присутствующих...

И в самом деле, едва девушка появилась на сцене, как по мужской половине зала прокатилась волна восхищения. Когда же исполнила песню, ей аплодировала и поначалу настороженно встретившая ее женская половина.

После Анвар ведущий объявил премьеру песни в исполнении известного мелодиста и певца Мусы Баетова — «Сагынам».

Выход на сцену молодого краснощекого человека с гармонью в руках был встречен восторженно. Запел Муса еще в глубине сцены:

Тоскую всегда по тебе я,
Мечтаю быть рядом с тобой,
И сердце в тоске каменеет...
Приди же, его успокой!

Чем ближе подходил певец к краю сцены, тем звонче звучал его голос, заполняя самые отдаленные уголки зала. Зрителям, в большинстве своем вчера еще сельским жителям, чистый голос Баетова напоминал о горных просторах, где прошло счастливое детство каждого киргиза тех лет... И когда он кончил петь, многие повскакивали со своих мест, приветствуя певца:

— Молодец, джигит!
— Во дает!
-- Еще спой, а...

То же самое повторилось и после второй песни Баетова, но в третий раз он выходить отказался. Появился ведущий, однако говорить ему не дали. Поднялся какой-то мужчина громадного роста и пробасил:

– Эй, парень, ты уйди оттуда. Потом что-нибудь расскажешь, мы никуда не уйдем и дослушаем тебя. А сейчас Мусу нам давай!

– Но у него репертуар, товарищи...

– Пусть «Сагынам» еще раз споет...

– Правильно!

– Пусть поет «Сагынам»!

– «Сагынам» давай!

Ведущий улыбнулся, дожидаясь, когда зрители утихнут и можно будет объявить следующий номер.

– Эй, парень, уйди по-хорошему, хуже ведь будет!

Вместе со зрителями расхохотался и ведущий. Но искушать судьбу не стал. Поняв, что зрителей уже не унять, он жестом пригласил Баетова на сцену.

Теперь тот вышел с комузом. «Девушка из Ала-Тоо», «Даанышман», «Ак-Зыйнат» – эти песни и сейчас, в эпоху телевидения, радио, магнитофонов и звезд мировой эстрады, приводят в восторг не одно сердце, тогда же они вызывали в обнаженных душах настоящую бурю...

Зрители, почувствовав свою власть, аплодисментами не давали Баетову покинуть сцену. В конце концов он все-таки ушел. Какое-то время сцена оставалась пустой, потому что, вполне вероятно, был бы освистан любой другой певец или ведущий, решишь они появиться перед бушующей толпой.

Но когда вышел громадного роста косолапый мужчина, на очень смуглом лице которого затерялась крохотная кнопка носа, шум сначала поутих, а потом кто-то рассмеялся. Через несколько минут смеялась вся мужская половина зала, хотя мужчина еще и рта не раскрыл.

– Это кто? Шаршен, что ли?

– Он, он!

– Можно лопнуть со смеха, только на нос посмотрев!

– Или на уши...

Шаршен прокашлялся и громко сказал:

– Вот и я, друзья мои!

Зал разразился хохотом, хотя в словах, понятно, абсолютно ничего смешного не было, но человек на сцене произнес их так, что казалось, будто четыре человека разными голосами

произнесли их одновременно – один густым басом, другой писклявым тенором, третий бархатным баритоном, а четвертый чем-то средним между колоратурным сопрано и криком петуха. Свои уникальные природные способности Шаршен довел до совершенства, поэтому перед зрителями держался свободно, основное внимание уделяя мимике и интонациям. Его можно было назвать скорее уродом, чем красавцем, но в поведении Шаршена чувствовалась такая беспредельная нежность к присутствующим, такая любовь, что после двух-трех произнесенных им фраз он уже выглядел вполне обаятельным, и чуть позже – и симпатичным...

Легенды о Шаршене как об уникальном хохмаче ходят в народе и по сегодняшний день.

Говорят, например, что в первые годы Великой Отечественной войны Шаршен выступал перед строителями Большого Чуйского канала, недалеко от аила Сан-Таш.

Каждый, кому дорога земля на которой он живет, хорошо знает каким это было строительство, каких усилий стоило оно десяткам тысяч жителей Чуйской долины – будь он русский, киргиз, узбек или дунганин. Кетменю и носилкам неважен цвет рук, их держащих... Но это к слову.

В тот военный год Шаршен выступал перед изможденными, голодными и уставшими людьми. Пять тысяч великих тружеников муравьями облепили пригорок, стремясь не пропустить ни одного слова или движения Шаршена. Пятитысячный хохот непрерывно гремел над долиной. До слез смеялись, глядя на него, даже те, кто не понимал его язык. Когда же он рассказал знаменитую репризу о себе и своей жене Макубек, то люди за животы держались и падали бессильно от хохота. А реприза вот такая (Заранее прошу прощения у читателя, если не смогу смешно пересказать репризу. Одно дело, когда я скажу, что закончил кулинарный техникум, другое – когда Хазанов, хотя слова у нас будут одинаковы).

– Однажды в мой дом пытались пробраться воры. Когда они пытались снять оконное стекло, я ласково спросил: «Кто там» ?

Их, конечно, ветром сдуло, но сон был нарушен, и когда все-таки удалось задремать, то снились какие-то кошмары, предрасполагающие к мужественным поступкам. Под утро

открыв глаза, первое, что я увидел, это мою жену Макубек спящую в одной постели с каким-то красавцем-мужчиной. Кровь заиграла в моих жилах, но я не терял хладнокровия. Потихоньку встав, я отправился к соседу Молдобасану посоветоваться, что делать в подобной ситуации. Моке предложил зарубить топором и мою молодую жену, и ее любовника. Шариат позволяет такую расправу. Когда я вернулся вместе с Молдобасаном в свой дом, жена продолжала спать, а коварный любовник-красавец исчез...

– Где же твой красавец? – тихо, чтобы не разбудить жену спросил Молдобасан.

– Когда я проснулся, он рядом с ней лежал, вот здесь...

– А не врешь?

– Ей-богу! Я лежал вот здесь, а он...

Чтобы сосед не сомневался, я лег на свое место и тут же увидел со своей женой красавца-любовника.

– Вон он! – заорал я, показывая на него пальцем.

Жена, испуганно проснувшись, спросила в чем дело. Я снова ткнул пальцем в красавца-любовника. И только когда Молдобасан и моя жена расхохотались, я понял, что красавцем-любовником был я сам, отражаясь в накануне купленном зеркале, висящем на стене. Тогда я впервые увидел себя со стороны, и с тех пор не могу не беспокоиться о судьбе тех молодых мужей, жены которых вряд ли удержатся от соблазна познакомиться со мной...

Вот такая реприза. Одной из важных деталей в ней было то, что Шаршен считал себя неотразимым красавцем...

Когда слушатели немного успокоились, Шаршен спросил у какой-то девушки:

– А что, девушка, ты не согласна со мной?

Девушка, смеясь, ответила, что согласна.

– А захотела бы стать моей женой?

Новый взрыв хохота сотряс Чуйскую долину. Девушка, вытирая слезы, лишь кивнула в ответ, принимая все происходящее за продолжение шутки.

– Но у меня есть жена, – продолжал Шаршен, – поэтому нужно решение общего собрания, чтобы там, – он показал жестом на высокие инстанции, – мне официально разрешили

иметь двух жен. Если согласны, давайте проголосуем и протокол соответствующий составим.

Шутка за шуткой, и протокол, как знаменитое письмо инорожцев турецкому султану, был составлен, и от имени пятитысячного коллектива в инстанции поступила просьба разрешить Шаршену иметь двух жен...

Наверное, не было бы этой легенды, если б один из «одоброжелателей» не написал куда надо заявление о том, что Шаршен – двоеженец.

Дело дошло до ЦК партии. Когда он рассказывал там, как стал двоеженцем, секретари ЦК хватались за животы и умоляли оставить их в покое. Потом был суд. Русский судья отказался вести дело, потому что Шаршен не знал русского языка, а судья ничего не понимал из-за беспрерывного хохота переводчика. Дело передали судье-киргизу, и тот хохотал так долго, что помощники вывели его под руки из зала, чтобы тот не захлопнулся от смеха.

И до последних дней своих Шаршен оставался двоеженцем, хотя о том, встречал ли кто-нибудь Шаршену со второй женой или нет, об этом народная молва умалчивает...

...Айдай хохотала вместе со всеми, когда Шаршен показывал, как надо успокаивать плачущего младенца, как он сидел свататься... И не объяви ведущий пятнадцатиминутный перерыв, другому артисту пришлось бы нелегко.

Второе отделение началось выступлением Калыка Акиева. Потом Сайд Бекмуратов под мелодию кыяка спел знаменитую «Паризат». Гульчехра Валиулина станцевала «Беш-ыргай». Молодые акыны-импровизаторы Токтосун Шабданбаев и Ысмаил Борончиев устроили веселый острый айтыш. Выступил и Байсалбай, и многие другие артисты, и все яснее проявлялось ощущение, что концерт миновал свою вершину...

Но вот объявили «Куйдум чок» – «Горю в огне» Атая Огонбаева.

Когда Огонбаев появился на сцене, первая волна оживления прокатилась теперь уже по женской половине зала. Да, артист действительно был красив. Расположившись на середине сцены, он тронул струны комуза, и после первых же аккордов, настолько пронзительных и нежных, будто вздрагивала душа, в

зале воцарилась тишина, никто не мог оторвать взгляда от выразительных рук исполнителя.

Я сгораю в огне любви,
В безответной любви сгораю.
Ты пожар погасить помоги,
Поцелуем уйми во мне пламя.
Неужели весь век так гореть,
Не изведав любви – умереть...

Ах, брат мой киргиз, грамоте обученный и академии окончивший, в «Ла Скала» учившийся! Оглянись назад, брат мой, и совсем рядышком увидишь душу свою, богатую и многообразную, как душа любого народа, в любом уголке нашей планеты.

Там, в 30-х годах, открывалась она, душа твоя, брат мой. Не часто и человек-то открывается, народ же... Но были тому свои причины, почему именно в тридцатых. Многие века до этого был ты забит и унижен, брат мой. Сегодня образован ты, брат мой, лепту вносишь свою в наивысшие достижения мировой цивилизации.

Тогда же, в тридцатых, впервые, может, в своей истории, ты почувствовал себя свободным, увидел себя свободным ибо стал, наконец, свободным. Да, открылись в душе твоей, брат мой киргиз, и коварство Шыйкуу, и доблесть Эрбола, но старался ты не обращать внимания на это, ибо открыл ты миру в душе своей юмор Шаршена и философию Джоомарта, мечтательность Алыкула и мелодику Огонбаева...

Атай Огонбаев не подозревавший о существовании музыкальной грамоты, создавал свои мелодии на таком, казалось бы, предназначенном исключительно для импровизации инструменте как комуз, но они поражают и сегодняшних исполнителей абсолютной ритмикой. Никого из самых знаменитых исполнителей прошлого не повторял Атай Огонбаев, как никто из самых высокопрофессиональных не может повторить его сегодня, не может достичь того удивительного соединения музыки, слов, исполнения, которое зачаровывало каждого, кому доводилось слушать Атая Огонбаева, ибо каждый был убежден, что и мелодию сочинил, и слова придумал, и исполняет Атай только дня него одного...

Ты восхитительно яркий цветок,
Ты весь мир украшаешь собой.
О, сколько изведал я в жизни дорог,
Но так и не смог повстречаться с тобой...

Замер зал. Закончилась песня. И в полной тишине Атай отправился за кулисы. И лишь когда ему оставалось пройти еще два-три шага, тишину разорвал испуганный крик:

– Люди, он уходит!

– Стой, куда же ты! – в едином порыве выдохнул зал.

Атай остановился, обернулся. И тогда на него обрушился шквал аплодисментов. Никто не жалел своих ладоней. А потом вдруг начали скандировать:

– А-та-я! А-та-я!

Нет, концерт не миновал своей вершины, просто каждая покоренная открывала новую, еще более притягательную...

Оглянись, брат мой киргиз, и совсем рядышком увидишь душу свою, богатую и многообразную, как душа любого народа в любом уголке нашей общей планеты... Там, совсем рядышком, открылась она настолько беззащитно, что трудно было удержаться от искуса и самому же не воспользоваться ею каждому по своему усмотрению...

Дурак ты, брат мой киргиз, добрый мой человек...

Постоянная борьба за выживание не так уж много поводов дает, чтобы толпа была добродушной. У киргизов это – победа над врагом, проводы невесты в дом жениха и рождение сына. Так испокон веков было.

В тот праздничный вечер, похоже, возник еще один повод: праздник наслаждения вдруг возникшей потребности открыться душе. И люди после концерта толпились возле театра, не спешили расходиться. Кто-то запевал помнившуюся песню, кто-то пытался пересказать репризы Шаршена, кто-то просто стоял, заново переживая то, что недавно было увидено и услышано. Даже совсем незнакомые люди, радуясь, поздравляли друг друга.

Так что, когда появился Байсалбай, Айдай искренне поздравила его:

– Спасибо за такой замечательный подарок! Знаешь, я как будто побывала в совершенно ином мире, о котором и мечтать не могла!

К ним подошли друзья Байсалбая. Услышав слова Айдай, наперебой заговорили:

– И мы поздравляем вас, девушка, с праздником!

– Спасибо! – Айдай смутилась от всеобщего внимания. Байсалбай представил ее как невесту своего лучшего друга поэта Алыкула Осмонова.

– О! – воскликнул кто-то из парней, элегантно поцеловав руку Айдай, – я счастлив прикоснуться к руке девушки, растопившей сердце нашего известного поэта.

И ничего обидного в этой шутке не увидели ни Айдай, ни друзья Байсалбая. Кто-то поторошил:

– Пошли, что ли?

– Куда? – Айдай вопросительно посмотрела на Байсалбая.

– Тебя провожать. Но если не возражаешь, по пути заглянем в один дом... На минутку, – поспешно заверил Байсалбай, – наших знакомых поздравим. Тут недалеко.

– Пойдемте, Айдай!

– Завтра праздник, нельзя отказываться!

– Пойдемте!

Взяв друг друга под руки они плотным кольцом пошли по улице ночного города.

Действительно, идти оказалось недалеко.

В освещенном дворе суетились незнакомые Айдай парни и девушки.

– Мы уже начали волноваться. Так долго ждем, что подумали, не украл ли кто одну из наших девушек.

– Там такой концерт получился, что можно было и парня украсть!

– Заходите в дом.

Посреди большой комнаты стоял накрытый стол. Пришедших девушек усадили на почетные места, и пока хозяйка дома с подругами подавали горячее, Байсалбай снова представил Айдай.

Открыли шампанское. Первый тост Байсалбай произнес за девушек. С каждой минутой застолье становилось все оживленнее, молодежь легко находила общий язык друг с другом. Сначала завели патефон, однако после второго-третьего тоста кто-то из девушек запел, ее поддержали другие. Патефон выключили, и начались тосты за каждую девушку, после чего друг другу передавалась «поющая пиала» и нужно было обязательно исполнить что-то, хотя бы один куплет.

Когда спела Айдай, недостатка в комплиментах не было.

– Да она же готовая артитска!

– Бросай свой техникум и иди к нам в театр!

– Одним учителем больше, одним меньше – киргизское просвещение ничего не потеряет. А вот наша культура лишится певицы!

Восторги звучали так искренне, что Айдай чувствовала себя по-настоящему счастливой. Выпитое шампанское слегка кружило голову, настроение у всех было приподнятым. Лишь одна девушка – высокая, стройная, тоже принимавшая участие в концерте, почти не скрывала своего раздражения от присутствия Айдай.

За каждую из девушек тост уже произнесли, поэтому снова включили патефон. Байсалбай подошел к высокой девушке, пригласил на танец.

– Нет, Байсалбай, – отказалась она, – не хочу танцевать с тем, кто как бабочка с цветка на цветок порхает, лишь бы другой цветок был незнакомым... Так что, извини...

– Ничего, – съязвил и Байсалбай, – по-моему, здесь все поняли, какой цветок что из себя представляет.

– Вот и танцуй с тем цветком, хоть я уверена, что он тебе не по зубам.

– А ты, Жаныл, по зубам?

– Была! Но я терпеть не могу котов, которые называют масло вонючим, когда оно им недоступно.

– Что за глупости ты несешь! – рассердился Байсалбай. – Во-первых, это девушка моего друга, а во-вторых, ей неизвестно то, на что ты намекаешь...

Жаныл рассмеялась.

– Неужели ты до сих пор такой наивный! Посмотри на ее грудь, на ее ноги... Там не только тебе, и Алыкулу хватит! Такой шанс! Не упусти... Ладно, пошли, подарю тебе еще один танец.

– Спасибо, теперь я не хочу с тобой танцевать.

– Ха-ха-ха! Все равно лучше меня тебе сегодня никто не достанется, дорогой!

– Ну, тогда и танцы прекратим...

Байсалбай, с трудом сдерживая злость, выключил патефон. Вернулся к столу взял свой бокал, громко произнес:

– Ребята, предлагаю тост! – и когда все подошли к своим бокалам, продолжил: – Еще раз поздравлю девушек с праздником! И прошу осушить свои бокалы до дна за того, кто произнес бы сегодня самый красивый тост, но по независящим от него причинам сделать этого не может. За надежду киргизской поэзии Алыкула Осмонова!

Все встали. Айдай вздрогнула, опустила глаза, рассматривая темно-коричневую жидкость в своем бокале...

И вновь тост пошел за тостом, как будто в каждом проснулся талант оратора. А когда устали закусывать, опять принялись за танцы. Теперь, правда, в движениях танцующих не было первоначального изящества, часто наступали друг другу на ноги, едва не падали...

– Надо же, как свиньи напились в праздник! – брезгливо произнесла Жаныл, но на нее никто не обратил внимания.

Зазвучало танго. Айдай, откликнувшись на предложение Байсалбая, неожиданно уронила голову ему на плечо, разрыдалась.

– Что с тобой? – спросил Байсалбай, прижимая к себе девушку. – Что-нибудь случилось? Ну, успокойся, успокойся...
– Он осторожно погладил ее по спине. – Тебя кто-нибудь обидел?

Она отрицательно мотнула головой, почти повиснув на Байсалбае, с трудом произнесла заплетающимся языком:

– Мне плохо... Жжет вот здесь... – положила руку на грудь.

– Кто-нибудь! Воды дайте! – громко попросил Байсалбай. Потом посмотрел в ее бокал, возмутился: – Я же просил не смешивать у нее шампанское с коньяком!

– Никто и не смешивал, сама перепутала бокалы... – фыркнула Жаныл.

– Если кто-то обидел Айдай, то я достану обидчика из под земли! – сказал крепкого телосложения парень.

– Оставь ее, Идрис, – отмахнулась Жаныл, – надо ей просто отдохнуть. Пойдем, Айдай, полежи немного. Помогли, Байсалбай.

Они повели Айдай в другую комнату. За ними увязался Идрис. Свет включать не стали. Жаныл сдернула одеяло, взбила подушку.

– Надо раздеть ее, – сказала она Байсалбаю.

– Зачем?

– Что же она потом в мятом платье пойдет...

Байсалбай поддерживал ничего не соображавшую Айдай.

Жаныл принялась раздевать ее. Идрис, увидев обнажившиеся ноги, погладил бедро, прицокнул языком:

– Ах, какая!..

– А ну, иди отсюда! – Жаныл выгнала Идриса, потом пернулась. Вместе уложили совершенно голую Айдай в постель, чуть прикрыв одеялом.

Выходя из комнаты, Жаныл посоветовала Байсалбаю не оставлять ее одну, а то ребята подвыпили, мало ли что... А из другой комнаты она сама проследит, чтобы сюда никто не зашел...

Байсалбай поправил одеяло и нечаянно дотронулся до обнаженной Айдай, горячая волна окатила его, больше он уже не мог удерживать себя. Осторожно погладил ноги, потом грудь, затем его руки вновь скользнули к ее ногам, раздвинули их... Айдай не реагировала, не отзывалась на ласки, но тело послушно отдавалось рукам Байсалбая.

...Ей казалось, она мечется в сплошном тумане и не может найти никакого просвета. Силы таяли с каждой "минутой". Вдруг она оказалась на берегу речушки, ящерицей сбегавшей в долину. На другом берегу увидела растерянного Алыкула с мертвенно-бледным лицом. Айдай позвала его, но голоса своего не услышала. Протянула к нему руки, вошла в холодную, обжигающую ноги воду. Алыкул пошел к ней навстречу. Им оставалось совсем немного, чтобы встретиться, но

неожиданный водоворот увлек Алыкула. Айдай закричала в испуге, но вновь не услышала своего голоса, и тогда в отчаянии бросилась в водоворот. Сильный поток закружил ее, увлекая в темную глубину, стало трудно дышать, она схватилась за грудь...

– Дай руку! – голос Алыкула был каким-то чужим, незнакомым.

Она протянула к нему руку он обнял ее, сильно сжал.

– Не надо так сильно... Мне плохо... Милый, пожалей меня...

Но обычно добрый Алыкул сейчас не узнаваем. Он целовал ее, все сильнее прижимая к себе.

– Пожалей меня, милый...

Но он так сильно вжался в нее, что она лишь расслабленно вскрикнула, почувствовав острую боль, пронзившую тело.

– Апа! Мамочка...

...Утром Айдай проснулась от разговора, доносившегося из другой комнаты. Судя по обрывочным фразам – там похмелялись. В следующее мгновение она почувствовала тесно прижавшееся к ней голое тело. И с ужасом осознала случившееся.

Байсалбай проснулся раньше. Он лежал, чувствуя тело Айдай, но желания уже не было: ночь опустошила его... Сейчас он прижимался только за тем, чтобы, если что, не дать ей раскричаться.

Отодвинувшись, Айдай несколько мгновений молча смотрела на Байсалбая. Потом встала, не стесняясь своей наготы, так же молча принялась одеваться.

– Прости, Айдай... – пробормотал Байсалбай. – Так получилось... Пьяный был... Раз уж так получилось, значит, судьба нам с тобой быть. Хочешь, сегодня же пойдем в ЗАГС. Ну, хочешь, в суд подай на меня...

Он бормотал все те слова, которые слышит почти каждая, когда это происходит до замужества. Она уже оделась. Повернувшись к нему, сказала чуть не плача:

– Не подам я ни в какой суд. Сама виновата... Ну ладно я, ты набросился на меня, как животное на добычу, которая не может дать отпор, но ты не подумал о своем друге... Что с ним будет теперь?..

– Я все объясню ему.

– Что ты объяснишь! – горько произнесла Айдай. – И кому нужны твои объяснения...

Когда Байсалбай, торопливо одевшись, вышел в зал, двое парней и девушка стояли у окна, глядя вслед уходящей Айдай. Девушка, обернувшись к нему, сказала:

– Ну и сволочь же ты! Такие судьбы сломал...

Вечером Алыкул записал в дневнике:

8 марта 1938 г.

Обещала Айдай до обеда прийти. Ждал ее до вечера. Так и не пришла. Отчего-то на душе тоскливо. Может, завтра придет...

Но ни завтра, ни послезавтра она не пришла. Не было весточки ни от нее, ни от Жыпар. Единственным желанием Алыкула стало поскорее выбраться из больницы, чтобы найти Айдай, узнать, что с ней. Он уговаривал медсестер сделать ему больше уколов, дать больше таблеток... Лишь бы скорее выздороветь! Дневник ежедневно заполнялся новыми стихами, полными тревоги.

... Как-то Малиновский пригласил его в свой кабинет. Помахал перед ним бумажкой:

– Знаешь, что это такое?

– Нет.

– Еще бы? Иначе уже танцевал бы!

– Письмо, что ли?

– А ты ждешь письма?

– Вообще-то, да...

– Теперь не надо будет ждать! – торжественно произнес Малиновский и поспешно добавил: – Потому что в этой бумажке сказано, что в твоём организме нет больше палочек Коха! Ты здоров, понимаешь!

– Значит, можно выписываться!

– Ну да.

– Когда?

– Через пару дней можно, я думаю.

– А сегодня?

– Сегодня? Вряд ли. Ведь надо составить лечебную карточку. Так что в лучшем случае – завтра после обеда. Летом отправим тебя в Койсары, в санаторий. Но тебе надо беречься. Любая простуда может обострить болезнь. Налетай на кумыс, пей сколько влезет. А вот о вине придется забыть...

– Простите, доктор, а жениться...

– Что, невеста заждалась? Тогда хоть завтра, если на свадьбу пригласишь.

– Обязательно!

– И сейчас к невесте спешишь? Ладно, не смущайся, мы ведь мужчины с тобой. – Малиновский вызвал медсестру, сказал, чтобы Алыкула выписали сегодня же, а за документами он придет потом...

Проведя полгода в больнице, Алыкул, выйдя на улицу, в первое время почувствовал себя неуютно. Ну, а ноги сами несли его к общежитию педагогического техникума.

Попросил какую-то девушку вызвать Айдай или Жыпар, твердо решив, что сегодня же заберет Айдай и предложит стать его женой...

Жыпар искренне обрадовалась, увидев Алыкула.

– Тебя совсем выписали? Ну, поздравляю!

– А как вы тут без меня?

– Да, в общем, нормально... – Жыпар смутилась, и ее смущение не ускользнуло от внимания Алыкула. Он нетерпеливо спросил:

– Где Айдай?

– Пошли, погуляем немного... – предложила Жыпар.

– Что произошло? – Алыкул не мог скрыть своей тревоги. – Где Айдай?

Они шли вдоль железнодорожной насыпи. После некоторого молчания Жыпар, вздохнув, заговорила:

– Нет ее... В городе нет. Впрочем, на, прочти, – она протянула ему сложенный лист бумаги.

*Дорогой мой Алыкул! Судьбу мою решили родители.
Прости, что так получилось. Мы никогда не будем
вместе. Прости. Будь счастлив. Айдай.*

– Что это? – неожиданно задрожавшими губами едва слышно прошептал Алыкул.

– Это жизнь, – вздохнула Жыпар. – Будь женщиной, Алыкул. Значит, не было у нее другого выхода, если она так поступила, постарайся понять ее... Насколько знаю свою подругу, она смогла бы убедить родителей, решила бы что-нибудь сама. Собственно, поэтому я к тебе и не приходила, прости... Видимо, у нее была причина для такого поступка. После восьмого марта ее не было в техникуме. Преподаватель отправил меня к ней в аил, где я и узнала о ее замужестве...

– Выходит, не захотела рисковать своим будущим... – пробормотал Алыкул. – Наверно, она права. Кто запретит женщине стремиться к своему счастью... Ладно, спасибо тебе, Жыпар, за все спасибо!

– Ты не расстраивайся, Алыкул...

Он лишь рукой махнул обреченно и побрел вдоль железнодорожного полотна.

Донесся гудок паровоза.

– Алыкул! – закричала Жыпар.

Тот шел, не оглядываясь. Жыпар бросилась за ним. Нагнала, когда он остановился на краю насыпи, пережидая мчавшийся состав. Схватила его за руку, и они кубарем покатались вниз.

– Что с тобой? – удивленно спросил Алыкул, помогая девушке подняться.

– Это ты что надумал! – воскликнула Жыпар, отряхиваясь. Губы ее дрожали, на глаза навернулись слезы. – Не надо, Алыкул. Ну, хочешь, я стану твоей женой...

Алыкул улыбнулся, кончиками пальцев вытер слезы на ее щеках, ласково погладил по голове:

– Зря ты обо мне так подумала... Ты очень хороший человек, Жыпар, спасибо тебе. Я никогда не забуду тебя. Ну, успокойся...

– И прижал к себе разрыдавшуюся девушку.

По разному сказывается на человеке потрясение от разочарования в любви. В Алыкуле оно подняло новую волну творческого вдохновения, выплеснувшую немало стихотворений, в которых он сравнивает любовь с несбыточными грезами, с обманчивыми тенями лунной ночи, с горькими слезами, прижигающими сердце...

Стихи эти станут любимыми в народе, особенно среди молодежи, но это будет потом. А сейчас Алыкул никому их не показывает, не говоря уже о публикациях. Не появляется он и, как говорится, в обществе, предпочитая уединение. Видит в каждом человеке, даже самом близком, потенциального недруга, предателя или доносчика. Все это вместе взятое привело к тому, что самые торопливые поспешили объявить, будто Алыкул Осмонов прекратил свое существование как поэтическая личность. И кто знает, как сложилась бы его судьба в дальнейшем, не пригласи Алыкула на прием один из секретарей Союза писателей республики Темиркул Уметалиев. В заключении откровенной беседы Уметалиев сказал:

– Нельзя опускать руки, какой бы тяжелой не была болезнь. Работа иногда лучше всяких лекарств лечит. И если свои стихи пока не пишутся, надо заняться переводами, ведь это превосходная школа мастерства, да и материальная поддержка неплохая. Уговорил? С чего бы ты хотел начать?

– С «Витязя», – ответил Алыкул. – Я читал эту книгу, дайте ее мне, – он показал на лежавший на столе томик Руставели в переводе Бальмонта, – потом обязательно верну. Свою пришлось оставить в больнице, нельзя выносить было...

– Книгу я тебе с удовольствием насовсем отдам и переводить ее на киргизский язык надо, она заслуживает этого. Но я слышал, что Джоке уже приступил к ее переводу, ты бы встретился с ним, посоветовался...

– Конечно, посоветуюсь, Темике!

– Вот и хорошо. Держи книгу, впрочем, погоди...

Уметалиев открыл поэму Руставели и на титульном листе размашисто написал: «На память братишке от брата». Улыбнулся.

– Теперь не потеряется...

– Спасибо, Темике! Мне Джоомарт-байке некоторые части своего перевода показывал, говорил, что могу их использовать.

– Тогда совсем другой разговор! Приступай к работе, я помогу тебе всем, что в моих силах. И ускорь...

– Быстро не получится, Темике, ведь жить негде, не то что работать...

– Да, с жильем у нас туго пока... Слушай, а не поехать ли тебе в Москву пока, в дом писателей в Малеевке, а?

Алыкул растерянно пожал плечами:

– Возможно ли это...

– Эй, Руставели такой поэт, что для него можно сделать невозможное! Готовься, путевку я беру на себя...

Стоит ли гадать сейчас, хотел Темиркул Уметалиев уберечь Алыкула Осмонова от напасти 38-го года, или видел в нем, как и многие, надежду киргизской поэзии, стремился помочь ему встать на ноги. Ограничимся фактом, что он дал возможность почти год из того трагичного времени провести поэту в Москве.

Впервые в жизни Алыкул отправился в столь далекое путешествие, впервые он ехал в таком чудесном «доме» на колесах, со столом, спальным местом... И так заманчиво сказать, что всю долгую, в шесть суток дорогу он вглядывался в проплывавшие за окном такие непривычные для глаза горца пейзажи, открывающийся новый мир...

Но нет, не в эту поездку, первую для Алыкула, он будет изумляться обилию домов в российских городах, восторгаться бескрайними просторами лесов и полей, неторопливыми разливами широких рек.

В этой поездке он углубился намного дальше, вглубь средневековья. В этой поездке он путешествовал вместе в Витязем в тигровой шкуре, и, лишь войдя в здание Союза писателей СССР, ненадолго расстался со своими новыми друзьями...

Раньше бывал в Москве, сынок? – участливо спросила седая женщина, заполняя путевку.

– Нет, – ответил он.

– Как же ты доберешься до Малеевки, – сокрушенно покачала она головой. – А может, подождешь часик, туда служебный автобус пойдет, и я посажу тебя.

– Подожду, – улыбнулся Алыкул, поскольку ожидание для него не могло быть утомительным там, в эпохе бессмертной грузинской царицы Тамары.

В Малеевке его встретила молодая пышногрудая женщина, провела в отведенную комнату, познакомила с распорядком, пожелала творческой удачи, ушла. Алыкул поудобнее устроился в кресле, закрыл глаза. Его ждали.

– Ассалоом алейкум, братья мои! – сердечно произнес Алыкул.

– Ва алейкум ассалоом, брат наш! – ответили по-киргизски Таризэл, Автандил, Нурадин, Фридон. – Мы уже начали думать, что ты больше не вернешься, – добавила светловолосая девушка.

– Ну что вы, как я могу оставить вас, Асмаджан! Как Нестан?

– Она еще в заточении, пишет письмо своему возлюбленному, – сказала Асмаджан.

Алыкул представил скорбную фигуру девушки, томящейся в башне старой крепости.

– Сейчас, потерпи, Асмаджан, – негромко произнес Алыкул. – Освободим мы твою подругу, только вот отдохну немного и возьмусь за перо... Ну что, джигиты, вы готовы к битве за любовь?

– Готовы! – ответили Таризэль, Автандил и Нурадин.

– Возьмете меня в свои ряды?

– Возьмем!

– Тогда благослови нас, Шота-аба! – воскликнул Алыкул, вставая в ряды витязей. – Мы скрестим наше оружие с несправедливостью во имя любви!

Шота:

– Дети мои! Время так мимолетно, что века незаметны, растворяя в себе богатство и бедность, горе и счастье, жизнь поколений в себе растворяя. Нетленна любовь! И славлю я тех, кто во имя любви себя не щадит! Аминь!

... С этого момента Малеевка перестала существовать для Алыкула, ни на минуту не покидавшего своих братьев-джигитов. Часто весь день он проводил без еды, не желая тратить время на это. Заметив, что дневной свет отвлекает, занавесил окно одеялом, чтобы забыть время и потерять пространство.

Он становился мудрым и спокойным, когда говорил от имени самого Шота. Не стеснялся своих слез, изображая Тариэля. Ощущал удивительное самообладание в образе Автандила. Счастье и несчастье, любовь и ненависть соединились в нем воедино во время работы над «Витязем в тигровой шкуре».

История навсегда сохранит, что Малеевка была крестной матерью многим и многим шедеврам литературы и искусства, ибо сюда стекались поэты, прозаики, драматурги не только из периферии, но и столицы, щедро делясь с другом интеллектуальным богатством...

Алыкул сразу обратил на себя внимание своей замкнутостью, нелюдимостью. Даже в столовой почти не появлялся, не говоря уже о каких-то совместных застольях.

Как-то на скамейке сидела небольшая группа оживленно переговаривавшихся писателей. Увидев шедшего в глубине аллеи Алыкула принялись обсуждать.

– Станный какой-то... В чем душа только держится! Да и в столовой лишь на ужин иногда появляется.

– Наверно, сам худой, а сберкнижка толстая.

– Не похоже, откуда у такого доходяги сберкнижка!

– Говорят, у восточных мужчин комплекция такая: чем больше едят, тем худее становятся.

– А откуда он?

– Из Монголии, конечно!

– Ну да! Окна у него всегда затемненные, скорее, какой-нибудь политический деятель из восточного региона.

– Тогда познакомиться надо, потом козырять можно будет, что с премьером или президентом за одним столом сидели.

– Мне кажется, какой-то начинающий из Средней Азии...

– Я там почти всех знаю, так что вряд ли он откуда...

– Ну, так вам и карты в руки, Сергей Владимирович, сами спросите у него.

– Извините, молодой человек, можно вас на секунду, – сказал тот, когда Алыкул поровнялся с ними.

– Слушаю вас.

– Вы хорошо говорите по-русски?

– Да нет, не очень... – несколько смутился Алыкул. – А в чем дело?

– Разрешите наш спор, откуда вы?

– Из Советского Союза, – невольная улыбка Алыкула, понявшего о чем идет речь, смягчила его острые черты лица.

Писатели, окружившие их, рассмеялись.

– Я же говорил, что он из наших! – обрадовался Сергей Владимирович. – Значит, из Ташкента?

– Разве кроме Узбекистана в Средней Азии нет других республик?

– Тогда из Казахстана?

– Совсем близко... Я киргиз.

– Не может быть! – расхохотался Сергей Владимирович. – Значит, из моих. И наверняка – поэт, правда?

– Не смею утверждать, но что-то в этом роде...

– Сейчас проверим. Вот, послушайте...

И он прочел небольшое стихотворение:

Глаза остры – сердца пронзает взор,

Могу я взглядом загасить костер,

Рука щедра –

Могу из чаши яда

Корчагу меда выцедить на спор.

И спросил у Алыкула:

– Ну-с, молодой человек, скажите, какому известному киргизскому поэту принадлежат эти строки?

– Вы что, разыгрываете меня?

– Почему?

– Насколько я знаю, никому из наших поэтов они не принадлежат. Что-то похожее на киргизском языке сочинил я, а вот кто по-русски – честно сказать, не знаю...

– Так вы – Алыкул Осмонов?

Алыкул кивнул.

– Вот так да! – заулыбались окружающие. – Наконец-то редактор рукописи познакомился с автором.

– Друзья мои! – не без пафоса произнес Сергей Владимирович. – Я очень рад представить вам молодого киргизского поэта Алыкула Осмонова, первый сборник которого готовится у нас, в Москве, к изданию. И надо же так, – удивленно покачал он головой, – мне сейчас в работе над рукописью нужен любой киргиз для уточнения некоторых деталей, а тут рядом – поэт, да какой, один из наиболее тонко чувствующих слово... Чудеса! Ну что, будем знакомиться, «президент»...

Все рассмеялись.

Встреча с Сергеем Владимировичем не могла не оказать огромного влияния, поскольку это был не просто высокопрофессиональный культурный деятель, но и глубокоинтеллигентный человек, обладавший поистине энциклопедическими знаниями. Так что одиннадцать месяцев жизни в Москве, во время которых Сергей Владимирович самым внимательным образом «шефствовал» над ним, позволили Алыкулу значительно окрепнуть духовно.

Как-то в одну из первых встреч в Малеевке, Сергей Владимирович, выслушав рассказ Алыкула о работе над переводом «Витязя в тигровой шкуре», взял поэму Руставели и сказал:

– У тебя «Витязь» в переводе Бальмонта, но есть же еще переводы Цагарели, Петренко, и у каждого свои особенности. Наверняка существуют и другие варианты, если задаться целью поискать их, изучить, только тогда твой перевод будет наиболее близок к тому, что создал Шота Руставели. Кстати, я вижу, ты почти заканчиваешь эту работу, а потом чем займешься?

– Не знаю пока... – честно признался Алыкул.

– Э-э, так не годится, дорогой. Ты же профессиональный поэт, поэтому должны быть прикидки хотя бы на 10 – 15 ближайших лет, чтобы не ждать вдохновения, чтобы голова твоя была постоянно занята мыслями если не о сегодняшней

работе, так о завтрашней, в общем, чтобы голова, как говорится не простаивала... И потом, сейчас, я понимаю, ты не можешь оторваться от «Витязя», но все-таки необходимо выкраивать время для самообразования, свою культуру надо повышать, а иначе... Ты из какого аила?

– Каптал-Арык.

– Иначе ты так и останешься талантливым поэтом каптал-арыкского значения. Не хотелось бы. Твои способности позволяют намного поднять этот уровень. А без глубокого знания лучших образцов мировой культуры это невозможно сделать!

– А как же акыны? Они кочевали из аила в аил, смотрели на солнце и звезды, а понимали и помогали понять другим все многообразие мира...

– Это хорошее стремление осознать глубину собственных корней, – серьезно произнес Сергей Владимирович. – Видишь ли, все большие акыны так или иначе вышли из «Манаса», эпоса, собравшего в себе все грани культуры народа его создавшего. Во-вторых, ты уже являешься представителем профессиональной литературы, новой для вас, а истоки профессионализма – в образовании...

– Понимаю, Сергей Владимирович. С чего мне начать?

– Начни со знакомства с Москвой, с ее театров, библиотек, да просто со зданий. И пусть у тебя будет правило: если за день ты не сделал для себя ни одного, пусть даже самого крохотного открытия, значит, прожил этот день бездарно... Ну, а там посмотрим. Как-нибудь постараюсь выкроить возможность, и с тобой в Ленинград съездить...

Опытный педагог Сергей Владимирович, наставляя Алыкула не учел только одного: необыкновенной увлеченности молодого поэта всем прекрасным, с чем сталкивался. Мир Леонардо да Винчи, Данте Алигьери, Шекспира, Чайковского, Репина так захватил Алыкула, что Сергей Владимирович не на шутку начал опасаться, как бы тот не забросил собственное творчество из-за преклонения перед гениальными творениями

прошлого. И когда они возвращались из Ленинграда, он это почувствовал.

– Что с тобой? – спросил Сергей Владимирович у Алькула, задумчиво стоявшего у окна вагона. – Ленинград, может быть, не понравился?

– Ну что вы, очень понравился! Он так велик, что боюсь во мне нет таких слов, чтобы выразить свое восхищение. Да еще вчерашний концерт... Знаете, я первый раз увидел столько много разных инструментов, которые вместе создают одну большую мелодию, и так слажено, как будто один человек играет. Наверное, мы, киргизы, никогда не достигнем такого уровня...

– Почему же? – не смог скрыть своего удивления Сергей Владимирович.

– Да потому, что в той симфонии такая мощь звучит, столько в ней широты, что я потерялся, невольно стал сравнивать вашу балалайку с нашим комузом.

– И что, надеюсь, комуз у тебя победил?

– Нет... Да взять уйгурский рвап, узбекский дутар или казахскую домбру. Комуз проигрывает, хотя у нас на одну струну даже больше.

– Интересно...

– Понимаете, у домбры, например, диапазон звучания намного шире, мелодии тоже широки словно казахские степи... Да и тот, кто играет на домбре, волен в своих жестах, исполняет размашисто, широко. Наш комуз очень тонкий инструмент, звук у него очень тихий, даже в соседней юрте не всегда слышишь... И комузчи играют так, словно прячут инструмент от неосторожного взгляда, боятся вызвать чей-то гнев, чью-то немилость, даже если на это и намек нет. В крови это... Наверно, чем больше народ, тем шире его душа и тем больше уверенности в себе, своем будущем. И наоборот. Значит, и соответствующее место на земле ему уготовано...

– Ты не прав! – довольно резко возразил ему Сергей Владимирович. – Это мысли очень слабого человека, решившего спрятать свою собственную слабость за рассуждениями о величии народа, мысли слабого духом и не знающего общечеловеческой истории. Взять океан. Уж какой

только живности нет в нем. И акулы, и маленькие плотвички. Сравнить их сил не надо, а вот если плотвички исчезнут, то исчезнут и акулы. Потому и велик океан, что хранит в себе все, ничего не отторгая – даже песчинки. И все важно в океане. Ну, а комуз... Он, конечно же, впитал в себя исторический путь народа, в судьбе которого немало трагедий. Но ведь есть «Манас», а народ, создавший такой эпос, – он поистине велик. Впрочем, народов невеликих не бывает, потому что народ – это люди, а человек уже тем велик, что обладает разумом. И наша задача – твоя и моя, как и любого представителя современной культуры, – раскрыть в человеке его величие.

– Вы несомненно правы, Сергей Владимирович, – казалось, никакие слова не могут вывести Алыкула из грустной задумчивости. – Но ведь человек может быть великим тогда, когда он свободен. Великих рабов не бывает. Вон как поднялась культура моего народа после Октябрьской революции, после того, как народ перестал быть вечным пленником голода и унижений, стал по-настоящему свободным. Но я вижу, что некоторые как будто испугались этой свободы. Во всяком случае, у нас там, чуть что...

– Я понимаю, Алыкул... – вздохнул Сергей Владимирович. – Трудно сказать что-то однозначно. Свобода лишь тогда существует, обретает свою реальность, когда один человек уважает другого, когда человек уважает народ, а народ уважает человека. Анархисты ведь тоже кричали о свободе... То есть, мне кажется, от разгула свободы рождается фашизм... Хотя, честно сказать, не знаю.

Всю ночную дорогу из Ленинграда в Москву проговорили Сергей Владимирович и Алыкул.

Не буду скрывать, что измена Айдай потрясла меня, перевернула мой прекрасный мир, сделала его беспросветным. Нелегко было сначала. Спасала работа. Перевозку «Витязя». Плачу вместе с Тариэлем, рад успехам Нурадина и Асмаджан, благодаря им, считаю себя самым счастливым человеком на земле.

Через 30 лет после смерти поэта, цитируя книгу «Писательский путь А. Осмонова», писатель Кенеш Джусупов в своей книге «Жизнь в стихотворных строках» напишет:

«Читаю, перевожу, удивляюсь, радуюсь. Плачу...»

Эти пять слов из дневника Алыкула Осмонова. Среди них слово «плачу» выделено особо. Необычное слово для азиата-мужчины. Не смог бы облечь в киргизские слова мысль и чувства бессмертного грузина Алыкул, если бы душа и сердце его не плакали... И каким же должен быть плач, если он однажды признался:

«Я не успеваю записывать слова, которые переливаются через край чаши моей...»

Я один из многочисленных благодарных потомков-почитателей творчества Алыкула Осмонова, не сомневаюсь в точности этой оценки. Как не могу не признаться в благодарности судьбы, определившей время основной работы над переводом «Витязя» на московский период творчества Алыкула. Ведь, обогащаясь творением Руставели, Алыкул закладывал фундамент и для своей новой стартовой площадки. Здесь, в Москве, он общается не только с русскими писателями, но и соприкасается с творчеством Шекспира. Именно там, в Москве, он приходит к мысли о необходимости донести до киргизского читателя удивительный мир «12 ночи», «Отелло».

И еще...

Впрочем, не будем спешить.

... На одной из лекций по восточной литературе для четверокурсников киргизской группы актерского факультета ГИТИСа Сергей Владимирович как-то поинтересовался:

– Что вы выбрали для работы?

– «12 ночь», – последовал единодушный ответ.

– На каком языке?

– Конечно, на русском.

– А почему не на киргизском? Тогда вы привезете домой готовый спектакль...

– Так перевода нет. Не родился, наверно, тот человек, который решил бы перевести Шекспира, – то ли в шутку, то ли серьезно проговорил староста группы, высокий и худощавый Насыр Кытаев.

– А я вот думаю иначе... Здесь, в Москве, сейчас работает над переводом поэмы Шота Руставели ваш земляк Алыкул Осмонов. Судя по его работоспособности, по его тяге к прекрасному, он смог бы и Шекспира перевести. Поговорите с ним...

– Вряд ли что получится, – вздохнул Кытаев.

– Почему?

– Да потому, что мы уже пробовали, обращались к переводчикам. Как только услышат, что работа бесплатная, так миллион причин отыщут, чтобы не работать...

– Алыкул, мне кажется, не из таких. Думаю, что он возьмется. Предложите, ему же самому интересно будет, а вы ничего не потеряете, даже если он откажется. Тем более, что живет он рядом, в Малеевке...

Очень обрадовался Алыкул появлению своих, к тому же студентов, будущих киргизских актеров. Сводил их в столовую, накормил, долго разговаривали о современной драматургии, литературе... Договорились встретиться в институте, где студенты организуют встречу с киргизской поэзией, куда Алыкул обещал принести и перевод «12 ночи». К этому времени «Витязь» был уже переведен, рукопись отправлена в Казань, чтобы придти в родную Киргизию книгой.

Встреча состоялась накануне, 8 марта 1939 года. Направляясь в общежитие, Алыкул купил по дороге букет гвоздик. Вручив всем девушкам по цветку, он отвел в сторону Насыра Кытаева, дал ему три красных тридцатирублевки, попросил купить что-нибудь к столу.

Он уже мог позволить себе этот жест. Дома, во Фрунзе, Уметалиев, Бокомбаев, Турусбеков печатали части алыкуловского перевода в газетах и журналах, так что с деньгами проблем не было.

До глубокой ночи засиделся Алыкул со студентами. Популярный поэт, несмотря на замкнутость, малоразговорчивость, а может быть – благодаря этому, да еще отнюдь не богатырскому здоровью, вызывавшему у окружающих определенную долю сострадания, он пользовался заметным успехом, особенно в артистически утонченных сердцах девушек. Тем более, что не спешил обращать на кого-

то внимание, невольно обостряя чувство женского уязвленного самолюбия...

Застолье достигло той стадии, когда все, разбившись на пары, занялись собственным настроением и собственными чувствами. Алыкул воспользовавшись этим, незаметно вышел из общежития, ведь еще предстояло успеть на электричку. Проголосовал редким ночным автомобилям, но те спешили по своим делам.

Вдруг услышал шаги-каблучки. Обернувшись, удивился:

– Это вы, Зейнеп? Куда направляетесь?

– Домой, – улыбнулась девушка. – Там, – она кивнула на общежитие, – все девчонки с парнями...

– А вы?

– А я одна, поэтому иду домой. Я ведь не в общежитии живу, с подружкой комнату в частной квартире снимаем. Подруга осталась...

-- И не боитесь? Одна, ночью...

– Так это же Москва! Здесь девушек не крадут.

– Ну, все-таки...

– Если вам безразлична судьба одинокой девушки в миллионном городе...

– Тогда я с удовольствием провожу вас!

Ночью Москва не менее прекрасна, чем днем, и если ты, молодой, идешь рядом с девушкой, то она становится еще прекраснее. Сначала Алыкул пытался запомнить дорогу, но поворотов оказалось так много, что он перестал обращать на них внимание.

– Агай, – вдруг оборвала очередной свой рассказ Зейнеп, – скажите, все киргизские поэты разговорчивые, или...

– Нет, есть и молчаливые! – рассмеялся Алыкул.

– Где же тогда вы находите слова для стихов?

– Нам их дарят красивые девушки... Вы подарили бы?

– Сначала надо посмотреть на поведение такого поэта...

– Зейнеп, мне кажется, что мы уже по Токолдошу идем, что-то все меньше и меньше московских домов...

– Нет, это пока еще Москва. А вы боитесь, что украду вас?

Алыкул расхохотался.

– Жаль, что бог обидел меня таким счастьем!

– Почему? – искренне удивилась Зейнеп.

– Наверное, не любит он меня, – Алыкул невольно вздохнул.

– Вот мы и пришли, – тоже вздохнула Зейнеп. – Вон там, на третьем этаже... – она показала рукой на темные окна.

– И что это за район?

– Останкино.

– Трудно будет искать...

– Лучше в институт приходите.

– Если сегодня выберусь отсюда...

– А куда вам?

– В Малеевку.

– Боже мой! – она всплеснула руками. – Это же вам еще до вокзала добираться! А потом...

– Уеду утренней электричкой.

– До утра как раз доберетесь... – улыбнулась Зейнеп.

– А что еще остается делать?

– Да вы не знаете даже в какую сторону идти!

– Ну, язык до Киева доведет...

– Когда есть у кого спрашивать.

– Тогда сами скажите, куда мне идти.

– Нет, не могу я вас вот так отпустить. Потом все киргизы будут проклинать меня, что потеряла среди московских ночных улиц нашего любимого поэта.

– Что же делать?

– У меня переночевать, – спокойно ответила она.

– А удобно?

– Во всяком случае, намного удобнее, чем на улице.

– Вы же не знаете меня...

– Я не знаю надежду киргизской поэзии? Обижаете...

...Сняв пальто в прихожей, Алыкул, дождавшись приглашения, вошел в комнату. Стол, две кровати, два стула. На стене – выполненный акварелью портрет Зейнеп. Алыкул задержал на нем взгляд и чем дольше вглядывался, тем большее сходство обнаруживал с Айдай... Хотя, когда смотрел на Зейнеп, такого сходства не видел.

– Это я на первом курсе училась, – сказала Зейнеп, перехватив изучающий взгляд Алыкула, – один знакомый нарисовал, сокурсник из отделения художников.

– Красиво нарисовал, с душой. Должно быть, этот парень влюблен в вас?

– Что вы! Он же из Прибалтики.

– А прибалты не влюбляются?

– Но я же азиатка! – засмеялась Зейнеп. – И нам долго еще отвыкать от предрассудков.

– Пока не влюбимся...

– Чаю хотите?

– Все, что предложите!

– Тогда... – Она открыла тумбочку, достала бутылку шампанского. – Полгода назад из дома привезла, но даже на Новый год не понадобилось... Будете?

– С восторгом! Давайте откроем.

Пока он возился с пробкой, Зейнеп достала фужеры, коробку конфет. Подняла свой фужер, улыбнулась:

– Может быть, поздравите меня?

– С чем? – смутился Алыкул.

– Ну, праздник все-таки... Женский...

– Вообще-то да... Поздравляю!

Они выпили. Зейнеп внимательно посмотрела на Алыкула... Она знала себе цену, цену своей красоте, привыкла уже ловить на себе влюбленные взгляды. Алыкул же вел себя сдержанно, не показывая чувств. Это немного раздражало ее.

– Может, патефон? – спросила Зейнеп, стараясь завести Алыкула.

– Поздно уже для громкой музыки, – остановил он ее. – Если не против, давайте просто так потанцуем.

Музыка звучала в них самих, и стоит ли мешать двум молодым в этом танце весны...

Зейнеп, Зейнепжан! – Алыкул нежно целовал ее глаза, губы. – Единственная моя, вставай, утро уже, на занятия опоздаешь...

Полусонная, она обвила его шею руками, притянула к себе, целуя, прошептала:

– Тс-с, молчи! Нам, киргизам, как и всем советским людям, тоже дается три дня для создания семейной ячейки. Предлагаю воспользоваться этим правом. Или не хочешь?

– Хочу!

И они замерли в долгом поцелуе.

Казалось, судьба, обычно столь немилостивая к Алыкулу, наконец-то решила открыться ему своей светлой стороной. Как говорят на Востоке, и крыша появилась, и нашлось чем срамное место прикрыть... Устроился бы. Знакомство с самим Александром Фадеевым, ведущими переводчиками Пеньковским, Обрадовичем, Липкиным и многими другими поэтами и романистами укрепило в нем уверенность в своих творческих возможностях. В немалой степени этому способствовало и неожиданное для него самого награждение орденом «Знак Почета».

Еще год назад, уезжая в Москву не сказать чтобы совершенно безвестным поэтом, но очень стесненным жизненными обстоятельствами, теперь он возвращался во Фрунзе, что называется на коне. Поезд мчал домой одного из признанных не только в народе, но и официально, лидеров национальной культуры.

Выйдя в тамбур, Алыкул загляделся на Волгу. Не в тот ли момент родились у него стихи:

Эй, Россия, Россия! Ты мне матерью стала родной
Горной птице свободной – мне объятья открой.

И, любви не стыдясь, признаюсь я открыто:

Человеком, народом назову себя только с тобой.

Еще год назад единственный друг Тугельбай Сыдыкбеков, провожая в Москву, напутствовал на вокзале:

– Не терзайся болезнью. Я же сильнее болел, а теперь видишь какой! Быка могу свалить! Плюй на всякие там мелочи жизни, больше работай...

А теперь в огромной толпе митинговавших в его честь почитателей он с трудом отыскал своего друга Кубанычбека Маликова, спросил:

– Где Колконбай?

– В больнице, – ответил тот. – Написал новый роман «Широкая вода», опять обвинили бедолагу в политической близорукости, вот и не выдержал, слег...

– Неужели здесь не одумались, продолжают гонять тех, кто признается в любви к своей матери?

– Тс-с...

– Но в Москве-то с этим покончено...

– Э-э, дорогой, часто ветер и волны на другом конце света больше бед приносят, чем там, откуда этот ветер дует. У нас это теперь перегибами называется...

-- Ладно, пошли!

– Куда?

– В больницу к Колконбаю!

– Но ведь столько народу собралось поздравлять тебя...

– А-а, они и не заметят!

– Пошли!

Митинг, посвященный приезду поэта - орденосца набирал силу, так что отсутствие виновника торжества обнаружили действительно не скоро. А обнаружив, махнули рукой, мол все они, поэты, с причудами, главное, что великий пождь заметил скромного паренька-трудягу из дальнего аила Кангал-Арык, заметил и оценил, значит, в его лице – и весь киргизский народ.

Разговор с Кубанычбеком поверг Алыкула в уныние. Выходит, те очищающие перемены, которые набирали силу в Москве, сюда, в Киргизию, пока не дошли.

Более того, похоже, они давали возможность с новой силой обрушиваться на неугодных. То есть, проще говоря, теперь стали размахивать двумя дубинками... Так что если кого-то в Москве подвергали критике, здесь этого человека тут же причисляли к врагам народа, и тем страшнее это было, что

«врагами» своего народа стали даже такие люди, как первый президент Киргизской Советской Социалистической республики Абдыкадыр Орозбеков, не жалевший крови своей для установления Советской власти.

Мелькнула мысль вернуться в Москву, насовсем там остаться. Но, подумав, Алыкул отверг ее, ибо не мог представить свое существование вне корней своих...

Опять закружил себя в поездках по республике, встречами с людьми.

Именно в это время он создает такие произведения, как поэму «Карагул», «Мырза Уул», большой цикл стихов, посвященных труду своих земляков. Вообще, осень 1939 года стала очень заметным периодом в творческой биографии Алыкула.

К этому же времени распространился его перевод «Витязя в тигровой шкуре». 10-и тысячный тираж разошелся буквально за полмесяца. Популярность книги была такой, что вскоре за нее предлагали ягненка, потом корову, а после и хорошего коня... Аил, в котором не было «Витязя...», считался хуже отстающего по соцсоревнованию.

Тугельбай Сыдыкбеков и сейчас вспоминает, что один пожилой человек, случайно купив книгу в магазине, потом умолял всех грамотных прочесть ему поэму вслух... Он слушал ее полностью 29 раз.

Пять массовых переизданий выдержал за тридцать лет осмоновский перевод «Витязя»... По сей день непревзойденный рекорд.

В общем, не будет преувеличением считать, что 1939 год стал наиболее плодотворным как в творческом плане, так и в житейском. Стихи разочарования уступили стихам философского звучания.

Он уже мог позволить себе написать:
Шота-аба, тебе я коня хочу подарить,
Символом дружбы он будет служить.
Смелее седлай! Конь мой киргизский
Новые дали поможет тебе открыть!

Или же:

Была первая любовь чиста, словно снег,
Я, познавший ее, стал счастливее всех.
В золотые одежды ее раздел,
Я пел песни, был громким мой смех!
Я лелеял ее, целовал, обнимал,
Клятвам верности я благодарно внимал.
Но, огнем опалив, любовь моя скрылась, –
Вот тогда одиночество я испытал.

Но вторая любовь – красивее, моложе –
В мое сердце вошла звонкой песней хорошей.
Вновь открылся мне мир высокий и светлый,
Я влюблен, и любовь моя время итожит!

Стихи Алыкула становились популярными задолго до их публикации, музыканты спешили превратить их в песни...

В один из теплых осенних вечеров во дворе дома, что на углу нынешних улиц Московской и Первомайской, было многолюдно. Под раскидистыми яблонями расположились свадебные столы, за которыми, без преувеличения, собрался весь цвет киргизской интеллигенции – художники и актеры, врачи, музыканты, партийные работники.

Во главе – Алыкул и Зейнеп. Он в черном костюме, хотя и не любил этот цвет никогда, предпочитая тона светлые и в одежде, и в природе. Она – в белом платье, на голове – ослепительно белый платок, символ грядущей чистой жизни.

По левую руку от Алыкула важно восседал Оогонбай, заметно постаревший, в соболином тебетее и сером чапане с шалевым каракулевым воротником. Иногда он смахивал набегавшие слезы, стараясь, чтобы окружающие не заметили его проявления чувств. Рядом с Оогонбаем сидела располневшая, в очках Груня Савельевна. Рядом с Зейнеп сидела светловолосая молодая русская женщина и киргиз со

значком «КИМ» на лацкане пиджака – брат Зейнеп, Керимкул со своей женой.

Среди многочисленных гостей находились и Черик с Марией, счастливые уже тем, что сидят вместе за одним столом с такими важными людьми, да еще на свадьбе своего родственника...

Много было высказано пожеланий молодоженам. Байсалбай, выполнявший роль тамады, поднялся в очередной раз.

– Товарищи, тише! Пусть скажет свое веское слово заводила, аксакал тех пяти убежденных холостяков Жулкунбай Жулкунбаевич – Кубанычбек Маликов! Он первым нарушил обет и проложил Алыкулу дорогу к семейному очагу!

Все рассмеялись. Поднялся Маликов.

– Друзья мои! У меня не было времени толком поздравить нашего дорогого Асмайчи, потому что все эти дни был занят всевозможными и понятными хлопотами. Если не возражаете, тогда я сейчас попытаюсь исправиться...

– Не возражаем! Давай, Кубанычбек!

Кубанычбек, напустив на себя грозный вид, пошел к Алыкулу. Тот поднялся к нему навстречу. Когда они сблизились, Кубанычбек сморщил его лицо ладонями и смачно поцеловал. Потом так же смачно сплюнул.

– Желаю тебе долгого счастья, сирота мой ненаглядный!

– Молодец, Кубанычбек!

– Выпьем за дружбу!

– Одну минуту, товарищи! – Кубанычбек поднял руку, прося тишины. – Я предлагаю...

Договорить он не успел. Резко распахнулись ворота и во двор ввалились человек двадцать вооруженных винтовками людей.

– Всем оставаться на местах! – приказал молодой киргиз с ромбиком в петлице. – Руки вверх! Стреляю без предупреждения!

Жусуп успел перехватить руку Джоомарта, потянувшуюся за наганом:

– Ты что, с ума сошел... Не видишь, их сколько...

Вскочила Зейнеп:

- Что это значит?!
- Заткнись! – синеглазый пожилой солдат приставил к ее груди винтовку с примкнутым штыком.
- Повторяю, что стрелять будем без предупреждения, – строго произнес молодой киргиз. – Всем поднять руки и встать лицом к стене! Обыскать! – дал он команду солдатам.
- Товарищ лейтенант, – повернулся к нему один из гостей, русский мужчина средних лет, на лацкане его пиджака блестел значок депутата Верховного Совета СССР, – можно спросить у вас?
- Я тебе не товарищ! – оборвал его лейтенант
- Похоже, мы действительно не товарищи... – произнес мужчина, не теряя достоинства, – и все же хочу к вам обратиться...
- Ну, чего тебе?
- Видите этот значок?
- Ну и что?
- Я депутат Верховного Совета.
- Не знаю, что это такое... Руки!
- Тогда сами достаньте из моего кармана удостоверение. Я секретарь Центрального Комитета Компартии Киргизии – Дубов.
- Что?
- Доставайте, доставайте.
- Извините, товарищ секретарь... – лейтенант вернул удостоверение. – Вы можете опустить руки.
- Спасибо, а остальные?
- У меня приказ.
- Кто дал вам его?
- Подполковник Сизов, товарищ секретарь!
- Слушайте, лейтенант, только что вы оскорбились, когда я назвал вас товарищем, не думаете ли вы, что теперь я могу обидеться?
- Извините, товарищ... Простите, гражданин секретарь... – Лейтенант совсем растерялся.
- Керимкул, проводи меня и лейтенанта к телефону, – обратился Дубов к брату Зейнеп, – поговорим с его начальством.

Они вошли внутрь дома.

– Подполковник Сизов слушает! – отозвался в трубке начальственный голос.

– Здравствуйте, товарищ Сизов, я – Дубов.

– Добрый вечер, товарищ секретарь, слушаю вас – голос в трубке оставался ровным.

– Не смогли бы вы срочно приехать на улицу Первомайскую, в четырнадцатый дом?

– Если нужно...

– Нужно. Я жду вас.

– Как, и вы там?

Дубов положил трубку. Посмотрел в окно и не решился выйти к людям, все еще стоявшим с поднятыми руками у стены. Изменить что-либо он пока не мог – старательный лейтенант и впрямь лишь выполнял приказ. Отправив лейтенанта встречать начальство, Дубов остался в комнате один.

Вошел Сизов. Доложил:

– Товарищ секретарь, начальник особого отдела НКВД республики подполковник Сизов по вашему вызову явился.

И только тут не выдержал Дубов, резко спросил:

– Это что же за особый отдел такой, если делает все, что в голову взбредет? Вы можете объяснить, что все это значит? – он кивнул в сторону двора.

– Осуществляем операцию... – Сизов не потерял обычной самоуверенности.

– Операцию по очернению всего цвета киргизской литературы и искусства?

– Не совсем так, товарищ секретарь, нам сообщили, что здесь проходит тайное совещание последователей алашордынцев, ярых националистов, подрывающих устои государства, политику партии.

– Чего, чего?

– У нас точные данные.

– Да вы соображаете, что говорите! В чем обвиняете этих людей! Выходит, что националисты совещаются в доме первого секретаря ЦК комсомола республики, кстати, женатого на русской девушке? Что националистом является кавалер ордена «Знак Почета», лучший переводчик русской литературы на

киргизский язык Алыкул Осмонов? Или Джоо-март Бокомбаев, одним из первых киргизов прославивший Ленина и революцию? Или Гапар Айтиев, только-только вставший на ноги исключительно с помощью русских учителей? Или Жусуп Турусбеков? Или бывший дворянин Малиновский, оставивший детям рабочих дворец в Ленинграде и добровольно приехавший к нам поднимать здравоохранение?

– Именно эти люди включены в наш список, товарищ секретарь.

– Кто их включил?

– Наш проверенный человек.

– А вы уверены, что этот ваш человек не подослан троцкистами, чтобы физически уничтожить цвет киргизской интеллигенции?

– Стопроцентной гарантии нет, конечно... Но он тоже известный в республике человек.

– Надо сначала хорошо проверить самого этого человека.

– Проверим, товарищ секретарь, если вы настаиваете...

– Я требую! Даже если он не шпион, все равно люто ненавидит рост Киргизской Советской Республики!

– Он сам киргиз, товарищ секретарь, к тому же из творческой интеллигенции. Кстати, сейчас должен быть недалеко отсюда...

– Если можно, пригласите, – попросил Дубов.

– Конечно, товарищ секретарь! – с готовностью откликнулся лейтенант, стараясь смягчить впечатление от своей недавней грубости.

– А вас я попрошу, – когда лейтенант вышел, Дубов повернулся к Сизову, – пойти к людям, извиниться перед ними и отпустить солдат.

– Но...

– Никаких «но»! Вопрос обязательно будет рассмотрен на бюро ЦК. Если понадобится, каждого из этих людей вызовем.

Вошел запыхавшийся лейтенант:

– Нет его, товарищ подполковник!

– Дома?

– Нету...

– Сбежал, значит. Ну, найдем, человек он такой именитый, что ни в какой толпе не затеряется. Известный... – Сизов натянуто улыбнулся.

– Да, один вопрос – Дубов внимательно посмотрел на подполковника, – какими должны были быть ваши дальнейшие действия?

– Большой тройкой предписано сегодня же расстрелять все 27 человек.

...Когда Сизов, сухо извинившись перед людьми, разрешил опустить руки, Дубов подошел к Джоомарту, все еще не опустившему руки, спросил удивленно:

– Что, Бокомбаич, понравилось так стоять?

– Всем разрешено опустить руки, – повторил Сизов.

– Большое спасибо... Я так постою...

– Ваше личное дело, – усмехнулся подполковник.

– Не осмеливаюсь, пока вы здесь... С представителями власти... и партии лучше держать руки повыше...

– Ну-ну, – рассмеялся Дубов, опуская Джоомарту руки и обнимая его за плечи. – Смотрю на тебя и удивляюсь: то ты самый мудрый киргиз, то – мальчишка, готовый броситься в драку из-за любого пустяка. Сам ведь хорошо понимаешь, что партия и правительство здесь не при чем...

– А не кажется ли вам, товарищ секретарь, что у нас в республике слишком многое творится такого, в чем партия и правительство оказывается не при чем? Что бы вы сказали завтра, не окажись сами сегодня здесь...

Дубов не успел ответить. Раздался пронзительный крик Зейнеп, державшей в руках затоптанный солдатскими сапогами белый платок невесты...

Конец первой книги.

1982 – 1983 гг.



ОТ АВТОРА

(послесловие)

Вычитывая рукопись и дойдя до последних слов: «... белый платок невесты», я окончательно утвердился в ощущении, что не осталось ни сил, ни денег, чтобы приступить к работе над переводом второй части книги, хотя 700 машинописных страниц на кыргызском языке давно лежали в столе.

А в один из дней встретил своего сослуживца, который обрадованно сообщил, что меня восстановили на работе (я был уволен со студии «Кыргызтелефильм» за картину «Песнь о любви», точнее – за отказ вырезать эпизод с чтением Корана, все-таки был 1987 г.). Этот же сослуживец предложил мне подать в издательство заявку на выпуск первой части романа, мол, тогда я смогу представить вторую часть в рукописи.

Я воспользовался этим предложением.

А потом приступил к постановке 2-х серийного телефильма «Плач волчицы» по роману Чингиза Айтматова «Плаха», так что полтора года пролетели незаметно. Естественно, заявка на книгу вылетела из головы, поэтому, наверное, было сложновато сразу вникнуть в суть ответа, пришедшего из издательства. Привожу его текст со всеми орфографическими нюансами.



РЕДЗАКЛЮЧЕНИЕ

*по рукописи книги на русском языке
Д. Садырбаева «Светлая боль моя»*

Дооронбек Садырбаев заявил к изданию рукопись своей новой книги объемом 20 печатных листов.

Центральным произведением сборника является роман о классике киргизской советской поэзии Алыкуле Осмонове – «Светлая боль моя». Идея написать художественное произведение о замечательном национальном поэте несомненно заслуживает всяческого одобрения. Но после прочтения рукописи сразу возникает несколько вопросов.

Во-первых, поэзия Алыкула во всей ее красоте, со всеми ее достоинствами для русскоязычного читателя из-за малоудачных переводов пока еще не раскрылась. Следовательно, фигура поэта для такого читателя остается пока не столь вызывающей внимание, как для читателя киргизского. Это обстоятельство должно было облечь автора особой ответственностью, особыми задачами – заполняя переводческий пробел, приобщить русскоязычного читателя к поэтическому миру талантливого художника. Но сделать это ему пока не удалось. Он больше рисует окружающих молодого поэта людей, общественную атмосферу в писательском кругу, идейно-политический климат 30-х годов, отдавая при этом более половины объема сегодняшней рукописи детским годам поэта и первой любви юного Алыкула. Рождение творческих замыслов, поэтическая переплавка окружающей жизни в душе поэта даются весьма схематично, поверхностно приблизительно. А то и просто в сухой назывной форме сообщается над чем он работал, что написал. Иногда это обретает форму скушной литературоведческой декларации.

Стихотворные цитаты из произведений Алыкула в авторском переводе, введенные в произведение, малоинтересны – они передают голый смысл, а поэзия из такового не состоит. И создается впечатление, что цитируются далеко не лучшие стихи, а может быть, так оно и есть. Потому и приходишь к заключению, что такое произведение будет неинтересным для русскоязычного читателя, для которого, еще раз заметим, поэзия А. Осмонова пока не открылась в полной мере.

Возможно, автор – известный в республике кинорежиссер и киносценарист – оказался при написании романа в некоем плену своей главной профессии. Но ведь книгу перед читателем актеры не доиграют, и перед читателем, а не кинозрителем, образ Алыкула предстанет ровно таким, каким его удалось создать на бумаге писателю.

Может быть, многое из сказанного не пришлось бы говорить здесь автору, представь он свое произведение в рукописи в полном виде. Пока же представлена лишь половина, и автор намерен издавать его в этой книге именно в таком объеме. Но что за необходимость издавать недописанное произведение, которое не имеет какой-либо сюжетной завершенности? Такие публикации допускают журналы, когда их устраивает обнародование лишь глав произведения. Такое допускается также тогда, когда произведение остросовременное и важно как можно быстрее довести его до читателя. Такое допускается, наконец, еще и в том случае, если автор умер и не успел дописать вещь.

Ни того, ни другого, ни третьего обстоятельства в нашем случае нет. В результате поводом для издания незавершенной работы остается только личное желание автора. Но оно пока что не совпадает с интересами издательства.

Далее автор набирает объем заявленной книги творческим портретом кинорежиссера Толомуша Океева и тремя рассказами. Но творческий портрет не является собственно произведением художественной прозы, его автору следует предложить редакции литературы по искусству. А три коротких рассказа, ясное дело, книгу не спасают.

Из представленных произведений издательство интересуется роман об Алыкуле Осмонове. Но автор должен представить его

в полном объеме. Пока же книгу нельзя считать состоявшейся. Что касается романа, то кроме всего вышесказанного, можно добавить, что в представленной его части некоторые сцены кажутся явно надуманными (напр., вспышки Джоомарта, выхватывающего пистолет, и никак потом не преследуемого за это НКВД).

Вопрос об издании романа может быть разрешен только после представления автором произведения на русском языке в полном объеме.

17.11.89

подпись.

Н. КАРИМОВ

зам. гл. редактора

подпись Н. ПУСТЫННИКОВ

зам. гл. редактора

Было бы смешно и глупо сегодня, в иной эпохе, полемизировать с этими ребятами. Главное в другом: и по сей день сохранилась в людях советская привычка возлагать на себя такие должностные обязанности, которыми обладать они не вправе. Даже если очень «скушно».

СОЛНЕЧНЫЕ ТЕНИ ДЕТСТВА

Повесть

– Разве бывает солнечная ночь? – спросил мальчик.

– Да, мой мальчик, «кадыр тун» приходит к каждому человеку, но не каждый успевает разглядеть ее

-- А я увижу?

– Да, обязательно увидишь.

– А как я узнаю, что это – солнечная ночь?

– Я не знаю, мой мальчик. Ее нельзя увидеть, ее можно только почувствовать, ты обязательно почувствуешь ее...

– А когда она придет ко мне? ..

– И этого я не знаю, мой мальчик... К одним она приходит раньше, к другим позже, пусть к тебе «кадыр тун» придет вовремя...

Ночь была светлая-светлая. До утра крупными хлопьями шел снег. С первыми рассветными тенями молодая келин Салима, младшая невестка дедушки Бакая, искусно заплела косы, одела отсвечивающий белизной элечек, ибо предстояло ей начинать утро с низких поклонов всем почтенным людям шила. Как велит обычай, начало которому положила Каныкей, жена Манаса.

А было так. Стояло весеннее, солнечное, беспечное утро. По раздольным предгорьям разливалась зелень высоких трав, укрывая собой маралов и эликов, лисиц и зайцев, уларов и кекликов, всякую прочую живность. Юный Манас в сопровождении своего учителя Бакая и сорока смелых джигитов, охваченный весенним томлением, искал утешение в охоте. Но десятки подстреленных косуль и сотни уларов не успокаивали его. Наоборот, еще больше раззадоривали. В пылу

азарта беспечные охотники забрались во владения могущественного Темирхана.

Дочь Темирхана – красавица Каныкей, воспитанная как отважный воин, увидев разбойничью удадь чужестранных охотников, не стерпела. Она натянула тетиву и пустила стрелу в юношу. Никогда не ведала промаха Каныкей. Но в этот раз ей почему-то изменила рука. Может быть, сердце раньше зоркого взгляда разглядело в юном Манасе единственного своего избранника и отвело от него разящую стрелу. Может быть. Ибо стрела, миновав Манаса, вонзилась в плечо ехавшего рядом Бакая.

Взбешенные джигиты бросились было к воину, посмевавшему пустить стрелу не в открытом поединке, а неожиданно, без предупреждения, но были остановлены властным жестом своего предводителя, ибо и его сердце раньше взгляда увидело в воине свою единственную возлюбленную.

К счастью, рана Бакая оказалась не опасной. Но с тех пор жена Манаса Каныкей при каждой встрече с Бакаем низко и почтительно кланялась ему, извиняясь за свой поступок...

И сегодня молодой Салиме предстояло соблюсти рожденный легендарной Каныкей обычай, поклониться другому Бакаю, отцу своего мужа... К утру снег прекратился. И деревья в аиле Торт-Куль, и заросли облепихи на берегу Иссык-Куля, будто молодые келин в ослепительно белых элечеках, склонили ветви к земле, встречая новое солнце.

Новое солнце встречали и птицы на озере. Крикливые чайки мельтешили от неба к воде в поисках пищи. Изящная пара белых лебедей замерла в отдалении, любуясь собой в темнолицем зеркале. Ближе к берегу огромная колония уток, гусей, атаек и других разнокрылых выскивала корм на отмели. И у каждой птицы был свой голос, и эти голоса сливались, превращаясь в неумолчный всепоглощающий гимн жизни. От колонии отделилась утка-белошейка. Она подплыла к берегу, вышла на песок, отряхнулась и неспешно зашагала к зарослям облепихи.

Мальчик замер. Скрытый низко склонившимися ветвями, он увидел, что от колонии отделился еще и селезень. Плыть ему, видимо, показалось чересчур долгим, он взмыл вверх, полетел

после за вышедшей на берег уткой. Сделав несколько кругов над ней, селезень издал протяжный гортанный крик, совершенно не похожий на утиное кряканье... «Неужели селезень заметил меня и предупредил утку?» – насторожился мальчик. Но селезень опустился рядом с белошейкой, и мальчик услышал:

- Что вам надо? – не без возмущения спросила она. – Мы не знакомы с вами.*
- Давайте познакомимся, – улыбнулся он.*
- Я на улице не знакомлюсь! – отрезала она и отвернулась.*
- Тогда я приглашаю вас во дворец! – он показал взглядом на сказочные кусты облепихи.*
- Нахал? – она обиженно поджала клювик.*
- Простите, я не хотел вас обидеть... – смутился он.*
- Я просто не научился разговаривать с молоденькими... Если вы не возражаете, я лучше спою...*
- Ну-ну, вы еще и поете? – расхохоталась она, но прервала смех, увидев, что он расстроился.*
- Извините, – сказала она, – мне очень интересно будет послушать вашу песню...*
- И опустила смущенный взгляд, ибо слова ее звучали почти полупризнанием.*

Еще никогда не слышал мальчик песни влюбленного селезня. Он забыл о просьбе бабушки Бакая отыскать на берегу озера забредшего в эти места жеребенка. Он не замечал снежинок, упавших ему за шиворот и тонкими холодными струйками стекавших по спине. Он не слышал крикливого гомона птичьей колонии. А может, озеро намеренно скрыло от него все это. Потому что озеро, святой Иссык-Куль, давший волшебство пальцам непревзойденного комузиста Карамолдо Орозова, чудодейство виртуозным рукам хирурга Исы Ахунбаева, силу мозолистым ладоням великого труженика гор чабана Мамбета Тынаева, наверное, готовило продолжение своим талантливым сыновьям, даря мальчику самую совершенную из созданных природой картин – картину любви. Мальчик слушал и видел только влюбленных селезня и белошейку. Закончив первый куплет, селезень грациозно

расправил крылья, сделал несколько танцующих шагов вокруг белошейки. Теперь и она отвечала ему нежной песней, принимая приглашение к танцу. Их крылья иногда касались друг друга, и тогда песня, которую они пели уже вместе, взмывала в небо, затем стремительно неслась вниз и зависала у самой земли... И вот неожиданно замерли обе птицы, опустили распушенные крылья, их головы на высоких тонких шеях потянулись навстречу друг к другу, чуть прикоснулись...

– То-ло-му-ууш!

Вздригнуло озеро. Взлетела вся колония, закрыв собой солнце, и стало темно вокруг. А когда растворились тени и над озером опять стало светло, то мальчик увидел, что селезень с белошейкой исчезли, и исчезла сказка, исчезла песня... Мальчик резко встал и на мгновение превратился в большой сугроб от осыпавшегося с ветвей снега. Подбежали трое мальчишек сверстников, наперебой затормошили его.

– Эй, ты что, оглох, что ли? Язык проглотил? Мы тебя по всему озеру ищем. Ты нашел жеребенка? Дедушка Бакай волноваться начал...

– Тьфу, дураки – сплюнул мальчик, оглянувшись на исчезнувшую сказку и пошел вдоль берега.

Первым его догнал самый рослый, большеглазый рыжий Султанбек. Он схватил товарища за плечо, развернул к себе...

– Сам дурак, – сказал он поспешно. – А теперь слушай. В райцентр это привезли, ну как его, помнишь, учитель рассказывал, которое в темноте показывают... Ну, как его...

– Кийно, что ли?..

– Вот, вот – обрадовался Султанбек, – вот его привезли...

Подошли остальные ребята, настороженно поглядывая на Толомуша – кто знает, что он еще выкинет... Но тот был уже во власти нового сообщения...

– А когда будет? – нетерпеливо спросил он.

– Сегодня вечером, – ответил Султанбек.

– Тогда идем, – решительно заключил Толомуш.

– Ага, сходим... – вздохнул коренастый Абакир. – А как потом выбираться будем? Пацаны из райцентра нам и днем прохода не дают, а вечером запросто вломят...

-- С какой стати? – удивился Толомуш. – Мы не будем их трогать, и все нормально.

– Они сами затронут, не волнуйся, – ответил Султанбек.

– Тогда надо идти всем вместе, – решил Толомуш. – Сколько нас?

-- Человек двадцать наберется.

– И хватит – улыбнулся Толомуш. – У Манаса было сорок джигитов, а сколько побед он одержал... Нас будет наполовину меньше, так ведь мы не воевать идем, нам и половины достаточно.

По извилистой подтаявшей дороге, ведущей из села Торт-Куль в районный центр Тон, шли двенадцать пацанов, осмелившихся посмотреть это загадочное «кийно». Окружив плотной стайкой Толомуша, они наперебой обсуждали будущее сражение с парнями из центра. Рыхлый толстяк, похлопывая себя по карманам, успокаивал остальных:

-- Ерунда! Десять я не обещаю, но семерых беру на себя, это точно! На каждого из вас по одному достанется, не больше...

– А я с троими справлюсь, – заявил Султанбек.

-- Мне-то хоть одного оставьте! – попросил Толомуш.

– Моего бери! – расщедрился Абакир.

Все засмеялись. И в таком веселом настроении прибыли они в одноэтажную, с подслеповатыми окнами школу, возле которой уже толпились люди в ожидании начала... Когда все расселись, в полутьме наступая друг другу на ноги, на чисто выбеленной стене вдруг засветился небольшой квадрат. Загремела напугавшая многих музыка и в освещенном квадрате shimmerкали сначала какие-то буквы, потом появились люди, ризговаривающие на непонятном русском языке. Неожиданно появились кони, телеги, их было много, и Толомуш чуть поддался назад, готовый к моментальному бегству, если только шивина вооруженных всадников направится в его сторону...

Но и люди, и кони, и огромные здания, появившись в квадрате, куда-то исчезли, и Толомуш все никак не мог понять,

где же может помещаться такое несметное количество народа и животных...

И раньше ему много раз доводилось бывать на выступлениях комузистов, акынов и манасчи, даже самого Саякбая видел и слушал дважды, и дедушка Бакай любил разыгрывать перед мальчиком сражения и битвы из «Манаса», «Семетей»... Но такой реальной картины происходящего видеть ему не доводилось. Постепенно чувства страха и изумления отодвинулись на второй план. Картины увлекли его, и хотя он не понимал языка, в ситуациях разобрался верно и начал болеть «за наших», которые бились с захватчиками, одетыми в тяжелые доспехи, с большими квадратными ведрами на головах, и от души радовался со всеми, когда «наши» побеждали...

Кино закончилось. Но люди безмолвно сидели, надеясь, что еще появится картина.

– Все, товарищи! Кино кончилось! – громко объявил киномеханик. – Расходитесь.

Люди нехотя встали, принялись окликать друг друга. То же самое сделал Толомуш, но на его выкрики: «Султанбек, Абакир, Бакыт» никто не ответил. И тогда вспомнил, что в середине фильма кто-то из друзей тянул его за рукав, зовя домой... Постояв еще некоторое время среди шумно обсуждавших фильм незнакомых людей, Толомуш медленно побрел в сторону Торт-Куля. Вдруг из темноты выплыли силуэты четверых подростков, примерно его возраста. Он еще замедлил шаг, приготовившись к драке. «Главное – не показывать виду, что я их боюсь, – подбадривал он себя. – Всего четверо... Если бы ребята не сбежали, мы запросто справились с этими. Вперед, Толомуш, только вперед!» С большим трудом преодолевая в себе страх, Толомуш направился прямо на незнакомых парней. Те чуть расступились, пропуская его, продолжая жестами и возгласами обсуждать только что виденное кино... Отойдя от них подальше, Толомуш радостно подпрыгнул и громко расхохотался. И темная, ночная дорога совершенно не пугала его, как не пугала громада насупившихся сонных гор, как не пугали причудливые коряги давным-давно умерших деревьев,

как не смогли бы напугать даже полчища крестоносцев, потому что они неизбежно должны провалиться под лед.

Возле крайнего дома села Торт-Куль его остановил голос дедушки Бакай.

– Ты где задержался, твои друзья давно вернулись.. Пошли в дом, я предупредил родителей, что ты у меня заночуешь...

Они прошли в дом. На подоконнике светилась керосиновая лампа. Дедушка Бакай налил в две пиалы чай, пододвинув Толомушу остывшее мясо.

– Ну, как эта штука? – спросил он.

– Кийно? – переспросил мальчик. – Во! – показал он большой палец. – Завтра в Каджи-Сае будет показывать.

– А почему же ты задержался?

– Нет, я сразу после кино домой пришел.

– А твои друзья?

Толомуш оставил пустую пиалу, накрыл ее ладонью, посмотрел в темное окно, тяжело вздохнул:

– Они даже до середины не досмотрели, испугались и убежали, – сказал он тихо.

– Чего испугались? – не понял старый Бакай.

– Что пацаны из райцентра побьют нас... И пока все смотрели кино, они сбежали...

– Ладно, пошли спать, – пригласил дедушка Бакай.

Они легли рядышком на приготовленную постель, Толомуш лежал с открытыми глазами, видя перед собой то мелькавшее сражение с крестоносцами, то ускользавших друзей, то смешливое обсуждение плана будущей драки с пацанами из райцентра, то полуреальную сказку танца селезня и белошейки...

– Ты не расстраивайся, – произнес вдруг дедушка Бакай. – Ты еще много раз будешь оставаться один, когда очень- очень нужны будут рядом верные друзья. Но ты всегда победишь, если тебя не покинут:

Мужество

Знание

Чистота твоих мыслей.

Долго еще рассказывал дедушка Бакай мальчику о жизни, о любви, о друзьях, перемежая наставления случаями из своей

жизни, пока не заснул под свои же собственные слова... А Толомуш впитывал его мысли, пусть даже не все понимая пока, но много позже они все равно отзовутся в нем сказанным и сделанным...

А на следующий вечер, увлеченный утренним рассказом мальчика о кино, дедушка Бакай оседлал коня, и они вдвоем поехали в Каджи-Сай.

*– Во-он та вершина, – показывая
в сторону гор, учил дедушка Бакай, –
это не край света. Поднимись на нее
и тебе откроется новая долина, новый мир...*

Лауреатом премии Ленинского комсомола Киргизии, республиканской государственной премии имени Токтогула, народным артистом, заслуженным деятелем искусств Польской Народной республики мой учитель кинорежиссер Толомуш Океев станет много позже...

Так же, как заговорят позже об удивительном триедином феномене Киргизии: киргизское озеро Иссык-Куль, киргизская литература, киргизское кино, соединяя воедино своеобразие нашей природы, литературу Чингиза Айтматова и кино Толомуша Океева.

А пока мальчишкой, он приезжает во Фрунзе. Поступает учиться в среднюю школу № 5, именно поступает, ибо тогда это была одна из немногих в республике средних школ с киргизским языком обучения, и в нее стремились попасть все, мечтавшие не просто продолжать обучение, но познать высокий мир искусства и литературы, человеческого бытия. Он приезжает в столицу и с удивлением открывает для себя, что на земле существуют огромные заводы и стадионы, театры и музеи, поставленные друг на дружку длинные дома и, конечно, кинотеатр «Ала-Тоо». Теперь не надо было ездить из села в село за кинопередвижкой, чтобы смотреть раз за разом один и тот же фильм.

Но вот и это удивление прошло, и уже в новой долине он открывает для себя не только Исаакиевский собор, не

головоломки аппаратуры Ленинградского института киноинженеров, но античный мир в Эрмитаже, Радищева, Державина, Сумарокова, сложные философские понятия, диалектику единства противоречий... Жадно проглотив эти открытия, Толомуш возвращается во Фрунзе и вдруг обнаруживает, что его знания и помыслы чрезмерны для начальника цеха звукотехники киностудии. Затрачивая массу времени на организацию работы звукоцеха, он чувствовал в себе огромные запасы нерастратченной энергии, энергии души художника. Он с огорчением видел, что фильмы, мастерски поставленные на «Киргизфильме» высоко профессиональными приглашенными режиссерами, могли быть поставлены где угодно: в Таджикистане, в Прибалтике, во Франции, в Америке... Менялся бы только фон... Хотелось же увидеть именно киргизский фильм.

У нас в народе говорят: душа киргиза – в комузе, крылья киргиза – конь. Не случайно поэтому свой первый режиссерский фильм Толомуш Океев назвал – «Это лошади».

Документальная десятиминутка. Предложи сегодня снять десятиминутный документальный фильм второкурснику ВГИКа – он может обидеться: фи, что такое десять минут, вот три части – это другое дело...

... Неуклюжий, тонконогий жеребенок. Покачиваясь на ножках-струнках, он оглядывает открывшуюся перед ним безбрежную долину. Он поднимает голову, делает шаг, второй... Растущие в нем крылья властно зовут в полет, и вот уже молодому тулпару – победителю – аплодируют ипподромы республики, страны мира... Но краток наш миг на земле. С трудом переставляя уставшие ноги, бредет в табуна таких же усталых коней наш тулпар. Бредет на бойню...

Десять минут... Режиссер Океев сумел заставить нас полнобить жеребца – тулпара, радоваться его полету, плакать, глядя на его последние шаги...

Я проглотил слезы, вздохнул. И, презрев субординацию, в сердцах воскликнул:

– Эй, Толомуш, это обо мне, что ли?

О фильме заспорили, было только два мнения: высокий плюс и глубокий минус. Победил плюс, фильм вышел на

всесоюзный экран, облачив начальника цеха звукотехники студии «Киргизфильм» Толомуша Океева в тогу кинорежиссера...

... В итоге кинорежиссера Толомуш Океев вдруг обнаруживает, что знания и помыслы его... явно недостаточны. Жумаш-жене, молодая жена Океева, работавшая с 9.00 до 18.00 за 70 рублей в месяц, двое малышей Азиза и Искен в однокомнатной квартире с общей кухней...

– Вам будет трудно...

– Нас трое, – возражала Жумаш -жене – тебе будет труднее, чем нам, ты – один. Все равно ты должен ехать!

Он поехал.

Москва. Высшие двухгодичные курсы кинорежиссеров! Ромм, Райзман, Трауберг, Козинцев, Герасимов, Юткевич.

Музеи, выставочные залы и библиотеки, библиотеки, библиотеки...

Распорядок дня:

1. Суббота и воскресенье – понедельники.

2. Сон – шесть часов – роскошь, это он понял уже через месяц учебы. Начал сокращать: до пяти часов, до четырех... Оказалось, организму хватало и трех...

3. Питание – без отрыва от производства.

Что это – самоотречение? Самопожертвование? Нет. Это – «Небо нашего детства».

В 1967 году на кинофестивале республик Средней Азии и Казахстана в Душанбе этот фильм Океева завоевал главный приз «Горный хрусталь». В 1968 году на всесоюзном кинофестивале в Ленинграде – диплом «За талантливую режиссуру», спецприз журнала «Искусство кино». В этом же году на международном кинофоруме во Франкфурте-на-Майне – Почетный диплом. В 1969 году на международном кинофестивале в итальянском городе Триесте – главный приз «Золотая альпийская ветвь».

А в 1969 году Толомуш Океев становится первым Лауреатом впервые присуждаемой премии Ленинского

комсомола Киргизии, в одном ряду с поэтом Алыкулом Осмоновым – «арманом» киргизского народа.

Такое оно – «Небо нашего детства» тридцатилетнего режиссера студии «Киргизфильм» Толомуша Океева. А самый главный приз этот фильм получил в Торт-Куле...

Они сидели в юрте старого Бакай.

– Мне иногда кажется, – сказал режиссер, потягивая кумыс, что это ты, а не родители, назвал меня Толомушем – исполнение...

– Я не помню... – вздохнул старый Бакай. – А ты дал мое имя Муратбеку Рыскулову в этом кийно...

– Да, – согласился режиссер, – поэтому на экране он стал почти таким же как ты в жизни, хотя вы никогда друг друга не встречали...

– Разве чтобы понять другого человека, надо обязательно с ним встретиться?

– Но если б я не встретил тебя...

– Ты не мог не встретить меня, я и твой отец, Оке, родные по крови братья, так что мы бы обязательно встретились...

– Но если бы я не встретил тебя, тени моего детства не были бы такими солнечными?!

– Значит, ты увидел свою солнечную ночь?

– Не знаю, – пожал плечами Толомуш.

– Если бы это было не так, ты не дал бы Муратбеку Рыскулову мой характер, мои жесты, мою одежду.

Толомуш мягко улыбнулся. Это был один из лучших эпизодов в «Небе нашего детства». Табунщик Бакай, следуя древнему обычаю киргизов, стегал камчой свою старуху-жену за какое-то мелкое прегрешение... Младший сын, маленький Кышкык, приехавший на каникулы из городской школы-интерната, уже знакомый с эмансипацией женщин и правами даже самого маленького человека в стране, не выдержал, схватил подвернувшуюся под руку палку, ударил ею отца... Конечно, удар мальчугана не мог причинить физической боли такому могучему мужчине, как Бакай. Но сам факт, что сын поднял руку на отца, был более самой сильной боли на земле. Он погнался за сыном, но тот был ловчее и быстрее, а сердце Бакай не выдержало, он упал. Первой, кто пришел ему на

помощь, была его старуха, которую он только что лупил камчой.

... Не успела мать примирить двух мужчин, две личности, за короткое мгновенье каникул.

Настал день отъезда. Мать отпустила сына вместе с товарищами... В пути Калык встретился с отцом. Они молча, без единого слова, выяснили свои взаимоотношения, и, сбросивший с души тяжелый груз Калык, вместе с друзьями, будто на крыльях помчался к своему будущему – по горным серпантинам, через длинный темный тоннель – к солнцу.

Калык вырвался из тоннеля, и его взору открылась прекрасная цветущая долина, залитая живительным солнцем, разнотравье, разноцветье, бесчисленные табуны и отары. И эта голубая безбрежная долина там, далеко, у самого горизонта сливалась с таким же голубым и безбрежным небом.

... Признаюсь честно: когда я начал писать о своем учителе, кинорежиссере Толомуше Окееве, я долго колебался, выбирая, в чьи уста вложить мое мнение об этом фильме. Дедушка Бакай? Да нет, у него образование не то. Прикрыться авторитетом какого-нибудь кинокритика? Не хотелось прибегать к трусости. Потом решил: а почему, собственно, мое мнение надо вкладывать в чьи-то уста? Взялся писать, так пиши...

«Небо нашего детства» я увидел в 1968 году студентом 4 курса Ленинградского института театра музыки и кинематографии, во время всесоюзного кинофестиваля. Чтобы попасть на этот фильм, я пришел в гостиницу «Октябрьская», где остановился Океев.

– Толомуш-байке, – сказал я, – я из Киргизии.

– Это заметно, – улыбнулся он, приглашая сесть.

– Мне хочется попасть на просмотр вашего фильма, а билетов в кассе уже нет.

– Ты один или с девушкой? – поинтересовался он, открывая пухлую папку.

– Я с курсом, нас двадцать пять человек вместе с педагогами, – уточнил я.

Он засмеялся.

– Ну, парень, даешь...

– Толомуш-байке, – поспешно заверил я, – деньги я уже собрал. Вот, – и выложил из кармана рубли.

– Спрячь, – сказал он, кивнув на деньги, и поднял телефонную трубку. Вечером мы были во власти «Неба нашего детства». На следующий день, на занятии, я говорил:

– Режиссер Океев воплотил на экране небо своего детства, небо моего детства, наконец... На фоне незатейливого быта одной семьи табунщика, семьи старого Бакая, показаны вечно актуальные проблемы взаимоотношения отцов и детей, природы и человека... Благодаря этому чисто национальный фильм становится общечеловеческим, выходит далеко за рамки конкретного села, конкретной республики. Но самое главное достоинство фильма в том, что этими конкретными проблемами режиссер раскрывает обобщенную проблему творчества, проблему художника. То есть, настоящий художник должен карабкаться вверх по горным серпантинам, пусть даже через конфликты с тем, кто дал тебе жизнь – с отцом. Чтобы, забравшись на вершину, увидеть, открыть для себя новую долину, новый мир... Только тогда можешь сказать о себе, что ты – художник...

Итог уроку-обсуждению подвел заслуженный деятель искусств РСФСР, мастер нашего курса Давид Исаакович Карасик. Он сказал примерно так: «За тебя, Дооронбек, я спокоен. Тебе есть у кого учиться, когда ты вернешься работать домой». Как вы понимаете, эта похвала относилась не ко мне, а целиком к Толомушу Окееву.

– Режиссер обязан не только любить свое искусство, но и умирать в нем.

Умирать в каждом своем актере. Этому учил нас великий Станиславский,

этому учит нас наша профессия, учит жизнь...(Из выступления заслуженного

деятеля искусств Киргизской ССР Т. Океева)

Кто сосчитает, сколько раз умирал Толомуш Океев в своих актерах, и не только на съемочных площадках?

Я видел. Съемочная площадка художественного фильма «Красное яблоко». До невозможности влюбленный в крохотную девчущку Анару Макекадырову, то и дело поправляя на ней теплый шарф, режиссер-постановщик Толомуш Океев готовит ее к роли. Он что-то шепчет на ухо Анаре, что-то показывает, они заговорщически улыбаются друг другу, он угощает ее огромным красным яблоком, она внимательно разглядывает его и утвердительно кивает Окееву, и мне становится ясно, что Анара сейчас – нет, не сыграет, а проживет кусочек своей жизни так, как необходимо этому доброму-доброму дяденьке...

... По пологому предгорью шли: мой учитель Толомуш Океев и исполнитель главной роли – Мурата – в фильме «Золотая осень» Досхан Жолжаксынов. Я не слышал, о чем они говорили, я только видел сосредоточенного молодого актера и сурового режиссера-постановщика, готовившихся к философскому осмыслению предстоящего эпизода.

Отвлекусь на минуту. О «Золотой осени» много спорили, как и почти о каждом фильме Океева... И так же доминируют только два мнения, все те же высокий плюс и глубокий минус... Я не собираюсь подбрасывать щепки в огонь. Но не могу не процитировать статью из пражской «Руде право» от 3 ноября 1981 года. «В своей новейшей киноленте «Золотая осень» киргизский режиссер Толомуш Океев привнес в сюжет, который ему предоставил сценарий Мара Байджиеда, философскую параллель между человеческим возрастом и как раз этой порой года... Ощутимы переплетения киргизского сегодняшнего дня с прошлым, а именно то, как в фильме уловлены глубокие корни народной мудрости, своеобразие киргизского фольклора и прочная связь людей с природой, что дало «Золотой осени» возможность говорить ярко и увлеченно о важных дилеммах общечеловеческой действительности».

Я не прячусь за спины чужих авторитетов, я просто хочу быть объективным, к этому же обязывает, собственно, и выбранный мною жанр документальной прозы.

... Свиристствовала метель. Возле старенькой кошары, затерянной в бескрайних казахских степях, под покосившимся навесом готовились к съемкам одного из эпизодов

художественного фильма «Лютый». Закончили гримироваться Алиман Жангорозова, Суйменкул Чокморов. Просматривал и проверял камеру оператор-постановщик Кадыржан Кадыралиев. В клетке готовился к работе серый лютый.

Океев внимательно оглядывал свою съемочную группу, каждому находил слово одобрения, в том числе злобно оскалившемуся волку...

А еще был случай...

– Слушай, старик, Касен не должен убежать из аила! – горячился Мар.

– Почему? – подзадоривал его Толомуш.

– Он сподвижник Кожожаша, пойми, это же будет предательство.

– Слушай, Маке-чал, это – жизнь!

– Ну и что! Почему мы должны брать из жизни самое плохое?

– Чтобы этого не было в жизни...

Я просматривал эскизы художника Сандро Макарова к фильму «Потомок Белого Барса». Суровые, величественные, исполинские горы, у подножия которых прилепились примитивные жалкие войлочные сооружения, отдаленно напоминающие современные юрты. Аил безлюден, и даже в этой крохотной картине художника ощущаешь суровость природы, леденящий юрту холод.

На другой картине – мощная атлетическая фигура Кожожаша с неизменным луком в руках. Он прицелился в свою жертву и во всем облике видны как благородство сильного человека, так и проснувшийся азарт беспощадного охотника.

Мар Байджиев и Толомуш Океев, авторы фильма «Потомок Белого Барса», ожесточенно спорили, жестикулировали, искакивали с кресел и вновь садились, были язвительными и снисходительными, но, главное, они были беспощадными друг к другу, как беспощадно само творчество...

Не выдержал Мар Ташимович. Он ткнул пальцем в мою сторону и сказал:

– Ну, а ты что скажешь, желмогуз¹?

¹ Желмогуз – чертенок

Я повернулся к ним, выдержал паузу, произнес совершенно серьезно:

– А я... не здешний...

Они удивленно посмотрели на меня, медленно выходя из азартного спора, и расхохотались.

Это из нашего любимого анекдота. Когда двое заспорили, солнце или луна сейчас на небе, и позвали рассудить их третьего, тот, поняв, что принимать чью-либо сторону небезопасно, сказал:

– Извините, джигиты, я не здешний...

Как ученику Океева, мне уже позволялось прикасаться к творческой лаборатории мастера, чем я всегда пользовался и пользуюсь при любой возможности...

Касен убежал из аила. Возможно, именно мой деликатный нейтралитет помог склонить таки чашу весов в пользу правды искусства.

Мы стояли возле водопада. Казалось, и камню не уцелеть, попади он в этот бешенный поток. Все сосредоточены. Одеты по зимнему. И только молодой актер Догдурбек Кыдыралиев в своем неизменном легком, не стеснявшем движений костюме Кожожаша, умолял Океева разрешить ему самому, без дублера, осуществить переход. Заняли свои места спасатели. Осветители включили диги. Операторы прильнули к камерам. Догдурбек, не колеблясь, бросился в водоворот. Каждой клеточкой тела напрягся Океев. Он вскочил, сбросил тулуп, готовый мгновенно броситься на выручку актеру... Из ледяного потока, ободранный, в свисающей лохмотьями одежде, на берег выкарабкивается счастливый Догдурбек. И Толомуш, даже позабыв дать команду остановить камеры, подходит к юноше, обнимает его, целует, и его лицо тоже становится мокрым, как и у актера...

Благодаря тому, что Океев забыл остановить кинокамеры, в моем архиве хранятся эти кадры. Как и кадры, когда Океев, плача, обнимал Сабиру Кумушалиеву, чудом успевшую выскочить с детьми из объятого пламенем дома, крыша которого секундой позже похоронила под собой весь реквизит фильма «Поклонись огню»; как и кадры, когда он в своем чистеньком, элегантном светло-сером костюме с депутатским

шачком на лацкане обнимал грязного, только что с большим трудом выкарабкавшегося из пыльной могилы Суйменкула Чокморова – Азата в фильме «Улан».

...До чего же привычна эта фраза – режиссер-постановщик.

О моем учителе я скажу – режиссер-человек. Со всеми радостями, горестями он прежде всего человек. На съемочной площадке, в окружении ли друзей или недругов, он искренне плакал, когда провожал в последний путь мудрого аксакала Бакая из села Торт-Куль, брата своего отца. Он плакал, когда прощались с величайшим киргизским актером Муратбеком Рыскуловым. Его сердце разрывалось от боли, когда киргизское искусство потеряло Бибисару Бейшеналиеву и Таттыбюбю Гурсунбаеву... «Режиссер должен умирать в актерах. Иначе они будут мертвы на экране...».

... Вот эту фразу, которую я сейчас напишу, фразу Героя Социалистического Труда, академика, народного писателя Киргизской ССР Чингиза Торекуловича Айтматова, произнесенную по поводу фильма «Лютый» 27 апреля 1981 года на IV съезде кинематографистов Киргизской ССР: «Бесспорно, что фильм «Лютый» – производство студии «Казахфильм» и сделан по повести классика казахской литературы Мухтара Ауэзова. Но я хочу сказать о высоком мастерстве Океева и Чокморова, достойно выразивших языком кинематографа это эпическое литературное произведение. И если кто-нибудь убедит нас, что подобный успех будет сопутствовать другому произведению, мы не задумываясь, сбросим киргизский «кинодесант» во главе с Океевым в любую точку земного шара. Потому что «Лютый» – явление в искусстве...» – Так вот, эту фразу, которую цитирую, конечно же, не дословно, я пишу не для оценки творчества кинорежиссера Толомуша Океева. Я пишу ее для того, чтобы сказать:

– Если за все годы моего ученичества у вас, Толомуш байке, я бы осознал только одну-единственную мысль об умирающем режиссере и мертвом актере, то уже тогда я не считал бы свое ученичество у вас бесплодным...

*– Запомни: в искусстве не бывает ни друзей,
ни учителей. Не ты выбираешь искусство
своей профессией, оно забирает тебя,
усаживает на своего Пегаса – лети.
Лететь, если честно, не сложно.
Сложно в седле удержаться...*

Как-то, придя на работу, вдруг узнаю: меня хочет видеть Океев.

Меня. Режиссера, у которого две-три документалки и короткометражные фильмы: «Удержись в седле», «Учитель русского языка», «Кнопка» и все... (В скобках замечу то, что заметил сейчас сам, написав первые фразы этой главы: Океев стал Океевым после документальной десятиминутки «Это – лошади»).

Я поспешил к нему в больницу.

– Здравствуйте.

– Здравствуй. Садись. Чем занимаешься? Я слышал, ты снимаешь фильм по рассказу Айтматова?

– Собираюсь.

– А почему не начал еще?

– Это же – Айтматов.

– Боишься, что ли? Эй, помни, если ты не художник, то ни громкие имена, ни высокие друзья, ни учителя не помогут тебе. А если художник – работай. Сценарий с собой?

– Да, вот.

– Арман? Хм, это что – рассказ у Чингиза?

– У него – «Свидание с сыном».

– Хм... А при чем здесь «Арман»?

– Это – светлая боль, боль старика по безвозвратно потерянному, но помогающему жить на земле.

– Да? Интересно...

– У меня никак не получается перевод этого слова на русский.

– И не надо. Хорошее слово на любом языке поймут... Оставляешь посмотреть сценарий?

- Конечно!
- А если я чуть-чуть карандашиком пройдусь?
- Я только благодарен буду.
- Ну, заходи через пару дней...
- До свидания.
- Пока.

От Океева я летел на крыльях и летал два дня так высоко, что земля под ногами казалась махоньким шариком с какими-то суетящимися букашками... Ха, Окееву понравилось название фильма! Ха, послушай, старик, сделай вот это так, а вот это так. Слушай, мальчик, ты кому возражаешь, эй!

Утром я аккуратно побрился, надел галстук в тон светло-кремовому костюму, до блеска начистил туфли и надушился самыми дорогими духами жены. Словом, я был готов принимать любые комплименты.

– Я вас приветствую!

– Здравствуй, садись. Вот твой сценарий. Оставь название и последнюю фразу старика, как это, а, вот: «Где б ты ни был, будь человеком, сын мой». Это хорошо. А остальное выбрось!

– Как?

– Лучше всего молча.

– До свидания.

– Сядь. Все то, что ты добросовестно переписал, это еще не сценарий. Это я давно читал у Айтматова. А где кино? Где сценарист и режиссер? Я ничего не вижу твоего, кроме страничек рассказа Айтматова, которые кто-то листает. Если можешь, начни все с начала. И прежде чем писать, ты должен увидеть все на экране, и в этом должен убедить и меня. Каждым кадром, каждой паузой...

... Еще три или четыре дня я ходил по земле, подавляя в себе раздражение от обидных, разгромных слов Океева, к счастью, во мне нашлось достаточно мужества, чтобы вернуться к Окееву со вторым вариантом сценария.

И только на четвертый раз карандаш Океева перестал черкать страницы моего сценария крест накрест. Потом я приступил к съемкам «Арман». Каждый отснятый эпизод мы с Океевым просматривали вместе. Я внимательно

прислушивался к его замечаниям, и каждый следующий снимаемый эпизод мне давался легче...

А потом пришло время снимать сцену проводов на вокзале. Огромная десяти тысячная массовка. Сотни лошадей и телег на перроне. Городскому железнодорожному вокзалу был придан вид 1941 года. На путях стояли двухосные вагоны. По совету Океева ко мне на помощь пришли почти все главные режиссерские силы киргизского кинематографа, в том числе и сам Океев.

Плюс тридцать восемь градусов в тени. Толпа, обливаясь потом, ждала команды самого главного сейчас человека – кинорежиссера. Меня. Я же стоял возле Океева, не решаясь выйти к этой массе людей. Наконец, решился.

– Байке, – сказал я Окееву, – давайте вы...

Он удивленно посмотрел на меня и спросил:

– А ты?

– Я боюсь... – честно, едва не плача, признался я.

– А я нездешний... – развел руками Океев. Тогда я не знал еще этого анекдота, я просто понял, что у меня два выхода. Либо распустить людей и идти в оправдомы, либо начать съемки. Я громко заорал, пугаясь самого себя:

– Приготовились!

Потом бояться мне уже элементарно не было времени. Я работал, и вся массовка, и все актеры, и все режиссеры – мои ровесники или рангом выше меня – беспрекословно выполняли любую мою команду... Я работал... И лишь иногда поглядывал на застывшую фигуру Океева, словно спрашивая, все ли правильно я делаю, но на его суровом лице ничего прочесть не мог...

А когда закончился день и я, разбитый, устало плюхнулся на стул рядом с Океевым, не в силах даже посмотреть на своего учителя, он взял литровую банку, налил из канистры холодного кумыса, протянул мне:

– Выпей.

На следующее утро я позвонил Окееву и попросил его вновь присутствовать на съемке. Он сказал:

– Эй, послушай, пошли кого-нибудь другого за кумысом!

... Я закончил картину. В кинотеатре «Россия» была премьера моего «Армана». Представлять съемочную группу, выстроившуюся на сцене, должен режиссер.

– Байке, – прохрипел я, – язык не слушается.

Океев взял бразды правления, микрофон и представил всех нас. А потом мы стояли вместе с ним в темном проходе зала, изучая реакцию зрителей, и трудно было разобрать, кто из нас волновался больше, Океев или я. А когда пошли финальные кадры, когда зал зашмыгал носом, сглатывая слезы, когда под гром аплодисментов зажегся свет, я увидел слезы на глазах моего учителя. Кто мог быть счастливее меня в ту минуту?

Следующий урок Океев преподавал мне на «Деревенской мозаике»...

В середине съемочного периода возникла конфликтная ситуация между мной и администрацией киностудии «Киргизфильм». Я сгоряча положил заявление об уходе и, молчаливо сопровождаемый всей нашей съемочной группой, вышел покурить в студийный двор... Прошло с полчаса. Неожиданно к нам подъехала «Волга» и из нее вышел Океев. Я догадался, что ему уже успели все доложить, и готовился к строгому выговору, на который, не сомневаюсь, ответил бы резко, чего бы это мне не стоило. Он подошел к нам, как всегда поздоровался с каждым, спросил у директора фильма Насыра Зарипова:

– Сегодня снимаете?

– Да нет... – замялся Насыр.

– Тогда я его забираю? – обнял меня за плечи Океев, Насыр молча кивнул.

Я мысленно поблагодарил учителя за его деликатное решение не отчитывать меня в присутствии подчиненных мне людей.

– Орозбек, – позвал он актера Кутманалиева, – поехали с нами, если ты свободен.

Водителю велел ехать в сторону аэропорта «Манас». Свернули в село Алты-Барак, где искусно готовят кумыс.

Вдоволь насладившись превосходным напитком, вернулись в город. Но напряжение не отпускало меня. Каждую секунду я готов был к резкому разговору, однако Океев шутил, рассказывал анекдоты, заводил Орозбека, спрашивал меня о каких-то карбюраторах и развалах колес... Когда подъехали к киностудии, он вышел вместе с Кутманалиевым, а водителя попросил отвезти меня домой. И когда машина готова была тронуться с места, Океев наклонился над моим окошком, сказал:

– Когда завтра будешь снимать Орозбека, зажди его, а то он тебе театр сыграет.

И, подхватив Кутманалиева под руку, исчез в проходной киностудии прежде, чем я успел открыть рот. Я все понял. Не понял только одного: как я завтра появлюсь на киностудии, сегодня положив заявление об уходе... Океев и здесь пощадил меня, потому что назавтра за мной приехала студийная машина...

Таких уроков было много. Я расскажу о них позже, когда напишу специальную книгу, к которой собираюсь приступить вот уже много лет. Тогда и расскажу о его многочисленных поездках в США, Англию, Италию, Японию, Грецию, ФРГ, потому что эти поездки – тоже уроки...

Например, во Франции кое-кто всячески пытался помешать культурному обмену между нашими странами. До приезда советской делегации успели соответствующим образом настроить некоторые организации, частные учреждения и отдельных лиц. Так что наши и французские друзья смогли дать в сопровождение Окееву лишь молодую, хрупкую девушку... Как истинный мужчина, Толомуш вынужден был сам таскать яуфы со своими фильмами. Но и это не все... В некоторых городах и поселках ему даже не предоставляли киноустановку. Тогда он ставил перед собой яуфы, показывая, что это его фильм, и начинал говорить с собравшимися людьми. Он говорил о своем фильме, он говорил о нашей стране, он говорил о земле киргизской...

И люди понимали его. Потому что он говорил страстно и зажигательно о таких общих для всех людей планеты вещах, как проблемы отцов и детей, человека и природы, как проблема

войны и мира, альтернативы которой нет. К концу поездки юг Франции был покорен советским режиссером из Киргизии, газеты пестрели сообщениями о его триумфе даже в тех местах, где люди не видели его фильмы, но видели самого Толомуша, видели и слышали его, художника и человека. Высшей же оценкой Окееву стала информация одной из влиятельных буржуазных газет, которая обвиняла свое правительство в том, что оно позволило Т. Окееву вести коммунистическую пропаганду. Ответом же газете был тот факт, что десятки таких же простых людей, как Океев, сопровождали его всю обратную дорогу в Париж...

*«Очень трудно поймать ночью в темной
комнате черную кошку.
Особенно, если там ее нет».*

(Из восточного юмора.)

– Чай? Кофе? Коньяк?

Интонации учителя чрезвычайно подходили вышколенному официанту. Я попытался загнать шар в лузу, но, сбитый интонацией Океева, что называется, «киксанул».

– Ух ты, мой желмогузик¹! – улыбнулся Толомуш-байке, натирая мелом кий. – Если ты думаешь такими подставками задобрить мое жестокое сердце, то ошибаешься.

Практически уложенным мною шаром, висевшим над лузой, он попытался закончить партию, но неожиданно для меня, это ему не удалось. По-моему, специально. Он приставил кий к ноге, как солдат винтовку, одобряя самого себя, сказал:

– Зато – честно. Нам лукавить запрещено. Кино – это часть культуры, а значит, как любое искусство, это – будущее. А перед своим ребенком кто слукавит, а?

Моя рука, державшая кий, не поднималась.

– Эй, желмогузик¹, ночью думать будешь, играй.

– Байке, – спросил я, – а что это вообще такое – режиссер?

¹ Желмогузик – здесь: ласковые «чертонок».

Он повернулся к Мару Байджиеву, который играл с Нуртаем Борбиевым в упай, произнес, будто констатируя истину:

– Маке-чал, послушай-ка этого мальчика. Только-только к сорока годам приближается, а уже хочет знать, что такое режиссер!

– Лучше спроси, что такое сценарист, – посоветовал Мар Ташимович.

– Что? – невинно спросил я.

– Не что, а кто.

– Ну, кто?

– Сценарист – это человек, который в темной комнате пытается поймать черную кошку, когда там ее нет.

Мой байке засмеялся. Я продолжил игру:

– А куда делась кошка?

– Ее режиссер забрал.

– И что?

– А то, что кошки вообще нет, – ответил Толомуш-байке.

– Тогда это игра в кошки-мышки, – заключил я.

– Вот именно! – Мне показалось, что мой учитель стал вдруг очень резким, и чтобы утвердить меня в этом, он пристукнул о пол кием. – Только эта игра – наша жизнь. Если увидишь в режиссуре игру – топай в управдомы. Или о Рио-де-Жанейро мечтай.

На полочках покоились шары. Семь – три. Нижние шары были моими, но я не унывал. Я знал, что у меня будет время довести счет до семь – семь. Только потом кто-нибудь из нас выиграет. Во всяком случае, у меня иногда такие шары залетают в лузу, которые и чемпион мира не решился бы загнать. Учитель в таких случаях говорит: «Поймал черную кошку». И мне всегда слышатся теплые интонации при этом, хотя Мар Ташимович, которого я люблю, как правило, усмехается. Я молчал. Я натер мелом сначала кожанку на конце кия, затем сам кий, затем пальцы. Потом прицелился. Целиться я умею, это Мар Ташимович подтвердит. Я прицелился в «базар» и ударил.

– Убери руки! – закричал явно за меня болевший Мар Ташимович.

– Я убрал.

Шары раскатились по полю, и один из них совершенно чисто проскользнул в лузу. Чтобы никого не обидеть, я сказал:

– У каждого должен быть свой удар, свой шар и своя луза.

– У-у, жельмогуз, он и впрямь в режиссеры метит! – расхохотался Мар Ташимович.

Мой байке невозможно натирал кий.

– Ничего, – сказал он. – Ему сейчас снова бить придется. Так что посмотрим на его второй удар, второй шар и вторую лузу.

Я ударил. Промазал.

– Фи, – сморщился байке, но и здесь я уловил теплоту в его голосе. – Но ничего, не падай духом. Борьба – вот что главное. И в искусстве, и в жизни, и в игре.

Он размашисто послал свой шар через все поле, тот, ударившись о другой шар, отскочил, остановившись возле средней лузы.

– Гони свояка из угла в середину, – посоветовал учитель.

Я не согласился.

– Я своих не загоняю, – ответил я скромно, загнав «чужака» в угол.

– Ого!

– Байке, а вы когда-нибудь удивлялись по-настоящему? – спросил я.

– Один раз, – ответил он. – В американском университете в Беркли я показывал наши фильмы. Полный зал. Кого только не было: негры, мексиканцы, пуэрториканцы... Так вот, я удивился, когда они удивились, что мы, киргизы, полтора миллиона человек, то есть, как они говорят, национальное меньшинство, а имеем свое кино. А после «Лютото» удивился тому, что они, культурный Запад, считают, что мы сегодня, в конце двадцатого века, все еще не вылазим из юрт, гоняемся за волками и воруем друг у друга баранов.

– Пропаганда... – пожал я плечами.

– Вот именно, – жестко заключил мой учитель, и я не уловил теплоты в его голосе, потому что ее не было. – А потому не считай, что твой фильм – это твой фильм. Это фильм твоего народа, твоей страны.

Василь Василич, распорядитель «Упайного зала» Дома кино, пенсионер, ветеран Великой Отечественной, до этого мирно наблюдавший за нами, поднялся с дивана, сверкнув орденскими планками, смахнул все шары в угол, сказал:

– Начните новую партию. Ты здесь выиграл всухую, Толомуш.

Господин Океев, у вас есть хобби?

-Да.

- Какое?

- Выводить на бумаге буквы.

- ?

Мое появление в квартире не прекратило спора мужа и жены.

– Да нет же, ты не права, это, может, лучшее письмо из всех, мною полученных, – терпеливо доказывал Толомуш.

– Нельзя его не только печатать, даже показывать нельзя твоим ученикам, – кивнула в мою сторону Жумаш-жене.

Я недоуменно посмотрел на сидящих за столом перед кипой писем моего учителя и его жену Жумаш. Океев протянул мне письмо.

– Прочти, – сказал он. – По-моему, очень симпатичное письмо. Хоть с повинной в милицию иди...

– Ага, – улыбнулась Жумаш-жене. – Как Папанов говорил у Рязанова: тебя посадю, а ты не воруй...

Океев засмеялся.

Я, опережая события, спросил:

– У вас что, большой перерасход по картине, байке?

– Ха! За это режиссеров не сажают. Вспомни: один умудрился полмиллиона пустить на ветер – и ничего. Творческая неудача... Читай, читай. Тут похлеще меня обвиняют. Зато от чистого сердца.

Я прочел. Письмо мне понравилось. Я сказал:

– Хорошее письмо, Жумаш жене. Только немного подредактировать надо. Байке, дайте его мне, я в рассказ включу.

– Возьми, – ответил учитель. – Только не вздумай редактировать! Это же письмо! Понимаешь, письмо! С него письменность началась, которую мы, киргизы, уже больше полвека имеем. Знаешь, я ужасно люблю выводить буквы, с них начинается творчество, а без творчества любая нация обречена на вымирание. Без творчества начинается деградация.

– Я бы это письмо, – я заглянул в конец исписанного листка, – Лаврентия Лукьяновича, – творчеством не назвал...

– Э-э, ошибаешься. Там столько искреннего негодования, честности! Только очень тонкая душа могла написать так, понимаешь?

– Насчет тонкой души – согласен...

– Так ведь только тонкая, ранимая душа и способна к творчеству, – радостно заключил учитель. – Он же не виноват, Лаврентий Лукьянович, что не знает, как делается кино...

Я не стал редактировать письмо Л. Л. Балашука от 10.06.83 г., проживающего в Минске, Ленинский проспект, 78-а, квартира 47.

... Москва.

В Государственный комитет по кинематографии.

Недавно я смотрел кинофильм «Лютый», сделанный в Казахстане. Кинокартина снималась в степи, среди стаи волков, при участии мальчика и его грубого неотесанного дяди, очень злого и бессердечного человека. Режиссер дал мальчику веревочную петлю и заставил идти на волка. Тот стучит губами, предупреждая: не подходи ко мне, а то плохо будет. Но режиссер не понимает этого и заставляет идти ребенка на волка. Едва ребенок сделал три шага, как волк выскакивает из засады, и бросается на ребенка. Он выкусывает правую щеку, и уродовал лицо ребенка. Здесь уместно спросить режиссера: кто дал право ему распоряжаться жизнью ребенка, ведь хищник-волк хватается за горло, а тогда бы мальчик оказался мертвым. В конце картины мальчика оставляют в холодной юрте больного и голодного. Где он теперь, маленький артист, есть ли у него родные и что с ним

сейчас, жив ли он? Мы думаем, что он принял ужасную смерть через замерзание в мокрой шубейке, а в Казахстане в это время – ноябре – были морозы, 37° минус. Мы просим комитет кинематографии вмешаться в этот случай и привлечь постановщика к уголовной ответственности за гибель ребенка. А маленький артист был такой симпатичный несмышленыш, он не знал, что так закончится его жизнь. Возможно, его растерзали, когда закончились съемки. Если это дело оставить так, то может еще найтись подобный режиссер и может загубить еще одного артиста.

Я почти физически ощутил благодарность Океева неизвестному Л. Л. Балашуку из Минска, так чистосердечно принявшему фильм «Лютый», благодарность, которая согрела его сердце, и я получил возможность прикоснуться к нежности души моего учителя по многочисленным письмам-откликам на сделанные им фильмы.

Господину Толомушу Окееву, Киргизфильм.
г. Фрунзе, СССР

Глубокоуважаемый г-н Океев!

Помните ли Вы старую седую женщину, которая просила у Вас автограф во Франкфурте-на-Майне и которой Вы и Ваш друг из Алма-Аты написали свои фамилии сперва на программе, а потом на фотографии из Вашего фильма? Я была так счастлива, что смогла после просмотра Вашего чудесного фильма «Небо нашего детства» встретиться с Вами, чтобы поблагодарить Вас. Я буду еще долго думать о суровой жизни Ваших кочевников на лоне величественной природы. Меня, дочь крестьянина, прежде всего привели в восхищение изумительные съемки лошадей, а так же поразила та утонченность, с которой Вы рассказываете об очень драматичном: когда отец видит на старом кладбище развенчанного идола (много ли еще есть на Вашей родине таких каменных изваяний?), об охране лошадей ночью, или о том, как отец, который пренебрежительно относится к книгам, все же

превозмогает себя и, передавая деньги своему сыну, говорит ему: «Купи книги».

С дружеским приветом Маргот Мавас, старший преподаватель, пенсионер.

Из итальянской газеты «Эко дела Ривьера»: ... Из двух фильмов, показанных днем во вторник (русский «Поклонись огню» и немецкий «Служащий»), лишь первый имеет веские основания, чтобы быть представленным на этом фестивале. Это, прежде всего, ясность, с которой анализируется и показывается сложная проблема становления социализма в средневековом обществе, каким является Киргизия, а главное – то честность, с которой допускаются противоречия и неудачи, сопровождающие этот исторический процесс.

Товарищи! Какую замечательную картину вы создали! Какую картину!!! До чего все правдиво, естественно, психологически глубинно переданы переживания, поведение, образ человека – героя картины. Не верится, что это кино, а как будто сам являешься участником, как бы живешь среди этих людей. Невероятно, что артист Чокморов сумел передать в своей игре все естественное, человеческое, психологическое переживание деградирующего человека, затем восстанавливающегося. А такая деталь, как налившиеся кровью глаза главного героя, так и чувствуешь, что он пьян, что от него разит вином. Спасибо Вам большое, тов. Океев, за эту неповторимую картину! За такое сильное переживание, хотя и тяжелое, не раз я вытирала слезы в зале и все боялась, что вот-вот кончится картина, хотелось, чтобы она длилась еще и еще. Желаю Вам всем дальнейших успехов. С нетерпением жду следующей картины. А пока еще раз схожу на картину «Улан». Будьте здоровы.

Николаева, г. Владимир.

7 февраля 1979 г.

Франкфурт-на-Майне, Бетховенитрассе,
60 Фрунзе, СССР «Киргизфильм»

Глубокоуважаемый г-н Океев!

В период проведения недели азиатского фильма с 22 по 29 октября с. г. во Франкфурте-на-Майне я имел честь и удовольствие познакомиться с Вами и приветствовать Вас от имени Германо-Советского общества. Сегодня я хочу сообщить Вам известие, которое приятно так же и для нас, о том, что показанные Вами фильмы и особенно лично Ваш фильм очень понравились не только мне и членам нашего общества, но и широким кругам общественности. Одна из ведущих газет Федеративной Республики Германии «Франкфурт альгемайне цайтунг» опубликовала большую статью о неделе под заголовком «Наилучшими фильмами были советские». Этим самым Вы оказали ценную поддержку также и стремлениям Германо-Советского общества и оказали очень большую помощь в деле установления дружественных отношений с народами Советского Союза, к которым стремятся также и немцы в Федеративной Республике Германии.

Мы благодарим Вас за это и особенно за Ваши фильмы, которые служат делу мира и дружбы в нашей стране, и желаем Вашей кинематографии таких же успехов в будущем. Выражаем наше глубокое уважение. С дружеским приветом.

В. Роттер.

1-й председатель.

– Мне повезло, – говорит Океев. – Повезло, что вся моя жизнь прошла и проходит под мирным небом. Я не испытал настоящей войны, настоящей трагедии, когда гибнут тысячи, миллионы твоих соплеменников, имя которым – человек. Но дыхание этой трагедии я ощущаю, ибо жива в моей памяти Великая Отечественная война, откуда не вернулись мои отцы и братья, ибо живут во мне сегодня все те войны, которые сейчас,

вот в эту минуту, убивают моих детей. О, как я хочу, чтобы в моей семье навсегда были лад и покой...

Учитель вздохнул и замолчал. Я слушал его молчание. Вошел второй режиссер Темир Дюшекеев по адъютантски доложил:

– Шеф, все готово!

Только руку не приложил к козырьку, потому что не было фуражки. Мы вышли из режиссерской резиденции.

... Сто по сто юрт, тысяча лошадей, тысяча по тысяче людей...

Праздник!

Песни!

Смех и улыбки!

Смелость и отвагу выявляют победители в мирной и честной борьбе оодарыш, козлодрани, аламан-байге, кызкумай и куреше... Чистое небо, чистое солнце на нем воспаляют лучезарные улыбки на лицах пацанов и девчонок, юношей и девушек, мужчин и женщин, стариков и старух...

Радость!

Это – кино!

Это эпизод «Той» из фильма «Потомок Белого Барса».

Таким увидел этот эпизод режиссер-постановщик Толомуш Океев, который не может скрыть удовлетворения то ли от того, как удачно приготовились актеры, то ли от того, что все собравшиеся на съемочной площадке люди живут единой заботой, едиными чистыми помыслами, как могут жить все люди планеты.

– Тебе нелегко, мой мальчик?

– Да... мне трудно...

– Ты не жалеешь?

– Нет... Ведь ты научил меня понимать и принимать чужую боль... И чужую радость тоже...

– Спасибо тебе, мой мальчик...

Легкий ветерок прикоснулся к неподвижной глади озера и шевельнул тонкие ветви облепихи, натянув сложное переплетение огромной паутины, а солнце прикоснулось к прозрачным нитям, и родилась нежная скрипичная мелодия... А на скрипке играет студент московской консерватории Искендер Океев, сын Толомуша.

Отец, обняв притихшую на коленях внучку Ажар, слушал музыку своего детства, время от времени осуждающе поглядывая на жену Жумаш, которая возилась по хозяйству и, по мнению мужа, недостаточно внимательно относилась к творчеству сына. Рядом с отцом притихли сестры Искендера – Азиза и Алиман. Но вскоре скрипка увела Толомуша из стен городской квартиры и отсвет далекого детства озарил его лицо...

– Ты узнал свою солнечную ночь, свой «кадыр түн»?

– спросило детство.

– Да... – ответил Толомуш.

– Расскажи... – попросило детство.

– Это невозможно, – сказал Толомуш,

– «Кадыр түн» – это вся человеческая жизнь, каждая ее черточка, ее жест, ее дыхание.

Чем чище ты живешь, тем светлее твоя солнечная ночь, ибо тогда только исполняются все твои желания.

– Значит, мне можно уходить?

– погоди... погоди... слышишь?..

В идиллию танца белошейки и селезня неожиданно ворвались крики людей, топот и ржание коней, звон скрецающихся сабель...

– Это Манас или Чингиз-хан? – спросило детство.

– Я не знаю пока, – признался Толомуш.

– Хорошо, иди, они зовут тебя, чтобы ты открыл их людям, – сказала детство.

– А ты?

– Я с тобой. Иди...

Тысячу лет я собирался написать о моем учителе Толомуше Окееве, как, наверное, собирается каждый из нас, счастливых, имеющих своего Учителя. Это намерение зрело во мне день ото дня, от одной работы к другой, не ведая так называемых межкартинных простоев.

Когда же оно созрело?

Когда оно забило во мне родником, требовательно рвущимся к своему океану?

Может быть, после «Деревенской мозаики»? Ибо деревенская – слово весьма условное, означающее дома и людей, деревья и животных, то есть планету, но главное в фильме – мозаика, когда миллионы отдельных точек образуют увиденную тобой картину... Так и благодаря тебе, учитель, благодаря миллионам твоих жестов, слов, движений, пауз, я создал свой образ своего мира.

А может быть, после фильма «Сколько лет живет тополь»? Ибо живет тополь до тех пор, пока корни его питают не только свой собственный ствол, но и дают живительные соки молодым побегам. Так и я, учитель, ощущаю в себе силу, питаюсь от корня твоего. Я не видел, учитель, как затаился ты, скрытый элечеками зимних кустов, наблюдая самую совершенную картину природы – картину любви.

Я не ощущал, учитель, как разрывалось твое сердце, когда ты создал «Это – лошади».

Я не слышал, учитель, как ты говорил с французами, какими словами ты смог растопить их недоверчивость и настороженность.

Я не представляю, учитель, как создается в тебе твой новый фильм, который, не сомневаюсь, получит две оценки: высокий плюс и глубокий минус.

Но я чувствую все это, учитель, чувствую!

Спасибо, учитель.

1981 год



РАССКАЗЫ

СИТЦЕВЫЙ БУМЕРАНГ

Пожились мы недавно. И меня все время не покидало естественное, видимо, для начинающего желание – сделать жене подарок. В день зарплаты я зашел в магазин и купил моей Букеш четыре метра ситца – мелкие розочки по голубому полю. Жена осталась довольна. Приложив к себе ткань и повертевшись перед зеркалом, сказала счастливым голосом:

– Какой хорошенький ситчик! Завтра же сошью себе платье. Как ты находишь, он мне к лицу?

– А ну-ка?

Я взглянул и обмер: по кромке ткани расплылось зелено-вато-синее чернильное пятно от моей авторучки.

– Ну и недотепа! – ругнул я себя.

– Суший пустяк, – успокоила меня жена. – Когда буду кроить, срежу это место. Только и всего.

Но пока Букеш собиралась шить платье, пришел слух, что нас вздумала навестить жена старшего брата Букеш. Мы, конечно, не богачи. Работаю пока что я один. Жена – студентка. Но принять невестку плохо невозможно. Как быть?

– Знаешь что, – сказала Букеш. – Невестку мы встретим и угостим по мере наших сил и возможностей, зато, провожая, подарим ей ситец.

Наконец, невестка приехала. Она привезла моей жене четыре метра крепдешина. Мы сбились с ног, стараясь угодить гостье. Когда же она собралась в обратный путь, Букеш робко протянула ей четыре метра ситца. По всему было видно, что невестка не чувствовала себя благодетельствованной.

– Не надо, не стоит беспокоиться, – повторяла она. – Разве я приехала из-за ситца?!

– Ради бога, простите за скромный подарок, – говорила Букеш, – будем живы-здоровы, постараемся преподнести вам что-нибудь другое, получше.

И мы таки всучили нашей гостье ситец. Прошло некоторое время. И с поздравлениями к нам явилась моя родственница, жена старшего брата. И, разумеется, принесла подарок Букеш – четыре метра крепжоржета. Этой гостье мы тоже устроили достойную встречу, а расставаясь, Букеш отдала ей крепдешин. Моя невестка ушла вполне удовлетворенная.

– Может быть, все-таки ты сошьешь себе платье? – напомнил я Букеш. – Говорят, крепжоржет в моде.

– Э-э, нет, нет, не сошью, дружок. Мало ли что еще может случиться.

Букеш оказалась права. В наш еще необжитый дом, сменяя друг друга, тянулись гости. Шли и ехали наши родственники, старшие сестры жен наших старших и младших братьев, младшие сестры наших невесток, родственники наших матерей, жены родственников по материнской линии, сваты этих родственников и даже младшие невестки сватов.

Дом наш превратился в гостиницу. Родственники, приезжая по своим делам в город, без предупреждения являлись к нам, разумеется, захватив с собой отрез какой-нибудь ткани, мы одаривали их тоже отрезами. Мои четыре метра ситца превращались то в три метра крепдешина, то в шесть метров штапеля, или в пять метров атласа. Отрезы подолгу не залеживались в ожидании нового владельца. А гости приходили и уходили. Одни – затаив обиду, другие, напротив, в радостном настроении. Посудите сами: принес крепдешин, а взамен приходится довольствоваться ситцем, или, например, «разорился» на штапель и вдруг стал обладателем отреза отличного крепдешина. Однажды мы встречали очередную гостью.

– Жена вашего дяди и сестра мужа старшей сестры вашей невестки, – представилась она.

Не очень представляя себе степень нашего родства, я все же ничуть не растерялся.

– А-а, здравствуйте, здравствуйте! – сказал я. – Дядя, надеюсь, в добром здоровье?

Не переставая интересоваться здоровьем неведомого мне дяди, я провел гостью в дом. Мы не выпили еще по пиале чаю, как жена потихоньку поманила меня из комнаты. Я вышел. Букеш, покатываясь со смеху, показала мне подарок нашей гостыи.

– Узнаешь?!

– Не может быть? Неужели тот самый.

– Да, конечно, тот самый...

И я увидел мой ситец – по голубому полю мелкие розочки и злополучное чернильное пятно на кромке.

Ну что за «верный» ситец: пусть через год, но все-таки вернулся к своей «настоящей хозяйке»! Ну, а мы... Мы были рады ситцу! Теперь Букеш не соглашалась обменять его даже на парчу и, предварительно отстирав, взялась шить из него платье. Честное слово, оно получилось очень красивым. Даже несмотря на то, что в отвороте рукава, изнутри, остался кусочек чернильного пятна.

1968 год

РОДСТВЕННИКИ

Как-то летним вечером, возвращаясь после работы, открыл я дверь своей квартиры, безмятежно размышляя на приятную тему: я, моя маленькая Букеш и два дня заслуженного отдыха на берегу Иссык-Куля. Вы уже знаете, что Букеш – это моя жена, меня зовут Нурлан. А дело, как вы понимаете, было в пятницу. Так вот, отомкнул я дверь и ... свет померк в моих глазах. Вместе со светом пропал и воздух, и я забился в железных объятиях какого-то гиганта, который непременно хотел свернуть мне шею. Я уже мысленно прощался с Букеш, когда гигант внезапно отпустил меня и растроганно загудел:

– Ах ты, мой жеребеночек! Вырос-то как, сиротушка! Ну как, жив-здоров?

– Жив еще... – недоверчиво ощупывая себя, осторожно ответил я. – А вы как?

– Слава аллаху, – захохотал незнакомец, – здоровьем не обижен! Да продлит он и твои годы, сын мой. А теперь познакомься с братом. Встань, Таалайбек, обними дорогого родственника.

Тут только я заметил, что на ковре перед телевизором сидели два парня, сияющие и похожие друг на друга как новенькие полтинники... Один из них встал и, почтительно улыбаясь, с готовностью прижался к моему плечу.

– Это мой старшенький, – растроганно пояснил здоровяк, утирая слезы. – А это – его лучший друг Акматбек.

– Очень рад! Да вы садитесь... Я сейчас... – пробормотал я несколько смущенно и выскочил на кухню. На плите стоял казан для бешбармака и брызгал жиром. Букеш торопливо резала лук, лицо у нее было закутано платком.

– Букеш, что это значит?... Кто они такие?

– Твои родственники, – ответила она из-под платка.

– Об этом я уже догадался. А они не сказали по какой линии?

– Его зовут Сарымсак...

– Что?

Здесь мне придется сделать небольшое отступление. Видите ли, воспитывался я в детдоме. Жили мы там хорошо и дружно. Только вот что меня огорчало: то одного, то другого из моих друзей забирали родственники (кого погостить, кого насовсем), а я все ждал, когда же за мной приедет дядя Сарымсак. Но так и не дождался. Прошло время. Я закончил школу, институт. И как-то забыл о том, что у меня где-то должны быть родственники. А они, пожалуйста, неожиданно-негаданно объявились: «Здравствуйте, я ваш дядя»... Но лучше поздно, чем никогда, правда?

– Это, действительно, мои родственники, – сказал я Букеш.

– Сарымсак – брат моего отца, и я искренне рад с ним познакомиться.

– Я тоже, – сказала жена.

После того, как гости отдали должное бешбармаку, дядя Сарымсак, прихлебывая чай, затеял беседу.

– Молодец, сынок, – сказал он, окидывая взглядом комнату.

– Неплохо обжился. Эй, скажи мне, что это за ящик?

– Магнитофон, – ответил я.

– А-а... понятно. А сколько он стоит?

– Двести пятьдесят рублей. – Дядя Сарымсак чуть не поперхнулся.

– Ой-бой! Двести пятьдесят! Безумец! На эти деньги можно купить хорошую телку или целых пять баранов. За что ты отдал такие деньги? Что он делает?

– Поет, дядя... Музыка записывает...

– О, аллах! – застонал дядя. – Или тебе мало телевизора? Поистине, молодость неразумна. Но теперь-то будет кому помочь тебе советом. А это почему? – продолжал он, показывая на мебель.

Мне не очень хотелось отвечать но я все-таки сказал:

– Около двух тысяч, дядя.

– Что?

На этот раз я долго хлопал дядю Сарымсака по спине, пока не выскочили две маленькие конфетки из его рта, и он, оттопырив, показал четыре пальца.

– Что такое? – спросил я, все еще ничего не понимая.

– Бей по спине, – сказала Букеш поспешно. – Говорит, еще четыре конфетки остались

Но бить не пришлось. Он вовремя пришел в себя.

– Четыре коровы! – сказал он.

– Что, какие коровы? – переспросил я в ужасе.

– Четыре коровы, говорю, или сорок хороших баранов. Эх, сынок, лучше бы ты завел скот. Но кем же ты работаешь, что тратишь почем зря такие деньги? – приступил он к расспросам.

– Я – микробиолог, дядя...

– А что это такое?

– Как же вам объяснить? ... Ну, изучаю жизнь бактерий... Непонятно? Ну, таких маленьких существ, которых простым глазом увидеть невозможно... Выращиваю я их в специальной среде.

Дядя покачал головой.

– Ай, сынок, разве это дело с козявками возиться? ... Но, если за это платят такие деньги, тогда, что же, выращивай. А теперь поговорим о деле... Думал ли ты о судьбе своего брата?

По правде говоря, ни о чем таком я подумать еще не успел, так что пришлось вежливо отмолчаться.

– Так вот, – продолжал дядя. – Нужно нам Таалайбека куда-то устроить.

– А куда он хотел бы устроиться? – спросил я. – На завод, на фабрику?

Таалайбек заволновался и впервые подал голос.

– Вообще-то лучше – в институт.

– Вот оно что, в институт лучше...

– Да-да, – подхватил дядя. – А в какой, это уж ты сам решай. С букашками ему возиться не стоит, лучше придумай что-нибудь понадежнее. А если тебе очень нужно, я привезу тебе сколько хочешь. Чего-чего, а козявок у нас в деревне хватает. А

было бы хорошо, если б ты устроил брата туда, где готовят прокуроров, судей, депутатов или этих, райкомов...

Я было улыбнулся, но дядя посмотрел на меня с заметным неодобрением.

– Ты ведь встал на ноги, сынок? – сказал он. – Теперь твой долг помочь брату.

– Хорошо, – ответил я. – Пусть поступает на географический факультет. Букеш – учительница географии, она поможет подготовиться, проконсультирует. И если он поступит и окончит этот факультет – тоже станет учителем.

– Учитель? – вздохнул дядя. – Учитель, так учитель! Тебе виднее. Конечно, учитель тоже нужный человек, но депутат – лучше. Значит, ты устроишь своего брата и его друга.

– Дядя, – попытался я убедить его, – для того, чтобы поступить, нужно хорошо сдать экзамены. Как он занимался в школе? – Я заметил, что Таалайбек пожал плечами, но не сдержался и попросил рассказать климатические особенности союзных республик.

– Какие? – спросил Таалайбек.

– Союзные, сначала назови их...

– Москва, Ленинград, что ли?

– Нет! – сказал я. – Союзные республики, ну, например, Киргизстан...

– А-а... Этих я знаю... И он начал перечислять: – Киргизстан...

– Ну?

– И-и... Узбекистан... И-и... Таджикистан... Фергана, Пакистан, Индустан...

Мой резвый братец быстро добрался до Кубы и собирался уже махнуть в Южную Америку, когда вмешался дядя. Он упрекнул меня за то, что я мучаю ребенка. Он сказал, что мой долг – устроить Таалайбека и Акматбека, что хотя и десятилетка им недешево стоила, но не пожалееет ничего, лишь бы сын попал в институт. Тут дядя достал из кармана пачку трехрублевков и отсчитал десять бумажек. Потом посмотрел на магнитофон, вздохнул и прибавил еще две.

– Вот, – сказал он мне, – бери. Может, в чайхану кого нужно пригласить... Не мы одни так делаем. А осенью, – добавил он, –

присажайте к нам в гости... Слава аллаху – четыре коровы, две кобылицы, пятьдесят овец имеем, и в доме не тесно – можешь привезти родителей жены, – тут он всхлипнул. – Все это вам же с Таалайбеком оставлю, в могилу не унесу.

На следующий день дядя уехал, строго наказав мне на прощанье присматривать, чтобы Таалайбек хорошенько ел и не переутомлялся. С этой-то стороны (в смысле разных там развлечений, вечеринок, обмываний) все было в порядке. Но вот в институт они с Акматбеком не попали, и те трое ребят, которых они привели жить и веселиться к нам после отъезда дяди, тоже не поступили. Дядя обиделся на нас и приглашения своего не повторил, а по айлу, говорят, пошли слухи, будто я нигде не работаю, вожусь от безделья с какими-то козявками и что только можно догадываться, какими способами я добываю деньги... Говорили даже, что моя кроткая Букеш время от времени поколачивает меня.

Но вот в прошлом году мой брат и его друзья приехали снова. Друзей стало больше. Были среди них и девушки. Очень хорошенькие, но, по-моему, их тоже не стоило просить назвать союзные республики. Таалайбек сообщил, что им всем предложили жить в общежитии, но они отказались, так как в городе у них есть родственники с трехкомнатной квартирой, где они будут чувствовать себя как дома...

– Молодец! – сказал я, довольный гордостью своего брата.
– Милая Букеш, принимай еще дорогих гостей. Эту великолепную пятерку ты знаешь по прошлому году. А это – дочери еще каких-то моих ближайших родственников... К примеру, эту девушку зовут Айгюль...

Но девушка, на которую я указал, сразу же отпарировала:

– Нет, меня зовут Бурул.

– Да? Совершенно верно, – не спорил я, – ее зовут Айгюль... А ее зовут Бурул.

Девушки опять возразили, оказывается, я снова перепутал их имена.

– Может быть, – покорно согласился я. – В общем, обе они, и Айгюль, и Бурул, дочери моих родственников.

В это время к нам позвонили. Когда я открыл двери, у порога стоял дядя Федя, председатель домкома.

– Что, сосед, опять повторяется прошлогодняя история? – спросил он.

– Кажется, да.

– Я должен предупредить, что с сегодняшнего дня за газ и воду вы должны платить в десять раз больше.

– Заплатим.

– Это первое. Второе. Пора вам понять, что здесь живут люди, а не железнодорожный вокзал или дом дехканина.

– Пойдем, дядя Федя.

– Третье. Если завтра же не прекратится это безобразие, мы на вас подадим в суд и поставим вопрос о выселении вас из этого дома.

– Хорошо, хорошо. Заплатим, выселим и в суд подадим. Не успел я закрыть двери, снова зазвенел звонок.

– Как же вы не понимаете! – громко крикнул я. – Я же говорил, что заплатим, выселим.

У порога стояли трое ребят.

– Ассалоом-алейкум! – вежливо поздоровались они.

– Здравствуйте... Ассалаам... Тра-та-та. Асса, асса, асса, асса, – стал я неожиданно напевать нечто вроде лезгинки, но тут подошла Букеш.

– При... прими... Бу-уу... кеш... – еле сумел я выговорить, – новый комплект моих родственников, так сказать, подкрепление.

Букеш нахмурила брови и сказала:

– Нурлан, что с тобой? Ты что, не узнаешь Руслана, сына моего дяди? Это же мои родственники.

– Да ну? Я думал – мои...

На другой день мы с Букеш взяли отпуск. Она готовила весь взвод к экзаменам, а я готовил им завтраки, обеды и ужины. Но по воскресеньям со второй половины дня у нас было свободное время... Однажды мы возвращались из кино поздно вечером. Было тепло и тихо. Букеш восхищалась игрой Оливье, я наслаждался покоем. Грохот смеха услышали квартала за два от нашего дома. Подбежав к подъезду, мы увидели сразу всех

жильцов под предводительством дяди Феди. Он подошел к нам и долго открывал и закрывал рот, что-либо понять было не возможно. Но я понял. «Заплатим, пойдем, выселим», – пролепетал я, и мы с Букеш бросились в квартиру. Телевизор, магнитофон, радио и два незнакомых молодых человека с гитарами работали на полную мощность. В углу под столом мирно спал Таалайбек. Какая-то парочка, откровенно обнявшись, уходила в нашу спальню, навстречу им выходила другая, изрядно помятая пара. Остальные танцевали.

– Прекратите это безобразие! – закричал я. – Сию же минуту!

– Пошли, потанцуем! – предложила девушка в белом платье, подходя ко мне и хватая за руку.

– Отстань! Кому я говорю!

Ко мне, приветливо улыбаясь, подошел рослый парень и, подбоченившись, нагло сказал:

– Чо выступаешь? А ну, топай отсюда, пока не поздно!

– Эй, кажется, он – хозяин этой квартиры! – крикнул кто-то.

– Ну и что же! – ответил рослый парень. – Раз хозяин, значит, ему можно кричать? Кто дал ему такое право?

– Немедленно убирайтесь! – закричал я.

– Послушайте! – сказала другая девушка. – Все испортил... Неужели ты не можешь убрать его!

Через минуту я уже сидел на лестничной площадке и пытался сообразить, что же произошло. С помощью Букеш встал и когда спускались по лестнице, за дверью раздался страшный грохот. По-моему, упал шкаф. Мы прошли мимо сочувственно молчавших жильцов и пошли куда глаза глядят. Начался дождь. Нам было холодно и обидно. Неожиданно перед нами засветилась надпись «Гостиница». За столом сидела заспанная администраторша и стояла табличка «места имеются». На свете все же есть чудеса! Но, взглянув на мой паспорт, администраторша разгневанно вернула его мне.

– С местной пропиской в гостиницу не устраиваем. Будто не знаете. Ходят тут, спать не дают! В городе живете, неужели у родственников переспать не можете?

– У кого? – спросил я.

– У родственников!

В голове у меня произошло что-то неладное. Красные буквы над входом заплясали, как языки костра, и я начал что-то вроде военной пляски племени команчей с боевым припевом: «Раз родственники, два родственники!» ... Ночевали мы в ближайшем отделении милиции и даже бесплатно. Букеш им все объяснила.

Вот такая история произошла со мной, когда неожиданно-негаданно объявились родственники. Конечно, вы уже догадались: ни одни из целого взвода в прошлом году в институт не поступил. Значит, и в этом году приедут. Но теперь мы стали опытными. Теперь нас голыми руками не возьмешь! В этом году, в преддверии сезона вступительных экзаменов, мы с Букеш берем отпуск, закрываем квартиру и уезжаем. Куда? Конечно, к родственникам. Обещали нам выделить специальный автобус. Берем с собой тещу, двух своячениц с детьми и нашего председателя домкома дядю Федю.

Хотите, и вас с собой возьмем? Места в автобусе хватит.

ДВИГАТЕЛЬ ТОРГОВЛИ

Большой продовольственный магазин был расположен на первом этаже нашего дома, но ходил я туда редко, только за сигаретами. Как-то так вышло – занималась хозяйственными вопросами сама Букеш и, по-моему, с большим удовольствием. Я не хотел мешать – она так занята и на работе, и с детьми – ничем лишая ее этого небольшого развлечения. Но однажды, придя с работы, я нашел дома вместо обеда записку: «Дорогой, у меня срочная работа, похозяйничай сам». К записке был приложен длинный список продуктов, которые следовало купить в магазине. Оставив элегантный портфель, вооружился я большой хозяйственной сумкой и, вздохнув, отправился вниз. Через какой-нибудь час, успешно закончив беготню по отделам, и шел к выходу, но тут заметил огромную очередь. На стене над головами висела табличка «Сопутствующие товары». Честно говоря, что это такое, я не знал, но догадался, что выбросили нечто дефицитное, быстро пересчитал деньги и занял место в хвосте очереди. Через полчаса, продвинувшись вперед, стал заглядывать через головы, чтобы хоть увидеть, за чем стою, и тут увидел ее! Она стояла за прилавком и ловко заворачивала в бумагу большую кастрюлю. Девушка была ослепительна. При взгляде на нее вспоминались одновременно фестиваль мод, Мона Лиза Джоконда и «Антология восточной поэзии». Когда я темного пришел в себя, то, наконец, обратил внимание на то, что в очереди стояли одни мужчины. Они покупали все: стиральный порошок «Айна», кастрюли, сетки хозяйственные и даже топоры для мяса, деревянные. Один умник в очках, купив десять пластмассовых кружек, сделал вид, что забыл купить бак для белья, и попытался пролезть к прилавку исторично. Очередь грозно заворчала, и он ретировался. У прилавка я очнулся.

– Что вам? – спросила юная пери.

– «Луне сказала – скройся, я иду»... – все, что мог пробормотать я, и то с помощью Низами.

– Так что же вам? – повторила она с улыбкой.

Я собрался прочитать ей строки Омара Хаяма, но получил мощный толчок в спину – очередь возмущалась. Машинально выпалил:

– Мыло!

– Сколько?

– Что сколько?

– Мыла сколько?

– Пять кусков! И заверните, пожалуйста, каждый отдельно – это для соседей!

Она к тому же ангел! С трепетом наблюдал я, как тонкие пальчики заворачивали мое мыло, положил сдачу мимо кармана, и вылетел из очереди не без помощи стоящих сзади. Букеш была уже дома. Она похвалила меня за покупки, мимоходом заметив, что три часа – это многовато, но сделала скидку на неопытность. Мыло ее даже умилило – Букеш сказала, что я становлюсь настоящим помощником в доме. На следующий день мы вернулись с работы одновременно.

– А ты куда? – спросила Букеш, увидев, что я взял сумку.

– За хлебом сходить надо, – пролепетал я, краснея.

– Какой ты стал хороший! – обрадовалась Букеш. – И чай купи заодно, у нас кончился.

Из магазина я вернулся через два часа с буханкой хлеба и пятью кусками мыла. Букеш расхохоталась.

– Ты молодец, но мыла нам теперь на полгода хватит. Если хочешь помочь, купи завтра десять килограммов картошки.

Я вздохнул – картошка в «сопутствующих товарах» не продавалась.

В течение следующей недели на работе у Букеш подводили итоги квартала, и домой она приходила поздно. Наш запас мыла увеличился на 35 кусков, кроме того, появились две безразмерные авоськи, две щетки капроновые и

соковыжималка, которой не под силу было выжать сок даже из перезревшего персика. Букеш поначалу смеялась, потом гневалась, а последние два дня смотрела на меня как-то странно, с тревогой и жалостью. А я к ее приходу старался уткнуться в телевизор, залезть в ванну или сделать вид, что сплю. Но вот, выйдя из магазина с очередной порцией мыла, я увидел в окнах свет – Букеш была уже дома! Что-то нужно придумать! Я заметался у газона, как вдруг на меня налетел сосед Орозбек, сунул в руки три пачки «Айны» со словами: «Друг, дарю!» – и помчался навстречу своей жене. Она подозрительно посмотрела на его руки, улыбнулась, и они вошли в подъезд. Не успел я осознать происшедшее, как в руках у меня оказалась коробка с соковыжималкой, а сосед снизу, Жакил, с поклоном встретив свою супругу, отправился домой. Сосед сверху, Ашим, робкий молодой человек, вручил мне две кастрюли, сунул в руку пять рублей, пробормотав: «за услугу», и испарился. Домой я вернулся с тремя сумками и пятью авоськами, в которых лежал 91 кусок хозяйственного мыла, с двенадцатью пачками порошка «Айна», двумя кастрюлями, соковыжималкой, пластмассовым чайным сервизом на 12 персон и с 35 рублями честно заработанных денег. Букеш побледнела. Осторожно сложила она в коридоре «Сопутствующие товары» и ласково сказала: «Иди, отдохни, дорогой, я сейчас».

Я улегся на диван и задумался. Что-то было в этой истории, над чем стоило задуматься. И вот она, мысль. Я вскочил. Все стало ясно. Вчера в нашем магазине появился плакат: «Поздравляем коллектив с досрочным выполнением годового плана!» Да, поистине, красота – двигатель торговли!

Поставьте за прилавками самых красивых девушек, и тут же исчезнут: топорики рубочные деревянные, ботинки «прощай молодость», кильки в томате. И пока Букеш взволнованным шепотом сообщала по телефону наш адрес, мой пол, возраст и температуру, я уселся за стол и стал писать докладную записку министру торговли – там разберутся!



ЧЕРНЫЙ КОТ

«Ассалоом алейкум, друг Джапар! Как жизнь, как здоровье? Как жена и дети? До нас дошло известие, что вы получили новую квартиру. Поздравляем и вполне разделяем вашу радость. Счастливого вам новоселья и да будут счастливы те, кто сложил стены и крышу вашего дома и провел центральное отопление. Когда мы вселились в новый дом, то веселились до утра. В доме нашем 128 квартир, и все соседи до утра ходили друг к другу в гости, знакомились и поздравляли. Сосед наш с верхнего этажа шесть раз за ночь заходил к нам, шесть раз знакомился и шесть раз водил к себе. Он говорил, что его зовут Мустафа, а жену его – Бурул, и очень огорчился, когда узнал, что я не пью.

– Пить нужно! – говорил Мустафа. – Но умеючи. Тогда и для здоровья полезно, и для души неплохо. Да и сразу видно какой кто человек. В общем, сосед ты неважнецкий. Ну да ладно, простим ради праздника. Пусть за тебя выпьет жена!...

Друг Джапар, ты ведь знаешь мою кроткую Букеш. Чтобы с первого же дня не ссориться с соседями, она выпила. После четвертого посещения Мустафы она уже сама предлагала выпить, а после шестого, когда я принес ее домой, говорить вообще не могла, только пела. Видишь ли, каждый раз, как мы заходили к Мустафе, он заводил радиолу. Пластинка у него была только одна – «Черный кот». За ночь мы прослушали этого «кота» 24 раза! Вот о нем-то и пела под утро Букеш. Проснулся я на другой день от сильного шума сверху. Сосед перетаскивал какую-то мебель на балкон. Через пять минут на весь квартал загредел проклятый «Черный кот». Сосед перетаскил на балкон свою радиолу. Букеш тут же открыла глаза. Лицо у нее было несчастное. Она прислушалась и совсем позеленела.

– Слышишь? – прошептала она.

– Хотел бы я знать, кто этого не слышит.

– Так надо же что-то делать! Пойди, скажи ему, чтобы хоть звук убавил.

– Ну, зачем, не так сразу, – возразил я. – Он никак не наладится на новую квартиру. А завтра-послезавтра ему самому надоест.

Ах, как я глубоко ошибался. Мустафе «Черный кот» не надоел ни через день, ни через месяц. С утра до вечера мы слушали, как «жил да был черный кот за углом, и кота ненавидел весь дом». Вот что правда, то правда. По ночам мне снились какие-то кошмары. До утра старались душить меня уже полосатые кошки. У моей Букеш начали дергаться плечи. Соседка снизу стала заикаться. Сосед из второго подъезда сначала запоем пил валерьянку, а потом перешел на обыкновенную «московскую». Наконец, представители от всех подъездов отправились к Мустафе. Он обрадовался нашему появлению.

– Проходите, дорогие соседи, – говорил Мустафа. – Давненько не были. Садитесь, пока жена чай приготовит – я вам пластинку поставлю.

И он вознамерился вновь поставить только что кончившуюся пластинку.

– Подождите, уважаемый Мустафа! – закричал я. Выслушайте нас. Как раз из-за вашей пластинки мы и зашли сегодня.

– А-а... из-за пластинки! – довольно улыбнулся Мустафа. – Да, пластинка хорошая. Но не могу, друзья. Это подарок племянника к новоселью. Так что не могу одолжить. А хотите послушать – заходите в любое время, я поставлю.

Нет, уважаемый Мустафа! – закричали мы хором. – Мы слушаем вашу пластинку второй месяц и пришли просить дать нам передышку. Ведь сквозь эти стены чихнешь – и то слышно.

– Ах, вот оно что? – Мустафа встал в позу. – Квартира моя – что хочу, то и делаю! Никаких правил не нарушаю. С 11 вечера до 8 утра у меня тихо. Так что хоть в суд подавайте.

– Послушайте, из-за вашего кота моя жена стала заикаться.

– Если у нее такая хроническая болезнь, отвези в больницу, при чем тут я! – не сдавался Мустафа.

– Скажите, а вы сами-то когда работаете? – спросил кто-то.
– С 11 ночи до 7 утра, магазин охраняю.
– А спите когда же?
– С 11 ночи до 7 утра, что я, хуже других?
Мустафа встал и демонстративно включил своего «Кота».
– Уважаемый Мустафа! – взмолился я. – Ну ставьте «Кота» хоть через раз, хоть иногда меняйте пластинку.
– А чем менять? У меня других пока нет, – честно признался Мустафа.

На следующий день я зашел в магазин, купил пять пластинок и понес их соседу.

– А-а... Заходите, заходите!... Что ты принес? – встретил меня Мустафа. – Вот это я понимаю, это по-соседски! Положи вон туда на стол.

– О, сколько их у вас! – сказал я, увидев грудку пластинок. – Сегодня купили?

– Не я, соседи купили, – ответил Мустафа.

Через месяц у Мустафы была самая богатая коллекция пластинок в городе. У него было все: народная музыка, опера, симфония, эстрада и джаз. По-прежнему Мустафа слушал пластинки с утра до ночи, но от «Черного кота» мы избавились. Правда, не на совсем. Когда ему не успевали вовремя доставить новую модную пластинку, Мустафа пускал «Кота» в ход, как тяжелую артиллерию. Однажды мы встретились с ним в подъезде.

– Эх, сосед! – вздохнул, поздоровавшись, Мустафа. – Говорят, новый певец объявился, Рафаэль зовут. Что в магазине творится – ужас!

И ушел. Я все понял.

Букеш, давай пять рублей, – сказал я, придя домой. – Мустафе нужны новые пластинки.

– Пропади он пропадом, твой Мустафа! – не выдержала Букеш. – Не дам больше денег.

В это время грянул «Черный кот». Плечи у Букеш задергались сами собой, и она полезла в сумку за деньгами.

Шли дни... Вкусы Мустафы менялись – он перестал слушать одну эстраду, перешел на классику. Теперь он требовал покупать ему пластинки с музыкой Чайковского, Штрауса, Бетховена... Самое страшное было то, что у него изменился даже характер и манеры! Мустафа читал книги о жизни великих музыкантов. Просыпались и засыпали мы под звуки симфоний и опер! Даже дети лучше спали под симфоническую музыку. Однажды я принес Мустафе очередную дань.

– Спасибо, друг! – сказал он. – Но вот это у меня уже есть. – И Мустафа отложил две пластинки. Я взял их и отправился домой, и дома обнаружил, что с отвергнутыми пластинками случайно захватил со стола Мустафы «Черного кота». Букеш, мстительно улыбаясь, хотела уже швырнуть ее с третьего этажа.

– Стой! – закричал я. – Отдай пластинку, у меня идея!

Мы с Букеш заткнули уши ватой, включили на полную мощность проигрыватель и поставили «Черного кота». Ждали мы недолго. Прозвенел звонок и на пороге возник Мустафа..

– Сосед, – сказал он деликатно. – Нельзя ли потише? Там Григ. – Он указал вверх.

– А что это такое?

– Не что, а кто, Григ – великий композитор.

– Ну и что? Ему не нравится «Черный кот»?

– Григ давно умер.

– Тем более ему все равно, – отрезал я и закрыл дверь.

Постепенно все пластинки Мустафы перекочевали ко мне.

А со вчерашней полочки он купил мне концерты Шуберта. Но вот уже месяц, как мы с Букеш спим по очереди – стережем «Черного кота». Кажется, у Букеш опять дергаются плечи, и вот, услышав о вашем счастье, мы решили сделать вам подарок к новоселью. Высылаем с этим письмом «Кота», да принесет он вам удачу! Еще раз поздравляем, ваши друзья Букеш и Нурлан».



АВТОПРОМЕТЕЙ

Счастье всегда приходит неожиданно, даже если его очень долго ждешь. Поэтому, когда мы с Букеш получили извещение из автомагазина, то отпущенную нам неделю срока потратили на то, чтобы обойти всех родственников, а также знакомых и набрать недостающую к нашим сбережениям сумму. Тут, кстати, я сделал вывод, что друзья познаются не только в беде, но и в радости. Только Турдубек ничем не смог помочь нам по финансовой линии, так как сам был неделю назад в таком же положении, он обзавелся не машиной, а женой. Но зато он сказал, что с удовольствием посвятит все свое свободное время нашей машине. И вот наконец-то мы с Турдубеком доставили из магазина вишневое механическое чудо под названием «Жигули». Несколько дней он там что-то заряжал, подтягивал, протирал, смазывал и, наконец, как-то вечером сказал, что у него все готово и теперь очередь за мной.

– Уже девять лет, – сказал Турдубек, – ты носишь в кармане удостоверение водителя. Пора понемногу и учиться водить машину. Только учись во дворе, на большую трассу без меня не выезжай. Если что-то случится – сам ничего не делай, покажи кому-нибудь знающему... Я уезжаю в командировку, времени тебе хватит...

На следующий день я восторженно вытолкал своего «Жигуленка» из гаража, рассчитанного на «Волгу», завел и на первой скорости стал крутиться по двору. Часа через четыре у меня уже немного получалось. На работу в этот день я решил не ходить, тем более что это была пятница. Наутро Букеш напомнила мне, что ходить в субботу за молоком – моя обязанность и что мы уже второй месяц собираемся съездить к ее родителям в Токмок. Пререкаться с женой недостойно мужчины, и я отправился в магазин. Но у самого прилавка меня

осенило! Я занял очередь и бегом бросился домой. Вывел из гаража машину и через десять минут уже вновь был у магазина... Моя очередь оказалась на месте... Я привез Букеш молока, хлеба, колбасы, торт, две сетки картошки и несколько банок компота – разве я смог бы принести все это в руках! Жаль, кончились деньги – я бы прихватил еще что-нибудь... Перетаскав провизию на кухню, я решительно сказал Буке:

– Собирайся, мы едем к твоим родителям!

Уговаривать жену не пришлось. Но когда я распахнул перед ней дверцы машины – она побледнела:

– Ты что, хочешь вести ее сам?

– Интересно, а зачем же я купил машину?

– Но ведь по городу так трудно ездить!

– Вот почему мы и поедem за город, – парировал я.

Достойная жена тоже знает, что с мужем иногда не стоит пререкаться. – Букеш села в машину и закрыла глаза. И мы поехали в Токмок, к родителям Букеш – брать «суюнчу» за наше «Жигули». Помня наставления Турдубека, я ехал со скоростью не больше 60 километров в час. Но мне почему-то показалось странным, что на такой большой трассе, как Фрунзе – Токмок, нас ни разу никто не обогнал. Мало того, все встречные машины, едва завидев нас, съезжали на обочину и ждали, пока мы проедem. Правда, один дерзкий мотоциклист решил не уступать нам дороги, но за секунду до встречи он почему-то прыгнул в кювет. Букеш уже давно открыла глаза и теперь, увидев, как я уверенно еду, стала удивляться, глядя на другие машины.

– Почему все сворачивают в сторону?

– Видишь ли, я сам об этом думал, и понял теперь – они проявляют свое к нам уважение и радость по поводу нашего приобретения. Шоферы вообще очень дружный народ! Вот видишь водителя самосвала, который только что заехал в арык? Он крутит рукой у виска – вроде как бы в шутку отдает нам честь!

– А почему же вон тот владелец «Волги» не отдает честь, а показывает кулак?

– Ничего не понимаешь! Сжатый кулак – это ведь знак солидарности и дружбы! Рот фронт!

– О! – Букеш с нежностью посмотрела на меня, – Ты все знаешь и как тебя, оказывается, уважают!

И тут, к моему великому изумлению, жена крепко обняла меня. В этот момент сзади раздался страшный рев, и свет над нами померк. Посмотрев налево, я увидел огромное колесо, направо тоже было колесо, а впереди в просвете виднелась трасса. Что было над нами, мы с Букеш не видели. Несколько мгновений мы проехали так, а потом колеса отстали, а наши «Жигули» вновь выехали на белый свет. Я притормозил и оглянулся. Гигантский лесовоз стоял на трассе, шофер сидел, уронив голову на руль, – видимо, решил отдохнуть.

– Благородный человек, – сказал я Букеш. – Это был самый опасный участок дороги – видишь, какой крутой поворот! И он решил, что под его защитой мы проедем благополучно!

Букеш предложила выйти и поблагодарить водителя лесовоза, но мне что-то подсказывало, что это будет лишним – он и так знает, как мы ему благодарны, зачем смущать человека! И мы проехали.

– А почему все машины, которые едут за нами, все время сигналят?

Поистине, как говорится, нет предела женскому любопытству.

– Видишь ли, в городе сигналы запрещены, и на загородных трассах водители как бы тренируют свои сигналы, чтобы не потеряли формы!

– Но тогда и нам нужно сигналить!

– Ты не видишь, что у меня руки заняты рулем. Посигналь сама, надави на это, помоги мужу!

Букеш помогла. У нее это здорово получалось, все машины умолкли и даже остановились – видно, хотели послушать. Так, весело сигналив и занимая всю трассу, мы въехали в Токмок...

Домой возвращались уже поздно ночью и без всяких происшествий. Но при въезде в город машина вдруг заглохла. Я пожал плечами, спокойно вышел и открыл капот, как это делал Турдубек! Великий аллах, чего там только не было! Столько проводов, болтов, гаек, каких-то коробочек! Нет, Турдубек прав – нужно показать кому-то «знающему»! Только где найти в три часа ночи?

– А может, подтолкнем? – предложила Букеш.

Я не возражал. Мы подтолкнули. Квартала через три Бу-кеш сказала, что никогда-никогда больше даже не улыбнется, если увидит, как наши соседи таскают вниз и вверх по двору свой старый «Москвич», ожидая, пока он заведется. Еще через два квартала жена вдруг стала вспоминать, как хорошо и уютно бывает ездить на работу в автобусе, спокойно, быстро, можно подремать стоя – ведь, если даже совсем уснешь, ничего не случится, будешь себе висеть, как в гамаке, лишь бы раньше, чем надо, на улицу не вытеснили! На полпути к нашему микрорайону Букеш решительно остановилась:

– Если кому-то нужна машина, – сказала она, – пусть подойдет, и я с удовольствием подарю, с одним только условием, чтобы меня донести до дома!

Я хотел укорить ее за малодушие, но обнаружил, что когда открываю рот, ничего, кроме крика, не слышно. Я укорил Букеш мысленно и хотел уже вновь взяться за машину, как рядом остановился грузовик.

– Что, друг, беда? – спросил водитель, подходя к нам. – Давай посмотрю, ... Искра-то хоть есть?

Я протянул ему свою газовую зажигалку.

– Да-а, – протянул тот и полез под капот. Зажигалку он почему-то не взял.

– Все понятно, она в баллоны ушла, – сказал он, вылезая.

– Нет, нет, там ничего нет, все цело. Только что проверял, все на местах.

Я очень хотел помочь ему, но водитель опять как-то странно взглянул на меня, и нырнул обратно под капот. Светало, на улицах стали появляться машины, и скоро человек семь собралось около нас. Одни спорили о чем-то, что-то отвинчивали и привинчивали, другие просто лежали под машиной и только иногда делали странные замечания. Я отвел Букеш подальше. Мы сидели с ней на обочине и вспоминали киргизскую пословицу о том, что из семи человек один может оказаться пророком. Пророком оказался тот водитель грузовика, который первым подошел к нам. Он вытащил трос и дотащил нас до дома...

В понедельник с утра я побежал на станцию техобслуживания. Бригадир ремонтников посмотрел на меня брезгливо, как чистюля на сальное пятно, и, обращаясь к стенке за моей стеной, сообщил, что машину можно привезти через четыре месяца, а готова она будет через два года.

– Простите, это вы мне?...

– А кому же еще! – огрызнулся он, продолжая смотреть туда же. – Тебе, тебе!...

После этого он вообще перестал меня замечать.

Но зато заметил один из ремонтников и дал мне адрес «мастера», с которым можно «договориться». Эта информация обошлась мне всего в пять рублей. Мастера я привез на такси в тот же день. Букеш приготовила парадный обед. Купила цветы, остальное купил я. Консультация специалиста стоила десять рублей. Он сообщил, что на работу и с работы мы его должны отвозить, кормежка и спецодежда наша, и через неделю все будет готово. – А ты готовь сто пятьдесят, хозяин, – добавил он на прощанье.

С работы мне прислали выписку из приказа с выговором за прогулы. Но ходить на работу мне было некогда – я привозил мастера с работы, был его подручным, а затем отвозил его домой. Через неделю мастер собрал мотор и попробовал завести машину. Она не заводилась. Мастер облегченно улыбнулся – он все понял.

– Я-то думал, в чем дело? Теперь все ясно. Мотор ты запорол. Новый надо. Пиши на завод, годика через три-четыре получишь. – С этими словами мастер взглянул мне в глаза и понял, что я готов – можно брать голыми руками.

Короче говоря, через несколько дней обстановка нашей квартиры по строгости и чистоте стиля была безупречной – две раскладушки и кухонный стол. Из всех излишеств Букеш оставила свой новый седой парик, сказав, что он уйдет только вместе с ней. А мастер переделывал наши «Жигули» в «Москвич – 412», мотор к которому оказалось достать

значительно легче. Когда опять все было готово, мастер попробовал завести машину. Она вновь не заводилась... Мастер вышел на минуту из гаража и исчез навсегда, даже не дополучив свои кровные десять рублей.

Как-то вечером к нам зашел вернувшийся Турдубек. Мы с Букеш сидели на полу, пили из «Восточного сервиза», подаренного ее родителями, кипяченую воду и закусывали бутербродами из черного хлеба с луком.

– Вас обокрали? – с ужасом закричал Турдубек.

– Нет, друг, – ответил я. – Просто мы купили машину, разве ты забыл?

Мы пошли в гараж, где стоял мой переделанный «Москвич» – 412». Турдубек сел в машину и попробовал завести, но безуспешно. И вдруг, присмотревшись к какому-то прибору, он со вздохом сказал:

– Ты дурак!

– Да! – согласился я. – Но я-то знаю почему, а вот ты с чего бы так решил?

– Ты заправлял машину?

– Чем?

– Горючим.

– А зачем?

Турдубек вздохнул. Но по его лицу я понял, что мнение обо мне он не изменил. Когда мы привезли в канистре бензин, наш «Москвич» весело заурчал, и я согласился с Турдубеком. Теперь мы в свободное время потихоньку переделываем «Москвич – 412» обратно в «Жигули».

С работы меня не уволили, пожалели. Но в наказание понизили и на полгода перевели с должности старшего научного сотрудника на должность ученика – к старшему водителю нашего гаража.



ИСПОВЕДЬ РАВНОПРАВНОГО МУЖА

Великие события в истории человечества часто начинались с пустяков. И великие события в нашей мирной семье начались с того, что я лежал на диване и читал свой научный журнал. А моя кроткая Букеш переставляла мебель. Я не одобряю этой ее страсти, но примерно раз в полгода она переворачивает вверх дном всю квартиру. В тот раз предлогом ей послужила покупка нового кофейного сервиза. Все вокруг трещало, гремело и, наконец, дошла очередь до дивана. Пустой диван еще ничего, но вместе со мной он оказался Букеш не под силу.

– Ты мог бы пересесть в кресло, дорогой, пока я перетяну диван к той стене? – спросила она ласково.

– Подожди, милая, я сейчас дочитаю статью, – ответил я с бездумным легкомыслием.

– Ты дочитаешь ее в кресле, – настаивала Букеш.

– Дорогая, мне скоро делать доклад, а ты мешаешь сосредоточиться! – Как желторотый юнга, я пропустил начало шторма, когда еще можно было спастись, и теперь очутился в самом эпицентре урагана.

– Ах, вот как! – тихо сказала Букеш. – Ты, значит, работаешь, а я тебе мешаю? Ты большой ученый, а я глупая женщина? Ты двигаешь науку, а я передвигаю мебель? Хорошо. Ты сам этого добился!...

Она вышла из комнаты. Диван остался на месте, я остался на диване, но это были последние секунды той счастливой жизни, которой я наслаждался столько лет. Не в характере моей Букеш устраивать семейные ссоры, и мы больше ни словом не упомянули об этом случае, но через полгода она поступила в аспирантуру. Уже во время подготовки обязанность ходить за покупками и в детский сад за дочкой перешла ко мне. А после

поступления ужасный смысл происходящего стал ясен полностью. Я бегал на базар, готовил обеды, воспитывал дочку, делал уборку, задыхался от стирального порошка и обжигался утюгом. Я спорил с соседками об очереди на мытье лестницы. Стоя с ведром в ожидании «мусорки», я постепенно вошел в курс всех событий, что происходили в нашем доме и в двух соседних.

А Букеш с головой ушла в науку. Дома она бывала редко – уезжала в командировки, то на самую высокую точку нашей республики, то на самую нижнюю соседней. Когда она была в городе, мы с дочкой ее тоже не видели – она забегала домой на полчаса и успевала сделать только замечание за пересоленный суп или плохо отутюженную блузку. Наши финансовые дела тоже пришли в расстройство – как раньше Букеш умудрялась с ними справляться, я не представляю. Мне денег хватало только на первую неделю после наших зарплат. Правда, сначала выход из положения находился. Дело в том, что помимо научной работы у меня было еще одно увлечение. Я писал юмористические рассказы. И их охотно печатали. Но постепенно и этот источник иссяк. Букеш нужно было публиковать свои статьи, и если за юмор издательство платило мне, то за статьи Букеш мы платили издательству. Предполагалось, что если ученый действительно убежден в важности своих открытий, то он непременно сам захочет убедить в этом других, и тут уж за ценой не постоит. Букеш немного обижало, что ее науку приравнивают к моим «хохмам», но постепенно она смирилась.

Однажды моя жена пришла домой чуть раньше обычного, и мы сели ужинать вместе. Мне очень хотелось поговорить с Букеш и, делая ей бутерброды, я стал рассказывать, какое хорошее мясо вчера удалось купить на базаре. Букеш молчала, и тогда я рассказал, как ловко осадил вчера в магазине одну тетку, которая лезла без очереди. Потом пожаловался, что после стирки руки очень сохнут. Букеш зевнула, пожелала мне спокойной ночи и ушла спать. Я мыл посуду и обиженно думал о том, что жена меня не понимает и не ценит моих забот. Потом завел будильник и сел писать очередной юмористический рассказ. Он вышел немного печальным, но я ничего не мог с

собой поделать. Через несколько дней Букеш, очень возбужденная, радостная, прибежала и сообщила, что она уезжает в Москву на конференцию. Причем едет за свой счет, так как у нее еще нет ученой степени но зато будет делать там сообщение, и ей обязательно нужны диаграммы и фотографии.

– Но деньги, дорогая, – заикнулся я.

– Ничего, попросишь зарплату авансом и зайдешь в редакцию – она ведь тебе что-то должна?

– А как будем мы жить?

– Выкрутитесь, дома и стены помогают. Вот пленка, фотографии нужны завтра вечером – ночью я улетаю. А сейчас беги за билетом, милый! – И считая разговор оконченным, Букеш улеглась на диван, открыла свой журнал и опять ушла в науку.

Диаграммы я чертил ночью. А утром, невыспавшийся и небритый, отправился на работу. По пути занес негативы к знакомому фотографу и уговорил его сделать все к вечеру. Придя в наш институт, вяло поздоровался с коллегами, и, накрывшись газетой, уснул на лабораторном столе. Перед обедом меня разбудила секретарь директора института, пригласила к шефу. Директор предложил мне сесть и вежливо поинтересовался делами. Я неопределенно замычал, пожал плечами и неопределенно покрутил рукой в воздухе. Директора это не удовлетворило.

– У нас в плане стоит ваша работа. Срок уже кончается, а что вы сделали?

Я опустил голову.

– Если так дальше пойдет, уважаемый, придется ставить вопрос о правомерности вашего пребывания на той должности, которую вы занимаете.

Директор был суров. Я молча вздохнул.

– Что случилось, голубчик? – Что у вас? – смягчился директор.

– Жена, – всхлипнул я. – Жена аспирантуру кончает. За диссертацию взялась...

Директор побледнел.

– Это правда? – прошептал он.

Я скорбно кивнул головой. Директор наклонился и по поясу залез в нижний ящик своего стола. Вылез он оттуда с бутылкой коньяка и двумя рюмками, пересел в кресло рядом со мной, и так мы просидели весь обед. Вздыхали, молча чокались и, смахнув по слезе, шепотом пели: «Зачем вы девушки красивых любите?..» У дверей кабинета директор обнял меня.

– Не падай духом, дружище. Все мы через это прошли. Береги себя. А работу перенесем на будущий год, не переживай.

Вечером я привел домой дочку, накормил, уложил чемодан Букеш и только тогда вспомнил про фотографии. Мастерская уже была закрыта и я, припоминая, где живет мой знакомый – в восьмом доме седьмого микрорайона или в седьмом доме восьмого, отправился на поиски. Дом нашелся не сразу, но все же я его узнал. Поднялся на третий этаж и позвонил. Послышались шаги и сопение, я подождал. Позвонил еще раз – сопение за дверью усилилось, и в глазке что-то мелькнуло – но ни слова. Я опять позвонил. За дверью тихо охнули.

– Кто там? – закричал я, не выдержав.

– А ты кто? – спросил старушечий голос.

– Я Володин товарищ. Он дома?

– А как тебя зовут?

– Нурлан меня зовут, Орозалиев.

– Та-ак! А кто же ты такой?

– Бабушка, я Володин товарищ. Позовите его.

– А ты не торопись. У тебя паспорт есть?

– Паспорта нет, есть удостоверение...

– Вот и давай...

– Бабушка, позовите Володю.

– Давай, давай, вон под дверь просовывай.

Я протиснул под дверь удостоверение.

– Пойду очки одену, – сказала бабушка и зашаркала куда-то. Я томился перед дверью. Прошло полчаса. Я позвонил. Бабка прибыла немедленно.

– Ты еще здесь?

– Здесь, бабушка. Откройте, пожалуйста, или Володю позовите. Удостоверение мое рассмотрели?

– Рассмотрела! – злобно ответила бабка. – Ив милицию уже позвонила.

– Зачем?
– Как зачем? Бандит ты. На личность свою посмотрел бы, прежде чем удостоверение совать. Я ведь не слепая.
– Бабушка, закричал я. – Мне Володю надо! Позовите его, он вам все объяснит!
– Какого еще Володю?
– Товарища моего. Володю, фотографа.
– А не живет здесь Володя! – злорадно сказала бабка. – И не жил никогда. Ты меня за дуру не считай. Я тебя насквозь вижу, разбойник... Вот подожди, сейчас милиция придет.
Я бежал, проклиная бабку и оставив у нее свое удостоверение.

Букеш улетела без фотографий, наказав выслать их авиапочтой. Уложив дочку спать, я сел писать очередной рассказ. В последнее время они значительно видоизменились, и редактор даже говорил, что в моем творчестве появилось что-то гоголевское, какой-то смех сквозь слезы. В этом рассказе смеха уже вообще не было. Я чувствовал, что пора браться за большую форму, и в голове складывался сюжет драмы...

Драму я окончил почти одновременно с кандидатской диссертацией Букеш. Работать приходилось урывками, а когда понадобилось печатать диссертацию, уже не приходилось и спать. Дело в том, что диссертации печатаются на нулевой бумаге. Только на нулевой и никаких отклонений не разрешается. Если бы Эйнштейн представил свою теорию относительности на какой-то другой бумаге, с ним никто не стал бы и разговаривать. А Букеш не была Эйнштейном, или еще не была. Она это скромно признавала, и поэтому я начал искать нулевую бумагу. Для этого пришлось взять отпуск на работе. После долгих безуспешных поисков я убедился, что нулевой бумаги мне не достать. По-видимому, ее прятали сознательно – это был единственный способ как-то сдерживать тех, кто рвался непременно хоть на сантиметр продвинуть Науку вперед – ведь дай им волю, они ее вообще неизвестно куда могут задвинуть!

В конце концов мне пришлось отправиться на знаменитый Одесский толчок. Там я достал эту бумагу по 50 копеек за лист.

В день моего возвращения к нам приехал из села дядя Букеш, Асылбек. Он бодро соскочил со своего ишака и, забросив на плечи пухлый курджун, поднялся на пятый этаж:

– Принимай, сынок! – Старик свалил курджун мне на руки. Я свалился вместе с курджуном на пол – он весил добрых полтонны. Я с завистью подумал, что дядина жена никогда не писала диссертации и для своих восьмидесяти двух лет он неплохо сохранился.

– Что у вас там, дядя? – спросил я.

– Понимаешь сынок, наша колхозная контора в новый дом переехала, а это взять забыли, несколько тюков, – говорят, что зря машину гонять, лучше сжечь! Моя старуха печку растапливала, а я подумал – вы люди ученые, пишите много, вам пригодится, – и с этими словами он открыл курджун. Я опять сел на пол. Курджун был доверху набит белейшей нулевой бумагой – той самой, что по 50 копеек лист.

– Дядя, какой вы молодец, – радостно закричала Букеш, – теперь мне бумаги на десять диссертаций хватит!

Но я был слишком потрясен, чтобы обратить внимание на эти слова.

... Моя Букеш защитила кандидатскую с блеском. Торжества по этому поводу были немного омрачены нашей дочкой. Когда я подвел ее к Букеш и попросил ее поздравить маму, она заплакала.

– Ты что, доченька? – Букеш хотела взять ее на руки.

– Не хочу! – закричала дочка. – Где наша мама?

– Это и есть наша мама...

– Это тетя, – дочка подозрительно смотрела на Букеш. – Я не хочу новую маму.

Но это было единственное темное пятно на радостном фоне.

Сейчас моя Букеш пишет докторскую – вы ведь помните, что нулевой бумаги у нас предостаточно.

А моя драма имела успех, и теперь я по ночам пишу трагедию. Получается неплохо, хотя, конечно, до Шекспира еще далеко. Да это и понятно – ведь судя по «Королю Лиру», его жена была по меньшей мере академиком!



ПРИЗ РЕЖИССЕРА

– Да, придумали вы неплохо! – весело сказал руководитель учреждения, принимавший нас. – Но чью кандидатуру вам предложить? Пожалуй, это лучше знают главный режиссер или главный редактор студии. И парторг, конечно. Он все-таки ближе к работникам, чем я. Сейчас я попрошу отвезти вас на студию...

И уже через четверть часа мы с Сагынбеком сидели в кабинете главного режиссера телестудии. Обстановка здесь очень напоминала наш диспетчерский пункт – телефон трещит непрерывно, едва выйдет один посетитель, как входят трое новых и каждый раз, когда главный режиссер попытается обратиться к нам, его опять занимали срочным делом. Мы не обижались. Наоборот, очень интересно было увидеть людей, хорошо знакомых по телеэкрану. А девушки сюда заходили такие, каких раньше мы видели только в журнале «Силуэт». Разговоры все они вели серьезные, но нам не очень понятные.

Так прошел час. Я посмотрел на Сагынбека и по его виду понял, что он готов сидеть тут до вечера. Главный режиссер в это время разговаривал с самой красивой дикторшей нашего телевидения. Я сделал строгое лицо, и Сагынбек покорился. Мы встали, готовые откланяться и попросить назначить нам время, когда у главного режиссера будет поменьше работы. Но не успел я открыть рот, как дверь с грохотом распахнулась и в кабинет вошел бородач неопределенного возраста, в джинсах и темной рубашке не первой свежести. Прямо с порога он закричал на главного режиссера.

– Почему мне не дают тонваген?

– Да ты не кричи, успокойся! – сказал главный невозмутимо. – Присядь и объясни, зачем на эту съемку тебе нужен тонваген?

– А что, за каждую мелочь я должен отчитываться?

– Ну, дорогой мой! Тонваген не такая уж мелочь – ты знаешь, сколько будет стоить студии эта съемка?

– Не знаю! – грубо ответил бородач. – Если бы я закончил бухгалтерские курсы, я, может, стал бы главным режиссером. А поскольку у меня такой бумажки нет, я даже не ваш заместитель!

Разговор тут же перешел на тон выше, по-видимому, и терпению главного был предел.

А нам с Сагынбеком этот тип сразу не понравился. Совсем он не был похож на тех вежливых и элегантных людей, которые до него заходили в кабинет. Правда, дикторша, уходя, очень приветливо ему улыбнулась, но ведь такая красивая девушка просто не может выглядеть неприветливой. Этот тип хоть одеться бы мог поаккуратнее, а он выглядел примерно так, как рабочие нашего клееварочного цеха в конце рабочей смены. И это работник телевидения! А вообще, наверное, каждое предприятие имеет одного или двух подобных бузотеров.

– Послушай! – почти крикнул, потеряв всякое терпение, главный режиссер. – Если хочешь работать, работай как все! А не хочешь, давай лучше по-хорошему расстанемся.

– И этим вы меня пугаете?

– Не пугаю, а предупреждаю!

– Вы, Бегалы Калыбекович, просто конформист с диктаторскими замашками! Имейте в виду, я ни перед вами, ни перед кем другим на колени не встану и чего нахожу нужным делать, то делать и буду. Если хотите, можете увольнять.

И он вышел из кабинета так же как вошел. Мы с Сагынбеком чувствовали себя неловко и молчали, не зная, что сказать.

– Ну, как он вам? – неожиданно спросил главный режиссер. – Неплохой парень, характер вот крутоват, верно?

И опять ни я, ни Сагынбек не успели ничего ответить – в кабинет вошла симпатичная женщина средних лет и мужчина того же возраста. Главный режиссер пригласил всех садиться и тогда представил нас друг другу. Новые посетители оказались секретарем парторганизации и главным редактором студии. Пришла, наконец, наша с Сагынбеком очередь.

– Мы с мебельного комбината, – начал я, увидев, что Сагынбек мне сигналил. – Товарищ мой, Сагынбек – член местного комитета, и инженер. Дело вот в чем. Неделю назад приступил к работе новый большой цех нашего комбината.

– Да, да, мы не раз уже делали оттуда репортажи, – сказал главный редактор.

– Да, показывали нас, спасибо! Но дело в том, что когда начали расширение комбината и реконструкцию цехов, у нас пошли серьезные конфликты со строительными организациями.

– Весь план был под угрозой! Спор шел на уровне министерства, – не выдержал Сагынбек...

– Да. Вдруг телевидение дает критический очерк о строителях, и как раз в связи с нами, – продолжал я. – Знаете, как это их подхлестнуло? Правда, от вас и нам самим досталось крепко, виноваты были, конечно, тянули с монтажом нового оборудования, но тоже на пользу пошло. А еще, до того партком выдвинул предложение присудить ценный приз коллективу или отдельному лицу за самую действенную помощь, самый весомый вклад в дело расширения комбината. Недавно мы подвели итоги. И кто же завоевал приз? Телестудия! Ваше мнение здорово нам помогло. А очерк о первых днях работы нашего цеха для нас – радость и всему коллективу память. Вот мы и пришли договориться – кому будет вручен приз? Мы тут же привезем.

– А что у вас за приз? – спросил секретарь парторганизации.

– Полный жилой гарнитур, первая пробная продукция нового цеха! – впервые решил заговорить и Сагынбек.

– Здорово! – воскликнул главный редактор. – Да мы, выходит, молодцы, а, Бегалы Калыбекович? Вот это я понимаю, стимул!

– Молодцы-то молодцы, – усмехнулся главный режиссер. – А теперь нужно искать главного «виновника». Уверяю вас, это будет не легко.

– Давайте сделаем так, – продолжала секретарь парторганизации. – Прежде всего, посоветуемся с коллективом, а в пятницу созовем производственное собрание и вы торжественно вручите ваш подарок. Как, успеем мы к пятнице?

- Успеем.
- А вас это устраивает, товарищи?
- Вполне! – хором сказали мы с Сагынбеком.

В пятницу мы сидели в президиуме. Большой зал был поюон, то и дело вспыхивал в нем то веселый, то сердитый шум. Работники телевидения, видимо, не любили надолго откладывать свои дела, поэтому первые полчаса производственного собрания ушли на разбор неотложных вопросов и неурядиц.

Наконец, парторг взяла слово, и объяснив цель нашего присутствия на собрании, сказала:

- Товарищи, местный комитет, администрация и партком предлагает вручить этот приз режиссеру Асаналиеву, как вы считаете?

- Правильно! – дружно закричал зал.

Когда зал утих, Сагынбек зачитал благодарность комбината и приготовился вручить грамоту. Но никто к нему не подходил.

- Где Асаналиев? – строго спросил главный режиссер.

В зале заговорили, задвигались, «виновник» торжества не появлялся.

- Он снимал до утра, – крикнул кто-то из зала. – Проспал, наверное.

- Придет он, придет! – поддержал его второй.

Вот видите, товарищи! – Бегалы Калыбекович начал сердиться. – А ведь его предупреджали о собрании. Считаю, что Асаналиев...

Договорить он не успел – дверь распахнулась, и в зал энергично вошел тот самый бородач, что так не понравился нам с Сагынбеком. Последние слова главного режиссера он, видимо, услышал и прямо с порога перешел в наступление.

- Что Асаналиев?!

- Почему опоздал на собрание?

- Гулял! – грубо ответил бородач.

В зале засмеялись.

– Подойдите сюда, – Бегалы Калыбекович был само терпение. – Тут вот товарищи с мебельного комбината хотели бы вас видеть.

Нас с Сагынбеком он узнал моментально.

– Ах, вот что! Товарищи жаловаться пришли? Ничего, ничего, Бегалы Калыбекович, это даже хорошо, что вы решили со мной всенародно расправиться! Я уже не раз говорил, что если вижу безобразие, то мимо проходить не собираюсь. А если кому-то кажется, что его не за дело раскритиковали, пусть это докажет!

Хохот в зале стоял громовой. Сагынбек подошел к взъерошенному бородачу. Зал заинтересованно притих. Тогда Сагынбек с удовольствием вторично зачитал благодарность, я пожал ему руку и вручил грамоту.

– А приз во дворе, на машине. Давайте адрес, сейчас же доставим.

– Товарищи! Что же это такое? – тихонько пролепетал Асаналиев. Такого голоса у него, видимо, никто еще здесь не слышал. И пока мы шли к выходу, зал аплодировал нам, словно народным артистам.

– Ну что, вы согласны, что подарок попал в достойные руки? – спросил Бегалы Калыбекович, когда мы вновь сидели у него в кабинете. – Занятый все-таки человек – режиссер Асаналиев, он считает, что авторитет человеку должность создает, а не работа его... И если узнает, что где-то есть нечестный хозяйственник или нерадивый руководитель – он не считается с субординацией. Налетает и неожиданно, застаёт врасплох и делает такой материал, что иные авторитеты по швам трещат. Сколько раз студия уже с обиженными разбиралась. Но пользу это приносило всегда – вы на своем опыте знаете. В коллективе его любят, но ему сколько раз приходилось отбиваться от обиженных и – что греха таить – от своего же руководства, поэтому характер у него стал слишком воинственным. Да, – произнес Бегалы Калыбекович задумчиво, – иногда вот подумаешь, а так ли это важно, на месте товарищи

сами разберутся, стоит ли нервы тратить... А он о нервах не думает, попробуйте ему такое сказать – увидите, что будет. И вы знаете... – главный режиссер улыбнулся, – я иногда ему завидую. Что говорить, врагов у Асаналиева достаточно, но друзей еще больше. Такие люди, как он, всегда на передовой. Когда пришел он к нам с красным дипломом, ему сразу предложили руководящую должность. Отказался! Уже много лет работает простым режиссером. Это талантливый публицист...

– Но все же характер... – вздохнул Сагынбек.

– Конечно, – сказал Бегалы Калыбекович. – Есть у нас режиссеры, редакторы, корреспонденты, которые ни с кем не ругаются. Работу делают так, что придаться не к чему, но и хвалить не за что. Так, средний материал. А зачем он вообще нужен? Кому? Так что, наверное, неуживчивость – специфическая черта характера творческого человека. И еще – способность передать другим свое горение, свою неуспокоенность и стремление к справедливости. Ну вот, я, кажется, перешел на высокие слова... – оборвал себя Бегалы Калыбекович. И, прощаясь с нами, добавил с юмором: – Конформист с диктаторскими замашками! Это же надо было придумать! А задумаешься поневоле – хоть и сгоряча сказал, но не случается ли, что и впрямь для своего спокойствия пытаешься обходить острые проблемы? А еще хуже – и другим это навязываешь? Ну да с нашим Асаналиевым и его друзьями о спокойной жизни мечтать не приходится, да и не хочется, честно говоря...

Теперь мы с Сагынбеком ждем с нетерпением появления на телеэкране фамилии нашего знакомого. Каждый его материал – это новые вопросы и проблемы, и мы знаем, где-то стали лучше работать, а где-то в нашем городе начали устранять неурядицы, что мешают людям нормально жить. Наверняка где-то и сейчас кричит и ругается, не щадит своих нервов и чужих авторитетов режиссер Асаналиев. Вы его не встречали? Учтите, это не обязательно он, режиссеры Асаналиевы есть везде. Беспокойные, отзывчивые люди, у которых много врагов, но и еще больше друзей, потому что без Асаналиевых жить было бы не только трудно, но и просто невозможно.



КНОПКА

Я бодро одолел несколько этажей, но на пятом сдался и зашел в холл – передохнуть. И тут я увидел чудо – прехорошенькую девочку лет пяти-шести. Она, рассадив на креслах с десятков кукол, была полностью погружена в процесс воспитания. Я отлично знал, что детей сюда не пускают...

Однажды, когда жена Ишенгазы лежала в больнице, он пришел со своим трехлетним сыном, чтобы забрать бумаги и поработать дома. Но добродушный и упитанный старшина не желал слушать никаких уговоров – «сами сходите, а с ребенком нельзя!» Ишенгазы попробовал уговорить сына остаться ненадолго со старшиной... Но «несознательный» ребенок выражал явную неприязнь к данному представителю власти... Тут, к счастью Ишенгазы, конечно, подошел я – у меня были дела на телевидении. Сын Ишенгазы подумал и согласился остаться со мной... Но едва отец скрылся за дверью, он поднял такой рев, что у меня до сих пор в ушах гудит. Естественно, мне было интересно узнать, что это за девочка, пользующаяся особыми привилегиями, не только проникла сюда, но и спокойно играла в одиночестве у всех на виду... Я подошел к ней.

– Азамат, не шали! – строго говорила девочка, грозя пальчиком кукле, изображавшей сорванца в кепке, надетой на бок. – Если будешь капризничать – скажу вот этому верблюду, и он тебя забодает! – она сделала «страшные» глаза...

– А разве верблюды бодаются? – спросил я тихонько, садясь рядом.

– А как же?! – ответила она, не глядя на меня. – Конечно, бодаются...

Затем обернулась, увидев меня, не испугалась и не удивилась... Строго посмотрела на Азамата и, наклонившись ко мне, прошептала:

– Надо же как-то внушить! – Сказала тихо, как будто мы с ней сто лет были знакомы, и заговорщицки подмигнула. Опять сделав серьезную мордашку, она еще раз погрозила пальцем сорванцу: – Ох, дети, дети!

Я чуть было не фыркнул, но вовремя удержался, встал и с полным уважением к столь строгой «маме» сказал:

– Разрешите познакомиться, Нурлан! – и протянул руку. Она доверчиво положила в мою ладонь свою маленькую ручку и ответила:

– Айнура Мусаева...

– О, простите. Нурлан Орозалиев.

Я полностью назвал себя. Мы опять сели рядом и продолжили светскую беседу:

– Ты чья? – спросил я.

– Мамина.

– И папина.

– Нет. Я только мамина! – сказала она, нахмурившись. Я понял, что сболтнул лишнее и поторопился переменить тему разговора.

– А что тут ты делаешь?

– Работаю. А ты?

Я поперхнулся, но сумел все-таки ответить:

– Я тоже.

И тут я вспомнил, что меня ждут.

– Желаю успеха в работе! – сказал я и не удержался от соблазна надавить пальцем на маленькую смуглую кнопку ее носа. Она сама издала звук «биип» и захохотала, ужасно довольная. Я присоединился к ней.

Так я познакомился с Айнурой, девочкой с большими доверчивыми глазами и носом, похожим на кнопку, девочкой, которая не боялась чужих.

– Можешь поздравить! – сказал Ишенгазы, глядя на меня чуть свысока. – Получил новый полнометражный фильм!

Я подумал, что он мог бы сказать: «Первый полнометражный фильм», но промолчал и сказал только:

– Да ну?

– Уже запущен.

– Поздравляю.

– Позвал тебя потому, – сказал он с достоинством, оглядевшись вокруг себя, – что хотел предложить тебе роль.

Тут я увидел, что в комнате кроме нас с Ишенгазы сидят еще несколько человек.

– Вот претенденты на эту роль, – продолжал он. – Акынбек, Айткулу и Жусупбай... Ты четвертый. Я знаю, как вы все выглядите на экране, и кинопробы проводить не буду. Время у нас сжатое, поэтому сразу начнем с показа какого-нибудь эпизода. Тут главное в том, кто из вас сумеет лучше всех работать с детьми.

Мысленно я хлопнул себя по лбу. Так вот почему сюда попала Айнура!

– Мы делаем веселую киноленту об одной семье, – продолжал Ишенгазы. – Сюжет самый обыкновенный, даже можно сказать банальный, но при желании можно сделать хорошим. В семье отец, мать, дочь и сын. Как всегда, мать с сыном уезжают отдыхать, отец с дочерью остаются. Отец этакий самоуверенный, все знает в теории и уверен, что великолепно обойдется без жены. Сами понимаете, тут происходит целый ряд комических случаев. Вот так. Мать, дочь и сына уже нашли. Теперь будем искать отца...

Я удивленно посмотрел на сидящего рядом со мной Акынбека. Он понятливый юноша, но ему едва исполнилось двадцать...

– Ты будешь играть сына? – шепнул я ему.

– Нет, надеюсь, отца.

– Да-а! А «детей» своих ты видел?

– Нет. Но я видел «маму»! – сообщил он восторженно.

– Вот и «дочка»! – воскликнул Ишенгазы, когда его помощники ввели в комнату Айнуру. – Очень умная и послушная девочка, мы перебрали более пятисот кандидатур, прежде чем нашли ее. И она сделает все то, что ей покажут, правда, дочка? – У Ишенгазы явно не было опыта работы с детьми. Айнура лукаво улыбнулась.

– Теперь я вас прошу, – обратился Ишенгазы к нам четверым, которые с волнением готовились стать «папой». – Вместе с Айнурой сыграйте какой-нибудь эпизод из семейной жизни. Не обязательно по сценарию. Нам просто нужно посмотреть, какие у вас получаются отношения с Айнурой, начнем?

Наступила пауза.

– По-моему, лучше начинать Жусупбаю, – робко сказал Акынбек. – Как-никак, у него опыт есть. Тройной. Так, что дети ему не в новинку.

– Правильно! – радостно подхватили мы.

– А я что? Я могу! – сказал Жусупбай. – Только, чтобы режиссер потом учел, что я жертвую собой ради вас, друзья мои.

– Конечно, учтет! Давай начинай! – заорали мы, готовясь к зрелищу.

Айнура сидела напротив и очень скептически рассматривала четверых кандидатов. Жусупбай твердым шагом вышел на середину комнаты и позвал ее к себе. Девочка подошла.

– Теперь ты будешь называть меня папой...

– Тебя? Нет, не буду! – сказала она и засмеялась.

– Айнура! Ты же у нас большая и умная девочка, – вмешался Ишенгазы.

– Мы все знаем, что у тебя другой папа. Но сейчас так нужно. Ты же будешь сниматься в кино, как настоящая актриса! И этого дядю нужно называть папой. Это просто нарочно. Ведь и мама тебе сказала, чтобы ты слушалась. Будешь называть этого дядю папой и делать все, что он скажет. Хорошо?

Айнура кивнула головой. Жусупбай взял стул и сказал:

– Представь себе, что это диван...

И он удобно расположился на нем.

– Доченька! Где ты, Айнура? – позвал он.

– Я здесь, что папа?

Акынбек давно уже перестал дышать.

– Иди сюда. Хочешь конфетку?

– Хочу.

Жусупбай засунул руку в карман, вытащил воображаемые конфеты и протянул девочке. Она не удивилась, сделала вид, что взяла, даже положила в рот несуществующую конфету и, довольная, заулыбалась... Мы не ожидали такой непосредственной игры.

– Доченька, принеси чаю!

– Сейчас, папа.

– Захвати заодно и мои папиросы.

Жусупбай окончательно вошел в роль и приказывал всюю... Но видимо перехватил лишнего, и Айнура, в конце концов, перестала его слушаться.

– Ты почему не слушаешься? – спросил Жусупбай сурово.

– А ты почему – принеси да принеси! Сам принеси! Ты просто лентяй! – рассердилась вдруг Айнура. – Не нужен мне такой папа!

– Ах ты, озорница! Кто тебя учил так разговаривать с папой? Наверное, тебе надо немножко подрезать язык! – Жусупбай сделал вид, что ищет ножик в кармане.

Но тут на глазах Айнуры показались слезы, и она громко заплакала.

– Достаточно, хватит! – закричал Ишенгазы. Жусупбай смущенно сел на свое место.

– Молодец, ты просто молодец! – говорили мы хором, пытаясь успокоить девочку. Но она в дальнейшем категорически отказалась становиться еще чьей-либо дочерью.

Отвергнутые папы отступили...

– Ну ладно, – сказал Ишенгазы. – Потом еще раз попробуем.

Следующие эпизоды играли без Айнуры. Ничего не получалось. Последним вышел я. Закурил. Походил по комнате. Потом вдруг решившись, подошел к Айнуре, которая все еще всхлипывала, сидя на коленях у помощника режиссера, и спросил:

– Ну, как Азамат? Все еще шалит?

– Да! – ответила она неожиданно. – Вчера он опять потерял шапку.

– Ай-ай-ай! Ну не расстраивайся, он еще ребенок. Вырастет – все пройдет.

– Конечно! – отозвалась она.

– Айнура! Ты хочешь, чтобы я стал твоим папой?!

– Нет.

– А почему?

– Видишь ли... я никак не могу найти хорошую девочку, вроде тебя.

– А ты по-правдашному?

– Конечно.

– И купишь мне мороженое?

– Куплю.

– Правда? А два купишь?

– И два куплю. Сколько захочешь, столько и куплю.

– Ну ... а если я опять подерусь с Мишкой, ты за меня заступишься?

– Заступлюсь... И в цирк тебя поведу.

– Правда? А в садик со мной пойдешь?

– Конечно.

– И ругать меня не будешь?

– Не буду.

– Никогда-никогда?

– Никогда не буду.

– Нет, иногда немножко надо, – вздохнула она. – А то я вырасту нехорошей девочкой...

Последняя мысль вряд ли принадлежала ей самой, подумал я.

– Хорошо, иногда буду ругать, если ты этого заслужишь.

– Тогда я согласна! – весело сказала Айнура и мгновенно перекочевала от помрежа ко мне на руки...

– Я тоже согласен! – сказал я и надавил пальцем на «кнопку». Раздалось «би-ип»!

Все засмеялись.

– Ну вот, она сама и выбрала, – сказал Жусупбай. – Самое главное, они в чем-то похожи и успели найти общий язык. Я лично снимаю свою кандидатуру.

– Мы тоже! – подхватили остальные.

Не знаю, чем я заслужил расположение маленькой Айнуры, ведь у меня детей не было, опыта общения с ними тоже. Ишенгазы обнял меня за плечи.

– Молодцы, – сказал он. – Вот сценарий, читай. И постарайся, чтобы она как следует привыкла к тебе. Иначе при съемках ничего не выйдет. Почаще бывай с ней. Погуляйте, зайди в гости. Я уверен, все будет хорошо.

Так неожиданно-негаданно я стал «папой» чудесной девочки по имени Айнура, с кнопочным носиком.

– Простите, я вас не знаю! – недоверчиво глядя на меня, сказала пожилая воспитательница детсада. – Отдайте ему девочку! А вы кто такой?

– Видите ли...

– Ничего не вижу... Мы детьми так не разбрасываемся, мы за каждого в ответе.

Моя персона правилась ей явно все меньше и меньше. Воспитательница перешла на октаву выше.

– Эдак, если мы каждому, кто попросит, будем отдавать по ребенку, что же будет? – И она даже застонала перед такой ужасной перспективой, но, взяв себя в руки, двинулась на меня, как маленький танк.

Я понял, каково было Наполеону при Ватерлоо. В воображении стали возникать другие малоутешительные ассоциации, но тут на помощь мне подросла сама Айнура, которую вместе с другими детьми вывели во двор.

– Папа, папочка! – закричала она с восторгом. – Ты за мной пришел?

– За тобой, малышка! – воскликнул я радостно.

Воспитательница не сразу осознала ситуацию, но в конце концов, прошептав как бы про себя: «Вот она, жизнь!» – попыталась мне улыбнуться.

Мы долго гуляли по улицам, катались в парке на качелях, чертовом колесе и даже на карусели. Айнура заботливо поддерживала меня, спрашивая:

– Папочка, тебе не страшно? Ты не бойся, я же ведь с тобой!
– И была счастлива.

Потом мы пообедали в диетической столовой. Вид у девочки такой был довольный, что я понял, как редко мама доставляет ей такие удовольствия.

Я уже знал, что у моей маленькой «дочки» не было настоящего папы. Почему, я не знал, но как сказала пожилая воспитательница: «В жизни всякое бывает». Был уже вечер, когда мы возвращались домой. Прощались мы с Айнурой у подъезда. Зайти я не решался, так как с матерью ее не был знаком, только говорил по телефону.

– Ты скоро опять приедешь?

– В воскресенье...

– А до воскресенья еще далеко?

– Четыре дня.

– Четыре дня?.. – Она, растопырив пять пальчиков, по очереди загнула четыре из них. – Четыре дня? О, как долго! – губы ее задрожали.

Не мог я объяснить этой наивной девочке, что у меня своя семья, свои заботы, что не могу быть с ней всегда, когда она захочет. Не мог.

– Айнура! – сказал я. – Ты ведь умная девочка и не будешь обижаться. Мне нужно ходить на работу, а то меня будут ругать, понимаешь?

Она молча кивнула головой.

– Я приду – и тогда мы пойдем в цирк, – сказал я.

– В цирк?

– Да, в цирк... А теперь – до свидания.

Я надавил на «кнопку», она... она снова весело засмеялась. Съемки шли уже неделю. Кажется, все удавалось и даже погода «подыгрывала» нашей группе. После каждого дубля Ишенгазы поднимал вверх большой палец, что означало: мы с Айнурой опять не подкачали... На этой неделе мне пришлось самому

однажды зайти за Айнурой, перед съемкой помреж был занят. Мать ее была дома.

– Здравствуйте, – сказал я. – Я пришел за Айнурой. Я ее «папа».

– Ах, это вы? – она приветливо улыбнулась. – В последнее время только о вас и речь. Айнура, Айнура! – позвала она.

Айнура с разбегу прыгнула мне на шею с радостным криком: «Папа пришел». Молодая женщина покраснела.

– Айнура, – сказала она с упреком.

Девочка удивленно посмотрела на нее.

– Мама, я ведь сказала тебе, что это мой папа. Вы еще не познакомились?

– Асыл, – сказала мать, протягивая мне руку.

– Нурлан, – поспешно ответил я, пожимая ее мягкую ладонь, и, осторожно подняв глаза, увидел, что лицо ее украшает такая же «кнопка», но с явными следами пудры. Нажать на нее я не решился. Вряд ли в ответ раздалось бы такое же веселое «би-ип»!

Была отснята одна треть фильма, когда однажды я провожал Айнуру домой. Во дворе слышались веселые крики детворы.

– Папа, а ты можешь взять меня на руки? – неожиданно спросила она. Раньше такого за Айнурой не наблюдалось, она была очень самостоятельной девочкой.

– Конечно, давай, садись на шею.

Мы проходили через двор, она гордо смотрела на бегающих вокруг малышей, но когда к нам с воинственным видом подскочил мальчишка лет семи с разодранным носом, Айнура не выдержала:

– Мишка! – грозно закричала она. – Ты видишь, какой у меня папа! Попробуй еще ломать куклы – он тебя на крышу забросит.

Мишка позорно отступил.

– Мы сегодня много работали, – закричала Айнура еще с порога, когда мы вошли в квартиру.

– Устали? – спросила участливо Асыл.

– Ой, просто ужасно! Мы с папой сегодня на съемках пели.

– Ну тогда, значит, устали, давайте отдохните, я вас чаем напою.

Мы с Айнурой, перебивая друг друга, весело рассказывали, как снимается наш фильм. Потом долго пили чай.

– Ну, мне пора, – сказал я, посмотрев на часы.

– Нет! – неожиданно закричала Айнура. – Ты не уходи. Ты ведь теперь по-настоящему мой папа! И все знают! И Миша знает. Ты теперь будешь с нами жить.

– Ну что ты, Айнурочка? – смущенно заговорила Асыл. – Дядя Нурлан должен идти домой, у него ведь есть своя дочка.

– Это я его дочка! – закричала Айнура. – Он никуда не пойдет, он теперь мой папа! У всех есть папа, и у меня теперь папа!

Горе Айнуры было так велико, что мы с Асыл растерялись. Я первый раз видел девочку в таком состоянии.

– Айнура, ты сама не знаешь, о чем говоришь! – строго, с упреком сказала Асыл. – Дядя Нурлан должен идти домой!

Лицо ее пылало от смущения.

– Подождите, – шепнул я. – Сейчас уложим ее спать, а когда уснет – я уйду.

Айнура услышала:

– Не лягу спать! Все равно не буду спать! Вы хотите меня обмануть!

Асыл совсем потеряла голову. Она смотрела на рыдающую Айнуру и вдруг сильно шлепнула ее. Айнура замолчала – не от страха, скорее от изумления. И тут разрыдалась Асыл... Я понял, что нужно скорее уходить, но с порога еще слышал горький вопрос Айнуры:

– Значит, он меня обманул, да? Обманул?

– Слушай, друг, а ты здоров? – Ишенгазы выразительно покрутил пальцем у виска. Ему не хотелось верить своим ушам.

– Здоров. Но сниматься больше не буду.

Ишенгазы застонал:

– Нурлан, дорогой! Подумай, что ты делаешь! Ты ведь меня зарежешь! Причем тут я, если у нее такие безответственные родители? И потом. Это ведь не шутки, сам знаешь, сколько денег ухлопали уже. И что ж – зря? Вот! – закричал Ишенгазы, хватая со стола бутафорский кинжал. – Вот, возьми нож – и зарежь!

Я встал.

– Свали все на меня, хочешь – в суд подавай. Но сниматься больше не буду. Пойми, она ведь не вещь, а живой человек. Ладно, я взрослый, я все понимаю, но она-то ребенок!

Уходя, я еще слышал жалобные вопли Ишенгазы, то обещания подать в суд, то предложение своим помощникам зарезать его на месте.

Поскольку я сам никому не рассказывал о причинах ухода с фильма, то этот труд взял на себя Ишенгазы. Фильм ему все-таки удалось снять с другим актером и с другой девочкой. Но меня он так и не простил. С того времени моя кинокарьера окончилась. «Актер он хороший, – говорили режиссеры. – Но ненадежный. Слышали, что было на фильме у Ишенгазы?» – И следовала история, которой я весьма удивился и сам, когда услышал ее в первый раз.

А со своей маленькой «дочкой» я встретился только через семь лет. На улице ко мне подбежала красивая девочка и робко спросила:

– Дядя Нурлан?

Я взгляделся. Это была Айнура, но узнать ее можно было только по глазам да по «кнопке». Я узнал, что у нее теперь есть настоящий папа, с которым она ходит в театр и в цирк, и ездит на Иссык-Куль. Правда, участия в баталиях со злонамеренным Мишкой он не принимает, но учит ее приемам самбо. Она не может забыть своего участия в съемках фильма, но актрисой не будет, а будет режиссером.

– И тогда дядя Нурлан, я буду снимать тебя во всех своих фильмах, в главных ролях, хорошо?

– Хорошо.

Я потянулся было нажать на «кнопку» и не решился. Но Айнура весело закричала «би-ип» и, попрощавшись, вприпрыжку побежала к троллейбусной остановке.

ЧИНАРА

Слуху о том, что на каменистом взгорке у старой мельницы появился росток какого-то дерева, поначалу никто не поверил. Уж так было угодно судьбе, чтобы наш аил Жандуу-Элес расположился у подножия серых, безжизненных, хотя и не очень высоких скал. В этих местах кроме обычной чахлой травы, пригодной только лишь для неприхотливых овец, не растет ничего. Ни кустика. Ни деревца, тем более. Во всяком случае, если кто-то хотел насмерть удивить соседа какой-нибудь диковинкой, то привозил из дальних мест ветку обыкновенного дерева... Теперь, думаю, понятно, почему, едва только возник слух о появившемся ростке, все айльчане, от мала до велика, так решительно направились в сторону старой мельницы, как будто собирались разгромить ее. Первым увидел внук старика Шарше. Он воздел руки к небу и, приплясывая среди груды камней, радостно прокричал:

– Вот он! Есть! Я первым увидел его!

– Где? Где? – со всех сторон посыпались нетерпеливо возбужденные возгласы.

– Да вот же, смотрите!

– И в самом деле... Когда-то мне довелось побывать совсем в другой долине и я видел там что-то похожее...

– И впрямь дерево!

– Откуда ему здесь быть!

– Судьбе угодно, должно быть...

– А ну, дорогу Жалману-кары!

– Дорогу!

Все разом притихли, молча расступились, образовав живой коридор Жалману-кары – старейшине нашего аила. Удивительный человек Жалман-кары. Ему уже 117 исполнилось, детей, внуков и правнуков у него в два с

половиной раза больше, чем его возраст, любой мало-мальски серьезный вопрос решается обязательно с его участием, и, кроме того, ни в нашем аиле, ни в окрестностях нет ни одного человека, который бы отказался от дел, начинаемых от имени Жалмана-кары. И вот Жалман-кары, когда притихшие аильчане расступились, прошел к той самой груде камней, среди которой виднелся тоненький, с ладонь высотой росток. Закрыв его от холодного горного ветра все еще могучей своей спиной, он присел перед ним на корточки, объял его, не касаясь ладонями, как испокон веков это делают старики, благославляя младенцев на дела добрые и долгие, и негромко прошептал:

– Как же сумел ты вырасти здесь, среди этих камней, самый маленький из которых не меньше, чем копыто коня... – Конечно же, мы и сами видели, что стебель вырос на немыслимом месте, но пока не сказал об этом вслух уважаемый Жалман-кары, удивление было меньше восхищения. – Ну, здравствуй... Добро пожаловать! Да взойди, наш первенец, к миру на нашем небе! Взойди для достатка и согласия между людьми!

– Оминь! – дружно повторили древнее благословление аильчане, а кто-то из аксакалов не удержался, сказал:

– Мне кажется, он взошел не на самом удачном месте... Его же надо будет поливать, а сюда воды не наносишься...

– Так давайте пересадим поближе к воде, – тут же предложил кто-то.

– Нет, – поспешил возразить Жалман-кары, – это чинара, а она пускает корни там, где взошла. Природа милостиво одарила нас, и мы должны сберечь ее. Если все будет хорошо, чинара даст побеги от своих корней, но для этого лучше ручей повернуть сюда, чем росток к ручью пересаживать. А тебе, дорогой Токтакун, – обратился он к хозяину мельницы, – придется либо посадить своих ослов на привязь, либо вообще от них избавиться...

Аильчане, конечно же, чтобы там ни думал Токтакун, не могли допустить, чтобы их неожиданное чудо было погублено каким-нибудь ослом или бараном, поэтому быстро соорудили вокруг ростка загородку, сквозь которую даже мышь не пролезла бы, предварительно очистив все вокруг от камней на расстояние примерно трех юрт. И каждый день поливали

чинару, кто ведром, кто чашкой, кто пиалой, а кто и ложкой. Осенью же айльчане, не сговариваясь, понатащили войлок, кошмы, свои потрепанные шубы, и чинара легко пережила зиму. А когда весной всем миром провели ручей из серебряного источника мимо чинары, то она ответила на заботу таким стремительным ростком, что за несколько дней стала выше любого из вековых наших холмов. В ее тени зазеленела трава, и с тех пор не было для айльчан более любимого места для разнообразных собраний – будь то свадьба, разрезание пут, день рождение или другое какое празднество. С годами и вовсе укоренилось проводить на этой поляне вечера, открывая чинаре мирские свои беседы и поглядывая на внуков и правнуков, беспечно гонявших мяч по зеленой поляне.

Свое дело и молва сделала, и вскоре чинара стала эдакой визитной карточкой нашего айла Жандуу-Элес. И вот уже три колхоза, два совхоза и один спецхоз соединили свои желания и средства и построили шоссейную дорогу, связавшую наш теперь уже знаменитый айл с остальным миром, поскольку ежегодные слеты животноводов всего района стали проводиться под нашей чинарой, поскольку частым гостем был у нас большой писатель Чингиз Айтматов, и даже одна из его повестей называется «Тополек мой в красной косынке».

Потом и ученые зачастили к нам. От шести институтов были организованы специальные отделы, которые день и ночь изучали возможности роста в наших местах такого замечательного дерева, как чинара. «Интурист» построил две пятиэтажные гостиницы, чтобы и зарубежные гости, привыкшие к комфорту, чувствовали себя уютно в наших суровых местах. В общем, не стало числа ученым, журналистам, радио и телерепортерам, прочему интересующемуся люду, которых волновало два вопроса:

1. Как смогла вырасти чинара там, где никогда и ничто, кроме травы, не росло, несмотря на многочисленные попытки айльчан посадить хоть что-нибудь пусть даже в привозную землю?

2. Откуда и каким ветром могло занести сюда, в наши края, продуваемые только безжизненными горными ветрами, семя чинары?

К тому времени, когда я рассказываю о чинаре, по этим вопросам уже защищено две докторские и пять кандидатских диссертаций, хотя ни одна из них так и не ответила на вопрос, откуда же здесь появилась чинара и почему она растет одна. А ведь проще всего было спросить об этом у нашего почитаемого Жалмана-кары, который любил повторять нам, его благодарным слушателям:

– Чинара такое дерево, которое любит славу и одиночество, – говорит он, глядя на множество ростков, которые взошли от корня первой чинары, -- поэтому оно может появиться там, где никто его не ждет. Об этом я слышал в тех местах, где люди занимаются разведением растений и потому понимают в них толк. Да и может ли кто-то сказать, что видел, как чинары растут группами? Даже если они волей судьбы окажутся рядышком, то сразу же начнут состязаться друг с другом в росте и так вытянутся, что от легкого ветерка могут свалиться под самый корень... И если мы хотим спасти нашу первую чинару, надо выкопать остальные ростки, что питаются от корня, и пересадить их подальше друг от друга. И если хоть один примется из десяти, то и тогда будет польза для нашего аила...

Мы так и поступили, как посоветовал нам Жалман-кары. Но вопреки его опасениям принялись почти все саженцы, придав особую прелесть поляне. И возрос приток гостей в наш аил. И появилось множество новых статей, новых фотографий, бесплодно пытавшихся объяснить феномен аила Жандуу-Элес. И некогда каменистая поляна стала называться поляной зеленой, лесной, и все было бы хорошо, как вдруг весь аил облетела ошеломляющая весть о том, что мельник Токтакун сошел с ума и вырубает деревья...

Едва только эта весть коснулась айльчан, как все тут же направились к старой мельнице с твердым намерением снести ее под основание. Но не тут-то было... Мельник хоть и был пожилым человеком, но еще достаточно крепким, и когда он замахнулся топором, пообещав срубить любого, кто осмелится подойти и помешать ему, то все остановились в нерешительности, глядя на поваленные деревья.

А Токтакун продолжал свое занятие. К счастью, когда он начал рубить самую большую нашу чинару, подоспевший Жалман-кары, остановил мельника окриком:

– Прекрати! Брось топор!

Естественно, послушаться Жалмана-кары Токтакун не посмел. Он отшвырнул топор и со злостью пробурчал:

– Испокон веков жили мы без чинары, и наши дети и внуки проживут. Из-за них только я покоя лишился. Со всего мира люди сюда каждый день толпами приезжают, в магазине мука мешками продается! Даже на базаре меня спрашивают, не тот ли я мельник, который пристроился возле знаменитой чинары... А кому объяснишь, что это она возле мельницы выросла, а не мельница возле чинары? Все равно я срублю ее...

– Ты оказался человеком с черной завистью, Токтакун, – вздохнул Жалман-кары. – Ты бы лучше посоветовался с нами, что делать с бесполезной теперь мельницей, а вместо этого ты решил воевать со славой чинары. Но впредь запомни, если хоть одна веточка пострадает по твоей вине, я прокляну тебя на семь поколений! ... Дети, – обратился он к нам, – сосчитайте, сколько живых чинар осталось?

– Вместе с первенцем – тринадцать!

– Так вот, – продолжил Жалман-кары, – охрану этих тринадцати оставшихся чинар я поручаю тебе, Токтакун. А сейчас быстренько залечите раны пострадавшему первенцу.

Едва Жалман-кары произнес последнюю фразу, мельник резким движением разорвал на себе рубаху. Мы притихли в ожидании новой выходки Токтакуна, а он, разорвав рубаху на широкие полосы, принялся, к нашему немалому удивлению, аккуратно перевязывать ствол чинары, будто пораненного человека... Кто-то набрал возле ручья мокрой глины и намазал ее поверх повязки.

– Может быть, рана окажется не опасной, – сочувственно произнес мельник, словно это не он полчаса назад хотел погубить нашу чинару.

Казалось бы, теперь все должно быть нормально, да, видно, расправа мельника над молодыми чинарами отозвалась и на других деревьях. Большая чинара вздохнула свободнее и стала

расти еще стремительнее, а оставшиеся двенадцать вдруг начали чахнуть, и совсем не по вине мельника.

Забеспокоились ученые. К каждой чинаре прикрепили по табличке с порядковым номером, всю территорию оградил кирпичной стеной, по четырем углам возвысили сторожевые будки с охранниками, положив им оклад по сто рублей каждому. Чтобы вода не была чересчур холодной, серебряный источник пропустили через специальную термopечку, которую заказали в городе Одессе за 50 тысяч рублей. В Нефтеюганске по спецзаказу были изготовлены целлофановые «рукава» для каждой ветки на весенне-летний период, а на осенне-зимний в Ташкенте – из темного драпа. Правда, там, в Ташкенте, получилась небольшая накладка: трикотажная фабрика наотрез отказалась выполнять заказ по перечислению, поэтому пришлось изыскать дополнительные внутренние резервы, а потом полусмятые купюры проглаживать утюгом, но это лишь подзадорило исследователей, и уже подкормку чинар осуществляли только верблюжьим навозом, который на КРАЗах и МАЗах привозили из совхоза «Буйлалуу» Карагандинской области...

Короче, и тридцати дополнительным ученым, и тринадцати подсобным рабочим забот хватало. Но Чинары несмотря на титанические усилия ученых, организаторов и хозяйственников чахли все заметнее. На последний консилиум были приглашены агрономы, садоводы, ветеринар, два стоматолога, пять пожарных, один оперный певец, шесть администраторов народных театров, два слесаря и один токарь, но единственное, до чего они договорились, это обратиться за советом к Жалману-кары. И тот сказал:

– К сожалению, наш первенец пошел по стопам своих предков. Значит, нужно отсадить молодые чинары еще дальше. Смотрите, как изогнулся он и стволом своим, и ветвями своими, чтобы заслонить солнце от молодой поросли. Теперь он никому не позволит расти рядом с собой, даже траве, таким могучим он стал. Слишком перехвалили мы своего первенца, должно быть... – заключил Жалман-кары.

Не знаю, согласились ли все со словами нашего мудрого аксакала, или поступили так, чтобы хоть как-то поступить, но

три из оставшихся молодых чинар пересадили подальше, в другие ущелья, а одну оставили на ее месте, или посчитав, что она достаточно далеко от большой чинары, или же просто захотели понаблюдать, что получится.

А получилось вот что. Большая чинара извивалась как змея, стремясь дотянуться до молодого побега, и ствол ее вскоре стал похожим на такого страшного дракона, что даже подростки-футболисты в пылу сражений опасались приблизиться к своему бывшему любимцу. Перестали собираться в некогда спасательной тени аксакалы. Даже знаменитый наш писатель Чингиз Айтматов, кажется, остыл к ней, и мы все реже видим его здесь. Под разными предложениями нашли себе другое занятие ученые. Опустели гостиницы, и наше местное начальство ломает голову над тем, как бы сподручнее их использовать.

А большая чинара уже почти совсем потеряла свою пирамидальную форму, хотя и по сей день, фантастически искривленная, остается самым высоким деревом всей Киргизии, и айльчане обеспокоены только тем, что она, не приведи господь, может упасть и немалых бед натворить.

Единственный, кто остался доволен своей судьбой, это старый Токтакун. Он отошел от хлопот с мельницей и за охрану большой чинары каждый месяц получает сто рублей от организации ученых, да еще определенные суммы от все еще приезжающих туристов, когда рассказывает им, что именно он, мельник Токтакун, в свое время защитил грудью вот эту великую чинару от посягательства айльчан. А в доказательство своих слов он прикладывает ладонь к стволу в том месте, где кора на данный момент отшелушивалась больше всего, и тогда притихшим зевакам слышался отдаленный гул то ли проклятия, то ли благодарности, который исходил от могучей чинары. Впрочем, вполне возможно, что заезжим людям он только слышался, потому что Токтакун в конце своего рассказа обязательно спрашивал, прикладывая указательный палец к губам:

– Тсс... Слышите?

ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ

По горло занятой текущей суетой, я даже не заметил яркие театральные афиши, которые огромными, в рост человека, буквами возвещали, что в Киргизском ордена Трудового Красного Знамени академическом театре драмы готовится постановка исторической трагедии «Любовь Омара Хайяма». К тому же в главных ролях должны были выступить Джамал Сейдакматова и Советбек Джумадылов (думаю, что со мной все согласятся, что они сегодня одни из самых замечательных актеров нашей республики). Выручила, как всегда, моя кроткая Букеш, которая вот уже около четверти века специализируется на одних моих недостатках и слабостях. В общем-то я почти не удивился, когда в один из обычных уютных семейных вечеров Букеш осторожно сообщила, что ей удалось достать четыре билета на премьеру пылкой любви общепризнанного поэта Среднего Востока. Немножко зная свою вторую половину, я прежде всего похвалил ее:

– Да ты умница, моя золотая! – произнес я обреченно. – Только объясни мне, пожалуйста, зачем нам двоим четыре билета?

Она пожала плечами и как всегда кротко ответила:

– Просто я подумала, что хорошо было бы пригласить на премьеру Фатиму и Камала. Постановка-то из восточной классики, а они все равно собирались приехать к нам. Хоть недельку от своей жары отдохнут. Да и когда еще подвернется случай вернуть наш долг?

Чтобы все было понятно, я вынужден вернуться на несколько лет назад. Фатима и Камал – друзья детства. В свое время они с родителями уехали в Ташкент, но даже такой поворот судьбы не мог помешать нашей дружбе. В прошлый свой отпуск мы, например, почти две недели гостили у них, и

там вряд ли остался хоть один музей, который бы мы не посетили. Но особенно запомнился культпоход в театр имени Хамзы на «Материнское поле» по Чингизу Айтматову. И пусть спектакль шел на узбекском языке, но настолько он был пронизан киргизским духом, что я, кажется, даже ни разу не вздохнул за все время действия. Как и все остальные зрители, мы тоже не жалели после спектакля наших ладоней, выражая свою признательность режиссеру и актерам.

– Э-э, дорогой, – оценил наши аплодисменты Камал, – произведения таких больших писателей, как Айтматов, по зубам только нашим актерам. Я не знаю другого такого театра и других таких актеров, где Айтматов прозвучал столь естественно. Мне было что возразить моему другу, но... Подилетантски изучая историю наших народов, я пришел к выводу, что в давней древности все опустошительные войны происходили из-за неосторожной оценки того или иного события, но отнюдь не из-за власти или земли, поскольку в силу природно-климатических особенностей киргиза и в цепях не удержишь на равнине, а узбека и саблей в горы не загонишь. Так вот, не желая повторять ошибок моих и Камала предков, я заставил тогда себя промолчать, но, как видите, следы той легкой обиды остались до сих пор... А тут такой случай. Особенно важно то, что имена Джамал Сейдакматовой и Советбека Джумадылова – гарантия успеха любого спектакля, тем более рассказывающего о любви поэта, который хоть и ближе узбекам, нежели киргизам, но все-таки является нашим общим, восточным поэтом. И просто грешно было бы не отплатить нашим друзьям той же «монетой» за посещение «Материнского поля»... Я посмотрел на Букеш, загадочно улыбнулся и с легким недоумением произнес:

– Странно... Кто бы мог подумать, что в голову красивой женщины в состоянии придти такая умная мысль?

И не дав ей времени на достойный, с возможным применением силы ответ, я поспешил в свой кабинет и принялся позванивать своим друзьям в Ташкент. Они обещали приехать за день до премьеры.

Скажу по секрету, что к их приезду мы готовились тщательнее, чем к собственной свадьбе, или театр к своей премьере. С привлечением близких и дальних родственников, друзей и хороших знакомых, нам удалось за короткий срок привести в божеский вид подъезд нашего дома, отремонтировать и вообще поставить «на ноги» мои «Жигули» из первого поколения этого семейства советских автомобилей, забить холодильник полуфабрикатами вкусной киргизской еды. Так что друзей мы встретили достойно. С утра в день премьеры я съездил в горзеленстрой и приобрел там четыре букета прекрасных роз, а вечером вызвал такси и мы отправились в театр. На поздний весенний снег мы не обращали внимание. В прекрасном настроении вошли в современное стеклянное здание и в потоке театралов неспешно двинулись к гардеробу. Фатима и Букеш успели переобуться в принесенные с собой лакированные туфли, и теперь я держал снятую обувь, упакованную в целофановый мешочек, в одной руке, а в другой наши с Камалом шапки.

– Сапоги не принимаем! – черноокая гардеробщица отстранила мой мешок.

– И шапки тоже! – Ее безапелляционности подивился бы вождь любого индейского племени.

– Почему? – опешил я.

– Потому!

– Может быть, все-таки объясните? – спросил я, с трудом сдерживая закипавшую во мне злость.

– Для грамотных вот тут написано, – она ткнула пальцем в сторону таблички, – а неграмотным нечего в театре делать! – И юная черноокая особа посмотрела на меня так, словно вызывала на кулачный бой.

Я прочел то, что мне говорила гардеробщица, и, чувствуя беспредельную неловкость перед моими гостями и неожиданно возникшие во мне противные заискивающие нотки, я спросил как можно вежливее:

– Карындаш, девушка хорошая, что же мне с ними делать? – я показал на сапоги и шапки.

– А мне какое дело! – последовал ответ. – Хочешь, на шею повесь!

Я снова сдержался, только спросил, где найти администратора. Черноокая огляделась и ткнула пальцем в сторону безукоризненно одетого пожилого человека с пышной сединой и очками в золотой оправе.

– Дологой товалищъ, – выслушав мои сетования, вежливо стал объяснять он. – Эта девушка получает в месяц всего девяносто лублей, а четыле ваших дамских сапожка – четылеста. Да еще шапки. Как же смогу заставить ее оплатить стоимость ваших вещей, если они потеляются?

– А почему они должны потеряться, если девушка получает свои девяносто рублей за то, чтобы сидеть и здесь караулить их? – Я искренне не понимал администратора.

– Она плинимает и выдает вещи, но за ценности ответственности не несет. Таковы плавила... – он, не теряя благородства осанки, чуть развел руками, всем своим видом давая понять, что не им заведены такие правила и он ничем нам помочь не в силах.

– Что же нам делать? Не могу же я в таком виде заходить в зал?

– Ну почему?.. – вежливо улыбнулся администратор. – В театле не заплещается сидеть в шапках во влемя спектакля, а тем более вашим дамам – в сапогах...

И он ушел с высоко поднятой головой и с сознанием своей полнейшей правоты, не удосужившись выслушать еще с десятков моих никому не нужных доводов. Букеш, а за ней и Камал с Фатимой принялись успокаивать меня, мол, ничего страшного, посидим два с половиной часа в шапках и сапогах, тем более, уже третий звонок прозвучал. Тогда я несмотря на энергичные протесты моей Букеш решил воспользоваться советом юной черноокой гардеробщицы.

– Едва я появился в зрительном зале (дубленку я тоже не стал сдавать, принципиально оставил ее на себе) в шапке, с двумя парами сапог на шее, с шапкой Камала под мышкой, держа в руках по два букета прекрасных роз – зал взорвался от безудержного хохота. Потом раздались аплодисменты. Чем ближе мы приближались к своим местам, тем гомеричнее

становился хохот и громче аплодисменты. Мы заняли свои места, причем Букеш усадила рядом со мной Фатиму и Камала, опасаясь, что не сдержится. Открылся занавес, но на актеров никто не обращал внимания: зал неистово гудел. Кто-то узнал меня по выступлениям на телевидении и, тыча в меня пальцем, закричал:

– Это ихний, из артистов... Я знаю!

– Кто? Который?

– Да вот, с сапогами!

– Значит, спектакль комедийный... Оригинально придумали, молодец режиссер!

– Ноги моей больше с тобой в театре не будет! – чуть не плача произнесла Букеш (все-таки хорошо, что она села не рядышком...) Когда только ты прекратишь свои мальчишеские выходы...

– Я-то здесь причем? – искренне изумился я. – Как мне посоветовала гардеробщица, так я и поступил.

– Отдай хоть сапоги, я положу их под ноги...

– Мы в театре, а не на базаре, так что не будем торговаться!

– И я демонстративно уставился на сцену, где артисты суетливо задерживали занавес.

Через полминуты ко мне пробрался Боке, мой знакомый друг и товарищ, режиссер-постановщик этого спектакля.

– Зачем ты это сделал? – зло прошептал он. – Ты что, специально решил провалить мою премьеру?

– Что ты, Боке, что ты... – я неуклюже пожал плечами и сапоги при этом кокетливо вздернулись. – Я даже друзей из Ташкента на твою премьеру пригласил, но внизу отказались взять шапки, а сапоги посоветовали повесить себе на шею. Сам посуди... – я опять вздернул сапогами.

Вообще-то мне везет на друзей, они терпеливы и благодушны, и я к этому привык. Но, признаюсь, даже я удивился выдержке моего друга Боке. Едва ли не вместе с моими ушами выхватив у меня сапоги, он вытряхнул меня из дубленки, заодно прихватив и цветы...

Премьера началась с опозданием на полчаса. Учитывая сложившуюся ситуацию, в целом она прошла успешно.

Мне было семнадцать лет, когда я впервые увидел город. Но уже к этому времени благодаря великолепным данным моих рассказчиков-односельчан и книгам я был буквально влюблен в театр, хотя, если не учитывать собственный опыт участия в школьной художественной самодеятельности, совершенно не представлял таинства театрального действия.

И к своему собственному удивлению, и к удовольствию всех тех, кто меня хоть немного знал, я решил поступить учиться в медицинский институт и сдал туда документы. Мне выдали место в общежитии на время вступительных экзаменов, и я оказался одним из 19 юношей, расположившихся в одной комнате. В один из дней кто-то сообщил, что завтра в киргизской драме идет спектакль «Курманбек» и не мешало бы нам всем вместе посмотреть его. Мы радостно загалдели, но самый старший из нас, уже отслуживший армию Данканаю из Таш-Кумыра, охладил наш пыл:

– Ребята, – сказал он, – спектакль еще не раз будет идти в театре, но если мы не сдадим, первый экзамен станет для нас и последним. Вот поступим – тогда и в театр пойдем, а сейчас надо заниматься!

Авторитетному Данканаю мы перечить не посмели, но на следующий день я все-таки выкроил время сбежать в театр и купить там билет, естественно, втайне от всех. После обеда погода испортилась, пошел такой ливень, что не могло быть и речи пойти в театр в моих легких сандалиях. Пришлось обращаться к Данканаю:

– Данканай-байке, – сказал я, стараясь, чтобы никто не подумал, что я намереваюсь пойти в театр, – вы не сможете одолжить мне ваши сапоги на вечер, мне к родственникам надо сходить, в Пишпек. Если вы сами никуда не идете, конечно...

– Куда пойдешь в такую погоду! Бери. А размер у тебя какой?

– 40.

– А мои – 44-го.

– Ничего, мне лишь бы в грязи не застрять.

Когда я опустился в его сапоги и надел дядину фуфайку, примерно 56-го размера, которую мама заставила меня взять на всякий случай, Данканай, посмотрев на меня, весело расхохотался и посоветовал:

– Ты на улице держись подальше от милиционеров, а то запросто могут отправить в детскую колонию...

Конечно, внешний вид нынешнего театра не идет ни в какое сравнение с театром моей юности. Но... Когда я потянул на себя ручку двери, мне она показалась дверью огромного великолепного дворца, и под его сводами в полуосвещенном фойе я увидел пожилую русскую женщину невысокого роста.

– Чего тебе, дружок? – спросила она, и в ее голосе мне почудились нотки той доброты, которая всегда была в голосе моей мамы, даже если она сердилась на меня за какой-нибудь проступок.

– Совсем ничего не надо, – ответил я. – Я – в театр.

– Билет купил?

– Билет купил.

Я зашарил по просторным карманам фуфайки в поисках билета, но женщина жестом остановила меня:

– Не надо показывать, я тебе верю. – Потом, внимательно оглядев меня с ног до головы, добавила: – Хорошо, что ты пришел пораньше. Пойдем-ка со мной.

Она вышла из здания и, прикрыв от дождя голову газетой, провела меня в какой-то двор, заставленный фанерными горами, домами, речками и долинами. Подвела меня к крану, вмонтированному в трон какого-то царя, открыла его.

– Тебе нравится театр? – спросила она, когда я принялся отмывать заляпанные грязью сапоги.

– Не знаю...

– В первый раз пришел?

– В первый раз...

Когда я привел себя в порядок, она повела меня обратно в театр, и я шел за ней, стараясь попадать след в след.

– Пятнадцать копеек имеешь? – спросила женщина, когда мы вновь оказались в фойе.

– Пятнадцать имеешь.

– Надо говорить – имею.

– Имею, – послушно повторил я, протягивая ей рубль в абсолютной уверенности, что она требует плату за свою услугу. И когда она протянула мне 85 копеек сдачи, я отвел ее руку и сказал: – Не надо...

– Ишь ты, миллионер объявился! – добродушно возмутилась она и вложила мне в руку сдачу и программку. – Программа поможет тебе лучше понять спектакль, тем более, что ты первый раз в театре, а во-вторых, у нас здесь не сорят, тем более деньгами. Понял?

– Понял... – едва слышно прошептал я, моля всевышнего помочь мне провалиться сквозь землю.

– Ну ладно, ладно, дружок, – она, кажется, поняла мое состояние, – идем-ка, я кое-что тебе покажу.

Она взяла за руку, подвела к гардеробу и велела сдать фуражку и фуфайку. Я молча повиновался и взамен своей одежды получил круглый пластмассовый номерок. Я впервые сдавал одежду в общественном месте, поэтому до сих пор помню тот номер: 327... Потом женщина повела меня к висевшим на стене портретам.

– Смотри, – сказала она, остановившись возле одного из портретов, – фамилия этого актера Боталиев, зовут Ашыралы. Замечательный артист. Сегодня он будет играть Теитбека, отца Курманбека. Потом прочтешь об этом в программе. У него удивительно приятный, бархатный голос. По голосу ему нет равных среди киргизских актеров, говорят, что в молодости он пел в оперном театре, но я не застала то время... А вот этот красавец, – она подвела меня к другому портрету, – наш Насыр. Природа щедро одарила его и ростом, и голосом, и внешней красотой, и талантом. Так очень редко бывает, дружок... Сегодня он будет играть Курманбека... Если он окажется сильнее вина, то со временем станет великим актером! Кстати, дружок, а как ты сам относишься к вину? – неожиданно спросила она.

– Не знаю... – пожал я плечами. – Я еще не пил вино...

– Вот и молодец! И не надо его никогда пить. Ничего в нем нет хорошего. Дай-то бог, чтоб тебя миновала эта зараза... А вот это – наша Бакен, звезда нашего театра Бакен Кыдыкеева. Ты слышал ее когда-нибудь?

– И в кино видел. «Салтанат» называется. 21 раз видел.

– Столько раз смотрел это кино? – изумилась она.

– Столько раз! – ответил я с гордостью. – За семь дней столько раз показывали это кино в нашем аиле.

– Вот как!.. Наверно, ты приехал в город, чтобы в какой-нибудь институт поступить?

– Да, в медицинский.

– Так любишь кино, а поступаешь в медицинский? – Она пожала плечами. – Впрочем, ты себя лучше знаешь...

Нет, тогда я не знал себя. Я проучился три года в медицинском, прежде чем забрать документы и отвезти их в Москву, во ВГИК. Но это будет три года спустя, а сейчас я замороженно слушал:

– У этой актрисы, – продолжала она рассказ о Кыдыкеевой, – абсолютно нет недостатков, она хороша в любой роли, будь то царица, ведьма или нищая. Сегодня она будет играть царицу Айганыш, и если ты будешь часто приходить в наш театр, то со временем увидишь ее и в других ролях. А вот это... К сожалению, фотография не очень удачная. Это Самак Алымкулов. Замечательный актер и очень трудолюбивый. Когда великий русский режиссер и педагог Станиславский, если ты посвятишь себя искусству, то обязательно познакомишься с его трудами, так вот, когда Станиславский говорил, что нет маленьких ролей, есть маленькие артисты, то имел в виду таких актеров, как наш Самак. Ему не важно, что в его роли мало слов или их совсем нет, ему важна сама роль. И пусть он иногда появляется на сцене всего на одну минуту, но зрители обязательно запомнят его надолго. Когда же потребуется, он может продублировать все роли Боталиева, Тюменбаева и даже самого Рыскулова! – Она посмотрела на часы, вздохнула: – Как быстро летит время, скоро надо будет запускать зрителей, а я так мало рассказала тебе. Пойдем я, познакомлю тебя с еще одним человеком, а потом уже приступлю к своим обязанностям. Вот, смотри и запоминай.

Это – царь царей, Актер актеров! Муке... Муратбек Рыскулов. Скажу тебе по секрету, дружок, таких талантов во всем Советском Союзе не наберется и с десяток... К сожалению, сегодня он не играет, а вот в следующей постановке «Курманбека», если придешь, ты его увидишь... Я тебе советую, дружок, смотреть все, что будет играть Муратбек Рыскулов, потому что такие таланты в любом народе появляются раз в сто, а то и в двести лет. И ты всегда будешь считать себя счастливым, что твое время пришлось на расцвет Муратбека Рыскулова, ты будешь рассказывать об этом своим детям, своим ученикам... Ох, – всплеснула она руками, – я побежала, пора, если проголодаешься, вон там буфет. А очень понравится театр, приходи в любое время, можешь и без билета. Спросишь у любого Дору Павловну, меня здесь все знают.

Уже прозвенел звонок, приглашающий зрителей в зал, а я все наблюдал за Дорой Павловной:

– Добро пожаловать, дорогие гости! – говорила она каждому новому зрителю, появлявшемуся в дверях. – Пожалуйста, проходите...

Я успешно сдал вступительные экзамены и стал студентом мединститута. Начались студенческие хлопоты, которые я нес вполне добросовестно. Однако, я понимаю, что речь о театре, поэтому продолжу свой рассказ о нем. Так вот, если Станиславский (а впоследствии мне пришлось в силу моей профессии изучать его бессмертную систему) утверждал, что театр начинается с вешалки, то я никогда не мог сказать точно, откуда для меня начинался театр. Иногда он начинается с площади возле кинотеатра «Ала-Тоо», иногда с бульвара Дзержинского, а иногда и вовсе с привокзальной площади. Потому что театр для меня начинался с Доры Павловны, с того места, где я встречал ее.

Жила она в районе железнодорожного вокзала, в театр ходила пешком. По всей вероятности из-за слабого здоровья летом и зимой носила валенки. Придя в театр за полтора-два часа до начала спектакля, она первым делом надевала всегда

аккуратно выглаженный зеленый халат с черным шалевым воротником из бархата, затем переобувшись в мягкие тапочки, хотя думаю, что снимать и надевать валенки для нее было мучительным. У зеркала поправляла прическу, потом неспешно припудривала свое морщинистое лицо, красно-фиолетовой помадой, слегка проводила по губам. Затем она по-хозяйски осматривала фойе, как мы осматриваем нашу квартиру после длительного отсутствия, занимала свой пост у парадной двери, желая приятного времяпровождения входящим. А после спектакля она все с той же доброжелательностью провожала милых ее театральному сердцу зрителей, всегда особенно выделяя тех, кому предстояла неблизкая вечерняя дорога...

Я всегда стремился встретить Дору Павловну пораньше, чтобы как можно больше услышать ее увлекательных рассказов о театральной жизни, открыть для себя как можно больше имен русских, итальянских, французских, английских и других актеров. Конечно, как я позже понял, это были отнюдь не профессиональные рассказы человека, разбиравшегося во всех тонкостях многосложного театрального ремесла. Но она настолько развила во мне тягу к искусству, что вскорости я считал преступным мое пребывание в стенах мединститута и освободил место человеку, возможно, столь же влюбленному в медицинскую науку... Не знаю, в силу каких обстоятельств она не стала актрисой. Не знаю, приобрело ли бы что-нибудь искусство, выйди она на сценические подмостки. Но я знаю, что мое поколение театральных зрителей воспитано Дорой Павловной. И это воспитание осталось в нас навсегда.

– Тебе не понравился спектакль? – спросила недовольная Букеш.

– Не знаю... Жаль только, что в данном случае оказался прав Станиславский.

– Ты о чем?

– О том, что жаль, что театр начинается с вешалки, лучше бы он начинался с привокзальной площади...

И словно в подтверждение моих слов, зрители, не дожидаясь закрытия занавеса, толпой бросились к гардеробу добывать свои пальто и плащи.

Нет, я далек от желания критиковать установившиеся порядки в наших театрах. Я даже рад, что увлеченные в тот раз спектаклем с шапками и сапогами, мы так и не вернули «долг» нашим ташкентским друзьям, поскольку месь, в какие бы одежды она не рядилась, все равно недостойна в отношениях между людьми. Просто недавно мы уже вдвоем с Букеш снова пошли в театр, на очередной репертуарный спектакль, и у нас снова не приняли ни сапоги Букеш, ни мою шапку. Я не понимаю, как можно приобщать к культуре посредством бескультурья, хотя бы оно и рядилось в очки с золотой оправой и безукоризненные манеры. С каждым годом я все больше убеждаюсь в том, что как после ухода из жизни Муратбека Рыскулова нет равных ему актеров, так после смерти Доры Павловны нет равной ей хозяйки фойе...

Жизнь коротка, искусство вечно. Есть люди, которым нет дела до искусства, и есть люди, до которых искусству нет дела. И долго еще будет сожалеть искусство по Доре Павловне, ибо оно понимает, что в чем-то начиналось и с нее, невысокой, русоволосой полноватой женщины...



МОИ СТАРИКИ

Наш аил называют Апыртаном. Что означает – не знает никто. Истинное значение непереводаемого на другие языки мира, в том числе и на киргизский, этого слова до нас не дошло и мы всем аилом пытаемся разгадать эту такую нелегкую задачу, оставленную нашими далекими предками. Когда я был студентом мединститута, то решил разгадать-таки ее, чтобы порадовать наших стариков. Рассуждал я примерно так. Слово «апыртан», возможно, раньше звучало как «апыртма» – то есть, в переводе – явное преувеличение, метафора. В принципе, это слово в какой-то мере отражает одну из сторон жизни моих аильчан, только ведь название всегда говорит о нечто большем, чем какая-то черточка характера, оно раскрывает сам характер, поэтому от слова «апыртма» пришлось отказаться. Следующим стало персидское слово «апутанг». Когда я наткнулся на него в одном из учебников, то даже руки потер от удовольствия. Около недели я представлял, как приеду на каникулы в Апыртан, как встречу почтенного дедушку Сейткадыра, как скажу ему. Вот таким представлялся разговор:

– Я нашел слово, от которого называется наш аил, – говорил я неспешно, давая возможность моему почтенному собеседнику проникнуться уважением к каждому произнесенному мною слову.

– Если это действительно так, то аильчане будут благодарны тебе, и детям твоим, и твоим внукам, – с достоинством, скрывая нетерпение, говорит дедушка Сейткадыр.

– Великий Шелковый путь недалеко от нас пролегал, так? – я больше утверждаю, чем спрашиваю.

– Так, – поглаживает бороду дедушка Сейткадыр.

– И вот однажды – может, непогода заставила, может разбойники вынудили – здесь остановился персидский караван. Люди увидели, что земля в этой местности щедрая, поставили юрты и остались жить. А свой аил называли Апутанг, то есть Земля плодородная. Со временем, пройдя через десятки тысяч языков, это персидское слово превратилось в киргизское «апыртан».

– Значит, Земля плодородная? – переспрашивает дедушка Сейткадыр.

– Не сомневайтесь, это доказано наукой! – не без гордости за свои знания отвечаю я.

– Спасибо, сынок! – Дедушка Сейткадыр обнимает меня. – Ты сделал большое дело и айльчане всегда будут помнить тебя. Спасибо. Надо сказать твоему отцу, чтобы собрал всех людей и я объявлю им твою разгадку. Спасибо, сынок.

Таким представлялся мне разговор с дедушкой Сейткадыром до того момента, пока я не подумал, что он может реагировать иначе. Например, он скажет: «А почему персидский караван, а не китайский или турецкий? И если караван спрятался здесь от непогоды или разбойников, то значит спрятался среди людей, которые издавна здесь жили и называли свой аил Апыртан...» На такие вопросы у меня не нашлось ответа и я отказался от персидского слова, но не отказался от своих попыток. Итак: ап – кушай, ыр – пой, тан – душа. В общем, ешь и пой, душа.

– Хорошо, это хорошо, – сдержанно похвалил меня дедушка Сейткадыр, когда я выложил ему свою разгадку. – Только, понимаешь, там должно быть еще слово – работа.

– Его нету, – ответил я.

– Есть, оно там обязательно есть, ты поищи, – закончил разговор дедушка Сейткадыр.

Так что пока еще никто не разрешил загадку названия нашего аила, однако это не мешает идти жизни в Апыртане своим чередом. Посередине нашего аила, извиваясь как змея, протекает крохотная речушка, по обеим берегам которой расположились потомки двух прославленных племен. Справа – племя «Белой дубинки», а слева – «Синей дубинки». А если серьезно, все мы, от мала до велика, жители ста семидесяти

дворов, приходим из одного большого рода, рода человеческого. Наш аил знаменит лихими, смелыми джигитами – наездниками, и моими стариками Сайранбаем и Абдыракманом. Во всей Ферганской долине не так просто найти человека, не знающего их.

Первый – весельчак огромного роста. С тех пор как я его помню, зимой и летом ходит с открытой грудью, не имея понятия о том, что пуговицы к вороту рубашки пришиваются для того, чтобы их застегивать. Руки его – как две добротные кузнечные кувалды, способные свалить разъяренного быка одним ударом, а плечи – словно две скалы, на макушке которых можно построить караульные башни. А говорит он довольно громко, почти кричит, даже с собеседником, который стоит рядом. Это потому, что дом его находится рядом с речкой. А когда он взбирается на своего гнедого иноходца, его и без того заметная фигура становится как бы еще могучей. И мне кажется, что передо мной не дядя Сайранбай, а отважный богатырь Алмамбет, ближайший сподвижник великого Манаса. Дядя Сайранбай – младший брат моего отца. Поэтому его старшего брата, моего отца, я описывать не буду, вы сами его легко представите.

Другой – с нескрываемым удовольствием носит роскошные усы, кончики которых причудливо закручены где-то возле ушей. Эти пышные усы никак не идут к его детскому лицу и крохотному росту. Человек он до удивления уравновешенный. Тысячу раз взвесит, прежде чем произнесет какое-либо слово. И говорит, не в пример Сайранбаю, сдержанно, негромко. Его дом – самый дальний от речки. Ходит всегда бесшумно, словно крадется. Может, из-за этой самой его походки дядя Сайранбай и прозвал его ворюгой, хотя на самом деле зовут его Абдыракманом, и он за всю жизнь не взял щепотки соли и мухи не обидел. Дядя Абдыракман – старший брат моей мамы.

Так что вам легко представить моих родителей, да и меня тоже, потому что я получился средним между отцом и мамой, но разговор, конечно, не об этом. Судьбе было угодно, что дядя Абдыракман и дядя Сайранбай родились в нашем аиле в один год, в один месяц, и даже в один день. Хотя один – из «Белой дубинки», а другой – из «Синей», но повзрослев, они стали

неразлучными друзьями. Дядя Сайранбай не всегда согласен с тем, что в один час с ним появился и дядя Абдыракман. Особенно это его волнует в гостях, где кумыс и мясо подаются по старшинству. В таких случаях дядя Сайранбай обязательно поучает того, кто распределяет мясо:

– Послушай, дорогой, если ты решил угощать по старинному доброму обычаю, то позвонок подай Абдыракману, а мне ляжку. И впредь знай, что длинные дикорастущие усы еще не признак старшинства. Моему козлу нет еще и трех лет, а его борода по земле болтается, – продолжает Сайранбай. – Я уже был сообразительным мальчишкой, когда этот Абдыракман-ворюга только лишь собирался появиться на свет. Потому скажу тебе, дорогой, что истинный возраст почтенного человека нужно искать не в усах, не в бороде, а в его мудрой, благородной лысине. Она – вот...

Тут в разговор срочно встречается дядя Абдыракман, не давая другу снять белоснежный калпак.

– Не надо, ради бога, не надо, – умоляюще произносит он, – не порти людям аппетит, обнажая свою плешивую голову. Дорогой, дай этому обжоре ляжку, он действительно немного старше меня. Если я не ошибаюсь, то он ровесник ослу дедушки Жалмана.

Присутствующие не выдерживают и начинают хохотать, а дядя Сайранбай и дядя Абдыракман продолжают насмехаться друг над другом. Но когда собирается Совет по поводу оказания материальной помощи какому-нибудь родственнику, который выдает замуж седьмую дочь или женит единственного сына, дядя Сайранбай начинает говорить совершенно по-иному.

– Люди добрые, пусть сначала глаголют уста моего друга, уважаемого Абдыракмана. Как-никак, он на целых три часа тридцать минут и три секунды старше меня. Имею ли я право сказать что-то, когда рядом сидит почтенный человек старше меня? О нет, тысячу раз нет! Мое благочестивое воспитание не позволяет мне даже зевнуть раньше дорогого Абдыракмана. Только после него... Пусть он скажет, затем и я попытаюсь вставить словечко.

С тех пор, как я их знаю, при посторонних они обращаются друг с другом довольно сухо и официально, – «Уважаемый

Абдыракман-мулла», «Дорогой Сайранбай-батыр». А когда они находятся в кругу своих, то и следа не остается от прежней вежливости. Обычная их встреча начинается приблизительно так:

– Ва-а, кого я вижу! – кричит громовым голосом Сайранбай, – жив ли ты еще, уважаемый Абдыракман?

– Как видишь, жив, дорогой батыр! – отвечает в тон другу дядя Абдыракман.

– Какая досада, какая досада... – продолжает греметь дядя Сайранбай, – лучше бы наоборот... Ну ничего, это еще поправимо. Ты не находишь, уважаемый Абдыракман, что-то душная погода стоит сегодня...

– Разве? – и вправду удивляется дядя Абдыракман. – Мне кажется, погода отличная. Нормальный, прохладный день... Ах, да! Извини, дорогой, я совсем упустил из виду, что для твоей головы, лишенной всякого покрова, конечно, жарковато... Ты прав...

– Если честно признаться, я думал больше о тебе, нежели о себе, – продолжает и дядя Сайранбай. – Не ровен час в такую погоду в дебрях твоих лохматых усов заведется какая-нибудь нечисть.

Дальше разговор продолжается в том же духе. Ни дядя Абдыракман, ни дядя Сайранбай за словом в карман не лезут. Впрочем, надо справедливости ради признаться, что по части всяких там перепалок нет человека во всем Апыртане, который бы мог опередить дядю Сайранбая. Иногда не выдерживает даже его лучший друг дядя Абдыракман.

– Послушай, или ты замолчишь, или я тебе перережу глотку!

И в самом деле, усы дяди Абдыракмана начинают топорщиться, резко выхватив крохотный нож, годный разве что подтачивать карандаши, он начинает медленно наступать на друга. И смешно было смотреть, как громадный дядя Сайранбай с визгом и криком бежит впереди крохотного дяди Абдыракмана.

– Опомнись, уважаемый, друг милый! – умоляет дядя Сайранбай, оглядываясь. – Ножом нельзя шутить... Убьешь меня – в тюрьму сядешь!

– Наоборот, люди мне огромный памятник поставят за то, что я их избавил от такого негодника! Ну-ка, подожди, все равно не уйдешь. Лучше молись богу!

– Слушай, дорогой Абдыракман, если ты настоящий мужчина, брось нож, давай померяемся силами...

– Хорошо. Только сначала я все-таки перережу тебе глотку.

С криком, шумом дядя Сайранбай бежит из одного двора в другой. А дядя Абдыракман не прекращает преследование. Тогда дядя Сайранбай орет что есть мочи:

– О, люди! Омуралы, Жоробек, Ормон, Жали, Мамажан! О, потомки «Белой дубины»! Где ваша гордость? Абдыракман – головорез из «Синей дубинки» собирается меня убить, а вы сидите и спокойно пьете чай. Где ваша совесть! О, на помощь! Он уже догоняет меня...

Если в это время какой-нибудь посторонний, не знающий их проделок, окажется рядом и попробует их утихомирить, ему не сдобровать...

– Я перережу тебе горло!

– А я размозжу твою поганую башку!

– Вот тебе!

– Ах так! На и тебе!

Дядя Сайранбай и дядя Абдыракман начинают колотить друг друга кулаками. Но удары почему-то достаются лишь разнимающему.

– Успокойтесь, пожалуйста, вы же не маленькие дети! – пытается последний умерить противников.

– Хорошо, дорогой, ради уважения к тебе я успокоюсь, только один раз пырну его в живот... – совершенно серьезно заявляет дядя Абдыракман, – его тоже успокою.

– А я скорее успокою тебя... – не менее серьезно отвечает дядя Сайранбай и замахивается на дядю Абдыракмана. Но совершенно случайно попадает в разнимающего. И тот падает, как подкошенный.

– Эй вы! Что вы делаете, безобразники! А ну-ка, быстро поднимите человека и окажите ему помощь.

Вмиг весь шум и гам стихает. Дядя Сайранбай и дядя Абдыракман поспешно поднимают пострадавшего, приводят его в чувство. Потому что это крикнул дедушка Сейткадыр,

почтенный аксакал Апыртана, глава обоих родов, и послушаться его ни дядя Сайранбай, ни дядя Абдыракман не могут.

Однажды на общем собрании колхозников выбрали дядю Сайранбая бригадиром хлеборобов, а дядю Абдыракмана – бригадиром овощеводов. Все зерновые угодья располагаются ближе к белоснежным горам, а бахчевые поля гораздо ниже, у берегов «Эски-Массы». В разгар весенних и летних работ дядя Сайранбай и дядя Абдыракман находились друг от друга далеко. Виделись они только тогда, когда навевывались в колхозную контору по делам. В тот год и зерновые и овощные культуры дали богатый урожай. И когда только начали поспевать самые ранние сорта дынь, которые называются анделеками, дядя Абдыракман собрал всю бригаду и заявил:

– Не сегодня-завтра начнем уборку анделеков. Но прежде, чем приступим к этому важному делу, я хочу, чтобы самые первые анделеки попробовал мой лучший друг Сайранбай-батыр.

Бригада не возражала, и дядя Абдыракман, погрузив на своего коня полный курджун скороспелых дынь, поехал к другу. Когда он приехал, бригада дяди Сайранбая отдыхала после обеда. Сам бригадир, утомленный ночной работой, крепко спал на ворохе сена. Разгрузив курджун, дядя Абдыракман попросил, чтобы люди не беспокоили своего бригадира. А сам где-то возле тока отыскал бутылку креолина, подошел к спавшему другу, снял колпак, намазал его лысую голову и потихоньку уехал к себе. Это в каждом селе знают, что такое креолин. А для горожан скажу, что это мазь такая для животных, чтобы выводить разных там насекомых. Очень вонючая мазь. Дядя Сайранбай проснулся от хохота своей бригады. Он не стал спрашивать о причине смеха, а лишь только промолвил:

– Ваш смех говорит о том, что здесь побывал мой лучший друг, почтенный Абдыракман.

А осенью, когда был собран урожай, все родственники как-то собрались у нас. Конечно, здесь присутствовали и дядя Сайранбай, и дядя Абдыракман.

– Из-за этого воруяги целый месяц я не мог ходить рядом с людьми, – рассказывал дядя Сайранбай собравшимся о том случае. Жена домой не пускала, родной брат выгнал с собрания правления колхоза. Мыл я голову и мылом, и айраном, пробовал даже скребсти ножом, но ничего не помогло. Запах креолина сопровождал меня повсюду. Да что люди, мой гнедой и то не допускал меня близко, – со вздохом добавил дядя Сайранбай и тут же расхохотался своим громовым смехом. Смеялись все сидящие за дасторхоном. Смеялся, наслаждаясь своей победой над другом, и дядя Абдыракман. В это время кто-то закурил, дядя Сайранбай попросил у него спичку, и он, приняв его за курящего, подал ему всю коробку. Дядя Сайранбай взял спички и на какой-то миг замешкался... Дядя Абдыракман с удовольствием подытожил рассказ друга:

– И вот с тех пор он не смеет стоять рядом даже со мной.

В это время дядя Сайранбай зажег спичку и быстро поднес ее к закрученному концу усов дяди Абдыракмана. Кто-то вскрикнул, а дядя Абдыракман даже не успел сообразить в чем дело, когда дядя Сайранбай сам же снял свой колпак и накрыл горящие усы друга. За каких-нибудь несколько секунд не стало правой половины усов дяди Абдыракмана. Дом наполнился запахом жженных волос.

– Что за дурацкие шутки! – возмутился дедушка Сейткадыр. – Вроде бы серьезные люди. Но ведете себя, как глупые дети. Не доведут ваши шуточки до добра, когда-нибудь они сделают вас врагами.

Но дядя Абдыракман не произнес в адрес друга ни одного обидного слова, смеясь сквозь слезы, он сказал:

– Молодец, дорогой батыр. На этот раз твоя взяла. Но теперь держись!

Дедушка Сейткадыр не был пророком. Отношения дяди Сайранбая и дяди Абдыракмана остались такими же дружескими, как и были. Лишь только к многочисленным

прозвищам дяди Абдыракмана прибавилось еще одно – Абдыракман хромоусый.

Некоторое время ни дядя Сайранбай, ни дядя Абдыракман не подшучивали друг над другом. И наши айльчане удивлялись этому необычному затишью. Но вот однажды дедушка Сейткадыр, спускаясь с гор в аил, встретил скачущего навстречу дядю Абдыракмана:

– Ты ли это, уважаемый Абдыракман? Куда так спешишь, даже загнал коня своего!

– Да, это я, дядя Сейткадыр! – грустно сказал дядя Абдыракман, подъезжая к нему, – плохи дела...

– Да что ты говоришь, на тебе лица нет. В аиле что случилось?

– Несчастье у нас, дядя Сейткадыр...

– Какое?

– Язык не поворачивается прямо вот так сообщить вам, – продолжал, чуть не плача, дядя Абдыракман.

– Раз начал, так говори, – приказал дедушка Сейткадыр.

– Батыр, батыр... Торопился куда-то, конь споткнулся, и он ударился головой о камень... Мы сразу же повезли его в больницу, но там сказали, что слишком поздно. Пришлось вернуться домой. Не успели переступить порог, он аллаху душу отдал. Вот я еду известить родственников и знакомых, – сказал дядя Абдыракман и горько заплакал.

– Послушай, Абдыракман, может быть, это твоя очередная шутка? – подозрительно спросил дядя Сейткадыр.

– Да за кого вы меня принимаете, – искренне обиделся дядя Абдыракман, – да разве шутят такими вещами, – добавил он и зарыдал еще пуще.

Дедушка Сейткадыр так заплакал, что, показалось, даже горы вздрогнули, а дядя Абдыракман поспешно скрылся в кустах фисташки.

– О, аллах! Если ты действительно есть, то почему ты такой несправедливый? Почему ты оставил меня, прожившего очень длинную жизнь, а взял совсем еще ребенка. Надо по

справедливости. По возрасту... Зачем ты позоришь мою седую бороду.

С такими причитаниями дедушка Сейткадыр поскакал в сторону айла. По пути к нему присоединились еще несколько всадников. Всем, кто спрашивал, что случилось, он отвечал:

– О, великое горе постигло меня. Я лишился моего жеребенка Сайранбая. О, всевышний, зачем позоришь мою седую бороду, оставив меня в живых. Лучше бы ты меня забрал. О, глупый и ненасытный...

По киргизскому обычаю все всадники с громким плачем подъехали к дому Сайранбая. На их крик собрался весь аил... А дедушка Сейткадыр все пуще причитал:

– О, горе мне! О, люди добрые, я лишился крыльев своих.

Плакали все, кто-то зная, а кто-то не имея понятия, по кому плач. Откуда-то прискакал и сам дядя Сайранбай, присоединился к группе всадников и сам тоже начал что-то причитать. Затем, подъехав к Сейткадыру, спросил:

– Брат, а каких вы лишились крыльев?

Дедушка Сейткадыр смолк, раскрыл глаза, недоуменно посмотрел на своего младшего брата и с ужасом спросил:

– Что? Ты живой?

– Конечно, а в чем собственно дело? – удивился дядя Сайранбай. Все замолкли...

– Ааа... Ха-Ха-Ха, – разразился смехом дядя Сайранбай. – Так это вы по мне устроили такой плач? Ничего... Солидно... О, как ловко обманул вас дружище Абдыракман...

Дедушка Сейткадыр, не выдержав, несколько раз стегнул дядю Сайранбая камчой, тот спрыгнул с коня и скрылся в толпе.

– Ах, вы, паршивцы, ах, вы, щенки. Я вам покажу, как шутить над старым человеком. Да я лучше сам убью вас обоих, потом буду по-настоящему плакать. Где этот Абдыракман? Я ему шею сверну!

Дедушка Сейткадыр злился все больше и больше. Теперь его никто бы не успокоил, кроме моего отца. Тот подъехал к дедушке Сейткадыру, взял за руки и сдержанно произнес:

– Успокойся, брат! Ну, неудачно пошутил. Я их вызову и обоим объявлю по выговору.

– Нет, дорогой Каары, им мало выговора, – не успокаивался дедушка Сейткадыр. – Я обращаюсь к тебе, как к председателю колхоза... Выселить их надо обоих из аила. Какой пример они показывают детям. Нет, я не успокоюсь, пока ты не выгонишь их из нашего аила.

– Ну, хорошо, сначала пойдемте ко мне, вместе пообедаем, – сказал мой отец, – затем решим их судьбу... Когда выселить и куда выселять.

В тот день старейшие аксакалы до глубокой ночи сидели у нас и после долгих споров решили: наказать Сайранбая и Абдыракмана надо, но пока из аила не выселять. Я был бесконечно рад такому решению мудрейших людей. Ведь без дяди Сайранбая и Абдыракмана наш Апыртан не был бы настоящим Апыртаном.

Через год, еще не дожив до 45 лет, неожиданно закончил свой земной путь мой отец. Дедушка Сейткадыр больше всех переживал эту утрату. Он заметно сдал и превратился в ворчливого старика. Все время повторял:

– Нет, оказывается, ты не справедливый, аллах! Сначала я должен был умереть, а потом младшие. И в самом деле, он долго не прожил, через полгода после моего отца мы похоронили и дедушку Сейткадыра. С годами редели ряды лучших сынов Апыртана. Но жизнь не оборвалась. Она шла своим чередом. Щедро одаривая веселой шуткой всех айльчан Апыртана, до сих пор живы дядя Абдырахман и дядя Сайранбай.

Они остались в моей памяти такими же, какими я всегда видел их в пору своего детства. Сегодня я могу сказать, что самые счастливые годы – это годы детства. Долго, очень долго плавал по волнам жизни, иногда ошутимо ударяясь то об один, то о другой берег. Затем нашел свой причал, пустил корни и незаметно для себя превратился в очкастого обыкновенного горожанина. Привязался к службе, квартире, семье. И хотя сердце изнывает от тоски по Апыртану, бываю там редко. Но зато в позапрошлом году ко мне в гости приехал дядя Сайранбай.

– Дорогой мой, мой единственный. В Апыртан не возвращаешься. Пока жив, решил сам тебя навестить и собственными глазами посмотреть, как ты тут без нас. Вот и приехал...

– Очень правильно сделали. Как вы сами там в Апыртане?

– Слава аллаху, ничего. По-стариковски доживаем дни свои...

– А дядя Абдыракман как чувствует себя?

Дядя Сайранбай хитро улыбнулся, а затем сказал:

– Живой твой дядя. Зачем ему умирать. Аллаху совершенно не нужны лоботрясы и ворюги...

На следующий день решил я показать дяде город. Подходим к остановке, где стояло десятка три людей, ожидавших троллейбусы и автобусы.

– Ассалом алейкум! – громко приветствовал дядя всех стоящих и принялся здороваться за руки с каждым.

Некоторые удивлялись, многие улыбались, но ни один человек не отказался от рукопожатия с моим стариком. Я потихоньку дернул его за руку:

– Дядя, поехали, наш троллейбус.

Он бесцеремонно отстранил мою руку.

– погоди, вот поздороваюсь с людьми, тогда и поедем.

Пока дядя Сайранбай здоровался со всеми, проехали еще два троллейбуса. Когда он закончил здороваться, я тихонько проговорил:

– Дядя, в городе не принято здороваться с незнакомыми людьми.

– Это очень плохо! – резко оборвал он меня. – А у нас принято. Большой грех пройти, не поздоровавшись с человеком.

И тут же, совершенно позабыв обо мне, в троллейбусе начал своим громовым голосом «допрашивать» старика-горожанина, который смотрел на него с большим удивлением.

– Ты откуда, дружок? Я приехал с Юга, слышал когда-нибудь о Юге? Из какого ты рода? Я из рода «Белая Дубинка». Сколько у тебя детей? У меня их, слава аллаху, восемь... Приехал я сюда к племяннику. Раньше я думал, Фрунзе находится где-то на краю света, а оказывается, всего за 15

рублей и за один час можно добраться сюда. Если бы раньше знал, то приехал бы давно. Теперь каждый месяц буду приезжать.

Но больше, дядя Сайранбай в гости не приезжал. А недавно я получил телеграмму: «Вылетай немедленно. Сайранбай в тяжелом состоянии».

Вылетел на юг... Всеми правдами и неправдами добрался до райцентра, где ожидали меня родственники.

– Слава аллаху, ему стало лучше, – сообщили они. – Мы боялись, что ты не застанешь его. Он не узнавал даже свою старуху. Теперь все уже позади.

Все мы отправились в больницу. У входа мои глаза встретились с тусклым взглядом маленького старичка с седыми длинными усами, свисающими вниз, на морщинистом лице. На нем был белый халат, в руках он держал авоську с бутылками из под кефира. Это был дядя Абдыракман. Мы узнали друг друга. Вдруг, неожиданно для меня и для окружающих, он громко заплакал.

– Дядя, что с вами? Что-то случилось с дядей Сайранбаем?

– Ничего, сынок, ничего. Уже все позади. Чуть было я не потерял друга. Я так молил аллаха, чтобы он не забрал от меня моего батыра, – говорил он навзрыд. – Конечно, все мы смертные, но лучше пусть мой батыр похоронит меня собственными руками.

– Успокойтесь, ата. В возрасте вы уже. Нельзя вам так расстраиваться, – сказал молодой врач, вышедший на крыльцо. Затем обратился ко мне:

– У вашего дяди очень высокое давление. Нам удалось его сбить. Теперь ему лучше. Можете зайти к нему. А тому папаше скажите, пусть идет домой, отдохнет, отоспится. А то он целую неделю днем и ночью сидел возле своего друга. В его возрасте такая нагрузка небезопасна.

... Время неумолимо... Я уже не такой, каким был раньше. Постарели и мои старики. В последнее время часто думаю о них. Иногда хочется махнуть на все рукой и уехать к ним. Но сделать это не так просто...

С волнением жду от них весточки, если услышу от кого-нибудь что где-то, так-то Абдыракман объегорил Сайранбая – на душе становится легче, – значит, живы мои старики! Сейчас они оба на заслуженном отдыхе. Почтенные аксакалы. Много сил они отдали колхозному строительству. И хотя не стали героями труда или известными мастерами острого слова, но работали, не покладая рук, честно и добросовестно. Постоянной спутницей их жизни была веселая шутка. Они всегда старались посеять семена честности и трудолюбия. Главным для них в жизни была святая верность дружбе. И я горжусь, что в моем Апыртане живут такие простые и добрые люди, как дядя Сайранбай и дядя Абдыракман. И от мысли, что когда-то их не станет, я прихожу в ужас. Без них мой Апыртан осиротеет. Как и Кушбай, когда ушел светлой памяти дедушка Сейткадыр. Впрочем, нет, не осиротел. Ушедшие старики остались не только в памяти, но и в характерах тех, кто представляет сегодняшнее лицо моего Апыртана – в Маматкадыре, Мамытбеке, Торокане, Абдыманале, Омурзаке, Турдумамате, Кубанычбеке, Кенеше, Токтомурате. Ну и, конечно, в Сайранбае и Абдыракмане. И поэтому я уверен, что память о моих стариках всегда будет жить в людских сердцах.

Но... И все-таки иногда хочется еще при жизни поставить моим старикам памятник необыкновенных размеров, чтобы виден он был из любого уголка айла. Или высечь золотыми буквами их имена на большой скале, что высится за Апыртаном.

Бывает, что беру самый скоростной лайнер, сажусь в кабину, рядом усаживаю стариков. И мы отправляемся в кругосветное путешествие по местам великих, веселых и простых людей планеты, таких же, как они.

Но мечты мечтами...

А реальные возможности, оказывается, не всегда совпадают с желаниями. Я мысленно перебираю четки лет, до ломоты обжигаю губы в пронзительно чистом роднике памяти. Благодарность за то, что старики именно такие, окрыляет меня. Я поднимаю голову к солнцу, я хочу выразить миру песней переполняющий меня восторг, но странная немота обручем сковывает гортань, и тогда я понимаю, что лучший памятник моим старикам – это негромкое слово признательности, которое должно быть похоже на теплый дождь, напоивший летнюю землю.

Благословите мою память, старики.

МАСКАРАПОЗ

Все мы, азиаты, едва услышим слово «маскарапоз», легко представляем, о чем идет речь. Будь то киргиз или узбек, таджик или туркмен, татарин или русский. Для понимания этого слова нужно только одно условие – быть аборигеном Ферганской долины.

В принципе, маскарапоз – это никогда не унывающий человек, который в сознании простых людей сохраняется эдаким размалеванным, несуразным шутком. То есть, человеком, который неожиданным каскадом остроумных шуток заполняет паузы между выступлениями столь распространенных в нашей долине дарбазов – канатоходцев. В принципе, маскарапоз – это вроде клоуна в цирке, пересмешника у скоморохов, шута при короле... Но в настоящем маскарапозе ценится нечто большее, нежели копирование, пусть и шуточное, пародийное чужих поступков. Для настоящего маскарапоза это было бы слишком простым занятием, хотя, повторю банальную истину – в жизни всегда все очень просто.

Впервые я прикоснулся к слову маскарапоз, когда мне было лет 12 или 13. Тогда мы всей родней почти целый месяц готовились к поездке в Андижан, чтобы увидеть маскарапоза. Дело в том, что отец в свое время поклялся, что после того, как я миную мучол – свой первый двенадцатилетний цикл жизни, равный одному кругу Зодиака, о которых отец не имел, по моему, ни малейшего представления, так вот, после этого он обязательно познакомит меня с единственным сыном Иминжана-кызыка, которого вся Ферганская долина знала под именем Маскарапоз.

Это знакомство отец решил обставить по старым традициям и обычаям наших предков, потому-то собирались мы почти

месяц, хотя сама дорога в Андижан отнимала в 30 раз меньше времени...

Для начала отец велел привезти с летовки самый главный подарок – черного курдючного барана величиной с приличного теленка. Потом приказал мне до самого отъезда откармливать его в небольшой овчарне, расположенной в конце двора. При этом непременным условием было содержать барана в абсолютно темноте – не знаю уж почему, но только так готовили барана для самого почетного гостя. Во всяком случае до сих пор мне еще не доводилось попробовать именно такого бараньего мяса, поэтому я не могу сравнивать его с другим...

Я старался как можно лучше исполнить наказ отца, поэтому уже через две недели баран без посторонней помощи не мог подняться на ноги. Полно забот было и у мамы, потому что ей предстояло приготовить несколько десятков узелков с разнообразными и знатными подарками для отцовского приятеля. Правда, одно старание мамы ушло впустую. Она, собрав всех старух нашего айла Апыртан, три дня и три ночи обрабатывала овечьи шкуры, чтобы изготовить полушубок для моего будущего друга – Камильжана, сына Маскарапоза. Отец, увидев готовое изделие, вздохнул:

– Разве будет современная молодежь носить такой чапан... – сказал он задумчиво. – Нет, уж лучше ты вместо чапана приготовь для него пачку красненьких. В городе навалом всяких там ларьков, пусть он сам выберет, что ему приглянется.

Мама не стала возражать, хотя немалый труд был вложен в тот полушубок. Мама вообще никогда не возражала отцу, позволяя ему произнести последнее слово и в семейных спорах, и на советах родни. В общем, хлопот с приготовлениями хватило на всех. И даже в тот вечер, когда мы должны были выезжать, сборы все еще продолжались почти до полуночи.

– Пора! – сказал дедушка Сейткадыр. – Уже воскресенье.

И все восемнадцать мужчин уселись по двое на девять коней, к седлам которых уже были приторочены переметные сумки, набитые курутом, вареным мясом, сыром, свежее испеченными баурсаками. А Жусуп-чолок, то есть хромой Жусуп, взял на себя бразды правления пароконной бричкой, в которую устроились мама с сестрами и десяток

женщин. В самый конец брички уложили откормленного мною барана, который уже не в состоянии был самостоятельно передвигаться. Да и не к чему это ему было, ибо его предназначение состояло совсем в другом, нежели ходить по земле.

Я сел на нашего Гульсары позади отца. Вообще, поездки на коне вместе с отцом всегда были для меня верхом желаний с самого раннего детства, если, конечно, в 12 лет можно говорить о детстве в прошедшем времени. Отец накрывал меня сверху полами своего просторного тулупа, концы которого подсовывал под себя, так что я не смог бы свалиться, даже когда засыпал. Но это было очень редко. Отец иногда трогал меня рукой, спрашивая, не заснул ли я, а я и без того изо всех сил боролся с дремотой, потому что в пути взрослые ведут бесконечные разговоры, которые всегда интересно слушать. Конечно, запоминалось не все, но то, что запоминалось, оставалось навсегда. Да, остается то, что запоминается.

– Хоть ты и молод, но весь наш род Ожураев считает тебя опорой нашего племени, – говорил дедушка Сейткадыр, недовольный поступком своего брата, самого младшего в семье. – Водись с судьями, и никто тебя за это не осудит. Дружи себе на здоровье с такими же, как ты, председателями колхозов, пусть даже из других районов, – мы будем гордиться тобой. Можешь даже подружиться с милиционером – вскладчину или еще как-нибудь, но мы возьмем на себя все расходы, связанные с такой дружбой. А ты что делаешь? Столько родственников заставил трудиться лишь только ради того, чтобы познакомить своего сына с сыном пересмешника чужих мыслей, слов и поступков. Не дай бог, прослышат об этом языкастые люди из родов Шагым и Сотоке, завтра же так на смех нас поднимут, что мы света белого не взвидим...

Отец не обижался на поучения своего старшего брата, наоборот, чтобы поднять настроение своих спутников, он стремился его нравоучения обратить в шутку.

– Ну, если языкастые из этих родов ищут только случая похотеть по поводу моих взаимоотношений с кем-то, тогда их надо срочно предупредить, чтобы они не сунулись ненароком в Андижан. Не дай бог, попадут туда, где дар

установлен и где будет выступать Иминжан-кызык. И сами помрут со смеха, и других уморят...

Тут я, конечно, должен прежде всего рассказать, что такое дар у нас в Ферганской долине. Это три столба. Один из них вкапывается вертикально, на его вершине поперек прикрепляется основа для двух трапеций. Два других столба вкапываются метрах в 25 – 30 скрещенно друг с другом. Между этими тремя столбами натягивается канат, на котором и демонстрируют свое мастерство канатоходцы – и смелые джигиты, и юноши с едва пробившимися усиками...

Такой вот у нас дар. Объяснение вынужденное, сами понимаете, потому что объяснить слово дар очень трудно еще из-за того, что оно не обходится без маскарапоза.

... Дедушка Сейткадыр не очень-то был настроен на шуточный тон, он продолжал свои нравоучения:

– Да брось ты называть этого маскарапоза простым человеческим именем. Маскарапоз – он и есть маскарапоз.

– И то правда, – неожиданно согласился отец и после некоторого раздумья продолжил: – Иминжана-кызыка давно пора назвать каким-нибудь святым именем, поскольку то, что сделал в своей жизни он, вряд ли под силу простому человеку. Вспомните хотя бы, когда Баракан, Торокан, Аттокур и я случайно оказались пленниками Кочера-курбаши... Весь наш род Ожураев, даже объединись он вместе с родами Шагым и Сотоке, не смог бы вызволить нас из рук вооруженной до зубов банды в пятьсот человек. Да и на наше счастье пленником оказался и Иминжан-кызык. Он там такие шутки откалывал, что все пятьсот бандитов попадали с хохоту и не заметили, как маскарапоз развязал нас, выбрал нам лучших коней, а сам сел на коня курбаши. Когда те перестали держаться за животы, было уже поздно...

– Вот это да! – не скрыл своего восхищения один из всадников, ехавших рядом с отцом. – У этого маскарапоза львиное сердце, если он на такие поступки способен.

– Какое там у него сердце, я не знаю, – вступил в разговор еще кто-то из всадников, – а вот то, что у него денег куры не клюют, это доподлинно известно всем. Сколько бы раз я не был на даре с его участием, он всегда мешками сгрэбал деньги.

– И ты думаешь, что все это остается у него?

– А у кого же еще?

– Да чуть ли не все до копейки пинагенты собирают как налог, оставляя на пропитание едва ли не меньше, чем рядовому колхознику. (Моим айльчанам тоже нелегко было в ту пору, как и мне сейчас, объяснять некоторые слова, поэтому они финансового агента просто переделали в пинагента...)

– Вообще-то все правильно, – подхватил разговор третий, – если налог не собирать, то как же государственная казна пополняться деньгами будет?

– А я-то думал, что все деньги, которые они собирают на даре, им и остаются. Да и по его виду не скажешь, что заработок у него скромный. Как ни встретишь, он смотрится так, словно деньгами всей Ферганской долины владеет.

– Тем он и велик, наш маскарапоз, что и без гроша в кармане выглядит властелином. Да он и есть властелин, властелин своей души и своих мыслей. Для него главное – личная свобода. Хотя быть маскарапозом порой нелегко, ведь его и обидеть может чуть ли не каждый, и оскорбить, и наказать. А к моему другу-маскарапозу и судьба, казалось, показала свою задницу...

Вообще-то всякое упоминание чего-либо все-таки имеет определенный интерес. Во всяком случае, когда мой отец сказал товарищам, что судьба повернулась к маскарапозу задницей, это сообщение заинтересовало абсолютно всех.

– Какое у маскарапоза может быть горе! – чуть ли не хором воскликнули мужчины.

– Самое простое, человеческое, – задумчиво произнес отец, которое может ожидать любого из живущих на земле, будь то раб или царь. Его жена умерла, когда родила их первого ребенка, умерла во время родов. Было это тринадцать лет назад, когда Иминжан остался с пятикилограммовым куском живого мяса на руках. За все это время он ни разу даже не подумал согреть свою постель новой женой. А каково выходить ребенка, даже когда женщина рядом, вы и сами не хуже моего знаете. Иминжан один сумел сделать из него человека...

– Да еще какого! Он теперь признанный канатоходец. У него еще и намек на усы нет, а по всей округе идет слава о

Камильжане, дарбазе-канатоходце – сыне Иминжана-кызыка. Какой же его слава будет, когда ему исполнится двадцать пять!

Занятые подобными разговорами (я привел один лишь, потому что он связан с маскарапозом, а так-то их разговоров не на один рассказ может хватить), лишь к утру мы добрались до славного города Андижана. После разговоров отца я просто измучился от любопытства, пытаюсь представить мою первую встречу с будущим другом, слава о котором уже звучит по всей округе. Однако ничего путного из моих представлений не выходило.

Взошло солнце. Еще некоторое время поплутав по узким и кривым улочкам, мы оказались у небольшого двора, обнесенного небольшим глиняным дувалом. Отец кивнул, давая всем понять, что мы достигли именно того места, к которому стремились добрую половину ночи. Те, кто был на конях, спешили. Женщины слезли с телеги. Вместе с отцом и дедушкой Сейткадыром я вошел во двор одним из первых через невысокую калитку – она была настолько низкой, что кроме меня всем пришлось нагибаться. Увидев, а может быть и услышав толпу людей, не очень-то утруждавших себя не шуметь во время разговора, из небольшого аккуратного домика навстречу к нам вышел ростом едва ли выше меня старик с редкими седыми усами и бородкой, с традиционной узбекской тюбетейкой на голове.

– Ассалом алейкум! – приветствовал мой отец старика издали, едва тот вышел из дома.

Хозяин что-то пробормотал в ответ, и хотя можно было догадаться, что он отвечает на приветствие, но слова его были невразумительными, а тон довольно холодным, лишь бы только не выйти за рамки приличий. Не без злорадства блеснули глаза дедушки Сейткадыра, как бы говорившие отцу: «Предупреждал я тебя, что все эти городские друзья и приятели только тогда приветливы, когда им что-то нужно от тебя. А если что-то понадобится тебе, то недолго и пинка под зад получить...» Как-то стремясь сгладить неловкое положение, отец еще раз, теперь громче и с улыбкой повторил:

– Ассалом алейкум!

На этот раз хозяин даже не удостоил его ответом, уставился на него усталым и грустным взглядом, спросил:

– Ты ли это, Каары?

– А кто же еще! – отец все еще не мог понять происходящего и продолжал шутить: – Неужели знаменитый Иминжан-кызык настолько одряхлел, что уже не узнает своих старых друзей?

Тонкие губы старика неожиданно задрожали и глаза наполнились слезами.

– Не взыщи, Каары, – тихо произнес он дрожащим голосом, – я ведь умер...

Мой отец, как я уже не раз подчеркивал, любил и шутку, и острое слово. Но услышав от Иминжана весть о его смерти, он, преодолев короткое замешательство, произнес:

– Ну да, вы умерли, а с нами сейчас разговаривает ваш дух. И вообще, давайте договоримся, Иминжан-аке, поставить границу между серьезным разговором и шуткой...

– Не до шуток мне, дорогой Каары, – все чаще всхлипывая, прошептал старик. – Я и в самом деле умер, я умер неделю назад. Вращаясь на трапедии, мой сын...

– Что? – разом выдохнули мои односельчане.

– Да, да... Трапедия оборвалась, когда мой Камильжан вращался на ней без страховочной веревки... Это я сам во всем виноват! – неожиданно вскрикнул старик, ударяя себя кулаками по голове. – Зачем только я приобщил моего единственного сына к искусству канатоходца! И теперь я остался один, совершенно один, у меня теперь нет моего единственного, моего несравненного Камильжана!...

Причитая, Иминжан опустил на колени, словно что-то оборвалось у него внутри, заплакал, уже никого не стесняясь, размазывая по щекам слезы. Я увидел, как почернело лицо моего отца. Он не стал уговаривать и успокаивать старика. Он повернулся к своим спутникам и произнес:

– Жусуп-ака, вы оставайтесь здесь, а все остальные быстро по коням и за мной!

Команда отца была выполнена без промедления. Все вновь вскочили по двое на своих коней, в том числе и я, поехали старой дорогой прочь от дома маскарары. Отъехав добрую

пару километров, отец остановил своего коня и сказал спутникам:

– Надо устроить причитания по мальчику согласно нашему киргизскому обычаю.

И с места так пустил коня вскачь, что едва не очутился на земле. Ошарашивая горожан, которые не знали киргизского обычая прощания с усопшим, восемнадцать киргизов на девяти конях скакали по каменистым кривым улочкам, оглашая окрестности громким, разрывающим душу криком;

– Эсил кайран боорум-ой! О мой соплеменник, так рано ушедший из жизни!...

Когда мы вновь добрались до дома маскарара, огромная толпа зевак уже окружила его двор, словно здесь должен был состояться какой-нибудь праздник...

Когда прекратились слезы, когда были высказаны обычные соболезнования и искренние сочувствия, когда был выпит чай, приготовленный нашими женщинами, Иминжан ко всеобщему удивлению сказал:

Сегодня на дар много придет народу, чтобы посмотреть на меня. Даже если я ничего не буду делать, я все равно обязан там присутствовать. В общем, давайте-ка все вместе пойдем в парк, а когда вернемся, вечером, тогда и устроим поминки по моему сыну, как велит обычай... Вскоре мы были в андижанском парке отдыха, где в этот воскресный день собралось действительно немало народу – местного и приезжего, чтобы с пользой и выгодой для себя скоротать свободное время.

Больше всего народу собралось, конечно, там, где был устанав лен дар. Юноши уже демонстрировали свое искусство канатоходцев и подросток уже обошел толпу, держа в руках серебряный поднос и призывая собравшихся не жалеть вознаграждения за смелое искусство джигитов, подвергающих себя смертельному риску. Но содержание подноса красноречиво свидетельствовало, что игры на даре еще не достигли своего апогея. Да и настроение ведущего всех игр говорило о том же. Даже выход полуобнаженной девицы с

весьма соблазнительной фигурой, которая чувствовала себя на канате ничуть не хуже джигитов, прибавило лишь восторженных криков толпы, но отнюдь не денег на подносе подростка, куда опускались редкие монетки, да и то в основном медяки. Все больше мрачнело лицо ведущего, все громче выражало свое недовольство толпа.

– Эй, жоробаши! – так в наших краях называют всех ведущих. – Хватит нас пичкать баловством молокососов на веревках, это и наши дети могут сделать не хуже. Давай что-нибудь настоящее!

– Правильно! Правильно

– Маскарапоза давай!

– Дорогие гости, – произнес ведущий, стараясь хоть немного успокоить толпу, – я и сам с удовольствием посмотрел бы на нашего непревзойденного во всей Ферганской долине Иминжана-кызыка, насладился бы его озорными шутками, но неделю назад...

– Никаких но! – заорал кто-то из толпы. – Зазывать нас сюда именем Иминжана-кызыка вы можете, а когда наступает время показать на что он способен, так вы сразу пытаетесь найти какую-нибудь причину!

– Может, неделю назад он сдох же!

– Тогда зачем было звать на него?

– Или неделю назад он так обожрался за наши деньги, что теперь не в силах выйти к дару...

– Давай, жоробаши, зови своего маскарапоза, или мы все пойдем к другим дарбазам, где для нас и на канате попляшут, и повеселят вдоволь!

– Да что с ним разговаривать, пошли, пока у Сабыралы выступления не закончились.

Ведущему ничего не оставалось, как крикнуть в сторону плетеной ширмы, за которой артисты ожидали своего выхода к зрителям:

– Дорогой наш Иминжан-ака! Мы знаем, что вам сейчас не до шуток, и все же просим вас показаться людям, иначе мы лишимся не только денег, но и уважения зрителей...

И тогда раздвинулся полог ширмы и на середину дара вышел человек с размалеванным белой краской лицом, одетый

в какой-то невообразимый балахон, какого я никогда в жизни не видел, так что я не сразу признал в этом человеке того, кого совсем недавно видел плачущим в его дворе. Он только вышел. Он даже не произнес пока ни единого слова, а по толпе уже прошел легкий смешок.

– Ага, почувствовал запах денег и решил показаться нам, сука! – выкрикнул кто-то из толпы.

Другой швырнул в маскарапоза сырое яйцо, видимо, заготовленное заранее. Оно попало в лоб старику, разбилось, потекло по лицу, размазывая белую краску, скручивая бороду в жалкое подобие рваной тряпки. Хотя маскарапоз все еще не произнес ни слова, даже не попытался вытереть лицо, толпа зашлась в дружном хохоте. Маскарапоз собрался было что-то произнести, но слова застряли в горле... Он заплакал. Новый дружный хохот сотряс толпу.

– Смотри, прямо по-настоящему плачет!

– Э-э, он еще и не то может сотворить!

– Я же говорил тебе, что лучше нашего маскарапоза не сыщешь во всей Ферганской долине...

– Эй, маскарапоз, кончай слюни пускать, лучше изобрази нам, как ты дрался с соседским петухом!

– Нет, пусть лучше покажет, как доил быка!

– Давай, маскарапоз, весели нас, мы приехали сюда не для того, чтобы жалеть деньги, если нас повеселить как следует!

– Ну, чего еще ждешь!

Долго не мог прийти в себя маскарапоз. А толпа все требовала, чтобы он продемонстрировал те шутки, который кто-то или сам видел здесь, или от других услышал о них. Были среди требований и угрозы, и обыкновенная ругань. Потом я понял, что для такого поведения толпы, во всяком случае для некоторой ее части, были свои принципы, поскольку обчищать карманы у хохочущего человека намного проще. Все чудно и все просто в этом мире.

Маскарапоз встряхнулся и приступил к своей обычной работе. И по его виду, по его поведению никто и никогда не сказал бы, что именно здесь, на этом даре, он всего неделю назад потерял своего единственного сына и что всего час назад боль этой потери с новой силой всколыхнулась в нем из-за

приезда приятеля. Шутки, остроумные реплики сыпались из него, как из рога изобилия. Потом я часто жалел, что не сообразил запоминать каждую из них. Хотя что можно запомнить, если маскарапоз одним восклицанием «Вот и я!» заставлял толпу хохотать буквально до слез... Он был явно в ударе, наш маскарапоз, и среди собравшихся не было ни одного человека, который бы не хохотал до упаду. Многие со смеху даже не заметили, что кладут на поднос не монеты, а крупные купюры. Даже дедушка Сейткадыр, вот уже почти целый год тщательно скрывавший от односельчан отсутствие четырех передних зубов, теперь забывал прикрывать рот рукой, но односельчане даже не замечали его изъянов, потому что сами держались за животы со смеху. Потом ведущий и маскарапоз разыграли между собой ссору, и ведущий изо всех сил ударил маскарапоза по лицу. Это сейчас я знаю, что в таких случаях цирковые клоуны в последнее мгновение подставляют под удар свою ладонь, а звук удара имитирует барабанщик. Там же маскарапоз даже не поднял руки, и от удара упал как подкошенный. Толпа ахнула, разглядывая упавшего маскарапоза. Ведущий замер в растерянности. Неожиданно для всех вперед двинулся мой отец, на ходу засучивая рукава.

– Эй, дружок, погоди! – крикнул он ведущему, приближаясь. Дай-ка и я попробую тебя также...

Поблудневший жоробаши побежал вокруг дара, отец – за ним. Толпа вновь разразилась хохотом, посчитав, что все это – заранее приготовленный розыгрыш. И неизвестно, чем бы закончилась погоня моего отца за ведущим, если бы маскарапоз не нашел в себе силы подняться. А встав, он растопырил руки и пошел навстречу моему отцу, обнял его.

– Друг ты мой, киргиз ненаглядный! – громко произнес маскарапоз. – Оставь жизнь бедному жоробаши, он же ни в чем не виноват. Прошу тебя, вернись на свое место, а я покажу людям, как обучал необъезженного коня, когда был у вас в гостях.

Маскарапоз, убедившись, что мой отец вернулся на свое место, прошел в центр угла, взял жердь, которую канатоходцы используют, чтобы сохранять равновесие во время выступления, и стал изображать коня, на которого впервые

надели уздечки и седло. С недюжинной сноровкой усмирив горячего скакуна, маскарапоз стал карабкаться к крещенным столбам, при этом каждый свой шаг он сопровождал такими жестами, что люди хохотали безостановочно. Ему осталось до верха совсем немного, когда соскользнула нога и он сорвался. Толпа вскрикнула, как один человек. Но в последнее мгновение маскарапоз ухватился одной рукой за канат и, когда новый взрыв хохота стал понемножку утихать, спокойно произнес:

– Вот же, скотина – скотиной, а чувствует, что я не киргиз и не прирожденный ездок. Но ничего, у меня много приятелей среди киргизов, так что посмотрим, чья возьмет! – И снова полез по канату. Ведущий подбежал к отцу.

– Земляк! – торопливо заговорил он, напрочь позабыв, что еще несколько минут назад был весьма напуган возможной отцовской расправой. – Если вы и правда приятель маскарапоза, остановите его, ведь Иминжан-кызык уже лет пятнадцать не ходил по канату.

Эти слова услышал и маскарапоз.

– Успокойся, дружище! – крикнул он сверху, вступая на прямой канат, натянутый между жердями. – Так же, как необъезженные кони всегда послушны моим друзьям-киргизам, так и канат послушен мне!

– Эй, Иминжан-кызык! – крикнул ведущий снизу. – Никто не сомневается в правдивости ваших слов, да вот только и ваши приятели говорят, что ни один киргиз не ездит на коне без чумбура. Прислушайтесь к их словам! – И он кинул маскарапозу конец страховочной веревки.

– Ты не понял моих друзей, жоробаши, с чумбуром ездят только дряхлые старики, – ответил маскарапоз, даже не сделав попытки поймать веревку. – А такие молодцы, как я, садятся на коней без седла и уздечки, и кони им послушны примерно вот так...

О, что вытворял на канате маскарапоз! Как он крутился на трапедии! У меня, не спускавшего с него глаз, и то кружилась голова... Каждое его движение вызывало у зрителей взрыв смеха, вскрик испуга, вздох облегчения и буквально шквал аплодисментов. Только мой отец стоял, замерев, с мертвенно-бледным лицом и плотно сжатыми губами.

– За такое зрелище и впрямь никаких денег не жалко, – произнес кто-то позади меня.

Я оглянулся на говорившего и, услышав испуганный вздох толпы, снова посмотрел на трапецию, но маскарапоза на ней уже не было. Кто-то закричал в истерике, кто-то заплакал, кто-то окликал своих близких, кого-то рвало... Дедушка Сейткадыр поспешно собрал нас всех вместе и повел к дому маскарапоза. Усадив на бричку женщин, хромого Жусупа и меня, велел возвращаться домой, сделав по пути необходимые покупки на базаре Коканд-кишлака, и сказав, что остальные задержатся на несколько дней, чтобы помочь нашему другу.

Лишь на четвертый день вернулись те, кто оставался в Андижане, – обросшие, измученные, хмурые.

– Ну как? – спросил я у отца, дождавшись, пока тот не вошел в дом, привязывая коня.

– Что как?

– Ну этот... как его... маскарапоз...

– А-а... Насмерть разбился, – произнес отец безразлично. – Нашего барана зарезали на его похороны.

– По-киргизски его хоронили, что ли? – спросил я, вспомнив, как отец организовал плач по сыну маскарапоза.

– По-человечески, – сказал отец и неожиданно привлек меня к себе, обнял крепко, погладил чубчик.

Не в правилах отца было обнимать меня, тем более целовать. Если, бывало, ему хотелось показать свою ласку ко мне, он легонько трогал меня пальцами за кончик носа, трепал за чубчик и говорил: «Иди играть...» Я ожидал, что он и сейчас поступит так же, но отец еще крепче прижал меня к себе и, глядя мне прямо в глаза, произнес:

– Никогда не спрашивай больше об этом человеке, сынок. И сохрани тебя аллах от его участи...

С тех пор прошло много лет. Уже нет в живых моего отца, и я никогда не спрашивал у него о маскарапозе. Может быть, я

вообще забыл бы это слово навсегда, если бы в силу своей профессии время от времени не оказывался безработным. В такие дни какое-то странное чувство внутренней неустроенности не покидает меня. Годы отщелкивались на счетах моей судьбы, а это чувство не только не затухало, но, наоборот, с каждым разом становилось все сильнее. Конечно, я уже догадался, что этим чувством был маскаралоз, давно, может быть, с самого моего рождения поселившийся во мне, в моем сердце, ставший моей душой и страдавший от того, что не может явиться миру.

Да, я понимаю это, как с годами любой человек начинает понимать свою жизнь. И только одно удивляет меня: как распознал мой отец, что у его сына, у того двенадцатилетнего пацаненка-несмышлениша, впереди судьба маскаралоза?



ВОТ ТАКИЕ ПИРОЖКИ...

Редактору не было и тридцати. Его утонченное лицо напоминало кротких айльных женщин, которые в силу своей восточной скромности никогда не поднимают взгляда на мужчин. Да и его манеры прямо-таки кричали об умении культурно общаться с людьми. Во всяком случае, едва я открыл дверь, он мгновенно покинул свое кресло с подкупающей улыбкой протянул навстречу мне свою руку.

– А-а, добро пожаловать, аксакал, входите! – Обняв словно младшего братишку, он провел меня к дивану у широкого, занавешенного шелковыми шторами окна, присел рядом, расспрашивая о здоровье моем, моих знакомых и родственников. Наконец, он перешел к делу.

– Стихи ваши я прочел... – начал он, упрямо глядя на мои смоляные усы. – И несмотря на ваш возраст, нам импонирует ваше обращение к молодежной тематике.

– Спасибо... – я счел долгом отреагировать на комплимент, надеясь, что в дальнейшем наш разговор примет более конкретный характер.

– Правда, – вздохнул он, – ваши стихи поступили ко мне в том виде, в каком были написаны...

– Простите, – не понял я, – а в каком бы виде вы их хотели получить?

– Аксакал, – мягко произнес редактор, – давайте будем взаимно вежливыми... Ребята в отделах еще молоды, может быть, кое-что недопоняли. Конечно же, и я в принципе не имею никаких возражений против ваших стихов, более того, я уверен, что многие строки вашего творчества будут полезны нашему читателю. Но, прошу вас понять меня правильно, сейчас меняются времена, а, значит, и требования меняются тоже...

– Понимаю... – согласился я, не совсем понимая направление разговора.

– Вот и прекрасно, – по-прежнему мягко улыбнулся он, – в таком случае вы понимаете, что над вашими стихотворениями предстоит серьезная работа?

Я пожал плечами, удивленный столь резким переходом от общего к частностям, и на всякий случай спросил:

– Вы не могли бы сказать конкретно, какая работа и над какими стихами?

– Конечно, могу!

Он встал, неторопливо прошел к своему письменному столу, выдвинул один из ящиков и достал оттуда пухлую папку бумаг, затем отделил от нее один листик.

– Вот, к примеру, ваше стихотворение «Осень», вы его помните?

Я кивнул.

– Здесь вы пишете... – и он с чувством прочел мое стихотворение из шести строчек. Стихи были на киргизском языке, по-русски они звучали примерно так;

Кок-Бел... Терек-Суу...

В разлуке долгой мы.

Один грущу в осенний тихий вечер.

Лишь память – светлый луч.

Как будто Айгерим

Меня уводит в молодость беспечно...

– Конечно, на первый взгляд кажется, что это хорошие стихи. К сожалению, это только на первый взгляд. Но если в них вчитаться внимательнее, то станет ясно, что по рифме они уступают стихотворениям Сарногоева, а по глубине мысли – Алыкулу Осмонову. Я надеюсь, вы не будете возражать?

– Ну что вы! – я вскинул плечами. – Я думаю, что очень далек от Сарногоева, и уж тем более не собираюсь сравнивать себя с Алыкулом...

– Я очень рад, что вы это понимаете, уметь признавать собственные недостатки – это уже в определенной степени что-то. Но мы сейчас говорим о другом, о конкретном вашем стихотворении. Я понимаю, так поймут и наши читатели, что в своем стихотворении, вернее в его подтексте, вы прощаетесь с

какой-то юной девушкой. Что ж, это ваше личное дело, хотя, если откровенно, в вашем возрасте это уже ни к чему, вы же понимаете, во всяком случае, не могли не читать, что сейчас вплотную встал вопрос об укреплении семьи...

– Простите, – перебил я, – но с чего вы взяли, что речь идет о юной девушке?

В улыбке редактора появилось что-то лукавое. Он подошел, присел рядом со мной на диван и с едва скрываемым превосходством произнес:

– Ну, во-первых, вряд ли кто-то будет подобные строки посвящать старухе, тут уж со мной спорить не станете. Но даже не в этом дело. Посудите сами, стоит ли выносить ваши чувства в этом виде, – он кивнул на лист бумаги, – выносить к широкому читателю. Да еще к женщине с таким старомодным именем? Разве это уже не свидетельствует о том, что мы не можем никак избавиться от старых взглядов, привычек и отношений?

– Вот теперь не понял! – во мне вдруг проснулась злость.

– Что ж, – продолжил он все с той же мягкой улыбкой, словно убаюывая душевнобольного, – постараюсь объяснить вам все попроще. Айгерим, Айчурек, Нурсулуу... Где вы сейчас встретите девушек с подобными именами? Так же, как в русском языке – Славяна, Баяна и так далее. Сейчас звучат имена Эльмира, Гульмира, Жипара, Шикейра... Вы чувствуете? Так почему же мы, пишущие, не можем перестроить наше сознание на то, что девушек надо называть современными именами? Зачем этот экскурс в прошлое? И потом, скажите на милость, чем знаменита эта самая земля, которую вы упоминаете? Допустим, та же самая Терек-Суу?

– Тем, что она дарит миру женщину, подобную Айгерим. А если вы читали роман Мухтара Ауэзова «Абай», то знаете, что Айгерим – воплощение женственности, любви и, кстати, ума.

– Но ведь это у Ауэзова... А чем знаменита ваша Айгерим? Она актриса что ли?

– Да при чем здесь конкретное имя? – я с трудом сдерживал себя. – Это же образное сравнение...

Но он меня не слышал.

– Вот это-то и плохо! Поймите, нашему читателю, то есть, читателю нашей газеты нужны конкретные имена. И потом –

Кок-Бель. Его нет ни на одной карте Киргизии, и о том, что это крохотный перевальчик, я узнал только через своих знакомых. Надо ли выводить в стихах перевальчик высотой всего в полтора километра, куда и детвора на велосипедах легко доберется? Почему бы вам не воспеть Туя-Ашуу, который на целых три километра выше. Или вечно покрытый снегом Ала-Бель. Поймите, аксакал, партия и правительство призывает нас к перестройке, причем в первую очередь к перестройке взглядов и мыслей! Оглянитесь и воспойте плодородные земли Чуя и Таласа, Ферганской долины, наконец! А возьмите такие перевалы, как Долон, Торугарт, что по сравнению с ними какой-то Кок-Бель? Если так тратить время и бумагу на всякие мелочи, то как будем создавать новые призывы!...

Дальнейший ход событий я бы не хотел видеть даже в дурном сне. В конце концов мы перешли на личности, он обозвал меня старой рухлядью, я не находил ничего лучшего, как отвечать, что он сам дурак. В конце концов редактор пообещал, что отныне ни одной строчки не напечатает, а я сказал, что газета не его собственная и не одному ему решать, тем более что я могу кое-кому пожаловаться...

В общем, я забрал свою рукопись и ушел. К сожалению, забрал впопыхах только второй экземпляр. К сожалению потому, что через неделю на четвертой странице моей некогда любимой газеты вдруг обнаружил стихотворение под моей фамилией. Корпусом там было напечатано следующее:

Не устану воспевать я тебя, Ала-Тоо!
Ширь Суусамырскую, перевал Туя-Ашуу!
Прощай, любимая моя, о Роза ненаглядная,
Доярка первая в краях высоких тех!

(Подстрочный перевод)

Конечно, какие стихи нужны, а какие нет – редакции виднее, поскольку они знают своего читателя. Спорить я не собираюсь. Ну, а как же я? Допустим, что являюсь мужчиной не первой молодости, но это не повод заводить сомнительное знакомство с передовой дояркой Розой! Тем более не пойму, зачем мне прощаться с ней, не познакомившись? Судя по тому,

какая она красивая и трудолюбивая, эта самая Роза, на жизнь она смотрит не так просто как заставил редактор, и, вполне возможно, мы могли найти с ней общий язык... Так зачем же тогда нужно было редактору столь лихо нас свести вместе и столь же лихо, даже бессердечно, развести?

Впрочем, бог с ними, со стихами. Тут жена со мной не разговаривает. Из-за Розы. В командировки, говорит, больше не будешь ездить. Такие вот пирожки.

МУСААПЫР

Самолет заложил крутую дугу виража над городом, оказавшись между двумя плоскостями мириадом огней: вечернего яснозвездного неба и с примесью легкой дымки многомиллионного Ленинграда.

Ранние сумерки над северным городом сгущались, и огни – как те, что вверху, так и те, что снизу – мерцали с каждым мгновением все ярче, притягательно маня к себе. Заглядевшись на них, я вдруг взмыл вверх, вслед за Маленьким принцем... Но самолет, хотя и поколебавшись какое-то мгновение в выборе, все-таки предпочел домашний уют холодной безбрежности, ухнул вниз, поджав мое сердце к горлу. И тут же из репродуктора послышался голос нашей хозяйки. Последние 10 – 15 минут молчания стюардессы у нас у всех, особенно у мужчин, вызвало некоторое беспокойство, поскольку за долгие часы полета из Фрунзе в Северную Пальмиру успели не только привыкнуть к удивительному ласковому и мягкому голосу большеглазой смуглянки, заботливой, словно младшая дочка, но и почувствовали естественный для сильного пола инстинкт хоть как-то соприкоснуться с необыкновенной женской красотой.

– Уважаемые пассажиры! Экипаж воздушного корабля «ТУ-154» отдельного Киргизского авиаотряда приветствует вас с прибытием в город Ленинград – колыбель Великой Октябрьской социалистической революции. Температура воздуха в районе аэропорта «Пулково» минус 37 градусов. Спасибо за внимание.

Последние слова стюардессы утонули в общем хоре возбужденных голосов:

– Чего, чего!

– И лучше выдумать нельзя!

- Как вам эта шутка?
- Какая шутка! Глянь, настоящая пурга...
- Может, заблудились, в другом порту сели? Не зря же так болтало всю дорогу...
- Что-то я не заметил...
- Спать меньше надо!
- А по программе «Время» объявили, что в Питере до десяти мороза...
- Не до, а после!
- Не, просто был прогноз за прошлый год... Они по пьяни и не то выдают!

Такая вот была реакция у нас, потому что все настроились на одно, а получили совершенно другое. Потому-то уже и не слушали о том, что оставаться надо на своих местах до полной остановки двигателей и подачи трапа. Где можно выпить горячий кофе. Каким транспортом выбраться в город. Тем более, что большинство пассажиров не в первый раз пользовались услугами Аэрофлота, и обмен шутками продолжался действительно до тех пор, пока двигатели не замерли.

- Да нет, я вчера программу смотрел...
- Наверно, до конца не дослушал, потому что потом этот выступил, как его, ну, тот, лысый, который в Штаты ездил, чтобы шевелюру себе нарастить, так вот он спел...
- Лысый-то при чем здесь?
- При том, что он спел: «Температура в Питере будет колебаться...»
- Так не бывает!
- Все бывает!
- Не верю!
- Мне, что ли?
- Ты-то тут при чем? Или ты мне дашь пальто и шапку?
- Ну да, я же и виноват, что я не дурак!
- А я виноват, да?
- Не бери в голову, земляк! Все в мире преходяще – и уши, и нос, который ты отморозишь. А главное, тут врачи – не чета фрунзенским – что хошь взад пришпандорят, не только нос! Родная жена потом не узнает!

– Я не женатый...

– Тогда вообще никто не узнает!

Шутки прекратились тогда лишь, когда мы ступили на трап, ибо знакомый, до боли родной ленинградский мороз перехватил дыхание, заставил меня еще раз пожалеть, что не послушался советов жены одеться потеплее. И ладно бы, как иные, впервые прилетел сюда и сейчас был обманут расстоянием, разделившим пригычную фрунзенскую оттепель и ленинградский мороз. Но пять лет учебы в этом добром городе должны были бы вдолбить мне в голову, что по меньшей мере глупо прилетать сюда в кожаном плаще после ноябрьских праздников... Я ругал себя в такт прыжкам, которыми одолел сначала площадь до аэровокзала, а потом, уже с чемоданом, путь до ближайшего свободного такси. Водитель, в машину которого я плюхнулся на заднее сиденье без разрешения, обернувшись, раздраженно бросил;

– А что, чемодан в багажник нельзя?

– Нельзя! – отрезал я с не меньшим раздражением и с не меньшим нахальством глядя в глаза таксиста. – Здесь очень и очень ценные вещи! Стекло!

Несколько мгновений мы пристально изучали друг друга. Но я знал, что подстегиваемый морозом, ни за что не уступлю. В конце концов понял это и водитель. Отвернувшись, он коротко спросил:

– Куда?

– Пока в центр, – я откинулся на спинку сиденья, удовлетворенный итогом психологической битвы с таксистом, – а там видно будет. Попутчиков не надо, оплачиваю всю машину...

Такси рвануло с места, будто необъезженный конь, вдруг почувствовавший свободу, и мы помчались, заставляя шароухаться встречные машины. Мы оба молчали, но это молчание лучше всего подчеркивало ту неприязнь, которая возникла между нами. И равномерно тикающий счетчик лишь усиливал гнетущую тишину. Тем не менее таксист оказался отходчивее меня. Когда мы проезжали под железнодорожным мостом, он включил отопительную печку, направив прямо на

меня струю теплого воздуха. Такой благородный жест вызвал у меня поток благодарностей, однако таксист лишь отмахнулся:

– Не за что! Видать, вы не очень большой любитель морозов... Откуда, если не секрет!

– Э-э, дорогой, – вздохнул я, – из самых благодатных и теплых мест нашего великого Союза!

– Значит, из Ташкента?

– Послушайте! – воскликнул я с новым всплеском раздражения, разрушая появившуюся было хрупкую теплоту в наших отношениях. – Ладно – москвичи, те кроме столицы других городов не знают, но неужели все европейцы уверены, что кроме Ташкента в СССР нет других теплых и хлебных мест?

– Отчего же... – пожал плечами таксист. – Мы и про Алматы знаем...

– А вам приходилось что-нибудь слышать о Манасе, Чингизе Айтматове, вообще – о городе Фрунзе?

– Вон оно что! – неожиданно для меня расхохотался таксист. – Теперь мне понятно, почему вы повели себя так бесцеремонно! Значит, из Киргизии... Значит – свой брат, как говорится... Извини, не признал, земляк! – Водитель посмотрел на меня в зеркало, радушно улыбнулся, подняв большой палец.

Теперь уже удивился я.

– А вы что, тоже из Киргизии?

– Нет, коренной ленинградец, – не переставал улыбаться таксист. – Но мы здесь знаем о киргизах ничуть не меньше самих киргизов. Мы даже знаем, почему при сокращении не стоит писать «Кирг.ССР», потому что «кир» означает «грязь». Ни один ленинградец не напишет так, обязательно «Кирг.ССР», точно? Вот и я так думаю... Ай, – он вскинул вверх правую руку, – у нас нет ни одной газеты, которая бы не писала о вас, о наших братских взаимоотношениях, обоюдноважных проблемах, повседневных новостях. Короче, земляк, настоящий ленинградец каждый считает себя немножечко киргизом!

– А настоящий киргиз всегда наполовину ленинградец! – Я был заморожен таксистом.

– Еще бы! Ведь каждое новое произведение Айтматова поступает в первую очередь к нам, как и первая баранина сезона!...

Под такой вот обмен комплиментами неслись мы к Ленинграду по ночной морозной дороге, давным-давно позабыв, что встреча началась с взаимного раздражения.

– Кстати, насколько я знаю, в Киргизии тоже бывают морозы под сорок?

– Бывают, – кивнул я, – и морозы сибирские, и жара африканская. Вообще, всевышнему угодно было создать уголок на земле – Киргизию, где и природа, и люди в каких-то деталях повторяют любое место планеты – хоть язык возьми, хоть обычаи, хоть культуру, хоть климат. Правда, сейчас у нас плюс пятнадцать тепла – эдакое чудо природы, вот я и залетел: не тащить же на себе дубленку... И влип!

– «Парк Победы», земляк, а дальше куда? – спросил таксист.

– Туда, где можно устроиться на ночь...

– Рядом гостиница «Россия», но там проблема с местами. Недавно открыли новую, «Прибалтийская» называется, о ней мало кто знает и устроиться там будет проще... Но, ехать прилично...

– Айда, земляк, в «Прибалтийскую»! Мне-то без разницы, – махнул я рукой, – но в «Прибалтийскую» лучше, хочу посмотреть новую гостиницу... А так, я не помню, чтобы в какой-нибудь ленинградской гостинице отказали в ночлеге киргизу. Это же не Москва.

– Точно, Ленинград – не Москва... – согласился таксист.

Моя уверенность не была бравадой провинциального киргиза, попавшего в один из центров цивилизации страны и наслышанного о гостеприимстве ленинградцев. Без малейшей волокиты в новой 14-этажной гостинице, построенной на берегу Балтики, чуть ли не на воде, мне дали не просто место, а целый номер «люкс», комфорт которого включал в себя даже заказ ужина чуть ли не в постель, чем я и не замедлил воспользоваться. Тем более, что на улице продолжал лютовать мороз. Лишь только на третий день, когда ленинградское радио не без сочувствия ко мне пообещало ослабление мороза до минус десяти, я решил заняться делами, ради которых и приехал

сюда. Но прежде чем отправиться в киностудию «Ленфильм», я решил посетить Василеостровский торговый центр, чтобы обзавестись чем-нибудь теплым, там же натянуть все это на себя и лишь потом двинуться дальше. Именно Василеостровский торговый центр я выбрал не только потому, что до него было пару остановок, но и потому, что когда жил студентом в общежитии на этом же острове, то любил там покупать вещи, поскольку рядом с магазинами всегда крутились матросы, предлагавшие практически за бесценок вполне приличное барахло. Поначалу мороз показался мне и впрямь, как передавали по радио, небольшим. Поэтому, увидев пустую троллейбусную остановку, решил пройтись пешком, резонно подумав, что вряд ли какой таксист возьмет пассажира на столь короткое расстояние... Однако уже через несколько десятков метров уши мои начали потрескивать, потом стали каменеть руки и ноги, потом и все тело охватило мелкая противная дрожь. Так что когда я добрался до следующей остановки, у меня не было иного желания, как заскочить в первый попавшийся троллейбус, нисколько не заботясь о его маршруте.

Но вот подошел и троллейбус. Чуть переведя дыхание, я принялся выискивать взглядом место потеплее, и буквально тут же наткнулся на острый живой взгляд старика с роскошной рыжей бородой, одетого в полушубок с белым меховым отворотом.

– Ну, ты даешь, парень! – воскликнул старик, обращаясь ко мне так, словно мы всю жизнь дом в дом прожили. – Ты что, в Ош собрался что ли? А ну, давай-ка сюда... Эй, товарищи, пропустите молодого человека, дайте ему немножко тепла вдохнуть!...

– Спасибо! – вежливо пробормотал я, протискиваясь к нему сквозь толпу пассажиров.

– Пока не за что, – ответил старик. – Сначала отогрейся, а потом благодари, кысталак! – Затем обратился к соседу у окна: – Товарищ, будь человеком, уступи место, пока этот парень совсем в сосульку не превратился!

– Ну что вы, не надо... – я был окончательно смущен.

– Это мне не надо, а тебе даже очень... Давай, давай, смелее, джигит, здесь труба теплом дует...

Несмотря на то, что я чувствовал себя совершенно не в своей тарелке, мне пришлось уступить настойчивым требованиям старика, ибо его сосед уже поднялся, жестом приглашая меня на освободившееся место.

– Садись и не рыпайся! – сказал старик весело, прижимая меня к стенке, от которой действительно тянуло чуть ли не горячим воздухом.

Несколько придя в себя, я вдруг, прокручивая слова старика в голове, почувствовал в его произношении что-то странное. Но никак не мог понять – что именно? И поэтому после некоторого замешательства, преодолев неловкость, все-таки спросил:

– Простите, аксакал, на каком языке мы с вами разговариваем?

– Во, кысталак! – хлопнул себя по коленкам старик, вновь назвав меня шалунишкой чисто по-киргизски, совершенно без акцента, обычно свойственного представителям других национальностей, даже узбекам. Было полное ощущение, что разговариваешь с одним из айльских стариков, знающих и чувствующих всю палитру родного языка. – Бедняга, ты, наверно, так же одурел от теплого воздуха, как легендарный Каранар, который в пылу гона уже не обращает внимания, какая колючка ему попадается, лишь бы была! Эй, по-киргизски мы с тобой говорим, по-киргизски!

– Простите... – смущенно произнес я, чувствуя, как начинают краснеть уши. – Я хотел сказать: где вы научились так говорить по нашему, как сельские аксакалы – с прибаутками и поговорками? Откуда у вас это?

– Эй, мальчик, с чего ты взял, что киргизский язык может быть только твоим, а и не моим тоже?

– А вы хотите сказать, что вы тоже киргиз, что ли? – уставился я на него.

– Ну, кысталак! Первый раз вижу такого глупого киргиза! – снова хлопнул себя по коленкам старик, оглядывая пассажиров, словно призывая их в свидетели. – Я же чистейший русский, вот и борода у меня рыжая, смотри! – и он потряс бородицей перед моим носом. – И зовут меня Виктор Васильевич...

– Я совсем не хотел вас обидеть... – его непосредственность восхитила меня. – Знаете, если бы я встретил такого человека, как вы, где-нибудь в Средней Азии, и то не удивился бы. Но здесь, в Ленинграде... Услышать столь складную родную речь – это почти фантастика, в голове не укладывается...

– Ну, конечно, если трепыхать голыми ушами в такой мороз, то к старости в твоей башке вообще ничего не уложится!

И тут я неожиданно и для себя, и для старика встал, прижал руку к сердцу, произнес:

– У нас говорят, повинную голову и меч не сечет. Я прошу прощения, если в чем-то ненароком обидел вас. И уж коли такая петрушка вышла, давайте заново поздороваемся, как это у нас принято... Ассалом алейкум!

– Ва алейкима салам!

И старик тоже встал, облапил мои ладони, энергично встряхнул их.

– А как вы догадались, что я киргиз? – спросил я, когда мы, закончив ритуал приветствия, вновь сели на свои места.

– По запаху, дорогой, по запаху! Этот запах я отличу среди миллиона других... Ну и потом, разве кто-нибудь кроме моих киргизов отправится в дорогу, не имея запаса еды и одежды? Не-ет, ни один народ не переплюнет моих киргизов по части беспечности, это я точно тебе говорю!

Мы со стариком так громко разговаривали и смеялись, как два киргиза в Суусамырской долине, когда они разделены шумной рекой Кокемерен. И хотя ни единое слово не было понятно остальным пассажирам, хотя мы устроили форменный базар, никто не возмутился, не сделал нам замечания. Наоборот, в глазах я видел теплоту, а на губах – улыбку...

Уже в сумерках я возвращался в гостиницу, замученный суматохой киношных дел. И едва я открыл дверь вестибюля, сразу почувствовал неловкость, увидев в холле моего старика с узелком в руках. Я совершенно забыл о нашем уговоре, когда расставались утром.

– Теперь мы вот как поступим, сынок, – говорил мне тогда старик. – Сейчас мы поедем ко мне, выпьешь горячего чая, отогреешься, а потом и обед сообразим, это здесь просто, не то что у нас там... Здесь недалеко, на остановке «Коммунарков» сойдем, и два шага...

– Аксакал, не могу, куча дел, и очень срочных, я и так три дня торчал в гостинице из-за этого мороза. К тому же надо в магазин заскочить, шапку приобрести и что-нибудь типа «прощай, молодость!» на ноги, чтобы потом выбрасывать не жалко было... А вечером, обещаю, загляну, тогда и чай попьем спокойненько...

– А ты найдешь, где я живу? – с сомнением он посмотрел на меня.

– Скажите адрес, а остальное без проблем, я пять лет учился в Ленинграде – найду, не беспокойтесь...

– Тогда пиши: проспект «Коммунарков», 939, квартира 41.

– И так запомню, аксакал! Проспект «Коммунарков» – это ясно. Если к номеру дома прибавить единичку – получится мой год рождения, а 41 мне в этом году исполнился. Теперь дай Бог памяти. Ваш дом 16-этажный, кирпичный. Напротив «Березка» расположена. А в цокольном этаже вашего дома – «Хозтовары». Правильно?

– Ах ты, кысталак! Все правильно говоришь! Боюсь только, что как легко обещаешь, так же легко и забудешь...

– Обижаете, Виктор Васильевич!

– Ты брось меня дразнить своим «евичем-севичем», грамотей, зови просто Бектур-аба, как называли меня все чонкеминцы.

– Хорошо, Бектур-аба, я вас буду так называть. А вечером обязательно зайду к вам.

– А если что – сам-то где остановился?

... Все это мне вспомнилось, едва я увидел в холле старика. Стало понятно, что приглашал он меня отнюдь не ради приличия, как подумалось мне, а потому я поспешил оправдаться:

– Ассолом алейкум, Бектур-аба, прошу великодушно простить меня... Совсем закрутился, столько дел навалилось, и все успеть надо... Вы давно ждете?

– Я же говорил тебе, кысталак, что не придешь... Хорошо, догадался спросить, в какой гостинице остановился, а то, я вижу, ты способен исчезнуть, никого не поставив в известность... Знакомься, мой сын.

Он повернулся к мужчине средних лет, который сидел рядом с ним. Тот встал, протянул руку, представился:

– Сергей Викторович!

Я назвал себя.

– А я уже и надежду потерял, что вы вернетесь, земляк, – произнес он по-русски.

– Ничего, ничего, – произнес, не скрывая раздражения, Бектур-аба, произнес по-русски, с безбожным акцентом, – ничего не случится, если час-другой подождешь моего соплеменника...

– Конечно, – согласился сын, – ничего не случится. Но давайте, уважаемый гость, поедem скорее, пока дед не рассердился окончательно...

– Молчи, кысталак! – воскликнул старик.

– Вот так он нас и обзывает ... – улыбнулся Сергей Викторович.

– Это не обзывание, – улыбнулся я в ответ, – это ласковое обращение к непослушным детям... Вы только подождите меня здесь, я в буфет на минутку загляну, а то с пустыми руками... – я пожал плечами.

– Ты что, парень! – оборвал меня старик. – Или опять собрался удрать, чтобы совсем опозорить меня перед этим орусом, – он кивнул в сторону сына, – для которого ничего не стоят наши обычаи, как и цена произнесенных слов... Никаких буфетов-муфетов, пошли!

– Сдаюсь, Бектур-аба, – я поднял руки.

– Так-то лучше, – проворчал старик, – пошли!

Естественно, сын не понимал, о чем говорили мы со стариком, ему, видно, показалось, что мы продолжаем спор – ехать или не ехать, потому что он вновь принялся уговаривать меня:

– Я вас очень прошу – поехали... Я на машине, потом привезу вас в гостиницу, так что никаких проблем. А если не поедете, дед совсем тогда обидится...

– Нет-нет, поехали!

Не знаю, все ли были приглашены в четырехкомнатную квартиру Сергея Викторовича специально для встречи со мной или собрались случайно. Сначала меня познакомили с полной дамой по имени Мария Фоминична, супругой Сергея Викторовича, потом с его сыном Виктором, дочкой-десятиклассницей Таней, потом с сестрой Сергея, дочкой Бектура Надеждой, которая пришла с мужем и сыном-подростком лет четырнадцати. Когда знакомство состоялось, Бектур-аба взял меня под руку и повел на кухню. Здесь он открыл холодильник – громадную «Москву», морозильная камера которого оказалась полностью забитой мясом.

– Вот, смотри, кысталак, – произнес Бектур, вытаскивая из морозильника целую баранью ляжку, – это я сегодня купил на рынке у татарина. Он поклялся мне, что баран зарезан по всем мусульманским обычаям. И все же им далеко до нас по части разделки барана, они даже не могут отделить мясо, не разрубив кость, представляешь? А у нас в Чон-Кемине, помню, барана разделявали на все 32 части лишь кончиком ножа, при этом не поцарапав ни единой косточки! Да что говорить! Поверь, с тех пор как я поселился в этом доме, я запрещаю приносить сюда мясо этой поганой чушки...

– А мне как-то все равно... – пожал я плечами.

– А мне нет! Так уж воспитали с детства, я до сих пор в рот не беру свинины, хотя и понимаю, что это предрассудки...

Мы засмеялись. Вошел Сергей Викторович, и я почувствовал себя неловко.

– Простите... – начал было я, но он махнул рукой.

– Да бросьте, вы не первый, и, думаю, не последний киргиз, который начинает знакомство с этой квартирой с холодильника! А мы давно привыкли и к говядине, и даже к баранине... Прощу к столу...

Несмотря на праздничность стола, Бектур-аба выглядел недовольным. Особенно ему не нравилось, что дочь и сноха наперебой предлагали мне соленые огурцы и капусту. Наконец, не выдержав, он сказал, обращаясь ко мне:

– Слушай, переведи им нашу поговорку: «Конок келсе аш кой, эки колун бош кой!»

– Бектур-аба просит перевести нашу пословицу: «Поставь перед гостем еду, а руки оставь свободными», – сказал я, обращаясь ко всем за столом.

– Там еще должно быть слово «не надоедай!» – пробурчал старик недовольно.

Все рассмеялись, а Сергей Викторович, оглядев собравшихся, сказал:

– Машенька, давайте мы, русские, будем готовить, а эти два естественно-неуправляемых киргиза пусть что хотят, то и делают. Когда дойдем до теста, мы их позовем на помощь, а мясо, я думаю, и без них по-дедовски сварим...

– Я уже варила! – похвасталась Таня.

– Вот и чудесненько... Пошли на кухню, оставим киргизов, хай им тут хорошо будет!

Когда мы остались вдвоем, взгляд старика вмиг оживился, как будто он встретил если и не единственного сына, то очень близкого родственника. Он засыпал меня такой кучей вопросов, что я в конце концов не выдержал и сам спросил у него:

– Никак не пойму, Бектур-аба, как вы с вашим характером, вашими привычками очутились здесь? И вообще, скажите честно, кто вы?

Снова загрустили потеплевшие было глаза старика. Прерывисто вздохнув, он тихо произнес:

– Э-э, не спрашивай, сынок... Я из тех людей, про которых наша пословица гласит: «Плохо той утке, которая потеряла свой пруд, плохо тому человеку, который потерял свой народ»... Когда-то я был всеми уважаемый Бектур-аба, а сейчас остался обыкновенный «евич-севич». В общем, утка без пруда...

– Ну, зачем вы так... – попытался я успокоить старика.

– Такие прекрасные дети у вас, видно, что вас уважают и чтят...

– Что уважают – это точно, пожаловаться здесь грех. А вот чтить... Значит, сынок, почтение – это не только уступить какому-нибудь желанию, пусть даже капризу, почтение – это понять чужую душу... – Он внимательно посмотрел на меня. – У каждого из нас по сравнению друг с другом – чужая душа, даже если мы и одной крови... Не знаю, как объяснить... В общем, они думают о себе, а вот обо мне кто подумает?

– Не понял вас...

– Эх вы, молодежь... В старину говорили: «Без ночлега не насытишься словом, без целой кости не насытишься мясом». Так и быть, постараюсь накормить тебя и мясом, и словом...

– Еще при царе мой отец был сослан из Рязани вместе с товарищами в Киргизию. Там, в Чон-Кемине, они поставили село Новороссийска, оно и до сих пор стоит. Со временем село перестало быть чисто русским, перемешалось в одну семью с киргизами, узбеками, уйгурами, дунганями. Со всеми, в общем, кто приют нашел на этой земле...

– Я знаю, мне доводилось бывать в Новороссийске...

– Там я и родился. Рос, как и все мальчишки, на берегу Кеминки, ты знаешь эту речку... Теперь и земля моя, и друзья мои остались там. А я здесь. Как мусаапыр. Знаешь это киргизское слово?

– Знаю, Бектур-аба, это значит – бесприютный, неустроенный... В общем, как говорится, без кола и двора...

– Это хорошо, что знаешь, а то сейчас многие киргизы только газеты умеют читать по-киргизски.

– Но при чем здесь вы и мусаапыр?

– Глупый ты еще, мальчишка... Это у начальства только не место красит человека, а для таких простых людей, как я, именно место, где душа живет, – оно и красит тебя... Если уж ты знаешь Новороссийску, то, может, слышал о бородатом Акмате, который 45 лет охранял колхозные поля и не подпускал к урожаю даже нас, друзей своих закадычных? Или о дунганине Орли Шиваза, который знал язык трав и птиц, а потому был непревзойденным лекарем и в Чуйской, и в Иссык-Кульской долинах? А наш мельник, узбек Жоробай? Тот самый, который каждый четверг приготавливал плов и угощал им каждого, кто зайдет к нему. Когда же он сам попадал в гости, то мог съесть хоть целого верблюда, но все рабчо оставался голодным, если не подавали плов... Ну, а если ты не видел киргиза Тункатара, то наверняка слышал о нем, ведь он избирался в депутаты, был самым передовым чабаном района. А не знать киргиза

Абдрасула Осмонова ты просто не можешь – фронтовик, замечательный певец и мелодист. В молодости он был всем джигитам джигит. Если, бывало, попадем с ним на той в чужой аил, то местная молодежь по неделям не отпускала нас из-за него! Эх, сынок, какие люди, какие были времена! Может, слышал ты про уйгура Акима-шайтана? До сорока лет он пил беспробудно, а потом отрастил усы и бороду, приехал в аил «Бер-булак» и стал знаменитым муллою. Только в нашем аиле мы как и прежде умудрялись его спойть... А какой охотник был казах Бактыгирей! По его собственным словам он умудрялся одной пулей попасть одновременно в копыто и кончик уха архару... Как не восхититься таким рассказом! И вот они там все вместе, а я здесь один, и разве после этого я не мусаапыр? Разве можно назвать меня как-нибудь по-другому?

Глаза старика повлажнели, а я не находил слов утешения, переживая очищающе грустную, как арман, судьбу Виктора Васильевича. Да и нужны ли были слова утешения Бектур-аба? Его слушали, и это было главным.

– Мы были разных национальностей, – продолжил после некоторого молчания старик, – а вот язык один – киргизский. Мы жили как дети одного отца и одной матери. Тебе то время известно по книгам и кино, а наше единство и братство испытано в годы войны строительством железной дороги по Боомскому ущелью, Чуйского канала. А сколько хороших парней не вернулось с фронта – Эргеш, Токтогул, Ефим, Кудайберген... Много воды утекло, а я помню всех, как будто видел сегодня... А кто остался в живых, те, вернувшись, хоть раненые, хоть инвалиды, те сразу принялись поднимать наше хозяйство. Наше, а не мое, как теперь говорят. Кто стал знатным, кто обойден орденом, но все мы остались верны нашему братству. Сам я тридцать лет работал табунщиком. И пусть будет проклят тот день, когда много лет назад я послушал свою старуху и отдал своих детей учиться в интернат, открывшийся для детей животноводов в Быстровке! Оба они рождены в горах, оба пили кумыс и айран, ходили в киргизскую школу. А в интернате мало того, что учили только по-русски, но и забывали приобщить к человеческим ценностям. Таким,

как горы, как наше озеро, как речка, как люди. С того времени и начались наши беды... Что ты ухмыляешься?

– Да нет, я просто о другом вспомнил. Извините меня, Бектур-аба, я слушаю вас...

– Ты это брось, кысталак! Думаешь, я не понял твоей мысли? Мол, старая рухлядь в своей обиде на судьбу допускает политическую ошибку, нелестно отзываясь о заботе партии и государства по отношению к детям колхозников. Это не так.

Я помню некоторых, они учились вместе с Сергеем и Надей, но на отношениях с родителями это не сказалось. Мне же такая судьба выпала... Ты слышал о Толенбае Акматове?

– Наш министр сельского хозяйства?

– Да. Так вот. Он сын того самого бородатого Акмата - сторожа, о котором я уже говорил. После московского института он стал работать обычным агрономом на участке Жудемиша. А мой Сергей после интерната уехал в Ленинград и больше не вернулся. Да и куда возвращаться, если потеряны корни языка, хотя слово «мама» они с Надей впервые произнесли по-киргизски. Теперь все позабыли... А я по-русски плохо знаю, да и знать не очень-то тянет, так что не всегда понимаем даже друг друга. Разве справедливо все это? Я считаю, что нет.

– Ну нельзя и о его работе забывать...

– А что, такой работы, какую он здесь делает, у нас нет, что ли?

-- И семья...

– А в Чон-Кемине все несемейные, что ли?

– Так ведь и не каждый может стать начальником строительного управления Ленинградской области!

– Ну да... А сыну позорить своего отца – это можно? Сколько я там, дома, бывал на тоях и пирах, когда кто-то из друзей выдавал дочь или женил сына! Когда-нибудь и я должен был встречать с почетом своих друзей... А разве я не ходил с другими на похороны, не кричал «боорум-ой». Аксакалы говорили молодым: «Осторожно снимите Бектура-аба с коня». И меня переносили на руках на самое почетное место... Бывало, кто деньги даст семье умершего, кто барана, а кто и коня – помощь-то какая... А я закончу свой земной путь, и никто не

крикнет: «Абаке...» Нет на земле народа, который бы оплакивал усопшего с таким чувством, с таким достоинством, как мои киргизы. И я хочу быть похороненным только так! Разве есть вина в моем желании? А здесь ведь сожгут, наверное, в пепел превратят. Тут всех почти сжигают, говорят, земли мало... Чего-чего, а земли для могилы у нас в Чон-Кемине хватает... Да, конечно, дети уважают меня, но я все равно доберусь до своего дома, хоть пешком. Должен я умереть по-человечески... Так вот и тоскую по земле, которая хранит все радости мои и печали... А здесь все – русское, и люди, и дома, и небо – все чужое для меня, хоть я сам и русский по паспорту. А по земле – киргиз. Потому и не стесняюсь, что поведал свою тоску первому встречному сородичу. Наш дорогой Токо, несравненный Токтогул, тысячу раз был прав, когда пел:

Кто самый несчастный на свете?

Несчастно утро, закрытое тучами,

Несчастно дерево, лишённое влаги,

Несчастен старик без старухи своей...

— Это про меня он пел, потому что все мои страдания начались после смерти моей старухи. Эх, кысталак, если бы после годовщины мне попалась другая старуха – будь она киргизка или русская, или дунганка, не сидел бы я здесь сейчас. За любую заплатил бы калым, как за самую красивую девушку... Не повезло... Даже друзья не сумели помочь, хоть искали кто на машине, кто на лошади, кто пешком или на ишаке... Такое время несуразное... В войну, помню, любая девка согласна была стать второй женой старика-замухрышки, а как наладилась жизнь, так и старухи гонор свой показывать стали. Нет справедливости на свете... А потом дети продали дом Акиму-шайтану и увезли меня сюда. Правда, Аким говорил, что дом купил для меня же, что если кто чужой купил бы, так и возвращаться некуда, а теперь дом ждет меня... Спасибо Акиму... И вот уже три года четыре месяца и девять дней как я здесь. И снятся мне длинные сны о Чон-Кемине...

Еще неделю я пробыл в Ленинграде, мотаясь по своим делам. И каждый вечер ко мне в номер приходил Бектур-аба – с пирожками, чаем, а то и супом в термосе. Мы подолгу сидели, и я радовался, что старику приятно ужинать со мной или просто сидеть, складывая вслух ласкающие душу киргизские слова. А как-то он уговорил меня спеть, и мы долго-долго изумляли дежурную по этажу своим совершенно трезвым пением...

Довелось мне однажды поговорить и с Сергеем Викторовичем, пока Бектур-аба ходил в магазин.

– Что же вы, – сказал я, – не видите, как тяжело отцу? Скучает он по родной земле. Я понимаю вас – ленинградская квартира, служебная «Волга», положение... Конечно, я вижу, вы заботитесь о старике, по-своему любите его. Но неужели вы не понимаете, что для вашего отца все это вместе не стоит и одной шутки Акима-шайтана, когда он крикнет: «Эй, орус, ты живой до сих пор!»

– Допустим, я понимаю, – ответил Сергей Викторович. – Ну, а ради чего мы, двенадцать человек, переедем в Чон-Кемин? Здесь он один мучается, а там будут мучиться двенадцать человек...

– Ну, это крайность... Зачем переезжать? А вот свозить туда отца, хотя бы раз в год, я думаю, не очень обременительно...

– Да с удовольствием бы! Но вы уже узнали его характер... Мы же не найдем его там! В горы убежит, у друзей спрячется, которых там море. Однажды три дня гнались за ним... И одного там не оставишь, ведь годы...

– Что ж, останется там, откуда пришел. А здесь-то ему совсем плохо...

Голова кругом: и отец, и сын – каждый по-своему прав. Утешаюсь тем, что никому еще в нашем цивилизованном мире не удалось решить эту дилемму.

Заканчивалась моя командировка. Предстояло заехать в Москву, а оттуда уже – домой, в Киргизию. Купил билет на «Стрелу» с расчетом, чтобы утром прибыть в

первопрестольную. Провожать меня пришли все мои новые родственники. Во главе, естественно, с Бектуром-аба. По врученным мне коробкам, я понял, что Бектур-аба поговорил со своим семейством чисто по-киргизски.

– Ну, Бектур-аба, до свидания! – протянул я ему обе руки.

– Прощай, сынок. Кто знает, увидимся ли еще... Доведется быть в Чон-Кемине, скажи моим друзьям, что Бектур еще жив!

– Я передам...

Добравшись до своего купе, я посмотрел в окно. Дети Бектура-аба мирно беседовали между собой, и видно было, что они с нетерпением ждут отхода поезда лишь из уважения к отцу. Старый Бектур стоял чуть в отдалении от них и одинокая его фигура еще долго виделась мне, даже когда скрылись из виду огни Ленинграда.

Я не сомневался тогда, что как только приеду во Фрунзе, то на следующий день отправлюсь в Чон-Кемин, разыщу друзей этого удивительного по своей человечности русского киргиза. Но суматошная работа закручивала в спираль дни за днями, и ни через неделю, ни через месяц я так и не съездил туда. Но память об этом русском старике, иссушенном ностальгией по отчему киргизскому краю, никак не отступает от меня. И спустя три года я написал этот рассказ, выполнил аманат – святой наказ Бектура-аба. И пусть не его друзьям, а их детям я говорю:

– Над прекрасным Чон-Кеминим витает душа Бектура-аба, а потому не верьте никому, кто скажет, что Бектур-аба был мусаапыром! Его душа дома.



МАЗМУНУ

Светлая боль моя	3
От автора	3
Почему я написал книгу об Алыкуле?.....	5
Часть первая	25
Часть вторая	121
Часть третья.....	226
От автора.....	353
Редзаклучение	354
Солнечные тени детства.....	357
Рассказы	
Сигцевый бумеранг	390
Родственники	393
Двигатель торговли	401
Черный кот	404
Автопрометей.....	408
Исповедь равноправного мужа.....	414
Приз режиссера	420
Кнопка.....	426
Чинара	438
Театр начинается	445

Мои старики	457
Маскарапоз	472
Вот такие пирожки.....	486
Мусаапыр.....	491

Дооронбек Садырбаев

ДААНЫШМАН

**Чыгармалар жыйнагынын 5 томдугу
Собрание сочинений в 5-и томах**

Басууга 16.05.2017-ж кол коюлду.
Офсеттик кагаз. Форматы 60x90 ¹/₁₆.
Көлөмү 32 б.т. Нускасы 1000 даана.

«Принт Экспресс» ЖЧК басма-полиграфиялык
комплексинде басылды
Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Профсоюз көч., 49





